ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3

МАРТ

1956

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

АЛЕКСАНДРУ ТОМА — Стихи. Предисловие Евг. Долматовского 3
АНДРАШ ШЮТЕ — Мамалыга с брынзой (*Рассказ*) . . . 7
ДОБРИЦА ЧОСИЧ — Солнце далеко (*Роман. Окончание*) 14
МИТЧЕЛ УИЛСОН — Брат мой, враг мой (*Роман. Продолжение*) 98

КРИТИКА

АННА ЗЕГЕРС — Основные вопросы современной немецкой литературы 182
Е. ЭТКИНД — Искусство переводчика 199

РЕЦЕНЗИИ

Н. АБАЛКИН — Классическая драматургия стран народной демократии 206
С. ТУРАЕВ — Проблема романтизма в университетском учебнике 210
А. КАРАГАНОВ — Книга о Белинском 214

ОБЗОРЫ И ДОКУМЕНТЫ

У НУ — Слово о современной литературе Бирмы 219

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Б. ПОЛЕВОЙ — Поездка к Лиону Фейхтвангеру 222

НА КИНОЭКРАНАХ

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ПАУЛЬ ТИРЕ — „Эрнст Тельман — вождь своего класса“ 226
ИРЖИ МАРЕК — Два чехословацких фильма 228
ЕЖИ ПЛАЖЕВСКИЙ — „Голубой крест“ — фильм Анджея Мунка 230

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Б. ГАРГИ — Народные традиции индийского театра . . 234

3

1956

МАРТ

СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ДНЕВНИКОВ

ЛЕВ КАССИЛЬ — У Михаила Садовяну 241
ЛЕОНИД ЛУКОВ — Франческо Маселли самый молодой кинорежиссер Европы 242
ДМИТРИЙ САРАБЬЯНОВ — Мозаики Кахри Джами . . 244
МИХАИЛ ЦАРЕВ — Спектакли и роли 245
ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ — На острове венецианского стекла 245

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

БОР. ЕФИМОВ — Мастер шаржа и карикатуры А. Гофмейстер 247

СРЕДИ КНИГ 252

М. КОРАЛЛОВ — Сборник статей Клары Цеткин ☐ Л. ЛИХАЧЕВА — „За свободу" ☐ Р. РАЗУМОВА — В борьбе за человека ☐ ХАН М. — „Лим Гок Чен" ☐ В. АТАМАЛИ — Сборник талантливых рассказов ☐ И. ВОЛЕВИЧ — Роман о восстании зулусских крестьян ☐ И. ЛИЛЕЕВА — Новое исследование о Рабле ☐ Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКАЯ — Новеллы Арнольда Цвейга ☐

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника) 261

Александру Тома

Стихи

Перевод с румынского А. Ахматовой

Предисловие

В сокровищницу мировой культуры Румыния может положить многогранный, переливающийся всеми оттенками света алмаз — поэзию Александру Тома.

Почти шестьдесят лет держал Тома перо в руках, служа этим пером высоким идеалам свободы, справедливости, дружбы народов.

На закате прошлого века он воскликнул: «Да здравствует Коммуна!», и эти стихи сразу поставили его — тогда еще юношу — в ряды борцов за дело трудящихся, за победу народа над эксплуататорами.

С высоко поднятой головой, как убежденный и страстный поэт и патриот, он прошел по бурным и крутым дорогам первой половины нашего столетия. Лирик-мыслитель и боевой публицист сливались в нем в один благородный образ.

Не имея возможности в этом коротком слове подробно рассказать о пути поэта, я позволю себе привести названия его произведений, чтобы по этим названиям, как по вехам, читатель мог ощутить путь большого румынского поэта — коммуниста.

«В ожидании» — 1897 год... «К восходу солнца» — 1900 год... «Заря жнеца» — 1919 год... «Отчаяние» — 1925 год... «Близится час расплаты» — 1939 год... «Придет к нам справедливость» — 1945 год... «Сегодня страна твоя — дом твой» — 1948 год... «Подпишите воззвание мира!» — 1950 год...

Стихи Александру Тома — не только повествования и раздумья, но и призывы, и обличения. Вера в народ — в его силы, в его мудрость, в его победу — никогда не покидала поэта, в ней черпал он силы в самые тяжелые и сложные времена. «Зарю жнеца» увидел он в Румынии после свершения Великого Октября в России. В годы второй мировой войны, когда преступная гитлеровская клика Антонеску погнала румынских солдат погибать на Украине и в излучине Дона, в подпольных изданиях распространялись гневные стихи Тома. Надо ли разъяснять читателю, что за эти стихи поэту-патриоту угрожали кандалы и топор фашистских палачей.

Анна Ахматова мастерски перевела несколько стихотворений румынского поэта, написанных в разные годы. Эти переводы — лишь малая оплата долга советских поэтов Александру Тома. Нашему читателю надо дать книгу, по возможности полно показывающую творчество поэта — романтика и борца. Я говорю о долге, вспоминая, что с 1925 года до конца своей жизни, то есть половину своего творческого пути, пору своей зре-

лости и мудрости, Александру Тома отдавал не только оригинальному творчеству, но и переводам произведений мировой литературы на румынский язык. Он замечательно перевел стихи Горького и Джамбула, Симонова и Щипачева. Автор этих строк навсегда благодарен Александру Тома за перевод поэмы «В суровый час».

До глубокой старости сохранил Тома боевую бодрость. Последнее десятилетие его (он скончался в 1954 году) протекало в свободной Румынии, строящей новую жизнь. Он увидел плоды своего труда и борьбы, он увидел, как сбываются его мечты, и принимал активное участие в строительстве и утверждении народно-демократического строя, будучи академиком, членом Постоянного комитета защиты мира, депутатом Народного Совета, директором Государственного издательства литературы и искусства, где он отдавал много сил воспитанию молодых литераторов, и, конечно, поэтом, в профессиональном и самом высоком значении этого слова.

«Песня жизни» называется сборник Тома, вышедший в 1950 году, когда румынский народ праздновал 75-летие своего поэта и 55-летие его литературной деятельности. Песней жизни можно назвать весь творческий путь поэта-патриота.

Евг. Долматовский.

ПЕСНЯ ЖИЗНИ

В себя, как раковина в щель,
Вобрало сердце песен много:
Там сельская поет свирель,
Там бурной юности тревога
И зовы грозные войны,
Отваги голос, голос силы,
И там же иногда слышны
Стенанья около могилы.

И, как в волшебных гротах, там,
Где эхо вечное под сводом,
Я песню заново создам,
Давно забытую народом.
Все, что кипит в крови, звеня
(Любовь поет и гнев ярится), —
Лишь голос предков, что меня
Избрал, чтоб к правнукам пробиться.

Бурлит в моей груди весь мир,
Страдает, борется и стонет.
Там эллинских напевы лир,
Раб на трireме выю клонит.
Творит создателя рука,
Христы распятые вздыхают,
И на крылах из тростника
Икары к солнцу улетают.

К моей груди склонись, о друг,
И слушай, сколько в ней напевов,
Ведь сердцем взрезывает плуг

Тугую землю для посевов.
Ведь сердцем тяжкий молот бьет
В руках невольников завода,
И гром подземный весть несет
О том, что близится свобода.

Бастилии берет оно,
Бросается на баррикады,
Пусть первой пулей сражено —
Пасть смертью храбрых сердце радо.
И, воскресая каждый час,
«Вперед!» — приказывает твердо.—
Ворота в синь руби для нас,
И ты в святыню вступишь гордо».

В ЛЕСУ

Брат мой, лес, советом добрым
Ты страдальца успокой!
О скажи, как, смертью сгублен,
Снова ты стоишь живой?
Как ты свет в себя вбираешь?
Как лекарство сам струишь
И целебною смолою
Раны старые кропишь?

О позволь виском горячим
Мне прильнуть к стволам твоим,
Чтоб внимать оживших соков
Думам кротким и святым.

Брат мой, лес, как ты, надеясь,
Веря, жить хочу я сам, —
Дуб, грозой разбитый, руки
Простирает к небесам.

В ОЖИДАНИИ

Вот лодка с парусом поникшим
Ждет в полудреме и грустит;
Морской простор, едва колеблясь,
Мучительно в ответ молчит.

О ветре, бедная, тоскует:
Быть неподвижной тяжко ей,
Обидно ей стоять на страже
У тени плачущей своей.

Ветров у далей просит лодка
Иль берега. Увы, везде
Все та же дрожь, все та же скука
И в небесах и на воде.

...Ударь же в крылья, вихрь судьбины!
Меня томят о берегах
Мечты, о берегах цветущих,
Иль разобьюсь о скалы в прах.

К ВОСХОДУ СОЛНЦА

Три летели к заре журавля,
Взмахи крыл широки и могучи.
Первый луч, горизонт опаля,
Брызнул вдруг из-за дремлющей тучи.

И один, им пронзенный, упал,
А другой, в ослепительном свете,
Безнадежно крылами махал;
Полетел в поднебесье лишь третий.

Рдели крылья его, как заря,
К солнцу несся он, изнемогая.
И, как жертву в огонь алтаря,
Приняла его даль золотая.

С БЛАГОГОВЕНИЕМ ВОСПЕВАЮ

Воспевая пахаря работу,
Воспеваю золотую жатву,
Но особо я прославлю тут
Дело тех, кто верит в день грядущий;
Сеятелей благородный труд.
Зерна, словно слезы, льются в землю.

Их встречает мрачная хозяйка,
Но она, в себя приняв зерно,
Ласково согреет и накормит,
На ее руках взойдет оно,
Чтоб под солнцем зреть в колосьях многих.

НОВЫЕ ЛЮДИ

В тумане столетий пропали
И боги с могучею дланью,
И те, кто молились страданью,
И те, кто в оковах стонали.

А тот, кто спасенье когда-то
Олицетворял, пригвожденный,—
Растаял во тьме похоронной:
С креста человечество снято.

На выси, где цепи неволи
Разорваны, люди с крылами
Взошли, чтоб летать над мирами,
Миры подчинить своей воле.

Андраш Шютё

Мамалыга с брынзой

РАССКАЗ

Перевод с венгерского В. Малыхина

Антал Келемен сидел на скамейке все еще в состоянии человека, не успевшего во-время сойти с поезда. Что и говорить, состояние отвратительное...

Когда Келемен вошел и увидел эту стриженую, он едва смог выдавить из себя: «Здравствуйте...»— и покраснел, как кормовая свекла. Кое-как удалось его усадить. Теперь лицо его побледнело и напоминало ту самую брынзу, что он привез на базар сегодня утром.

И вот Келемен сидит — сидит как на иголках. Хорошо бы закурить и, окутавшись дымом, спрятать горящее от стыда лицо. Но Келемен не курит... Хорошо бы заговорить и выгородить себя перед невесткой, растолковать ей, что, мол, вообще-то он человек честный —всегда был честным, чужого ему нипочем не нужно. Только ведь жизнь не ватрушка, а жить и ему надо: у него трое ребят, одежда на них так и горит...

Надо бы сказать что-нибудь в этом роде. Но Келемен не из тех крестьян, что бойки на язык. А сейчас он и подавно рта не может раскрыть. Впрочем, если бы и мог, он все равно ничего не сказал бы — кто знает, поймет ли его эта стриженая?..

В чисто прибранной комнате всего двое: Келемен и женщина, ставшая его невесткой две недели тому назад. Келемен уже немолодой и, кажется, кроткий, набожный крестьянин. Женщина — он еще даже не знает, как ее зовут,—лет, наверно, двадцати, двадцати двух. Она черноглазая и с виду очень решительная. Только вот к этой решительности примешивается у нее раздражающее Келемена спокойствие,— пожалуй, даже и не спокойствие, а какое-то равнодушие к человеку из деревни. Так, по крайней мере, определяет сам Келемен. А уж эти черные лыжные штаны, что на ней! Неужели у нее даже юбки нет?! И хоть бы тебе малюсенький пучок на голове! Ведь в нем, в пучке-то, вся краса молодушки! Ну, ладно, скажем, она городская — можно бы и простить ей это. Но зачем же так коротко обрезать такие красивые черные волосы?! Келемен проникается острой жалостью к своему младшему брату. Он ведь такой добрый, такой

Андраш Шютё (род. в 1927 г.) — один из талантливых писателей Румынской Народной Республики, пишущих на венгерском языке. Пьеса «Босая невеста», написанная А. Шютё в соавторстве с драматургом Золтаном Хайду, удостоенная Государственной премии в 1952 году, успешно прошла на сценах венгерских театров РНР и бухарестского театра «Джулешть». Большой популярностью пользуются очерки и рассказы А. Шютё. За последние годы в переводе на румынский язык вышли два сборника его рассказов и очерков — «Люди отправились в путь» и «Седьмая радость».

хороший, и вот полюбуйтесь, какой хомут надел себе на шею! И чем только приворожила его эта хитрая женщина? «А вообще-то так тебе и надо. На завод захотелось! Тяжела, видите ли, ему мотыга».

Так вот и сложилось у Келемена готовое мнение насчет женитьбы брата. Ему необходимо было создать для себя именно такое мнение, чтобы хоть как-то успокоиться, немного подняться в собственных глазах; ведь, придя сюда, Келемен сразу же почувствовал себя поверженным на обе лопатки.

Невестка достает брынзу из кухонного шкафа и пробует на вкус. Келемен избегает ее взгляда. Он ведь только-только успокоился, установив, что невестка не нравится ему. А раз так, раз он не нашел в ней ничего хорошего, то зачем же ему и смущаться перед ней. И все-таки при виде брынзы уши у него опять загораются. Теперь он уж никак не может заставить себя не думать о происшедшем сегодня утром на рынке. «Кой чорт дернул меня прийти сюда? Ведь мог уехать на подводе с Голованом!»— упрекает он себя, но несправедливо: собственно, он и в город-то приехал главным образом повидать невестку!

Вчера мать сказала ему:

— Антал, сынок, коли поедешь в город брынзу продавать, так зайди непременно посмотри, на ком женился наш Йожи. Кто это его так опутал, что бедняга даже свадьбы не справил, как положено. Видать, уж очень ему загорелось...

Да и самому Келемену было любопытно посмотреть на свою невестку. Он так и рассчитал: продаст брынзу, купит палинки, а переночует у брата — заодно и невестку посмотрит. Привез он всего три килограмма брынзы. Весов на рынке не достал. Пришлось разложить брынзу кучками и продавать так. Рассуждал он просто: каждая кучка на одну мамалыгу. И женщины покупали, не торгуясь. С этого-то все и началось,— привоз был плохой, покупатели не больно рядились. Поэтому, когда первую кучку брынзы у него купили за десять лей без всякого разговора, Келемен рассудил: если десять лей за кучку дают, не торгуясь, то наверняка купят и за двенадцать. Действительно, покупали и за двенадцать. «Смотри-ка, да они же надувают меня!» И со следующей покупательницы он запросил пятнадцать лей. Это уже прошло не так гладко. Покупательница стала ворчать, что шкуру, мол, готовы содрать с рабочего человека, но брынзу все-таки взяла. Обрадованный Келемен бойко закричал: «Кому брынзы?! Покупайте брынзу!»

Он никогда в жизни не торговал и теперь, услышав собственный голос, смутился, покраснел и замолчал.

Подошла еще одна женщина, спросила:

— Почем брынза?

— Двадцать лей.

— Да ведь вы только что продавали по десять!

— Было дело. А теперь вот уже двадцать.

— Да как же совести-то у вас хватает?! До небес цены вздуть готовы!

— Не нравится — не берите.

Молодая женщина вспылила. Уж и стыдила она Келемена, честила почем зря — словом, проработала как следует. Так-то, мол, понимает он союз рабочих и крестьян! Да как только глаза у него не лопнут! Так взвинчивать цены! Мы, дескать, работаем, стараемся, посылаем в деревню обувь, а вы за брынзу дерете впятеро!.. Сначала Келемен вроде как устыдился, но потом его зло разобрало. Брынза-то его! Кому не нравится, пусть салат ест, пусть весны подождет, когда он появится! В общем слово за слово — женщина уж и милицию помянула. Тогда Келемен ответил, что поставки он выполнил и не боится милиции — нечего, мол, ему грозить.

— Да постыдились бы хоть, мужик вы бессовестный!

— Я вам не мужик, я честный крестьянин, и не оскорбляйте меня, а не то... надаю вот по штанам-то...

— Видно, ничем вас не проймешь! Ну давайте сюда вашу брынзу, наживайтесь!

Вот что произошло на рынке сегодня утром...

А вечером, когда он постучался в квартиру брата, дверь ему открыла как раз та самая молодая женщина. Она и была его невесткой.

Такое случается, конечно, редко. Но случилось-таки! А теперь вот и расхлебывай... Хоть бы брат поскорей пришел с завода. Он добрый, он все уладит. Не будь так поздно, Келемен тотчас ушел бы домой, хоть пешком, но ушел бы. Невестку повидал — чего ж еще?! Будьте здоровы! Только деревня далековато отсюда — сорок километров. Так что теперь ничего не поделаешь — придется дожидаться утра.

Келемен смотрит на брынзу — на эту совсем маленькую кучку на столе. И цена этой горстке — двадцать лей. Вот они припрятаны у него в кармане. Совсем приличная сумма — почти два литра палинки. А дома в деревне палинка ему втрое окупится: крестьяне платят по тридцать лей за бутылку, что в городе десять-пятнадцать лей стоит...

— Не замешаете ли мамалыгу?— спрашивает вдруг невестка.

— А что ж, давайте...

— Только так, как у вас дома делают!

— По-другому-то я и не умею.

— Ну, тогда принимайтесь, дядя Келемен. Я ведь все еще не знаю, как вас зовут...

— Антал, — пробормотал Келемен.

Теперь он уже немного успокоился и, сняв пиджак, стал размешивать мамалыгу.

А голос-то у нее приятный, чистый, только низковат, пожалуй, для такой молодой женщины.

Келемен посматривает на нее исподтишка, старательно размешивая мамалыгу. Почему-то ее любезность не по душе Анталу. «Ладно, ладно, заговаривай мне зубы, — думает он, — я-то знаю, что ты за птица: видел уже твои коготки. Но почему же она не заговаривает об утренней встрече? Ишь, делает вид, будто ничего не случилось! Видно, мужа ждет. Ну что ж, пожалуйста! Йожи-то ведь знает, что такое жизнь крестьянская. Он знает, как мы живем, сам в деревне вырос, не на заводе...» Старается Келемен успокоить себя, но на душе у него все же поскребывает. Хоть бы выбраться отсюда поскорее!

В квартиру постучали. Невестка удивленно смотрит на дверь — Йожи никогда не стучит.

— Ну, вечер добрый уважаемой компании!

В комнате появляется человек в шубе и высокой меховой шапке, и вся квартирка сразу же наполняется весельем, бодростью, смехом. Это Янош, средний из трех братьев Келеменов, тот, что в сельскохозяйственном кооперативе работает. Оказывается, он побывал здесь еще утром и знает уже, что невестку зовут Эва, Эва Керестеш. Обращается он с ней совсем запросто — обнял, потрепал по плечу, несколько раз назвал «дорогой невестушкой». Потом заглянул в кастрюлю: мол, что на ужин? Щелкнул мимоходом Антала по лбу.

— А ты как сюда попал? Почему не сказал мне, что собираешься в город? Я б тебя на санях подвез. И вечно ты хитришь, никогда не скажешь заранее, что надумал.

Антал бормочет что-то в ответ и продолжает сосредоточенно мешать мамалыгу. Не нравится ему такое пренебрежительное обращение. «Еще и по лбу щелкает! А что плетет про меня — срам да и только!..»

Эва достает ложку, жир и начинает готовить мамалыгу с брынзой. И тут выясняется, что хоть и коротки у нее волосы, а по женской работе она мастер.

Теперь Келемен узнает, что работает она в типографии, в переплетном цехе, а нынче вот дома — у нее шесть дней осталось от отпуска.

— Ух, каких жирных свиней привез я сегодня в город! — хвастает Янош и рассказывает о том, что их кооператив уже выполнил договор о поставке свинины.

Ну, а коли помянули про свинину, то разговор, естественно, пошел о снабжении вообще, о магазинах, о рынке, о рыночных ценах. Спорить не приходится — с рынком действительно сущая беда. Правда, морковь да картошку крестьяне привозят в избытке, а вот масла, брынзы уже мало...

— Да вот, к примеру, хоть тебя взять, почему не привозишь брынзу? — обрушивается на брата Янош. Он, конечно, шутит, но слова его попадают прямо в цель. — Или выдерживаешь ее?

Антал искоса смотрит на брата и рукавом рубахи вытирает со лба пот.

— Вы-то что не возите? Ведь вы у государства что дети родимые...

— А единоличники чьи же? Всевышнего, что ли?

— Привозить-то и брынзу привозят, — вмешивается в разговор Эва, — только редко.

Келемен вздрагивает. Он не смеет поднять глаза и с ужасом ждет: вот сейчас Эва и расскажет Яношу про утренний скандал. Эх, забрать бы свой мешок да и уйти отсюда ко всем чертям, — найдется где переночевать!

Но Эва уже умолкла; ей нужно сыпать брынзу в мамалыгу. Может, поэтому, а может, и по другой причине, только продолжать она не стала. Но от ее молчания Келемен теряется еще больше. Уж коли начала, чего ж не кончает? Видно, ждет, когда сядем за стол. Ну и вредная баба!

— Антал, — говорит Янош, — у тебя ведь есть, кажется, немного брынзы. Ты еще говорил, что продать хочешь. Вот и прислал бы пару кило нашей невестке. И вообще — не помогаем мы им, никуда это не годится... На вот, Эва, немножко масла. Надо бы побольше, да корова у нас вот-вот отелится, так что совсем почти не доится сейчас.

В половине девятого пришел Йожи, младший Келемен. Он ростом пониже братьев, зато коренастый, широкоплечий, крепкий. Лицо круглое, в голубых глазах лучится спокойствие человека с чистой совестью. Антал смущенно пожимает ему руку.

Начинается разговор о деревенских событиях. Йожи расспрашивает, что нового дома, кто умер, кто поженился, что поделывают соседи... Антал охотно отвечает. И если разговор хоть на минуту замирает, он старается быстро возобновить его и говорит, говорит — только бы не зашла речь о брынзе.

Однако за ужином все его старания напрасны.

Антал берет вилку и сосредоточенно ест. Но удовольствия от этой еды он получает не больше, чем в прошлом году в больнице, когда пришлось ему заглатывать резиновый шланг. Тогда еще врач сказал ему: «А ну, папаша, заглотните-ка вот эту штучку. Когда проглотите шестьдесят сантиметров, скажете мне».

Все едят. Хозяйка угощает Келемена — будьте, дескать, как дома, не заставляйте себя упрашивать.

Янош извлекает комочек брынзы и смотрит: тянется или нет?

Если не тянется, значит, в брынзу что-то подмешано, может, творог. Но брынза и тянется и не тянется — стало быть, если как следует присмотреться, увидишь и творог.

Йожи, правда, не так придирчив. Прищелкнув языком, он спрашивает жену:

— На рынке купила?

— Что ты! — соврала Эва. — Нет ее на рынке.

— Привоза нет, что ли?

— Был там один... Кучками продавал, по горсточке в каждой.

— И почем же?

— Дорого. Двадцать лей.

— Да что ты! — Йожи так и подскочил на стуле. — Двадцать лей? Двадцать лей, говоришь?

— Я даже поругалась с ним. Покритиковали мы друг друга как следует. Уж очень бессовестный тип. Не нравится, говорит, не берите, ждите до весны, когда салат появится. Вот, мол, и ешьте его...

— Так это же бандит настоящий! Прямой грабеж, ей-богу. Ну что ты скажешь на это, Антал, допустимо ли это?

— Видать, допустимо, — бормочет Антал. Он хочет добавить еще что-то, но невестка опережает его.

— А эту брынзу дядя Антал принес, — говорит она. — Добрый он... Это, мол, новобрачным. Так и сказал...

Вилка замирает в руке Антала. Это еще что такое? Она, видно, издевается. Он понимает, что надо бы рассказать об утреннем случае — но сейчас, за ужином!.. Испортить аппетит Йожи!

— Двадцать лей за кучку! — возмущается Йожи и швыряет вилку на стол.

Антал был прав: аппетит уже испорчен...

Но Янош все еще ковыряет вилкой в мамалыге.

— Э-э, Антал, а ведь ты тоже подмешиваешь творог в брынзу! А еще родне вез ее, ай-я-яй!

Теперь уже Анталу можно и возмутиться — чего только придирается этот Янош?

— Где? Где ты увидел творог?

— Да вот же, смотри, не тянется. Видно, на продажу готовили...

— Творог! В голове у тебя творог. Может, еще и картошку найдешь!..

— А вот в прошлый раз я купила масла, так в середине и правда был творог, — пытается вернуться к разговору о рынке Эва.

Но Янош не унимается. Весь подавшись вперед, он разъясняет брату:

— Йожи, я и сам крестьянин, но за таких мне стыдно. Позорят они нас, вот что! Как это можно — совсем уж совесть потерять! Да, да, Антал! И нечего тебе головой трясти!

— Кто трясет?

— ...Ведь мы землю получили, свободу. Это же не пустые слова! Ну кем ты был раньше? Батраком был. Задыхался в своей лачуге от дыма, вечно с красными глазами ходил. А теперь ты в новом доме живешь, вон глаза-то — не красные, чистые... Что, или неправду говорю? Так иди вон в зеркало посмотрись...

— Делать мне, что ли, нечего, только в зеркало собой любоваться! По-твоему, так у нас уж прямо рай — только и дела, что в зеркало смотреться.

— Да вовсе не о том я тебе толкую. Я только хочу сказать, что помогли-то ведь нам рабочие, а крестьянин вдруг дерет с них по двадцать лей за горстку брынзы... Да попадись мне такой, я б ему, знаешь, отвесил бы двадцать пять... по заднице.

— Вот эдак-то как раз и нельзя, — умеряет его пыл Йожи. — Это

уж ты чересчур. Цены-то свободные! Но двадцать лей запрашивать!.. Все-таки это уж прямой грабеж...

— К счастью, дядя Антал выручил нас, — говорит невестка.

Она смотрит на Антала и победно улыбается. Как видно, разговор начинает уже забавлять ее: до каких пор сможет шурин молчать, неужто утерпит, не скажет: люди, да ведь это же я!

Но он молчит и покорно слушает, как бранят и поносят его младшие братья, как в клочья разлетается его честь...

— Нет у этих людей совести, — говорит Йожи.

— Что им социализм, что им совесть, — поддерживает его второй брат. — Смотри! Вот этот комочек — творог. Отрежьте мне уши, коли это брынза.

— Воспитывать их нужно, — снова вступается Йожи. — Еще заражены крестьяне торгашеством — хоть и не все, конечно.

— Да это те, кто побогаче, надувают покупателей, — вторит ему Янош.

—Такой тип, если даже сам и не кулак, все равно пляшет под кулацкую дудку.

Покорно глотая ругань, Антал посматривает на переметную суму. Хоть бы уж не выглядывали из нее эти пустые литровки.

Но сейчас никто не обращает внимания на водочные бутылки, все занялись другим. Йожи вдруг озабоченно спрашивает:

— Слушай-ка, Антал, а как у тебя с легкими? Все в порядке?

— С легкими? У меня?

— Да, у тебя. Ведь здесь совсем не жарко, а ты все-таки вспотел. У тебя весь лоб мокрый.

Тут же ввязывается и Янош:

— Да что это с тобой, братишка, право? Гляди-ка, пот с тебя прямо ручьями... Обязательно сходи к врачу. Болезнь нельзя запускать. Со здоровьем шутки плохи.

Антал проводит по лбу рукой, делая вид, что он и сам только сейчас заметил это.

— Черт возьми, вот и жена в прошлый раз говорила мне... Но это не всегда... Только от мамалыги с брынзой. Очень горячая, что ли...

— Любопытно, — говорит Йожи. — Во всяком случае, сходи к врачу.

Антал ворчит что-то себе под нос: он, мол, бедняк, откуда ему на врача денег взять! — и подымает глаза на Эву. Нужно же хоть кому-нибудь из них взглянуть прямо в лицо! Молодая женщина смотрит на него весело, озорно, и теперь Келемену она уже не кажется такой коварной. И то, что волосы у нее короткие, совсем неплохо, ей так идет — вон ведь, совсем девчушкой выглядит да симпатичная такая... Это видно хотя бы из того, что, когда Янош снова заводит разговор про брынзу, она подымается из-за стола и говорит:

— Кто поможет мне принести соломенный матрац с чердака? У нас пока еще только одна кровать, так что деверям придется переспать на соломе.

— Я! Я помогу, — вскочил с места Антал.

Ему уже совершенно необходимо выйти из комнаты, хватить хоть немного свежего воздуха — что там лоб, у него и спина-то вся мокрая!.. Украдкой, чтобы не заметил Янош, он прихватывает свою суму и, волоча ее за собой, идет следом за невесткой.

На чердаке он выкладывает одну за другой шесть литровых бутылок.

— Это вам от наших, — сбивчиво объясняет он. — Пригодится в хозяйстве... Ведь вы только начинаете жить... Это мать посоветовала отвезти вам...

— Спасибо, дядя Келемен, большое спасибо от нас обоих.

Спускаясь с чердака, Келемен думал о том, что надо бы сказать Эве: бутылки-то, мол, для томата; ему хотелось также попросить Эву не рассказывать сейчас про брынзу. Ведь он уже раскаялся, эта мамалыга с брынзой — хороший ему урок... Но невестка торопится, как тут поговоришь!

— Эва, — окликает он ее уже перед самой дверью.

— Что, дядя Антал?

— Я сказать вот хотел, что... словом... насчет того, что утром, значит, было... Вы ведь не сердитесь на меня, правда?.. Я думал, нажалуешься ты Йожи...

— А я все ждала, что вы сами расскажете.

— Конечно, скажу!.. Только утром, когда Янош уйдет. Не хочу я при нем... А то он по всей деревне раззвонит...

Они вошли в комнату. Невестка приготовила постель, и все улеглись. Яноша и Антала уложили на толстом соломенном матраце. Антал лег к стенке.

В комнате темно и тихо. Слышно, как на улице завывает ветер да стучит в ставни... Янош шепотом спрашивает:

— Ну как тебе наша невестка?

Антал задумывается. Он поправляет одеяло, потом говорит:

— Хорошая женщина. Вот уж действительно — добрая душа.

Добрица Чосич

Солнце далеко

РОМАН

Перевод с сербо-хорватского Т. Поповой и А. Романенко

26

Когда в деревне затих вечерний шум, а холод и праздник разогнали крестьян по домам, три партизанские группы во главе с подпольщиками отправились на разгром вражеских штабов. Четники еще не обнаружили присутствия роты в этом районе, и партизаны имели возможность застать врасплох безмятежно и по-рождественски настроенных неприятельских командиров.

С одной из ударных групп пошел и Вук. Деревня, куда они направлялись, была расположена по соседству с его родным селом, и он решил зайти домой, только колебался — сделать ли это до боевой операции или после. Ни Максим, ни другие подпольщики ничего не знали о его жене и сыне. Да он их особенно и не расспрашивал. Ему, командиру роты, было неловко говорить о своей семье. Но он сгорал от нетерпения поскорее увидеть Бранку и сына. И хотя все три операции были назначены ровно на полночь, а деревня, в которую они шли, находилась недалеко, Вук все время поторапливал бойцов и уходил со своим автоматом так далеко вперед, что они часто останавливали его и просили идти помедленнее. Погруженный в свои мысли, он не обращал внимания на их слова.

...Что она сейчас делает? Конечно, не спит еще... Ей не уснуть так рано. В это время она никогда не ложится. Вот утром она любит поспать подольше. Только ей никогда и не удавалось выспаться вдоволь. После войны, когда он вернется домой, он ей не даст вставать так рано. А как хорошо по утрам в постели поиграть с сыном! Мальчишка бывало прибежит голышом к отцу, вспорхнет, как воробышек, ему на грудь и давай дергать за усы! Бранка смеялась, глядя на них... Работать много он ей тоже не даст. В деревне организуют колхоз. Он, вероятно, будет председателем, тогда поработает и за нее. А оденет он ее, как куклу, чтобы всегда была она молодой и красивой, словно девушка. И пусть весь район ему завидует. Родит она ему еще малыша — уж очень ненадежно, когда только один ребенок. Один — все равно, что ни одного. Придется сразу же поставить новый дом. Кто знает, удалось ли им поправить старый после пожара... Потом купят мебель... Он больше не будет жить кое-как, по старинке. Когда к нему в дом придут товарищи, ему будет где их принять.

Павле станет большим человеком, наверно, народным комиссаром.

Окончание. См. начало в №№ 1 и 2.

Что ж, он не забудет Вука: вместе воевали, и Вук не рядовой партизан! Это не маленькое дело — быть сейчас командиром!

Сын, конечно, спит... А она?.. Вяжет. Что же ей еще делать? Вяжет и думает: где-то он сейчас? Верно, на Ястребце, в какой-нибудь хибарке, в снегу! Ей не мерещится даже, что он здесь, возле их деревни, недалеко от их виноградника, что сегодня вечером он нагрянет домой. Хорошо, что она не ждет его! Нет, она должна ждать, должна! Она не смеет спать! Она должна ждать его днем и ночью! Она всегда должна ждать его, все равно, придет ли он, нет ли. Даже если кошка пробежит по снегу, она и то должна услышать... Сначала Бранка, верно, испугается, когда он постучит в окно. Он отзовется не сразу. Нет, он сразу скажет: «Открой! Это я, Милош!» А что, если она заплачет? Вот он рассердится! А что он скажет, когда увидит ее? Не может же он говорить, как когда-то, о своей любви. Нет! А почему не может? Он скажет ей... Он прилетит к ней нежданно, как ветер... Если бы он мог на одну только ночь оставить отряд... Если бы мог!

Они вышли через виноградники на отлогую косу. Повыше, чуть-чуть левей, раскинулась его деревня. Ночь была лунная, отчетливо вырисовывался каждый дом.

— Товарищ Вук! Правей нужно взять. Мы слишком отошли влево.

— Знаю! — ответил Вук. — «Время у нас есть, сейчас десять часов. А вдруг я погибну этой ночью? Разве можно идти мимо своего дома и не зайти?.. Зайду!» — решил он и остановился.

— Я забегу на полчаса домой, — сказал он, обращаясь к партизанам.— Вы подождите меня вон у того леска. А ты, Блаже, иди со мной!

— Почему не после операции? — спросил подпольщик.— Лучше прийти пораньше, чтобы спокойно добраться до трактира. У нас будет время как следует подготовиться.

— Нет, я не хочу ждать. Я зайду сейчас. Успеем, не бойся, — решительно сказал Вук и ушел с партизаном.

Спотыкаясь о торчащие из-под снега ветки, которые чернели при свете луны, они быстро прошли через виноградник. Замерзшие лозы трещали у них под ногами. Они подошли к деревне и стали пробираться задами, сквозь сливовые сады, осторожно перескакивая через изгороди и проворно перебегая улицы. Собаки забились от холода под сараи и амбары и молчали.

Они быстро дошли до его дома. В первое мгновенье Вуку показалось, что он ошибся и попал в чей-то чужой двор—так изменилось здесь все за время его отсутствия. Он остановился и посмотрел на соседский дом. Вот толстые ветвистые вязы у дороги... От волнения его охватила дрожь, и в горле застрял комок. Во дворе не было ни сарая, ни амбара, ни большого старого дома, ни стогов сена и осоки. Изгородь была сломана, двор открыт на все четыре стороны! Вот что значит дом без хозяина — сирота. В домишке, который поставили после пожара, было темно. «Уснула!» — подумал Вук, и ему стало обидно.

— Подожди меня здесь, возле этой кучи листьев! — сказал он партизану и торопливо направился к дому.

Он подошел к окну и тихонько постучал.

— Бранка, отвори! Это я, Милош! — шептал он и, постучав еще раз сильнее, приник ухом к окну. В комнате — тишина. Ни звука, ни шороха.

— Это я, Милош! Открой, Бранка! — шепнул он громче и снова прислушался. Он так дрожал, что стекло в окне задрожало тоже.

Вук подошел к двери и постучал сильней. Никакого ответа. Он взялся за ручку двери и начал дергать ее.

— Бранка, открой!

Опять нет ответа.

Вук налег на дверь и толкнул ее плечом. Дверь с треском отворилась и, покосившись, повисла на вывернутых петлях.

— Ты где? Иди сюда! Ведь это я, Милош!..

Он замер. В комнате было холодно. Чувствовалось, что здесь давно уже не хлопотали женские руки и жизнь отсюда ушла. Вук зажег лампу. Деревянная кровать аккуратно застлана покрывалом с белыми и красными полосами. У окна некрашеный покосившийся столик. На нем — что-то завернутое в полотенце. Между столом и кроватью — кувшин с водой. На плите — котелок, а повыше, на стене,— посуда. На окне какие-то замерзшие цветы. Скамейка, два стула и больше ничего. Все это ему незнакомо. Старые вещи сгорели, а это, видно, собирали уже после, по родственникам и соседям. Вук поднял кувшин, чтобы напиться, хотя не чувствовал жажды. Вода замерзла. Он со злостью отбросил кувшин, тот перевернулся и встал вверх дном. Вук потрогал плиту — холодная. Он заглянул в котелок, в нем тоже замерзла вода. Вук поднял его, что было силы ударил о плиту и заметался по комнате. Замерз и хлеб в полотенце на столе.

— Убили! — громко вскрикнул Вук и выбежал из избы. Дверь протяжно заскрипела. Он перескочил через забор и постучал в окно соседнего дома.

— Люба! Открой, не бойся, это я, Милош! — В доме послышался скрип кровати и испуганный женский шепот.

— Открой, я хочу только спросить.

— Никому не открою ночью... Не знаю, кто ты такой! — отозвался мужской голос.

— Открой, не бойся, это я, Милош! Я сейчас же уйду!

Было слышно, как мужчина и женщина испуганно переговариваются, не зная, что делать. В нетерпении Вук застучал сильней. Мужчина осторожно выглянул в окно.

— Нет, ради бога, не входи в дом! За мной следят — у меня перережут детей... — говорил сосед, с ужасом глядя на Милоша.

— Я не войду. Открой, тебе говорят! Я не немец и не четник. Я за тебя воюю!

— Не губи ты меня, Милош, братец!

— Где Бранка и сын?

— Твою мать убили. Об этом ты, наверное, слышал...

— Знаю. Я спрашиваю тебя о Бранке.

— Бранку два дня назад, на Туцин день *, увез какой-то майор из корпуса. Ее взяли ночью, а что потом было — не знаю.

— Чего же это она ушла с ним? — спросил потрясенный Вук.

— Заставили, чуть было не убили... Беги прочь отсюда! Слышишь, собаки лают? Это патрули, деревня полна четников. Из-за тебя за нашим краем деревни особенно смотрят.

— А куда сына дели? — голос Вука дрожал, он едва говорил.

— Сына взял бранкин отец. Вот они идут, кажется! Прячься!

Вук опустил голову, прислонился к стене и замолчал. Он едва держался на ногах. Крестьянин просил, заклинал его спрятаться, уходить как можно быстрей, здесь его могли застать четники. Вук ничего не слышал. Ему только страшно хотелось пить.

— Дай воды! — с трудом проговорил он.

— Боюсь, Милош, беги! Нам обоим голову снимут...

---

* Туцин день — канун сочельника.

— Дай воды! Слышишь! Чертов трус! Как ты в глаза мне посмотришь, когда я вернусь!

— Не сердись на меня. Я не за свою голову боюсь... На вот, бери кувшин, я в окно подам.

Он открыл окно и протянул Вуку кувшин. Вук закинул голову, и вода долго клокотала в его горле, пока кувшин не опустел. Вук швырнул кувшин в снег и молча направился снова к своему дому. Он вошел в горницу и сел на кровать. Он был в таком отчаянии, что не в силах был даже думать. Автомат, который он прислонил к своей ноге, упал и загремел. Вук не поднял его. Он схватился за голову, сорвал с себя пилотку и несколько минут сидел, вцепившись руками в волосы. В пустой комнате громко раздавалось его тяжелое, прерывистое дыхание.

Перед домом, на дороге, пронзительно и испуганно залаяла собака, послышались голоса. Затрещала изгородь, заскрипел снег под чьими-то тяжелыми шагами. Но Вук ничего не слышал. Он бросился на кровать и зарылся головой в подушку. Под наволочкой шуршала кукурузная солома, подушка пахла чем-то знакомым. На ней спала Бранка, это запах ее волос. Он с жадностью вдыхал его, потом схватил подушку и прижался к ней щекой. Холодный свет луны струился в окно и отражался на стали его автомата. Лунный свет проникал и в открытую дверь и лежал на полу словно большой разорванный лист белой бумаги. Вук заплакал. Крупные горячие слезы хлынули на подушку. Плечи его вздрагивали.

Вдруг он вскочил, поднял автомат и, зацепившись ногой за стул, со злостью отшвырнул его к плите. Раздался глухой металлический гул. Откуда-то под ноги ему попался кувшин. Он отпихнул его, и кувшин разбился о ножку стола. Вук снова схватил подушку, смял ее, постоял несколько минут, прижимаясь к ней лицом, и бросил на кровать.

— Пустой дом... Мой дом пуст...— И Вук зарыдал, стоя посреди комнаты. Лунный свет освещал верхнюю половину его туловища, как бы рассекал его пополам, лицо Вука оставалось в тени. Так он стоял, словно припоминая, потом схватил автомат и выбежал во двор.

В последний раз скрипнула дверь в пустом доме и осталась висеть полуоткрытая, хлопая на ветру.

Вук снова постучал к соседям:

— Кто там?

— Это я, Милош! Подойди к окошку!

— Ох, да беги же ты, ради бога! Сейчас по двору прошли четники. Конечно, тебя ищут. Погубишь ты меня, — проговорил застонав, хозяин.

— Ну и пусть ищут! Слушай, что я тебе скажу: Милош вернется с партизанской дивизией! Изничтожу весь четнический род, бурьяном зарастут их дома! Попомните меня и вы, трусы, что кормите их да сидите по домам! Только рассказывать будут, что здесь была когда-то деревня. Передай это всем! Понял? Всем! Я скоро приду, так и знайте! — выкрикнул он и, не простившись, ушел.

Не чувствуя страха, забыв об осторожности, он вскочил на плетень, который затрещал под его тяжестью, и быстро, не оглядываясь на дом, прошел через двор. Навстречу ему с поднятой винтовкой вышел партизан.

— Тише! Только что прошли четники. Они еще близко,— испуганно прошептал Блаже.

— За мной,— сказал Вук и побежал через сад почти на виду у всех. О жене он словно забыл. Сейчас он думал о четниках и хотел скорей, как можно скорей встретиться с ними, топтать их, бить.

— Где вы были? Мы опоздаем!— сказал подпольщик, когда они по-

дошли к лесу. Вук ничего не ответил. Но при свете луны провожатый увидел его искаженное от боли лицо.

— У тебя что-нибудь случилось? — спросил он уже теплее.

«Случилось?! Да, Бранку взяли. Взяли или она сама пошла? Как сказал Люба? Взяли!... Заставили пойти! Чуть не убили!..» В голове у него мутилось. Он ничего не ответил и сразу повел свою группу к той деревне, где они должны были выполнить задание.

Только теперь Вук отчетливо представил себе свое несчастье. Но о том, что было для него важней всего, он так ничего определенного и не узнал. Он усомнился в Бранке. Даже ее последнее письмо, которое так взволновало и обрадовало его на Ястребце, давало ему сейчас повод к сомнениям, хотя он и старался побороть их. Не может столько лет быть одна!.. Так написала она в этом письме, а потом зачеркнула две последние строчки... Почему зачеркнула? Что она там написала? Не может баба жить без мужа!.. Но разве могла она вот так просто уйти с четницким офицером, опозорить мужа, обмануть? И главное сейчас, за два дня до того, как он пришел домой! Зачем она ушла с ними? Они хотели ее убить?! Порядочная, уважающая себя женщина, жена партизанского командира, лучше погибла бы, чем поступилась своей честью. Как могла она позволить увести себя? Почему она не умерла здесь, дома? Если ее потом и отпустят, куда же она, опозоренная, вернется? Пускай уж лучше погибнет! Черные мысли всю дорогу терзали и мучили Вука.

Группа подошла к деревне.

— Идите за мной и будьте осторожны!—сказал подпольщик и повел их садами и задворками. Несмотря на свое волнение, Вук продолжал обдумывать план нападения на штаб. Не доходя метров триста до трактира, где четники праздновали рождество, партизаны остановились и прислушались. Из трактира доносились звуки гармошки и пьяное пение.

По освещенной луной дороге, возле трактира, прохаживались двое часовых.

— Их нужно убрать без выстрела,— решительно сказал Вук и посмотрел на часы. — Пора!

В трактире раздался револьверный выстрел. Завизжала какая-то женщина.

«Уж не она ли это?» — промелькнуло в голове у Вука.

— Пошли вдвоем. Подойдем, будто мы крестьяне, и обезоружим их. Это тоже крестьяне, их насильно мобилизовали, они не опасны, — сказал подпольщик.

— Я ворвусь с автоматом в дверь, а вы окружите дом и следите за окнами! Если кто появится, стреляйте. Приготовьте гранаты. Ну идите вы, двое! Идите как ни в чем не бывало!— тихим голосом отдавал распоряжения Вук.

Подпольщики вышли на дорогу и направились к часовым. Вук с остальными, скрываясь в тени деревьев и плетней, стал продвигаться к трактиру.

— Кто идет? — раздался строгий оклик часового.

— Это мы, крестьяне мы,— ответили подпольщики в один голос.

— Стой! Первый — на три шага вперед, второй — ложись! Руки вверх!

— Да подожди ты. Мы связные, несем почту капитану.

— Руки вверх!

— Ну, хватит! Хорохорься там, где требуется, а с нами нечего дурить.

— А как вас звать? — спросил часовой.

Они назвали вымышленные имена.

— Ну идите! Только нужно сначала о вас доложить. Мико, пойди сюда! — позвал первый часовой товарища.

Подпольщики подождали, пока тот подойдет, бросились к часовым, которые уже вскинули на плечо винтовки, и, выхватывая револьверы, шепотом скомандовали:

— Руки вверх! Молчать. Только пикните — убьем!

— Братцы, мы же сельская стража, — испуганно говорили часовые, поднимая руки.

Их обезоружили.

— Лежите и молчите! Мы ничего вам не сделаем. Но если вы побежите или закричите — застрелим!

Увидев, что с часовыми покончено, Вук перебежал дорогу и остановился возле дверей, прислушиваясь. Партизаны быстро окружили трактир, один из них встал рядом с Вуком, чтобы наблюдать за освещенным окном. В трактире пели и кричали. Визжали пьяные женщины. Вук не мог понять, одна там женщина или две. Если две — голоса их очень похожи. Он вздрогнул: «А что, если она здесь?.. Если здесь? Убью!» — подумал он и снова прислушался. Его вдруг охватила слабость. Какая-то усталость разлилась по всему телу. В трактире смеялась женщина, громко, как Бранка. «Это она!.. Да! Сука! Как она смеет?» У него задрожали руки. «Не могу я!» — сказал он самому себе, надломленный отчаянием.

— Идем, чего ждешь? — зашептал встревоженный его нерешительностью партизан.

Послышались взрывы гранат и сухой треск пулеметов. Но залпы доносились издалека и напоминали стук дятла о сухую кору.

— Это наши! — снова шепнул партизан, словно ободряя Вука.

Вук думал о том, что он скажет, когда войдет в трактир, и сразу ли станет стрелять в нее? И вдруг, испугавшись своего замешательства и нерешительности, он распахнул дверь, поднял автомат, вошел и крикнул что было сил:

— С Рождеством христовым!

В первое мгновение никто из четников не обратил на него внимания. Они попрежнему горланили и пили, сидя за длинным столом, заставленным бокалами и разными яствами. Вук успел разглядеть только ощерившуюся свиную голову да в глубине стола бородатого косматого четника с женщиной, которая сидела у него на коленях и пела. Лица женщины он не видел. Заметив Вука, четники застыли от неожиданности и изумления. Они умолкли на полуслове, словно окаменели в тех позах, в которых застал их Вук.

— А вот и Милош!— громко крикнул Вук и дал очередь из автомата сначала по бородатому четнику с женщиной на коленях, потом стал косить вдоль и поперек стола. Лампа погасла. Раздались стоны и крики, заглушенные отчаянным женским воплем. Вук снова направил автомат в ту сторону, откуда слышался этот крик, и строчил до тех пор, пока он не смолк.

В трактире поднялась суматоха.

Оставшиеся в живых четники открыли, наконец, огонь из револьверов и бросились к окнам. Но здесь их поджидали пули и гранаты партизан.

Вук выбежал на улицу и начал стрелять по окнам и дверям. Стрелял он, как в бреду.

— Братцы, не стреляйте!.. Сдаюсь!

— Коммунисты, вы нам дорого заплатите!

— Сдаюсь!

Крича и зовя на помощь, четники продолжали стрелять из трактира и бросили две гранаты. Взрывная волна чуть не свалила Вука, он едва удержался на ногах. Партизаны в ответ тоже бросили гранаты. Из окон посыпались стекла. Четники перестали стрелять. Партизаны тоже прекратили огонь. Слышен был только предсмертный стон раненых. Нескольким четникам удалось бежать через окно. Стоя вдалеке, они стреляли по трактиру и кричали:

— Ком-му-нисты!

Два дрожащих, плачущих голоса негромко взывали:

— Сдаемся, братцы!.. Сдаемся!..

— Выходите! — глухим голосом приказал Вук.

Из трактира, подняв руки, нерешительно вышли два четника. Они были без шапок. Длинные волосы * их были взъерошены.

Вук кликнул Блаже. Он хотел приказать ему обыскать четников, но Блаже не отзывался. Двое других партизан обыскивали пленных.

— Кинжалы!— крикнул партизан, отнимая у них револьверы и кинжалы.

— Мы не резали. Мы только...

— Есть там еще кто-нибудь?— прервал их Вук.

— Нет... Только мы и остались в живых... У меня карманный фонарик — посмотрите сами.

— Ложись и молчи! Свяжите им руки!

Четники громко и протяжно заголосили, моля о пощаде. Вук мучительно боролся с собой; ему хотелось взглянуть на женщину, которую он убил, но он боялся, что это Бранка. Мысль о том, что, быть может, это она, приводила его в ужас. Несколько секунд он стоял в нерешительности. Но, когда двое партизан вошли в трактир и осветили его взятым у четника фонарем, Вук вошел тоже. На полу, в лужах крови, среди опрокинутых стульев и лавок, лежали трупы убитых, засыпанные отвалившейся с потолка штукатуркой. Со стола, из разбитых бутылок и рюмок текло вино и смешивалось с кровью. Все та же ощеренная свиная голова лежала на столе и скалила зубы на Вука.

— Соберите оружие... — едва проговорил он и вышел на улицу, но тотчас вернулся, будто что-то забыл. Взяв свой фонарик, он осветил ту часть стола, где сидела женщина.

Рука его дрожала, и свет фонарика скользил и прыгал по трупам, по мебели, по закускам. Вук подошел ближе и посмотрел на убитую. Это была какая-то незнакомая женщина. Мертвая, она перевесилась через бородатого четника. Вуку сразу стало легче, но его охватило какое-то новое, неведомое ему прежде чувство.

— Несчастная!— забывшись, громко сказал он, охваченный жалостью к женщине.

Все вокруг — кровь, трупы, мертвая женщина — стало ему невыносимо гадко. Он быстро вышел на улицу и в изнеможении опустился на ступеньки крыльца, чтобы перевести дух. В левом ботинке он чувствовал что-то мокрое и теплое. «Что бы это могло быть?» — подумал Вук. Он и не заметил, как его ранили. Теплая струйка крови текла по его голени. Он встал, засунул руку в штанину и нащупал рану на бедре. Рана была неглубокой, пуля только сорвала и обожгла кожу. Он не удивился и не испугался и сразу отправился к связанным четникам, которых допрашивали партизаны.

— Вы меня знаете? — обратился к ним строгим голосом Вук.

— Нет, не знаем.

— А слыхали вы о партизане Вуке?

---

* Длинные волосы и борода были приметами четников.

— Слыхали.

— Это я и есть. А теперь говорите, где моя жена?

— Ее увез майор в штаб корпуса.

— А где находится штаб корпуса?

— В Калениче.

Вуку было стыдно расспрашивать при партизанах о жене и противно говорить о ней с четниками, но он не мог совладать с собой.

— Товарищи, немедленно подожгите общинное управление и уничтожьте почту. Позовите на помощь крестьян. Я останусь с этими бандитами, — приказал Вук.

— Мы не бандиты, товарищ!— протестовали пленные, которые лежали на снегу.

— Не называйте меня товарищем, убью! — крикнул Вук.

— Мы пойдем с вами... Покажем, где оружие и склад... Мы знаем всех, кто доносит на партизан. Мы... ошиблись. Нас заставили...

— Да замолчите вы, раз вас не спрашивают!— оборвал их Вук.

Четники притихли. Вук колебался, не решаясь расспрашивать их о жене, и все же не мог удержаться:

— Видел ее кто-нибудь у четников? Если соврете, — пристрелю!

— Я видел.

— А что она делает?

— Ничего. Стерегут ее в штабе.

— А она что? Разговаривает с кем-нибудь?

— Нет, все молчит. Тоскует. Головы не поднимает и все плачет. Один мой знакомый из штаба говорил, что она пыталась бежать, да ее поймали. Майор хотел ее за это убить.

— Пойдемте к штабу и освободим ее, — вмешался другой четник.— А если нам не удастся, убей нас.

— Замолчи, убийца! Молчи! Ты что же, падаль, думаешь, я ради жены воюю! Думаешь? Да?— взревел Вук и весь затрясся от злости. Он чувствовал себя оскорбленным и униженным. Разве он пришел сюда за тем, чтобы расспрашивать у этих кровавых убийц о своей жене? Он, командир партизанского отряда! Нет, он, видно, совсем рассудка лишился!

Над общинным управлением взвилось пламя. Огонь вырвался из окна, исчез и, снова появившись, взлетел вверх, разом охватив всю стену. Человек с десять мужчин и женщин без устали таскали солому и осоку и через окно бросали их в огонь. Скоро запылали двери и оконные рамы, пламя выбилось из-под стрехи и охватило крышу.

Здание общинного управления было построено из сухих бревен. Оно простояло больше 50 лет, обветшало и сейчас горело быстро и легко. По всей деревне лаяли собаки. Вук стоял и смотрел на пожар. Кто-то разбивал телефонный аппарат, выброшенный на дорогу.

— Пора идти. Что делать с Блаже?— сказали партизаны, подходя к командиру.

— С Блаже? А что с ним?

— Убили. Вот он.

Вук подошел к убитому партизану.

— Как его убили? Когда? — тихо спросил он после долгого молчания.

— Выстрелом из окна.

— Это вы его убийцы! — крикнул Вук и, не раздумывая, дал очередь из автомата по четникам.

В ближайшем доме партизаны нашли подводу и взяли с собой двух крестьян с лопатами, чтобы вырыть могилу. Они положили на телегу

убитого партизана и направились из деревни. Позади них догорало общинное управление.

Когда они вышли в поле, по ним вдруг откуда-то открыли огонь из винтовок.

Недалеко от деревни они остановились и похоронили товарища.

Возле деревни Вука партизан поджидала засада из нескольких человек с пулеметом и винтовками. Пулемет почему-то скоро замолчал, но из винтовок долго еще продолжали стрелять по черневшей вдали небольшой группе людей, которая быстро поднималась вдоль виноградников. Вук оглянулся и дал длинную очередь по четникам, по своей деревне, которая, как ему казалось, с сегодняшней ночи уже стала чужой.

27

Всю ночь в отряд являлись деревенские парни. Они приходили в одиночку и группами; это были новые партизаны. Павле, отоспавшись после нескольких бессонных ночей, встречал их, знакомился, разговаривал, давал партизанские клички. Он был в приподнятом настроении. Пополнение шло быстро, как в первые дни организации отряда.

Он вспоминал эти прежние дни и сравнивал их с тем, что происходило сейчас. Тогда было большое воодушевление, потому что все верили в быструю и легкую победу. Зато теперь было больше самоотверженности и решимости бороться до конца, добиться победы, которая, правда, не казалась уже такой близкой и заманчиво-прекрасной. Прежде победа и все, что она несла с собой, было просто желанной мечтою, теперь она стала жизненной необходимостью. Отвага всегда прекрасна, и если сначала она была совсем иной, то теперь, когда люди устали и изнемогли, истекая кровью в борьбе против сильного врага, ее сменила другая, та отвага, что была рождена самой борьбой.

После всего, что Павле пережил на Ястребце, борясь за осуществление своего замысла, он впервые почувствовал удовлетворение. Ему было приятно смотреть на молодых парней, хорошо одетых, с новенькими, еще не бывшими в употреблении винтовками, смазанными так густо, что на затворах проступало зеленоватое масло. Большинство партизан не спало, им было интересно смотреть на новичков. Они шутили насчет их «откормленных маузеров». Теперь они собирали лишнюю смазку и усердно протирали свои пересохшие затворы и стволы, покрытые ржавчиной и копотью. По отношению к новичкам старые партизаны держались доброжелательно, хотя и несколько таинственно, и не скрывали своего превосходства. Они шутили с ними, а молодежь разглядывала их с уважением и расспрашивала о командире и комиссаре.

Среди новичков один паренек особенно выделялся своей непринужденностью и разговорчивостью. Он упорно требовал, чтобы ему дали кличку Лютица *. Павле сразу же бросились в глаза его лицо, повадка и одежда. Высокий и смуглый парень говорил ломающимся баритоном, а в строгих и резких его чертах было что-то девически нежное. На нем была новая, богато расшитая гайтаном ** шумадийская куртка из синего сукна, пилотка, сделанная из лоскута офицерской шинели, и черные суконные брюки. Его опанки с длинными острыми носками были искусно сплетены, а короткие чулки вышиты красными цветами с зелеными листьями. Павле глядел на него с улыбкой и вспоминал, что когда-то в детстве он тоже мечтал о такой одежде. Да, именно о такой:

---

* Лютица — имя эпического сербского героя; означает «беспощадный», «жестокий».

** Гайтан — шелковый шнурок, которым расшивается национальная шумадийская одежда.

о расшитой куртке и чулках вот с таким узором. Парень был вооружен кавалерийским карабином с желтым, как воск, прикладом. Все на нем было самое новое и красивое.

— А ты, товарищ Лютица, нарядился, как на ярмарку. Изорвешь на войне свою красивую одежду — жалко! — обратился к нему Павле.

— Ничего не жалко, товарищ комиссар! Я нарочно надел, когда ушел в партизаны, самое лучшее, что у меня было. Люблю быть красиво одетым. Если я погибну, зачем мне одежда, а если останусь жив, еще лучше справлю. Зато, когда пойдем по деревням, пусть все увидят, что партизаны не голодранцы какие-нибудь, как болтают четники.

— А чулки тебе, видно, девушка подарила, на свадьбу? — продолжал Павле, которому доставляли удовольствие его ответы.

— Если правду сказать — точно! Вчера вечером! Это самые красивые из всех, что были у нее в сундуке. Но я, наверное, стою побольше этих чулок!—просто и как-то очень непосредственно похвастался парень.— А теперь скажи мне, почему вы, комиссары, носите кожаные сумки? Говорят, все комиссары носят такие.

— Ты думаешь, мы тоже франтим, а? — засмеялся Павле.

— Нет, я этого не говорю, только... кто его знает.

— Мы носим кожаные сумки для того, чтобы у нас инструмент не размок. Здесь лежит инструмент, которым мы, комиссары, делаем из франтов коммунистов.

— Слушай, пока мы здесь, спрячь-ка ты эту сумку!

— А зачем?

— А затем! Знаешь, что четники говорят: «Когда видишь группу партизан, бей в первого и в последнего — это главные. Особенно смотри, у кого кожаная сумка — в него и мети!»

Все засмеялись. Парень держался солидно, польщенный общим вниманием.

— Ты, товарищ, все хорошо, как следует обдумал, когда решил прийти к нам? — спросил кто-то из партизан, желая смутить новичка и сбить с него спесь.

— Конечно, товарищ. Я собирался целых полгода. Не бойся, я обо всем подумал. Сейчас мне думать уже больше не о чем. Будем воевать, а там посмотрим, — ответил уверенно парень.

Уже светало, и Павле велел всем идти спать, чтобы набраться сил. Он и сам прилег у плиты и попытался уснуть. Было холодно. Вук, Никола и Станко еще не возвращались, это немного тревожило Павле. Часовой доложил, что в трех разных направлениях он слышал взрывы гранат и пулеметные очереди, но стрельба продолжалась недолго. Пора уже было им вернуться. Павле понимал, что дальнейшие действия отряда на данном участке во многом зависят от успеха этих первых операций. Его охватывало все более сильное нетерпение. Партизан, спавший рядом с ним, громко сопел носом, словно выпуская пары,—вероятно, он неловко лежал. Новички о чем-то шептались. В комнате горела керосиновая лампа с привернутым фитилем: спекулянты и лавочники разбавляли керосин водой. Лампа с разбитым стеклом трещала. Копоть поднималась к потолку и растекалась по нему черными струйками.

В комнату вошел Джурдже.

— Где товарищ комиссар? — вполголоса спросил он.

— Здесь я! В чем дело?

— Вставай, мне нужно тебе кое-что сказать.

Шепот смолк. Новички подняли головы и испуганно посмотрели на Джурдже.

— Писарь удрал! — шепнул он Павле на ухо, когда тот поднялся.

— Удрал? Когда? Каким образом? Давай-ка выйдем!

Павле ошеломило это известие. Писарь укажет четникам место их лагеря. Враг уже на рассвете сможет напасть на них. Операция, которая намечалась на следующую ночь, провалится. Вести бой на этом участке днем опасно.

— Та-ак, хорошо... Ну черт с ним! А вы-то что делали? Нажрались и спите!— со злостью проговорил Павле, когда они вышли из дома.

— Он переоделся в женское платье и прошмыгнул в заднюю дверь. Часовой видел, как он перепрыгивает через изгородь, и стал кричать ему, приказывая остановиться. Но тот пустился в лес. А часовой не решился стрелять, боясь убить женщину из соседнего дома. Бросился за ним, да не догнал. Сбежал, сволочь! Наверно, прямо в четницкий штаб.

— А разве я вас не предупреждал, что это за тип? Вы сами видели, что он симулирует. Но ты, я слышу, раскудахтался в избе, корчишь из себя дурака. Вот всыплю я тебе за это, тогда узнаешь!

Джурдже молчал. Он был зол на себя за то, что не догадался связать писаря или перевести его в комнату к партизанам.

Они вместе вошли в дом. Партизаны волновались и ругали часового за то, что он не стрелял. Сима злобно шипел, торжествуя:

— Никто меня не слушает, Павле. Вчера вечером я говорил всем, и Джурдже, что хозяин этот подозрительный и что он что-то задумал. Чертов кулак — притворился больным! Он и жарким кормил нас, чтобы глаза замазать, а мы будто ослепли! Ведь видели, кто он, а вместо того, чтоб связать его, как медведя, ничего: «Болей, мол, болей!» Вот и упустили — сбежал. Так вам и надо! Не послушались меня!

— Где его домашние? — спросил Павле. — Пойдемте к ним!

Джурдже и Сима повели его на кухню. Там, согнувшись возле плиты, сидела старуха. Она смотрела в огонь и даже не обернулась на вошедших. На кровати лежала женщина и хмуро смотрела на них. Опустив голову и схватившись руками за оконные рамы, стояла девушка и громко плакала.

Несколько минут Павле молча их разглядывал. Затем медленно, с угрозой в голосе спросил:

— Ты хозяйка? Где твой муж?

— Бог его знает, где он. Ищите!

— Что? — крикнул Павле, вплотную подходя к женщине.

— Каждому своя жизнь дорога. Как же ему было не бежать, если вы хотели его убить ни за что ни про что!

— Замолчи, замолчи, мама! Неправда! Никто не собирался его убивать. Зачем его убивать? — перебила ее девушка. Она была, видимо, в страшном горе и говорила искренне.

— Нет, ты помолчи!

— Товарищи! Я пойду с вами... Примите меня... Я не могу больше жить здесь. Пусть я погибну, я не боюсь... — говорила, плача, девушка, обращаясь то к Павле, то к Джурдже.

— Нет уж, дочка! Я тебя родила и вскормила, я тебя и убью. Лучше тебе не жить такой.

— Говори, куда ушел твой муж?.. Говори, а не то я тебя сейчас...— Павле говорил негромко, но голос его дрожал от бешенства.

— Что ж, убейте! Это вы умеете!

— Свяжи ее! — крикнул Павле, обращаясь к Джурдже.

Девушка заплакала еще громче, а старуха начала причитать:

— Господи боже ты мой! Черный день наш настал... В рождество разоряют мой дом...

Джурдже вернулся с веревкой и схватил женщину за руки. Она пыталась вырваться, но к ней подскочил Сима, стоявший в дверях и на-

блюдавший за тем, что происходит в комнате. Они быстро связали ее.

— Сима, возьми винтовку и стереги ее! Знайте, если он выдаст нас, я сожгу ваш дом! — сказал Павле женщине, которая злобно и вызывающе смотрела ему прямо в лицо.

— Товарищи, возьмите меня с собой! — крикнула девушка.

Павле прошел в комнату к партизанам, предупредил их, чтобы они были наготове, и пошел в дом, где расположился второй взвод и штаб. Это был дом секретаря ячейки Союза коммунистической молодежи, который вместе со своими товарищами организовал службу оповещения и каждый час докладывал в штаб о том, что происходит в деревне.

Вскоре, почти одновременно, вернулись Вук, Никола и Станко. Все трое успешно справились с заданием. Правда, они потеряли двух товарищей. Павле рассказал Вуку о бегстве писаря и о том, что он опасается нападения четников. Мрачный и расстроенный Вук ответил, что он считает нападение невозможным, и улегся спать, ни слова не сказав Павле о том, что у него случилось.

Перед самым рассветом подошел Максим с последней группой новых партизан. Павле приказал дозорным отойти глубже в лес, вызвал секретаря Союза коммунистической молодежи, попросил его как можно скорей организовать разведку в близлежащих деревнях и внимательно следить за движением четников.

...Уже с самого раннего утра от деревни к деревне начали скакать верховые, — это были крестьяне из так называемой четницкой «сельской охраны». Они разнесли весть о том, что партизаны перешли Мораву, уничтожили три четницких штаба, убили несколько командиров, сожгли три общинных управления и нарушили телефонную и телеграфную связь во всем уезде. Вестовые на взмыленных лошадях сеяли панику. В их донесениях численность партизанского отряда все возрастала — с сорока человек до ста, со ста до двухсот, с двухсот до трехсот...

Но слух о партизанах мчался еще быстрее всадников, и не прошло двух часов, как все деревни в двух уездах, вплоть до Левача и даже еще дальше, уже знали, что партизаны где-то здесь, рядом. Может быть, в ближайшей деревне, может быть в этой, кто их знает!.. Может быть, они вот в этом доме, может, у соседа, может, здесь, в леске, в сторожке, в винограднике... Перекликаясь через плетни, крестьяне, кто испуганно, кто радостно, сообщали эту новость друг другу. Одни рассказывали, что партизаны ночью перебили более ста четников, заняли железную дорогу, окружили город, что у каждого третьего партизана пулемет, что они все молодые, грамотные, студенты и командует ими какая-то учительница по кличке «Богиня». А другие говорили, что они жгут в деревнях церкви, вешают священников на колокольнях, и уверяли, будто это усташи *, которые пришли из-за Дрины и теперь вырезают сербов всех поголовно, не щадя ни грудных младенцев, ни стариков. Третьи уверяли, что партизаны — добрые люди, непьющие, едят только хлеб да кукурузную кашу, за все платят и никого не трогают. Особенно подчеркивалось именно то, что они за все платят. Все это рассказывалось с такими деталями, как будто все видели их собственными глазами. И партизан описывали так подробно, словно долгое время жили бок о бок с ними.

Четники бежали из деревень. Рано утром в общинах никого уже не было. Председатели, секретари и кассиры, рассовав архивы по сеновалам и чердакам, бросились бежать без оглядки. Они помчались следом за четниками, стараясь уйти как можно дальше, сами не зная, куда бегут и где остановятся. Некоторые бросились в город, и там тоже на-

---

* Усташи — фашистские вооруженные отряды в Хорватии.

чалась паника. Трактирщики закрывали свои заведения, лавочники — лавки, попы торопились закончить рождественскую заутреню и спрятаться в бедных избенках у многодетных вдов.

Сельская стража зарывала винтовки и гранаты в чужое сено и солому.

К восьми часам улицы деревень были пусты. Только кое-где по садам и дворам, обезумев от страха, пробегал какой-нибудь запоздавший четник с винтовкой, торчащей из-под полы.

Всюду с минуты на минуту нетерпеливо ждали прихода партизан. Рассказывали, что партизаны уже в соседней деревне, идут сюда, что кто-то видел партизанский дозор и даже целую колонну. Но за этим слухом сразу последовал другой: нет, идут немцы с танками, а партизаны окопались, чтобы принять бой.

«Деревню сожгут! И откуда черт их принес именно в наше село!»

Так продолжалось почти до полудня. А потом в деревни стали возвращаться четницкие командиры, вооруженные до зубов. Они приказывали бить в барабаны, звонить в школьный и церковные колокола. Они объявили всеобщую мобилизацию. Запуганные крестьяне являлись под страхом смертной казни. Большинство все же уклонилось. Прибывших немедленно отправляли в соседние деревни собирать всех мужчин от двадцати до сорока лет. Но они заставали одних только женщин. На вопрос, где мужья, женщины хором отвечали, что мужья-де ушли вчера в другую деревню проведать родню, что они убежали ночью, как только услыхали стрельбу. Командирам удалось все же собрать некоторое количество крестьян. Многие ни за что не хотели уходить из своей деревни. Одни изъявляли желание остаться здесь и защищать село. Другие, более смелые, возмущались: что же они голыми руками будут драться с партизанами, когда те вооружены и пулеметами и минометами? Командиры раздавали винтовки, злобно грозили партизанам и кричали, что теперь вырежут их семьи, даже детей в колыбели. Вокруг мужиков, которых должны были отправить в другие села, чтобы включить в батальоны и в бригады, толпились женщины и дети. Они совали им котомки с жареным мясом и с рождественским калачом, бутылки и солдатские фляги с красным вином и крепкой ракией, сохранившиеся еще со времени капитуляции *. Крестьяне ругались, грозили. Некоторые пели, другие целовали ребятишек. Одни нежно, другие, наоборот, сурово прощались со своими женами, наказывая беречь детей. Многие громко умоляли тех, кому удалось скрыться от мобилизации, в случае своей гибели позаботиться о доме и детях. Некоторые наспех перечисляли домашним своих должников, чтобы те знали, кто и сколько им должен.

Среди мобилизованных ходил слух, что партизаны стреляют не хуже албанцев, прямо в лоб, и что их командир, «Богиня», ходит с пулеметом и поет:

Три на шапке моей рога
Веду войско против бога.

Вестовые все еще продолжали скакать неизвестно куда.

Густые, черные колонны крестьян — большая часть из них не имела винтовок — вливались в импровизированные бригады и батальоны, где их встречали строгие и злые бородачи с длинными волосами, вооруженные английскими автоматами, ножами и револьверами в кобурах, висевших на зеленых шнурках от английских парашютов. Одновременно

---

* Имеется в виду капитуляция королевской югославской армии перед гитлеровской Германией в мае 1941 г.

с «ротами» к месту сбора прибывали грузовики, битком набитые недичевцами, немецкими винтовками и ящиками с боеприпасами.

Обо всем этом Павле сообщал секретарь ячейки Союза коммунистической молодежи, который то и дело посылал своих людей и мальчишек-подростков в соседние деревни за новыми сведениями. Теперь все село уже знало, в чьих домах расположились партизаны. Четники и их приспешники удрали еще на рассвете: их предупредил писарь, который ушел вместе с ними. Павле с Вуком и Максимом решили, что рота засядет в лесу повыше деревни, дождется здесь четников и, только разгромив их, пойдет дальше. Павле вышел на улицу и направился к дому, где находился взвод Николы, чтобы взять у него человек десять партизан и попытаться с их помощью созвать митинг.

В доме писаря стоял шум. Сима кричал и грозил женщинам, которые набросились на девушку. Открыв сундук со своим приданым, девушка раздавала партизанам носки и рубашки.

— Что здесь такое! Ты что это делаешь, товарищ? — раздраженно закричал Павле.

— Раздаю все товарищам! Я иду с вами.

— Нельзя тебе идти с нами!

— Почему? Я всегда помогала партизанам. Вы спросите Бору, товарищ, он у нас секретарь Союза коммунистической молодежи, — говорила девушка, и губы ее дрожали от волнения.

— Возвратите ей вещи! Кто вам позволил брать? Это что такое? Мы кто, петлюровцы?!

— Товарищ Павле, девушка отдает все добровольно, она хочет идти с нами. Что ей делать у отца? Пусть идет с нами! — решительно взяла ее под защиту Бояна.

— Нет, нельзя! Верните ей вещи! — снова закричал Павле. — Будьте готовы! Мы идем на позиции. Отделение Джурдже — за мной!

Девушка заплакала.

— Почему ты со мной так обращаешься, товарищ?

Павле взглянул на нее. Его растрогало ее по-детски заплаканное лицо. Он опустил глаза и вышел в сени. Заглянув в кухню, он увидел, что там Сима отбивается от женщины, которая ползала по полу, целовала ему ноги и, рыдая, умоляла не уводить ее единственную дочь. Она предлагала ему все, что есть у нее в доме — и вещи и деньги,— и клялась вечно за него молиться. Пусть уж лучше убьют и ее, только не забирают ее дитя. Павле хотел что-то сказать Симе, но промолчал и вышел вслед за отделением. Женщины высовывались из окон и провожали их взглядами вдоль по улице. Мужчины исподтишка выглядывали из конюшен и сеновалов. Павле торопливо шел впереди Джурдже, на ходу крича крестьянам, чтобы они собирались на митинг.

Когда они дошли до общинного управления, Павле вошел в дом. Дверь была не заперта. В канцелярии на лавке, спиной к топившейся печке, лежал старик. В комнате стоял простой стол, залитый чернилами, испещренный мелкими витиеватыми писарскими росчерками, несколько стульев, телефон и старая сломанная железная касса, прислоненная к стене. Напротив двери висел немецкий плакат. На нем была изображена карта России с рассеченным пополам сердцем, обозначавшим Сталинград. Над сердцем был занесен штык, с которого капала кровь. По плакату крупными красными буквами шла надпись: «Сталинград пал!».

— Эй, дед! Ты чего это здесь?— с порога окликнул старика Павле. Тот обернулся, щурясь, словно еще не совсем проснувшись. Но увидев вооруженного человека, он кашлянул и ловко спрыгнул с лавки. Вытянувшись по команде «смирно», он быстро и молодцевато отрапортовал:

— Докладывает Веселин Плякич, бывший фельдфебель с салоникского фронта, командир второй пулеметной группы двадцать первого полка Шумадийской дивизии. Восемнадцать лет состою стражником здешней общины!

Павле улыбнулся и похлопал его по плечу:

— Хорошо, дед! Коль ты из Салоник, — честь тебе. А где председатель?

— Председатель и остальная власть ушли. Куда ушли — мне об этом не доложили,— отрапортовал тот, продолжая стоять навытяжку.

— А ну-ка, дед, зови крестьян на митинг. У тебя есть барабан?

— Все у меня есть.

— Хорошо! Ступай по деревне и кричи, что партизаны зовут всех на митинг.

Стражник взял барабан и вышел на улицу. Взмахнув несколько раз палочками, он ударил по сухой бараньей коже. Барабан загудел.

Небо подернулось облаками, было пасмурно. По деревенским улицам разносилась глухая барабанная дробь и слышался певучий голос стражника.

— Э-е-ей, люди! Партизаны зовут на митинг мужиков и баб — всех старше шести лет. Все на митинг к общине! Э-е-ей, люди!

Павле стоял на обветшавших ступеньках общинной избы и слушал. Партизан он разослал по ближним домам собирать крестьян.

Прошло немного времени. И вдруг на склоне горы затарахтел пулемет. Барабан умолк. Несколько крестьян, пришедших было на митинг, повернули обратно.

— Несите скорее солому, нужно поджечь общину. Вон там, за дорогой,— приказал Павле сбежавшимся со всех сторон партизанам.

Партизаны быстро притащили несколько охапок соломы и бросили ее под стол. Отшвырнув в сторону телефон, они свалили на стол лавки, стулья, сорванные плакаты и все подожгли. Ярко вспыхнуло пламя.

Стрельба усиливалась. Павле со своим отделением кинулся в сторону леска, рыжевшего на склоне, где все ожесточеннее, словно пожар, разгоралась стрельба. Партизаны, развернувшись в цепь на опушке леска, все еще ждали, не открывая огня. Четники били издалека. Когда Павле с группой своих бойцов достиг кустарника, где стоял такой треск от разрыва пуль дум-дум, будто горели мерзлые дубовые поленья, он решил лечь рядом с новичками. Новички вздрагивали при каждом выстреле и зарывались головой в снег. Так же вел себя и Лютица. Но, когда рядом с ним оказался комиссар, он, приподнявшись на локтях, стал подбодрять товарищей:

— Чего ты дрожишь как осиновый лист? Нечего бояться, не каждая пуля ведь попадает! Если бы каждая попадала...

— Так, Лютица, так! — Павле, не скрывая удовольствия и гордости, глядел на красивого парня.

Стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Павле воспользовался передышкой и уселся под дубом, чтоб написать донесение Брке в Окружной комитет. Положив на колено кожаную сумку, он вырвал из блокнота несколько листиков и начал писать. Но когда он дошел до расстрела Гвоздена, то задумался. Несколько раз он рвал донесение и начинал писать снова. Но слова казались ему пустыми, а доводы, которые он приводил, неубедительными. Едва он успел кое-как закончить письмо, как четники густой цепью двинулись в атаку. Вук передал по цепи приказ не открывать огня. Четники что-то кричали, стреляли на бегу, падали в снег, снова поднимались медленно и нерешительно. Они, видимо, хотели окружить лесок. Павле прикинул на глаз — их было не-

сколько сот человек. Когда они приблизились настолько, что могли его слышать, он поднялся и, прислонившись к дубу, обратился к насильно мобилизованным крестьянам с призывом не стрелять в партизан.

— В тебя целятся! Ложись! — испуганно крикнул Лютица.

Но Павле продолжал стоять. Он громко рассказывал крестьянам о борьбе партизан за свободу и призывал их повернуть оружие против офицеров и четников. Среди четников наступило явное замешательство. Раздавались только одиночные выстрелы. И лишь пулемет строчил длинными очередями, словно стараясь прострочить комиссара.

Из рядов четников, лежавших на снегу, поднялся один. Его длинные всклокоченные волосы падали на шинель. Он начал грозить партизанам, называя их иудами и усташами. Один из партизан направил на него автомат. Он замолчал и бросился в снег. Голос его показался Павле знакомым. «Уж не Васич ли это?» — подумал он, прячась за дубом. Тот же четник скомандовал в атаку. Часть четников и крестьян поднялась и пошла вслед за ним. Но, встреченные партизанским огнем, они опять залегли. Некоторые в панике пустились бежать.

— Не отступать! Огонь! Убью! — грозил тот же четник, держа автомат. Он стоял вызывающе выпрямившись. Цепь четников залегла снова. Партизаны продолжали стрелять. Четники попытались обойти их на левом фланге. Вук, пригибаясь, подбежал к Павле. Они быстро приняли решение: каждый второй в цепи должен повернуться лицом к четникам, заходившим с тыла. Прорыв решили отложить до сумерек.

Четники несколько раз переходили в атаку. Они били, не жалея боеприпасов. С наступлением сумерек по команде Вука партизаны пошли на прорыв. Все новички, кроме Лютицы — он бежал впереди — отстали, поминутно бросаясь в снег. Павле вернулся к ним и, ободряя, повел их за собой. Бой продолжался недолго. Четники сначала медленно, потом бегом начали отступать. В сгустившихся сумерках чернели их трупы на сером, истоптанном снегу, словно пни на вырубке.

Стемнело. Стрельба постепенно затихла. Вук скомандовал сбор. Партизаны собрались у дороги, огороженной высокой изгородью. Пересчитались. Недоставало четверых, среди них и Лютицы. Во время атаки он отстал от Павле, и тот потерял его из виду.

— Погиб?! — воскликнул Павле. Он взял с собой несколько бойцов и отправился на поиски. Лютица лежал между двумя убитыми четниками, немного согнувшись, словно намереваясь приподняться. Рука его сжимала ствол нового желтого кавалерийского карабина. Павле, взволнованный, молча стоял возле него. Подошли остальные бойцы. Он приказал им отнести Лютицу и похоронить под деревом у дороги. Они подняли убитого. Раны не было видно, только по новому суконному гуню тонкими струйками стекала кровь. Партизаны прикладами разгребали снег. Один из них взял винтовку Лютицы.

— Не трогай! — сказал Павле.

— Почему? Такая хорошая винтовка!

— Была хорошая, да его. Пусть при нем и останется. — Павле вздохнул и пошел назад.

Вук уже построил отряд для выступления. В строю, рядом с Бояной, стояла писарская дочка с трофейной винтовкой и сумкой. Когда подошел Павле, она спряталась за спиной у Бояны, боясь, что он ее заметит. Но Павле и не видел ее. Он передал Йовану письмо для Брки и велел возвратиться с ответом как можно скорее.

Вук скомандовал выступление, и колонна двинулась по виноградникам.

28

Как высокое дерево в бурю гнется к земле, так и Уча приклонился к Павле. Но когда буря прошла, он отпрянул назад и, покачнувшись еще несколько раз, выпрямился, несгибаемый и упрямый. Следуя своему убеждению и совести, Уча изменил план Павле. Он решил не идти на Копаоник и остался на Ястребце.

В самом деле, вначале события, казалось, подтвердили правоту Учи, укрепили его в мысли, что он поступил правильно. Рота произвела несколько успешных налетов на немецко-болгарские фашистские части в горах и держала их теперь в постоянном страхе. Врагу казалось, что за каждым склоном, за каждым деревом, камнем и кустом его поджидает быстрый и меткий партизанский залп. Партизаны снова превратились в невидимую, неуловимую силу, стали дерзким врагом, который может появиться в любую минуту и в любом месте. Вражеские колонны, рыскавшие по Ястребцу в поисках партизан, стали действовать осторожнее и медленнее.

После неудачной попытки уйти из Ястребца и пробиться в долину, к партизанам снова вернулась вера в свои силы. Они совсем забыли тяжелые, обидные слова, сказанные Учей, и больше, чем прежде, сблизились с ним. Партизаны голодали и мерзли, но никто ни словом, ни жестом не выразил своего недовольства, никто не осудил и не попрекнул командира, и он теперь тоже ощущал себя ближе к бойцам.

Крестьяне, которые ушли из своих деревень и скрывались в горах, прикармливали партизан. Бойцы брали у них хлеб и с аптекарской точностью делили его между собой сначала на куски, потом на кусочки, наконец на крохи величиной с ноготь. Это были никчемно маленькие порции для изголодавшихся людей. Но даже обжоры и эгоисты, умевшие думать только о себе, теперь словно переродились: никто больше не жаловался на голод, не спорил с ротным экономом из-за якобы неравных порций. Пулеметчики не требовали, чтобы им помогали нести в гору пулемет; их помощники молча, терпеливо тащили боеприпасы. Не слышно было обычного ворчания и пререканий. Когда отряду удавалось на несколько часов сделать привал, командиры взводов не назначали больных и слабых ни в караул, ни разводящими. Никому не казалось странным, что после гибели комиссара Мирка Вуксан сам взял на себя политическое руководство ротой, и никто не обижался, когда он заставлял их по двадцать раз читать «Историю ВКП(б)» (изучение ее за истекший год так и не продвинулось дальше четвертой главы). От голода, усталости, от беспрерывных, круглосуточных переходов по горам бойцы часто теряли сознание. Но рота все же продолжала действовать. Она подкарауливала врага, набрасывалась на него, как зверь, врубалась в неприятельские колонны, рвала их, пробивалась, уходила и снова нападала. Наперекор усталости всегда и везде рота показывала врагу свою силу.

Рана на руке Учи зарастала быстро. При всей неопределенности ситуации он чувствовал себя спокойным и уверенным, потому что поступил так, как считал нужным. Он твердо верил, что, приняв это решение, не только спас роту, но и наносит немцам серьезнейшие удары. И он испытывал гордость от сознания, что его рота, эта горстка людей, не дает покоя нескольким тысячам вражеских солдат и оставляет в дураках все немецкое командование. Ему льстила мысль, что наступлением против них командует какой-нибудь немецкий генерал, которого отозвали, быть может, с африканского или Восточного фронта, что генерал этот, вероятно, окончил две академии, знает все существующие теории войны, возможно, побеждал русских и английских генералов и награж-

ден железным крестом с дубовыми листьями. А он — простой сербский учитель, бывший подпоручик запаса разбитой армии *, который из всей военной литературы прочитал две-три биографии великих полководцев и несколько брошюр по тактике времен первой мировой войны. И вот он, этот учитель, без артиллерии, почти без пулеметов, имея под началом молодых парней, большинство которых до прихода в отряд не знало даже, как держать винтовку,— он соперничает теперь с генералом и таскает его армию по горам.

Уча надеялся, что немцы скоро увидят безнадежность своих попыток уничтожить роту, поймут, как бессмысленно содержать такую армию ради одного партизанского отряда, и уйдут. Тогда он спустится с гор, сойдет в равнину, ворвется в город, овладеет шоссейными и железными дорогами. Если Павле не погиб еще — впрочем, он, конечно, потерпел поражение, — он неизбежно убедится в своей катастрофической ошибке. Он вынужден будет признать, что Уча поступил правильно, оставшись на Ястребце. Павле придется, наконец, призадуматься над своей неоправданной самонадеянностью.

А потом зашумит весна, зазеленеют горы и подымется Сербия. Партизанские отряды превратятся в регулярную армию, навсегда спустятся с гор. Рота начнет постепенно увеличиваться, станет бригадой, а в один прекрасный день, наверное, и дивизией.

Уча вспоминал Бояну, их разговор о смерти, об угасающем роде Живичей, и ему было стыдно за свои слова. Только бы с ней ничего не случилось... Это единственное, что его пугало.

Но это продолжалось всего лишь четыре дня.

Как только рота Павле начала действовать по ту сторону Моравы, немцы поняли, что на Ястребце осталась лишь часть партизан, и то, вероятно, незначительная; и тогда они бросили все свои силы против отряда Учи, решив уничтожить его окончательно. Даже те части, которые стояли по деревням, чтобы перерезать партизанам пути снабжения, были двинуты в горы и начали систематическое преследование. По пути они перебили всех крестьян, которые ушли из своих деревень на Ястребац и скрывались здесь в пещерах и землянках. Болгарские и сербские фашисты вешали их тут же, на обнаженных ветках буков. Они все тесней окружали партизан, преследовали их днем и ночью, не давая ни минуты передышки.

Партизаны потерпели два поражения, потеряли несколько человек и вынуждены были оставить раненых, которых не смогли унести с собой. Рота металась в горах. Уча больше не мог удерживать инициативу, не мог даже направлять движение отряда. Стоило партизанам пробиться сквозь вражескую цепь и вырваться из одного мешка, как они тут же попадали в другой. Укрываясь в густом хвойном лесу, они бессмысленно кружили по Соколовицкой долине. Враг загнал их сюда и держал в окружении. Однажды они заночевали возле буков, на которых были повешены партизаны и захваченные немцами раненые. Ночь была мглистая,

---

* События романа развертываются на территории, где югославским партизанам пришлось вести борьбу против гитлеровцев, лётичевцев, недичевцев и воинских частей монархо-фашистской Болгарии.

В 1944 году, после народного восстания в Болгарии, болгарская армия была очищена от фашистских элементов. Представители болгарского народа, части его армии совместно с войсками югославской народно-освободительной армии вели бои за освобождение Югославии от фашистской оккупации. *(Прим. ред.)*.

партизаны не сразу заметили повешенных. Только под утро кто-то увидел окоченевшие трупы, висевшие на деревьях, и, вскрикнув от страха, бросился бежать. Партизаны подняли головы и замерли от ужаса. Уча немедленно приказал выступить, и рота быстро двинулась через лес. Позади них продолжали раскачиваться на ветру окоченевшие трупы. Головы мертвецов свесились набок. Рота пробиралась сквозь кустарник. У людей подкашивались от ужаса ноги. Их парализовал страх в ожидании врага.

Страх охватил почти всех. Словно здоровый человек, умирающий от внезапной неизлечимой болезни, рота умирала от сознания своего бессилия. Она умирала тихой, медленной смертью, и у нее было время подумать о себе и о своей жизни, почувствовать жалость и отчаяние.

Прошло три дня, в течение которых враг беспрерывно преследовал партизан. Они все время попадали в засады, терпели поражения. Рота совсем обессилела и уже не решалась передвигаться днем. Теперь с наступлением рассвета партизаны забивались в чащу или в какую-нибудь пещеру. Здесь они сидели целый день и дремали от голода, холода и усталости.

Уча отбирал самых надежных людей и посылал их, по три человека сразу, в деревни за продуктами. В последние несколько дней совсем перестали попадаться крестьяне, бежавшие на Ястребац, и снабжение становилось все более затруднительным. Партизаны добирались до деревень, прокрадывались к крестьянским избам, где часто стояли вражеские солдаты, и, прячась в хлевах и конюшнях, ждали, не появится ли кто-нибудь из хозяев. Хозяева тайком выносили хлеб и какую-нибудь еду и молили их больше не приходить. Случалось и так, что партизаны, посланные в деревню, отходили на несколько сот метров от роты. Простояв положенное время, они возвращались с пустыми руками и уверяли товарищей, что наскочили на засаду, что по ним открыли огонь, и они не смогли дойти до деревни.

— Какая там засада, когда и стрельбы никакой не было?—спрашивал Уча.

— Как это не было? По нам дали несколько очередей из пулемета! Вы, вероятно, просто не слышали.

— Да нечего было и слышать! Врете вы, а еще партизаны!

— Неужели ты сомневаешься в нас? Трусы мы, что ли?

— Конечно, трусы, а то кто же!

Но они не были трусами. И Уча знал это, и именно поэтому у него опускались руки. Он не видел способа поднять боевой дух людей. Уча понимал, почему они лгут. Им казалось легче умереть от голода. Голодная смерть приходит незаметно, не сразу — может быть, удастся хоть немного еще пожить, — и они инстинктивно выбирали именно этот род смерти. С каждым днем рота голодала все больше, бойцы изнемогали, теряли последние силы и способность бороться, двигаться. Теперь только при помощи строжайшего приказа Уче удавалось послать партизан в деревню за продуктами.

— Нечего меня гнать! Сам иди! — огрызнулся как-то один боец.

— Что? Это ты со мной так говоришь?! — рявкнул Уча, и рука его невольно схватилась за револьвер.

Но когда он успокоился, ему стало стыдно за себя. Он отошел в сторону и задумался. Он пытался посмотреть на себя со стороны, как человек, который рассматривает свое отражение в колодце. Что случилось? Почему вдруг все изменилось?.. Это конец?.. Где взять людей? За несколько последних дней рота уменьшилась на двадцать три человека. Погибли все члены партии, кроме Учи и Вуксана. В прошлую ночь трое дезертировали. Как все это случилось? Не может же он револьвером

заставить их действовать? Ужасно! Невероятно! Страх опустошил души, лишил рассудка людей! Нужно драться и победить или погибнуть. Драться и после погибнуть. Он должен напасть на врагов, должен напасть первый. Пусть их будет тысяча — все равно он нападет! Бойцы так пали духом потому, что они отступают. Больше этого не будет. Он сейчас же скажет им об этом. И Уча вернулся к партизанам, которые ворчали, недовольные его поведением.

Увидев командира, они затихли и молча уставились на него. Казалось, что говорят только их глаза. Некоторые, словно виноватые, отвели взгляд. Уча вздрогнул.

— Будем ли, товарищи, атаковать немцев? Сегодня мы обязаны напасть! — глухим, сдавленным голосом проговорил он.

Партизаны, пораженные его словами, переглянулись и снова безмолвно вперили взгляд в командира.

— Обязаны! Вы согласны со мной?

— Да! — разом ответило несколько голосов.

Уча стоял, обводя их взглядом. Они сидели на снегу, тесно прижавшись друг к другу и дрожа от холода. Их посиневшие лица выражали отчаяние и безучастие.

— Хорошо! Приготовьтесь к выступлению, — добавил он строгим голосом после паузы.

Уча решил пересечь лес и неожиданно напасть на какую-нибудь небольшую вражескую группировку. Он знал, что бой этот обязательно должен привести к победе. Иначе все останется по-старому.

По звуку стрельбы Уча догадался, что рота охвачена вражеской дугой. Она сжималась на обоих флангах, и отряду грозило окружение. Уча передал по цепи команду прекратить огонь, пока не начнется атака.

Как только враг бросился в атаку, партизаны ответили бешеным огнем и приостановили продвижение противника в центре. Но на флангах враг начал с громкими криками окружать бойцов. Уча понял, какая им угрожает опасность. Он совсем растерялся. Если они отступят сейчас, цель, которую он ставил перед боем, не будет достигнута. Оставаться на месте и ждать, чтобы их окружили, — опасно. Потерпеть поражение, бежать, прятаться — еще хуже, еще страшней. Нет! Он будет ждать, пока враг встанет, двинется, и тогда он атакует его и пробьется в тыл. Да, это самое лучшее! Атака воодушевляет людей. Атака, и только атака! Это единственное спасение!

Но вышло совсем по-другому, чем он ждал и надеялся. Партизаны почувствовали, что их окружают, и, не дожидаясь его команды, бросились назад. Бегство! Поражение!.. Перебьют нас всех до единого...

Уча поднялся. Он кричал и грозил, пытаясь задержать бойцов. Но все было напрасно. Не обращая внимания на вражеский огонь, он бежал за ними, бежал, забывая, что нужно командовать, и только говорил, обращаясь к самому себе: «Что это с нами? Отчего? Неужели опять?..» Кроме нескольких человек — среди них были Вуксан и Малиша, не отстававший от Учи, — все без оглядки мчались в густой лес.

Когда противник понял, что произошло, он бросился в атаку. Уча упал на колени возле сосны и дал очередь из пулемета по группе неприятеля, бегущей прямо на него. Свалились убитые и раненые, остальные повернули обратно. Уча был в исступлении, он стрелял, как в бреду.

Враг теснил со всех сторон. Наконец отступил и Вуксан. Учу охватил страх, какого он не испытывал еще никогда в жизни. Это не был страх перед врагом — нет, это был страх, вызванный разочарованием в товарищах. Он порождал неверие в собственные силы, он возникал при мысли: «Что будет с ними?» Мысль эта не была сознательной и ясной.

«Что будет с ними?» — только на этом вопросе сосредоточились целиком его помыслы и чувства. Онемев от страха, отрешившись от всего, Уча стоял, опустив автомат и глядя в лес.

— Ты что же это не стреляешь, товарищ Уча? — строго и с удивлением прикрикнул на него Малиша.

Но Уча продолжал стоять в том же положении, словно не слыша.

— Беги, чего ждешь! — кричал Малиша, боясь, как бы в Учу не попала пуля. Он хотел было подбежать к командиру и оттащить его прочь, но Уча вдруг очнулся, дал несколько очередей и шепнул Малише:

— Пошли!

Им едва удалось пробиться. Наконец они вышли из-под огня и пошли ложбинкой по следу. Тут их нагнал Вуксан.

— Что это с нами делается, Уча? Если и дальше так пойдет, мы погибли... Нужно созвать ротное собрание... Пусть только в следующий раз кто-нибудь побежит, застрелю, — запыхавшись промолвил Вуксан.

— Нет, мы не погибли! Почему это мы погибли? — сурово, словно споря с ним, ответил Уча и замолчал. «Да, нужно устроить собрание!»— решил он про себя. Но тут же, обдумывая, что сказать бойцам, он понял, что теперь все уже бесполезно и ненужно. «Что я скажу им? — Ничего! Им нужна победа. Только победа может спасти их. А они не в состоянии победить... Пулю в сердце, чтоб больше не билось... пулю в голову, чтобы больше не думать... А как же люди, которых он ведет? Которыми он командует? Они хотят жить. Жить!.. Поэтому и бегут». Он шел молча, голова у него была тяжелой и гудела как улей.

Партизаны выходили из леса. Постепенно все собрались вокруг Учи. Те, кто бросились бежать первыми, остались ждать на полянке. Смущенные и пристыженные, они поглядывали на Учу, низко опустив голову.

— Что, драпанули?— злорадно спросил Малиша.

Бойцы ничего не ответили. Уча не мог произнести ни слова. Усталый и погруженный в свои думы, он присел на торчавший из-под снега ствол сосенки.

Болгарские части не оставляли их в покое. Они начали обстреливать уже из ложбины. Партизаны вскочили и направились вслед за Учей поглубже в лес. Но с соседнего склона их заметили немцы и тоже открыли огонь. Густая короткая колонна партизан углубилась в сосновую чащу и направилась к пещерам возле Больших Склонов. Выстрелы слышались теперь и позади, и сверху, и из долины. Уча, казалось, даже не думал, в каком направлении двигаться. Он хотел только как можно дальше уйти от стрельбы, все равно куда, только чтобы хоть немного передохнуть. Но враг, обнаружив их, шел за ними по пятам. Враг упорно преследовал партизан, оттесняя их к каменистому склону. Партизанам негде было развернуться. Уча возлагал все свои надежды на ночь. Ночью они должны пробиться. Правда, он сомневался в успехе этой операции, но, тем не менее, мечтал, чтобы поскорей наступила ночь, чтобы в лесу стало хоть немного спокойней и тише.

В сумерках они остановились на опушке леса. Отсюда начинался подъем по длинному каменистому склону к самой вершине горы. Уча выставил часовых и присоединился к партизанам. Они сидели молча, якобы занятые чисткой оружия и починкой обуви. Уча чувствовал потребность поговорить, посоветоваться. Но с кем? С Вуксаном? Вуксан ничем не может помочь. Он даже не член штаба. Правда, Вуксан — член партии и секретарь Союза коммунистической молодежи в отряде, но сейчас это не имеет ровно никакого значения. А кроме того, он, пожалуй, еще решит, что командир раскаивается в том, что нарушил решение партии и штаба, и хочет разделить с кем-нибудь ответственность. Нет! Он всегда до всего додумывался своей головой и теперь тоже все

решит сам. И вдруг неожиданно, как бы вопреки собственному желанию, Уча тихо сказал, обращаясь к сидевшим возле него партизанам:

— Ну, товарищи, как вы думаете? Что нам делать? Так дальше продолжаться не может. Мы пошли в атаку на врага, но вы бросились бежать, как только началась стрельба. Вы поддались панике, страху, вас завертело, как листья на ветру. Не пойму, что с вами делается... — Он говорил медленно и устало, останавливаясь после каждой фразы, словно раздумывая, что сказать.

— Вы не только не хотите воевать как положено, вы распустились, утратили дисциплину, превратились в эгоистов, нытиков. На кого это вы нынче ночью кричали, что он тайком хлеб ест? Это, конечно, кто-нибудь из тех, кто доставляет продукты?

Партизаны слушали, хмурясь, не поднимая глаз. Им было стыдно и за себя и за товарищей. Видно было, что они еще хуже думают о себе, чем тот, кто их упрекает.

— Как же тут воевать, когда на одного прет целая сотня! — вскричал в ярости на себя, на Учу, на весь свет партизан, которого задело за живое это молчание.

— Нет у меня сил больше воевать! Я так голоден, что не вижу, куда стреляю...

— И я тоже. Не могу больше голодать!

Партизаны подняли крик, поддерживая своего товарища и дружно нападая на Учу.

— Чего же вы сами не командуете, раз лучше его все знаете? — сказал Малиша. — Товарищи, вы, да и я тоже,— чего уж тут скрывать— превратились в трусов. И нечего нападать на Учу. Это не по-товарищески. Он ведет нас в атаку, а вы тягу даете. Не может же он один воевать... Вот именно.— И Малиша погрозил кулаком.

Партизаны не обратили внимания на его слова. Но он нападал на них все смелее, называя их трусами и показывая в лицах, как каждый бежал с поля боя. Уче было неприятно, что его защищают, а тем более Малиша. Он попросил мальчика замолчать.

— Я полноправный партизан и имею право говорить все, что думаю,— отвечал Малиша.

— А я требую, чтобы мы судили тех, кто украл у роты хлеб. Эти люди недостойны находиться среди нас!— заявил Вуксан.

— Неправда, мы не крали хлеб. Мы свой паек сберегли, — отозвался один из бойцов, новичок, которого Йован несколько дней назад привел из города.

— Не стыдно тебе врать! — напал на него Гаравко. Вспыхнула ссора, и вскоре перессорились все, даже те, которые молчали, пока дело касалось Учи.

Темнота выползала из черного бора. В горах ночь наступает быстро. Днем, невидимая, скрытая, она прячется в кронах деревьев, в долинах, в пещерах. И неожиданно она вдруг окутывает лес и сливается с мрачным небом, словно пытаясь стащить его на землю.

Уча решил прекратить все эти разговоры и споры.

Его больно задело, что большинство партизан считает его виновным в поражении роты. Но он попрежнему верил, что еще не все пропало, что еще можно что-то предпринять. Только словами тут ничего не поделаешь.

— Довольно ссориться! — сказал он решительно. — Враг рядом. Я уверен, что не ошибся, оставшись на Ястребце.— Он замолчал, не зная, что еще сказать, а сказать что-то было необходимо...

Он встал, глубоко и громко вздохнул и продолжал:

— Мы коммунисты. Разве мы можем, разве мы смеем умирать

жалкими и разбитыми?.. Разве мы можем допустить, чтобы враг перебил нас, как затравленных зверей? Если мы не сумеем победить, отряд погибнет. Товарищи... Неужели мы уже не те, которые так геройски сражались всего несколько дней назад? Что это с нами случилось? Лучше, честное слово, лучше погибнуть по-человечески, как подобает партизанам, чем жить в таком состоянии, как сейчас. — И он снова шумно перевел дыхание. Казалось, что это не вздох, а предсмертный хрип. Горячие молоточки стучали у него в висках, и в глазах, обжигая веки, стояли слезы.

— Лучше! — сказал кто-то в темноте.

— Лучше! — подтвердил другой.

— Ночью мы пробьемся... Идем! Под скалой нет снега... — прошептал Уча. Он жалел, что в темноте не может видеть их лица.

Партизаны шли за ним следом. Они казались темной глыбой...

29

Темная, непроглядная ночь, как громадный черный медведь, разлеглась на горах. Вблизи пылают вражеские костры, окружая партизан огненным кольцом. Тусклый багровый свет прорезает мрак и ползет над сосновым лесом. Костры напоминают раны и большие ожоги на темном теле ночи. Нарушая тишину, немолчно перекликаются совы.

Партизаны собрались под скалой, которая нависла над ними, как крыша. Здесь не было снега, темнота казалась еще гуще, и люди узнавали друг друга только по голосам. Партизаны разгребли песок и листья, устраивая себе ночлег. Перешептываясь друг с другом, они ждали полуночи, когда был назначен прорыв.

Прислонившись к уступу скалы, Уча смотрел на костры неприятеля. У него было только одно желание, только одно стремление — погибнуть смертью героя, так, чтобы о нем помнили партизаны, народ и враги. Он мечтал встретить смерть так же бесстрашно, как Гвозден. И мысль его все время возвращалась к заместителю командира, к подробностям его жизни и гибели. Он не раскаивался в том, что вместе с другими приговорил партизана к расстрелу. Но сейчас он еще больше, чем раньше, восхищался его героизмом и, несмотря на внутреннее сопротивление, чувствовал, что пример Гвоздена будит в нем какую-то могучую силу, страстное желание броситься сразу, немедленно в эту тьму, голыми руками затушить вражеские костры. «Нет, нельзя незаметно и тихо уйти из жизни, из борьбы. Нужно уйти так, чтобы люди запомнили твой уход. Погибнуть красиво и гордо!.. Эх, люди!.. Пока мы побеждали, все вы были отважными, все были героями. Ничего эта храбрость не стоит! Настоящая храбрость, настоящее геройство — это мужество при поражении. И это единственное, что еще остается мне... Павле, конечно, хлебнул горя. И мне нет счастья. Нет, не суждено, видно. Живичам жить. Мой последний долг — умереть, как герою. Если и это не удастся, лучше бы мне не родиться на свет. Но почему же я непременно должен погибнуть?.. Может быть... Нет, это просто самообман!»

И вдруг все его мысли сосредоточились на одном желании — закурить. Одну только «Зету» *... и все. Ему казалось, что язык и губы у него зудят, что он не вынесет этой жажды. Но он хорошо знал, что ни у кого в роте не было табака. Рядом с ним в темноте — он не мог разглядеть, кто именно, — шептались двое бойцов. Стараясь заглушить мучившую его жажду, он стал прислушиваться к их разговору.

---

* «Зета» — сорт сигарет.

— Чего же еще воевать, раз наш отряд уже разбит? Первая рота, конечно, уничтожена, нас тоже искромсали...

— Погиб и отряд и все вокруг! Деревни уничтожены... Русские отступают... Никак не остановятся. А мы говорили, что это их тактика. Какая уж тут тактика! Все полетело кувырком.

— И кто знает, что сталось с пролетарскими отрядами в Боснии? О них ничего больше не слышно. А с нашими остальными дивизиями? Павле рассказывали, и тот город мы взяли, и другой, и про свободную территорию... Может, все это только одна пропаганда?

— Может быть! Откуда у наших радиостанция? Эта «Свободная Югославия», наверное, находится где-нибудь в России. Но откуда же они могут каждый день знать, что делается в Боснии?

— Наши поступают безрассудно. Где уж нам воевать с Германией, когда она победила весь мир! Красная Армия ничего против немцев сделать не может, ее прижали к Волге. А что можем мы сделать в нашем положении?.. Безоружные, голые и босые... Нет, Гвозден был прав... Если бы хоть русские наступали, тогда не обидно было бы и погибнуть, честное слово, мне не жаль было бы умереть.

— А за что расстреляли Гвоздена?.. Старого партизана и заместителя командира. Он не заслужил этого. Мало того, что немцы нас бьют, нет, мы еще сами себя истреблять стали. Видно, слишком нас много!

— А где теперь Павле и Вук?

— А кто их знает! Может быть, где-нибудь в Шумадии.

— Черт подери, может, и вправду лучше было бы прорвать блокаду и уйти? Может, мы и уцелели бы?

— Да, теперь, выходит, мы одни во всем виноваты. Давеча Уча грозил мне револьвером. А за что? Сам довел нас до этого. Нет, уж если командир поднимает револьвер на собственного бойца, значит армии конец.

Уча не мог больше выдержать. Он открыл было рот, но только кашлянул и промолчал. Голоса затихли. «Разговаривают и размышляют двое, а кажется, что слышишь одного человека. Вот оно! Началось!.. И как с этим бороться?» — с горечью подумал Уча.

— Но я не сдамся! — прошептал он, словно защищаясь и споря с кем-то в бреду.

— Товарищ Уча, с кем это ты разговариваешь? Почему не спишь?— спросил Малиша, лежавший, свернувшись в клубок, возле него. Он ни днем, ни ночью не отходил от командира. Но сейчас Уча почти забыл о его существовании.

— Ни с кем не говорю. Рука у меня болит, — ответил Уча, сердясь на себя за то, что Малиша все слышал и теперь, пожалуй, разочаруется. «Нужно, чтобы ребенок верил в меня и никогда ничего не боялся».

— Если болит рука, ты думай о чем-нибудь другом. Когда у меня что-нибудь болит, я всегда так делаю.

— А о чем мне думать, Малиша? — шепотом спросил Уча.

— Да ты думай о чем-нибудь хорошем. Вот тебе жилось хорошо до немцев, ты был господином, не пахал земли, не страдал, как мы, крестьяне. Вам, господам, было легко. Вы ели пшеничный хлеб, пили сливки.

— Не был я, Малиша, господином. Так же, как ты, страдал. Когда учился в начальной школе, приходилось мне и пахать, потому что я рос без отца. Мы с матерью жили вдвоем. Потом поступил в гимназию. И там трудно было. Целую неделю ел один сухой хлеб, который мать приносила по субботам. Денег на книги не было...— И Уча начал рассказывать о годах учения, о своем прошлом. Сначала он испытывал как бы неловкость от того, что говорит обо всем этом с Малишей. Но его словно что-то толкало рассказать этой ночью всю свою жизнь. А начав го-

ворить, он, словно исповедуясь, уже не думал, что Малиша может его не понять. Уче доставляло удовольствие рассказывать все именно Малише, который меньше их знал жизнь и, вероятно поэтому, меньше боялся смерти.

Наконец Уча закончил свою длинную исповедь, и Малиша сказал:

— А теперь думай о том, что будет, когда кончится война. Ты станешь большим начальством... И тебе будет хорошо и легко.

— Эх, Малиша, милый... Я и тогда не буду начальством.

— Почему не будешь? Заслужил — значит будешь. И ты, и товарищ Павле.

— Малиша, я воюю за то, чтобы и ты, и все твои сверстники, мои ученики, жили, как господа. Вы будете хозяевами.

— А кто же тогда будет работать, если все мы будем хозяевами?

— Мы все будем и работать, и жить как господа.

— Э-э! Нет! Так не бывает. Я лично уже решил — я не стану пахать. Какой толк от мотыги и от этой каменистой земли? Хочу учиться на судью.

— Почему именно на судью?

— Хочу судить справедливо, по-партизански. Это очень важно для крестьян. Я хочу, чтобы со всеми всегда поступали по справедливости.

— Нет, тебе нужно учиться на инженера, будешь делать машины. Или станешь доктором, людей лечить. Здесь, в Соколовице, построим большие дома, где люди будут отдыхать и лечиться.

— Нет, я не могу быть врачом. Насмотрелся я на раны и на трупы, хватит с меня на всю жизнь! Я буду судить, судить по правде. Только бы выбраться из этого окружения! Уж очень крепко жмут они нас. Не знаю, чем все и кончится.

— Пробьемся, Малиша, не бойся! Пробьемся! Разве нам впервые? Только бы продержаться еще дня два-три.

Малиша замолчал.

«Видно, я говорю недостаточно убедительно. Он, вероятно, по голосу чувствует, что я и сам в это не верю»,— подумал Уча. И, обняв мальчугана, он прижался к нему и сказал:

— Ничего, всех одолеем... Ты вырастешь, состаришься... И придешь когда-нибудь в свою родную деревню, соберешь вокруг себя ребятишек и скажешь: «Видите этого карапуза? Я был не больше, чем он, когда пошел воевать с немцами. Вот таким я был, когда пошел в партизаны!» Ну как, тебе приятно будет поважничать?

— Нет, не люблю я людей, которые важничают.

Они замолчали.

Разговор с Малишей еще больше взбудоражил и расстроил Учу. Он не видел выхода из положения. Остаток роты, конечно, погибнет при прорыве этой же ночью. О тех, кто сумеет пробиться,— впрочем, пробьется ли кто-нибудь сквозь кольцо неприятельских войск и костров, — о тех он не думал. Но, если даже он не погибнет этой ночью, что сможет он сделать с горсткой оставшихся в живых партизан, если хоть кто-нибудь и останется в живых? Как бороться дальше? И собственное предчувствие и настроение людей — все предсказывало ему неизбежное поражение. Впрочем, что такое поражение? В борьбе за свободу не может быть поражений. Если поражение наступает после мужественного, героического сопротивления, о нем вспоминают дольше, чем о победе. Человек, который боится поражения, не борец и не революционер, а глупец и трус. И какое значение имеет гибель одной роты в этой грандиозной освободительной войне? Красная Армия все равно победит, идеалы, за которые он борется, победят. А он? Он выполнит свой долг до конца.

Рядом снова послышался чей-то шепот:

— Знаешь, о чем я еще жалею?

— Да о чем же еще тебе жалеть?

— Мне жаль, что я не увижу, как будет выглядеть наша свобода. Если бы только знать точно, мне было бы легче.

— А мне все равно.

— Вот если бы о нас помнили и потом...

— Я воюю не для того, чтобы меня помнили.

— Чего вы болтаете всякую чушь? — прервал их Уча. — Вы кто — бойцы или тряпки?

Шепот прекратился, послышался чей-то глубокий вздох, потом сухой простудный кашель. Но ему тут же напомнили, что нужно прикрывать рот шапкой. В лесу повсюду, насколько хватало глаз, пылали костры; неумолчно зловеще кричали совы.

Было уже около двенадцати ночи, когда один из партизан спросил:

— Кто знает, который час?

— Скоро пойдем... — ответил другой.

Спрашивавший тихо запел. Никто его не останавливал, даже Уча, понимавший, что тот поет от страха. Все слушали его молча. Фальшивым голосом боец пел известную боснийскую песню.

В полночь Уча зажег спичку, проверил время и приказал:

— Готовься! Пулеметчики, наполните диски. Приготовить гранаты! Когда враг откроет огонь, уничтожайте его пулеметы гранатами.

Они вышли из пещеры. Уча расставил пулеметчиков, напомнил, чтобы они шли осторожно и тихо, и начал взбираться с ротой на склон. Он шел впереди, не ощущая страха. Ему нетерпелось, хотелось скорей, как можно скорей открыть огонь и схватиться с врагом. Партизаны подкрались к самым кострам и остановились. Уча отправился на разведку. У костров никого не было. Он долго прислушивался: нет ни шороха, ни голоса. Пламя костра прорезало темноту; тьма отступала, потом снова приближалась, старалась поглотить свет. Между кострами зияли черные пропасти мрака. И снег был здесь черный. Уче вдруг стало страшно. Он весь задрожал. «Верно, они услышали нас и притаились! — подумал Уча, охваченный нерешительностью. — Куда ударить, в каком направлении — меж этими или теми кострами?» И как раз в ту минуту, когда он решил, что лучше пойти туда, ему словно кто-то шепнул: «Нет! Лучше сюда!» Несколько минут он стоял в полной растерянности.

— Все равно! — почти вслух произнес Уча. Он вернулся назад, приказал роте следовать за собой и пошел вперед, держа в руке гранаты.

Чем ближе подходили они к пространству между кострами, тем сильнее стучало у него в голове: «Вот сейчас! Вот сейчас!..»

Казалось, он не слышал огня вражеской засады. Взрывы гранат, выстрелы из винтовок, треск пулеметов — все слилось в один звук, долгий и страшный. Он бросал гранаты, стрелял, бежал, наскочил на кого-то, свалил, кто-то рядом стонал... Он налетел на дерево, сильно ударился, упал, но тотчас вскочил и бросился дальше. И вдруг наступила тишина, тяжелая и оглушительная, как взрыв.

...На рассвете они собрались и пересчитались. У них было на пять человек меньше, чем перед прорывом.

Уча чувствовал усталость и что-то вроде разочарования, потому что все вышло вовсе не так, как он ожидал.

30

За несколько дней непрерывных боев рота Павле разбила четницкие и недичевские отряды в Нижнем Леваче. Остатки четников отступили вглубь Шумадии и начали собирать новые силы. Тем

временем рота успела пополниться и еще лучше вооружиться. Оправившись, она успешно вела бои с небольшими группами лётичевцев и недичевцев.

Делая короткие переходы по холмистому Левачу, партизаны передвигались от деревни к деревне, сжигали общинные управления и почту, устраивали митинги.

В каждой деревне после мобилизации, проводимой местными партийными организациями, но еще больше по собственной инициативе, к отряду присоединялись новые бойцы. Вопреки дурацкой пропаганде четников и лётичевцев, которые кричали, что партизаны — усташи, иуды, поджигатели и безбожники, «истребители сербов», что они варят детей в котлах и «сожительствуют со своими матерями и сестрами», народ все меньше боялся партизан, все больше сживался с ними.

Но деревня Шливица, где до прихода партизан помещался штаб четницкого корпуса, не хотела примириться с партизанами. Крестьяне этой деревни несколько раз обстреливали колонну.

Поэтому Павле и Вук решили явиться в Шливицу днем и провести там собрание. Павле хотел оказать таким образом политическое воздействие на крестьян и обезвредить четницкую пропаганду. А Вук надеялся, что их приход просто запугает местное население. Чем ожесточенней разгоралась борьба, чем явственней размежевывались симпатии крестьян между партизанами и четниками, тем больше верил Вук в силу оружия и тем меньше — в красивые слова. Этой ночью Павле через Максима назначил Йовану явку в Шливице и теперь нетерпеливо ожидал его с письмом от Брки о положении дел на Ястребце и о судьбе Учи. Ему не хотелось долго задерживаться здесь. Он понимал, что немцы оставят теперь Ястребац, укрепятся вдоль Моравы и бросят все свои силы против его партизан.

В Шливицу пришлось спускаться по отлогой косе, вдоль которой извивалась дорога, обнесенная высокими плетнями. Вук шел впереди. Он был бесконечно несчастен, но упорно скрывал это. Он не хотел выставлять напоказ свое горе. Павле несколько раз пытался заговорить с ним о Бранке, но Вук решительно и сердито отклонял разговор. Старые партизаны, хорошо знавшие Вука, чувствовали по его поведению, что он ужасно страдает. И оттого, что все это знали, Вука еще больше терзал стыд. Он заметно исхудал, почти не спал, не мог ни минуты оставаться на одном месте, непрерывно находил себе занятия, старался как можно больше оставаться один. Он часто ходил в патруль и во время стоянок сам вызывался быть разводящим на всю ночь. Тайком от Павле и от других партизан он подробно расспрашивал о жене у пленных четников и крестьян, которые, как ему казалось, могли бы знать о ней. Но ничего достоверного он так и не узнал. Судьба Бранки становилась все таинственней.

Кровавое январское солнце скрылось в пепельной гряде облаков, опустившейся на холмы и горы. В вышине над дорогой, под темноголубым небом, словно платком, натянутым на горные вершины, пролетел, спеша на ночлег, дикий голубь. На плетнях вдоль дороги трещали, отряхивая белые хвосты, сороки. Эти известные сплетницы-воровки всегда одиноки и всегда летают вблизи деревень. Не доходя до села, колонна остановилась, словно желая насладиться прекрасным видом на Шливицу, который открылся перед ними. Утопая в чернеющих сливовых и яблоневых садах, как раскрытая книга, лежит село. Поднимаются из труб и плывут высоко над деревней голубые перышки дыма. Громко скрипит журавль. Стучат топоры.

— Почему мы остановились?— с удивлением спросил Вук и, не дождавшись ответа, пошел дальше по узкой стежке, протоптанной в от-

таявшем под теплым ветром и покрытом ледяной коркой снегу. Он добрался до крайних домов и сразу свернул в клеть, где крестьяне варили ракию. Вук понял, что дом этот богатый. Во дворе высились различные постройки, а в загоне лежали овцы, похожие на белые снежные сугробы. Во дворе и даже на дороге чувствовался кислый запах винограда и вина, несшийся из кухни. Вокруг чана с еще теплой ракией, которая, отсвечивая от меди, казалась голубой, сидело несколько стариков. Вытащив угли из-под котла, они грелись и потягивали молодую ракию, закусывая моченым перцем.

Вук подошел, поздоровался с присутствующими и сразу приступил к расспросам.

— Есть в деревне какие-нибудь войска?

— Нет у нас никаких войск. Так только иногда заходят мимоходом, — спокойно ответил старик с рыжеватой кудрявой бородой, вероятно, хозяин.

Остальные серьезно и невозмутимо смотрели на Вука, продолжая отхлебывать ракию.

— Никого у нас нет. А мы ни во что и не вмешиваемся. Занимаемся своим хозяйством да сидим дома.

— Кто у вас в деревне комендант?

— Какой там еще комендант? Все мы у себя в домах коменданты,— равнодушно ответил старик, зачерпнув ракию деревянным ковшом.

— Старый ты, стыдно врать! — вскипел Вук, повышая голос.

— Борода врет, а я не вру, хлопец! Выпить не хочешь?

Вук весь затрясся от гнева, но овладел собой.

— Послушайте! Я шутить не люблю. Я вас серьезно спрашиваю: кто здесь командует охраной?

— А-а, охраной?—протянул старик, как будто только теперь понял, о чем идет речь. — Да по очереди командуют. Пришли из армии, были там капралами да всякими мелкими начальниками. Время военное, да и воровство началось. Они всегда предупреждают нас, когда должны прийти немцы, чтобы мы успели на время уйти из деревни. Какая же это охрана, парень? У них всего-то несколько патронов и штук шесть винтовок, да и то не у всех есть затворы. Так только, для виду.

— В каком доме помещался штаб корпуса? — прервал его Вук.

— Э-э! В каком только он не помещался! Мы тут ни при чем.

— Знаю, знаю! Я спрашиваю, где был штаб до того, как четники удрали от нас?

— Так вы партизаны? Слава тебе господи! Мы хоть поглядим на вас. Вижу, вы люди серьезные! Мне это по душе, — вмешался другой старик. Вук метнул в его сторону взгляд.

— Последнее время часть стояла вон в том большом доме, рядом со школой, — сказал старик, вставая и показывая рукой. — Видишь новую избу на фундаменте? В ней живет самый почтенный и самый уважаемый хозяин в нашей деревне. Таких, как он, у нас во всем районе только два, — сообщил, становясь все разговорчивей, старик.

Тем временем подошла колонна и остановилась у ворот.

— Смотрите, если сегодня ночью в деревне раздастся хоть один выстрел, вам не сдобровать! — пригрозил Вук и вышел на дорогу.

Павле, слышавший последние слова Вука, одернул его. Стараясь как-то загладить его резкость, Павле подошел к старикам и отпустил какую-то шутку насчет ракии. Старики подхватили ее, но отвечали серьезно и сдержанно. Павле просил их не бояться и прийти в школу на собрание.

Колонна направилась к новому большому зданию школы. По дороге они не встретили ни одного молодого крестьянина. Только не-

сколько стариков деловито возились около ворот и клетей, всем своим видом показывая, что им нет никакого дела до партизан, да женщины с подоткнутыми подолами и с ведрами в руках перестали доить коров и враждебно глядели на колонну.

— Видишь, мужчин здесь совсем нет, — сказал Павле, обращаясь к Вуку, который шагал во главе колонны рядом с ним. — Дома остались только старики да дети. Нужно быть осторожней.

Какой-то пожилой крестьянин, прячась за копной сена, следил за колонной. Приоткрыв рот, словно забывшись, он, видимо, пересчитывал партизан, кивая в такт головой.

— Эге, друг! Пойди-ка сюда! — крикнул, заметив крестьянина, Вук.

Мужик тотчас шмыгнул за сено, но двое партизан догнали его и насильно подвели к Павле. Мужик, бледный, без кровинки в лице, дрожал; глаза его беспокойно бегали.

— Ну чего ты дрожишь, как овечий хвост? — сказал Вук, подходя к нему. Мужик отпрянул.

— Кто тебе приказал пересчитывать партизан?

— Клянусь своими детьми, не считал. Убейте меня, если считал! — лепетал испуганный крестьянин. Его светлые глаза налились слезами, он готов был заплакать.

— Ну, ладно,— сказал, невольно улыбнувшись. Павле.— Идем с нами, покажешь нам деревню.

Крестьянин стал умолять отпустить его, но Вук передал его под охрану Николе и приказал стеречь.

Скоро они подошли к школе. Стены ее пестрели четницкими лозунгами: «Смерть коммунистам!», «Уничтожим коммунистическую банду!», «Да здравствует король Петр!», «Да здравствует Драже Михайлович!»

Павле с Вуком организовали охрану. Роту Николы, разбитую на тройки, послали готовить ужин, остальным наказали обойти деревню и после ужина привести на собрание хоть по одному человеку из каждого дома. Вук велел позвать крестьян, приказал им стереть четницкие лозунги и вместо них написать партизанские. Под руководством Симы бойцы организовали хор. Раздались партизанские песни.

Пока готовился ужин, Вук вошел в дом, где, по словам старика, последнее время стоял штаб четницкого корпуса. Он застал в нем только старуху, она была глуховата или только прикидывалась глухой. Вук долго и терпеливо расспрашивал ее обо всем, что могло бы навести его хоть на самый отдаленный след Бранки. Но старуха неохотно отвечала на его вопросы. Он так и не добился от нее ничего и узнал только, что с четниками была какая-то красивая женщина, которую неизвестно откуда привели. Она ушла с ними.

Вук вышел из дома в совершенном отчаянии. Он был уверен, что старуха поняла, что он партизан, а Бранка — жена партизана; наверное, она просто боялась сказать ему правду. Она знает что-то, да не говорит. Почему же Бранка не сбежала? Почему? Ведь она, конечно, слышала, что пришли партизаны. Если бы она погибла, ее бы все жалели как честную женщину. Но она опозорила и его и себя. Четники станут мучить ее, терзать. Сможет ли она вынести пытки? Сумеет ли дать отпор своим палачам? Вук припомнил всю свою жизнь с ней. Он вспомнил и то время, когда Бранка была еще девушкой. Нет, он не мог найти ничего, что подтверждало бы его подозрения. «Ее убьют!.. Непременно убьют!» — обожгла его вдруг мысль, и сознание у него помутилось от отчаяния и горя. Он предчувствовал страшную беду, и мысль о ней заставила его содрогнуться.

Наконец в школу собрался народ, главным образом женщины и старики, которых насильно пригнали на собрание. Вук вошел в про-

сторный класс и незаметно смешался с толпой крестьян. Маленькая керосиновая лампочка тускло освещала большую комнату, наполненную табачным дымом, в которой мелькали черные меховые шапки крестьян и платки всех цветов. Стоял гул, слышался кашель. Прислонившись к стене, Вук оказался позади группы крестьян, которые вели оживленную беседу между собой.

Партизанский хор исполнил несколько песен. Потом Павле взобрался на стол рядом с лампой, откашлялся, посмотрел в зал и сделал шаг вперед, словно желая приблизиться к аудитории, напряженно ожидавшей начала митинга. Павле ждал, покуда затихнут разговоры и шепот.

— Тихо! Послушаем, что он скажет,— закричали присутствующие, и Павле почудились в их голосах насмешка и вызов. Он разозлился и заговорил громко и быстро. Но после первых же произнесенных им слов он успокоился и продолжал говорить легко и гладко, как ученик, выучивший свой урок наизусть.

По выражению лиц, по поведению стоявших возле него слушателей он старался уловить настроение присутствующих и приноровить к нему содержание и тон своего выступления. Но Вук видел, что крестьяне гораздо внимательней разглядывают «партизанского командира», чем вникают в смысл его речи. И Павле тоже, казалось, это замечал. И поэтому, рассказывая им о свободе и о России, о целях партизанской борьбы, о предательстве четников, он стал в то же время обращаться к аудитории с вопросами, как будто спрашивал у них согласия и подтверждения своим словам. Но крестьяне молчали, и ему пришлось самому отвечать на эти вопросы.

Люди, стоявшие впереди Вука, курили, не переставая, и подталкивали друг друга после каждого слова Павле. Время от времени кто-нибудь из них громко покашливал.

— Вот здорово говорит! Так и сыплет! Люблю таких ораторов! Не то что наши — как начнут заикаться, тоска берет, — сказал пожилой крестьянин в новой куртке, расшитой шнуром.

Павле кончил и спрыгнул со стола. Аплодисментов не было.

Партизаны снова запели. Кто-то продекламировал «О, колосья мои!» Шантича *. Откуда-то появилась гармонь — и снова полились песни. Крестьяне задвигались, женщины начали группами выходить на улицу.

— Вот это у них командир. Совсем молодой, ей-богу, не старше моего Мики, — продолжал говорить крестьянин в новой куртке. — Сообразительный мужик! Ум у него, как у Вильсона... Где уж нашим с ними воевать!

— Студент, наверное! Все студенты — коммунисты. Это его, что ли, «комиссаром» называют? — подхватил другой, с рябым лицом, голова которого была изуродована лишаями.

— У них теперь так командира называют. А в прошлую войну комиссарами называли тех, кто снабжал армию провиантом, — гнусаво ответил мужичонка в потертой заячьей шапке, куривший трубку.

— Какая же это, братцы, армия, ей-богу? — опять заговорил первый мужик. — Баб не трогают, солонину не крадут, водку не пьют. У меня только один из них выпил полстакана. Такой закон у них, говорят. И не ругаются, истинный бог, будто и не сербы.

— Конечно, не сербы! Это все евреи и хорваты,— сказал седой безбородый крестьянин.

— Да какие там евреи! Этот, что сейчас говорил, тоже, должно

---

* Алекса Шантич — известный сербский поэт начала XX века.

быть, из какого-нибудь моравского села. Слышишь, как растягивает! Да и другие тоже. У них больше половины из наших краев.

— А зачем они баб за собой таскают? Зачем баба на войне? — насмешливо спрашивал безбородый.

— А ты знаешь, как здорово эти бабы воюют? Видишь вон ту, высокую? — сказал крестьянин, которому нравились партизаны, и указал на Бояну. — У нее пулемет, и она бьет из него стоя. Все они образованные, студентки! Эти коммунистки никогда не выходят замуж.

— Э-е! Ты что же, думаешь, баба может без этого? Скорей без хлеба проживет, чем без этого! — возразил, тряхнув головой, мужичонка в заячьей шапке.

— У них закон такой, Леса! Если кого застанут, тут же на месте расстреляют. Мне об этом люди рассказывали. Да и я присмотрелся нынче. Ни разу не ругнулись при бабе, — упорно продолжал защищать партизан крестьянин в новой куртке со значком красного креста, не выпуская изо рта цыгарку.

— А ну тебя к черту, Жика! Это те самые, что перед войной продавались за три бумажки,— продолжал гнусавить мужичонка. — Ты мне вот что скажи: есть у них связь с Россией? Вот что я желаю знать! А что они прикидываются святыми, так это все одна пропаганда!

Партизаны затеяли коло. Танцевали только бойцы. Всех перещеголяли новички-моравцы. Из крестьян не присоединился никто. Они стояли в стороне и смотрели, перешептываясь.

— А какая польза от этой связи, если король их не признает? — заметил безбородый, прерывая крестьянина, который, видимо, сочувствовал партизанам и утверждал, что у них есть связь с Москвой. — Англия их не признает. Русские и немцы пускай дерутся себе сколько угодно. Все равно англичане подложат им свинью. В конце концов они, как и в прошлую войну, сядут во главе стола. Учитель мне говорил, что англичане никогда не проигрывали войн. Черчилль — большая голова.

— А партизанам плевать, что Англия их не признает. Станут они кровь проливать, чтобы потом отдать власть другим? Они тоже не дураки. Я вам вот что скажу: у нас теперь революция — вот как в России в семнадцатом году, когда убили царя Николая и поставили Ленина. Мне один русский художник рассказывал, что этот Ленин очаровал народ. Художник говорил, что революция опасней войны. Идет, например, по городу трамвай, битком набитый, вдруг из-за какого-нибудь угла начинают стрелять из пулеметов. Кровь так и льется.

— А спросишь их о короле, этих партизан,— молчат, словно рыбы, — прервал спорящих безбородый.— Я как-то пристал к одному, а он говорит: «Король, мол,— предатель», а сам скалится на меня, как монах на молодую вдову.

— Послушайте, люди! Это все политика. Разве нас однажды уже не надули? Пока не сядет тебе на шею, он и милый, он и хороший, хоть к ране его прикладывай. А вот оседлает тебя да возьмет власть в руки— вот тогда он тебе покажет! — сказал старикашка в заячьей шапке, выбивая трубку о ладонь.

— А уж это само собой. Если они возьмут власть, мы пропали,— согласился с ним безбородый.— Погонят нас в колхозы. Обдерут нас, как липку! Не зря они столько о России рассказывают. Вот тот, что был у меня, как начал расхваливать Россию, так его и не остановишь. Я слушаю, а сам думаю: «Э нет, братец, меня не проведешь. Знаю я твою пропаганду!»

Наступило короткое молчание.

— Да, пришли времена царя Лазаря,— сказал, вздохнув, крестьянин, защищавший партизан.— Под чью власть идти? Земную или небес-

ную? Под чью-то идти надо. А под чью — не знаешь. Вот и угоди ей теперь.

— Поживем — увидим. Только знайте, вся эта бесовщина обрушится на наши головы. Так уж нам суждено. Если бы это было хорошо, и черт пошел бы в крестьяне, — примирительно заметил старикашка, завернул трубку в тряпицу и сунул ее во внутренний карман куртки.

— Вы что же, друзья, не посылаете своих сыновей бороться за свободу, а отправили их к четникам народ резать? — сказал, подходя к ним, Вук, который давно обратил внимание на их таинственную беседу.

Крестьяне смущенно посмотрели на него, боясь, не подслушал ли он их разговора.

— Вот была бы у нас единая армия, не воевал бы серб против серба, я бы тогда, парень, сразу сына к вам привел, — ответил седой безбородый крестьянин. — И сам тоже пошел бы с ним, хоть и стукнуло мне пятьдесят шесть. А так не поймешь: кто пьет, кто платит? Заварилась каша какая-то: то одни, то другие. Один тебе говорит одно, другой — другое. Где уж нам, мужикам темным, неграмотным, разобраться, кто тут прав. Вы образованные, вы всегда политикой занимались. А мы ковыряем камни и отдаем богу богово, а кесарю — кесарево.

— Я такой же крестьянин, как ты, дядя. И у меня есть хозяйство и дом, а вот в сорок первом ушел в партизаны. Для этого большого ума не нужно. Одни бьются против немцев, другие их защищают. Чего же здесь раздумывать! Стыд! Деревня ваша вся целиком у четников. Где ваша молодежь? Вечером в нас стреляли. Стыд!..

Крестьяне молчали и с нетерпением ждали, пока Вук кончит, чтобы незаметно уйти. Но Вук продолжал говорить, все больше распаляясь и нападая на собравшихся. Он словно хотел излить и выместить на них весь гнев и горечь, которые жгли ему грудь. «Все они готовы перейти к четникам. Все рады мучить и убивать. Все! Нет, уж пусть я лучше после войны стану живодером, буду ловить собак по базарам, только не крестьянином. Нет! Не буду! Они меня погубили. Вот негодяи! Прикидываются простаками да добрячками, а сами готовы кровь из тебя выпить!» Внезапная острая ненависть к мужикам, охватившая Вука, так и не проходила. Но в этот вечер он даже не задумался над тем, откуда она взялась. Ему казалось, что он вдруг прозрел и увидел все по-новому.

Партизаны продолжали петь и плясать, но крестьяне недолго оставались в школе. Разом, как по команде, бросились они к дверям и разошлись в разные стороны. Вуку показалось это подозрительным, и он поделился своими опасениями с Павле. Но комиссар не придал этому никакого значения. Партизаны натаскали соломы и стали размещаться на ночлег.

Вдруг за деревней с разных сторон послышались выстрелы из винтовок. Павле и Вук, которые сидели за столом и разговаривали о завтрашнем дне, переглянулись.

— Ну, что я тебе говорил? — самодовольно сказал Вук, чувствуя, что был прав, подозревая крестьян.

— Джурдже, пошли людей в дозор! — приказал Павле.

Джурдже разослал патрули во все концы деревни. Четники стали бить по школе из пулеметов. В эту минуту вошел Йован. Его сопровождали двое вооруженных крестьян.

— Тебе письмо, Павле! — сказал он, поздоровавшись, и вынул из кармана измятый пакет. Передав его комиссару, он подошел к Вуку и тихо сказал, что немцы в течение всего дня подтягивают к Мораве войска на грузовиках.

— Утром непременно жди нападения!

— А много их?

— Мои провожатые насчитали пятнадцать машин. Подвозят и минометы. Сегодня вечером прибыло еще несколько грузовиков.

— Слышишь, Павле?

— Подожди! — перебил его комиссар, поднося письмо к лампе. Он нахмурился, и на лице его появилось выражение крайнего недоумения. Вук сразу понял, что в письме содержатся плохие известия. К ним подошел Джурдже. На днях, когда формировались новые роты, Джурдже назначили командиром, и сейчас он считал себя вправе присутствовать при чтении письма. Немного погодя к ним робко приблизилась и Бояна. Ей хотелось узнать у Йована о второй роте и об Уче. Она завела разговор издалека. Йован понимал ее беспокойство, но не хотел говорить ей о том, что было ему известно.

31

Брка, секретарь окружного комитета партии, писал размашистым и неразборчивым почерком:

«Дорогие товарищи, я поражен вашими сообщениями и вашими действиями, о чем буду говорить ниже. Считаю, что вы поступили правильно, оставив Ястребац и перейдя в новые районы. Мы приняли такое же решение, и только провал наших явок вызвал перерыв связи с вами. Направление вы взяли верное. Район, в котором вы сейчас находитесь, очень важен для дальнейшего развития действий. Позже остановлюсь на этом особо.

Но я крайне удивлен всем, что случилось ранее. Товарищ Павле, исполняющий обязанности партийного руководителя в отряде, пишет нам, что расстрел Гвоздена был правилен и необходим. Невероятно, чтобы такой боец, как Гвозден, так быстро и сильно изменился, превратился в опасного врага отряда. Мы обращаемся с вопросом к товарищу Павле: как это он, несущий самую серьезную ответственность перед партией за состояние отряда, живя и работая полтора года бок о бок с Гвозденом, никогда прежде не замечал его идейной слабости, колебаний и разложения? Разве вражеское наступление — первое наше испытание? Разве Гвозден, заместитель командира отряда и член партии с сорокового года, только сейчас, через много месяцев своей работы в отряде, проявил себя как колеблющийся и оппортунист? Как это могло случиться?

Факты, которые товарищ Павле приводит в письме, для нас не убедительны. Они говорят только об одном, а именно: штаб и партийное руководство отряда, и в первую очередь товарищ Павле, растерялись. Люди, которые сохраняют присутствие духа в трудных условиях, люди, которые в состоянии хоть сколько-нибудь мыслить политически, никогда не совершили бы такой грубой ошибки. Мы осуждаем расстрел Гвоздена и расцениваем его как свидетельство паники и вашего неумения действовать разумно в трудной обстановке. Это самая серьезная политическая ошибка, которая была допущена с момента формирования отряда. Гвозден имел большие заслуги перед партией и отрядом, он был популярнейшим человеком в крае, он имел огромное влияние на крестьянские массы, которые видели в нем своего человека. Мы связывали с его работой серьезные планы дальнейшего развития наших действий. Долгом партии, и в первую очередь товарища Павле, являлось беречь такого человека, сделать все, чтобы преодолеть его колебания. Мы убеждены, что он переживал кратковременный кризис, характерный для крестьянской психологии. Между тем комиссар отряда не сделал ничего серьезного для того, чтобы побороть эти настроения Гвоздена и спасти его для партии. Этот случай говорит нам еще об одном обстоятельстве: вы

отождествили метод работы партии с методом работы военных штабов. Перед партией, товарищи, прежде всего стоит задача воспитывать и поднимать людей, спасать их, если они вступили на ошибочный и гибельный путь. Товарищ Павле забыл об этом и должен будет ответить со всей серьезностью перед партией, как только вы вернетесь на Ястребац».

На этом заканчивалась первая часть письма. Далее Брка писал, что никаких связей с Учей у них нет, что последний находится на Ястребце и ведет непрерывные бои. Сведения, которые они имеют, свидетельствуют о том, что он несет тяжелые потери. Дальше Брка предупреждал, что ожидается переброска немецких сил. Поэтому следует быть начеку и, как только начнется движение противника, спешно переправляться через Мораву и возвратиться на Ястребац. По всему видно, что немцы, вероятно, дня через три начнут наступление, так что Брка советует им уже сейчас продвигаться в горы.

Эту часть письма Павле прочел бегло, просто так, для порядка, и ничего не запомнил. Озадаченный, он протянул письмо Вуку.

«Ошиблись?!» И это говорит Брка! Не нужно было расстреливать?.. Да как же я мог спасти его? Разве Брка не понимает? Невероятно!» Он облокотился на стол и спрятал лицо в ладонях. Так он сидел неподвижно, глядя перед собой, и вспоминал... Ястребац. Сумерки. Отряд построен. Гвозден говорит, и он говорит... Уча опустил голову... Партизаны как будто онемели, отряд идет молча. «Ошибся?!»

В комнате стояла тишина. Слышалось только тяжелое дыхание спящих бойцов да на улице время от времени раздавались выстрелы. Джурдже, Бояна и Йован не сводили глаз с Павле. Они заметили его волнение и предчувствовали, что их ждут плохие вести. Вук медленно читал письмо. Прочитав до конца, он стукнул кулаком по столу и сказал:

— Не согласен!

— Тише! — остановила его Бояна.

— Им легко критиковать там, в тылу! Вот я бы спросил его, если бы он оказался в нашем положении...— продолжал Вук.

Павле поднял голову и посмотрел на него.

— Не согласен?! — сказал комиссар тихо, словно удивляясь его словам.

— Нет! Если мы ошиблись, я готов пустить себе пулю в лоб!—подтвердил Вук, приблизившись и почти прижавшись лицом к его лицу.

Несколько минут все молчали. Павле казалось, что он сходит с ума.

— А вы, товарищи, как думаете? Правильно мы поступили, расстреляв Гвоздена? Только говорите откровенно, по совести, — вполголоса обратился Вук к Джурдже, Йовану и Бояне.

Но они молчали, словно не зная, что сказать.

— Я думаю, что это было правильно и необходимо,— начал, наконец, Йован. — Если бы мы этого не сделали, отряд остался бы на Ястребце и погиб.

— Что касается тактики, я согласен с Йованом. Если бы мы не ушли с Ястребца, от нас ничего бы не осталось,— сказал Джурдже и, оглянувшись, не слышит ли кто-нибудь из партизан, продолжал: — А вот что Гвозден расстрелян — это плохо. Что бы случилось, если бы его не расстреляли? Ничего! Кто бы его послушался и пошел за ним? Никто! Его нужно было наказать и сместить, но неправильно и нехорошо, когда коммунист погибает от своих же товарищей.— Джурдже сделал ударение на словах «наказать», «снять» и «коммунист». Павле совсем недавно принял его в партию.

— Вот из-за таких, как Гвозден, мы и проигрываем войну, — злобно прервал его Вук. — Не желаю и думать об этом.

— Не знаю, что написано в письме, может быть, я не имею права так говорить, но раз уж мы начали, будем говорить начистоту, — спокойно заметил Джурдже. — Не нужно было, товарищи, расстреливать коммуниста.

— Какой он коммунист? — снова выступил Вук. — «Давайте бросим ружья и пойдем по домам, пока немцы не уйдут». И ты считаешь, что он коммунист!

— Не я один.

— Все, кто думает так, ничего не понимают,— сказал Йован, прерывая Джурдже. — Впрочем, когда все кончится, тогда и посмотрим, кто прав.

— Я считаю, что товарищи просто не сумели разобраться в нашем положении. Ты, Павле, вероятно, плохо объяснил суть дела в своем письме. Когда вы встретитесь и ты подробно все расскажешь, они поймут, что иначе быть не могло, — мягко сказала Бояна, словно желая утешить Павле. — А что со вторым отрядом? — с беспокойством спросила она.

Но никто ей не ответил.

— Давайте спать! Подъем в три! — нарушил молчание Павле.

Все улеглись, только Павле и Вук остались сидеть за столом. Вук положил голову на руки, словно собираясь вздремнуть. Павле последовал его примеру. Ободренный словами Вука и поддержкой Бояны, он мог уже спокойно и хладнокровно обдумать случившееся.

Его удивляло только упорное непонимание Джурдже. Это свидетельствовало о том, что расстрел Гвоздена произвел на партизан гораздо более тяжелое впечатление, чем он думал. «Не нужно было надеяться, что все это так гладко сойдет... Расстрелять своего человека, который к тому же много значил для отряда... Люди смотрят на это не так легко, как казалось. Нужно прожить долгую жизнь, чтобы освободиться от иллюзий. Мы расстреляли человека, который был деморализован и пытался ликвидировать отряд... Хотел бы я посмотреть, как поступил бы в подобном случае Брка».

Но, разговаривая с самим собой, Павле не мог побороть в себе недовольства позицией, которую занял Брка, он не мог не думать о последствиях, вытекавших из их разногласий. Особенно мучило Павле, что его авторитет в отряде поколеблен партией, от имени которой он действовал, твердо веря, что выполняет свой долг. «Людей нужно воспитывать, поднимать, спасать! Знаю! Но людей нужно и расстреливать, если они вступают на путь предательства, даже если это Гвоздены. Разве мне легко было расстрелять товарища?.. Я отдал бы все на свете, только чтобы этого не было!..»

Разводящий стал будить бойцов, назначенных в караул. Они с трудом просыпались, долго потягивались, хрипло кашляли, лениво выходили на улицу. Павле все еще продолжал сидеть на том же месте. Бояна, которая тоже не могла уснуть, встала, подошла к нему и прошептала:

— Почему ты не спишь? Ты чем-то расстроен. В чем дело?

— Ничего! Не спится мне,— ответил Павле, удивленный тем, что она тоже не спит. Он никогда не был особенно дружен с Бояной и редко разговаривал с ней. Комиссар уважал девушку, но ему почему-то казалось, что она любит скучные, умные разговоры, а он избегал их.

Но, если Бояна — студентка первого курса медицинского факультета, дочь мелкого банковского чиновника — и была суховата до ухода в партизаны, то война и жизнь в отряде во многом ее изменили. Теперь она умела тепло и сердечно говорить с самыми разными людьми. Как большинство тогдашних молодых коммунистов-интеллигентов, Бояна стремилась понимать простых людей, умела разговаривать с ними и принимала участие во всех их делах и заботах. Поэтому ее все здесь люби-

ли. Только Павле недолюбливал ее. Ему казалось, что она, как и все интеллигенты, только прикидывается простой.

— Павле, мне хотелось бы спросить тебя кое о чем. Выйдем на улицу!

Ни слова не говоря, Павле вышел за ней.

— Я не могла уснуть... Я знаю, что не надо тебя спрашивать об этом. Но я не могу... я должна...— тихо заговорила Бояна, и голос ее дрожал.— Ты знаешь что-нибудь об Уче? С ним случилось что-то плохое. Но все равно, скажи мне, прошу тебя! Скажи!

Только сейчас Павле вспомнил о той части письма, где говорилось об Уче. Ему самому показалось странным, что он совсем забыл об этом. Из письма Брки он понял, что Уча остался на Ястребце. «Он не подчинился решению»,— мелькнула у него мысль. И он ответил не сразу, придумывая, что бы ответить.

— Не знаю, что с ним. У него нет связи с окружным комитетом. Видимо, он на Ястребце и ведет там тяжелые бои.

— А почему на Ястребце, ведь решено было пробиться сквозь окружение?

— И меня это удивляет. Вероятно, просто не удалось вырваться.

— Это очень нехорошо.

— Да, но он пробьется. Тут и сомнений быть не может. У него большой опыт. Ничего серьезного с ним немцы не сделают. Бойцов у него мало, ему легко маневрировать, — говорил Павле, стараясь успокоить и утешить Бояну. Но про себя думал: «Если только он на Ястребце, ему туго придется».

— Не утешай меня! Я знаю, что ты думаешь. Скажи мне, прошу тебя...— умоляюще промолвила Бояна и взяла его за руку.

— Я тебя не утешаю, Бояна. Зачем? Честное слово, мне ничего о нем не известно, кроме того, что он ведет тяжелые бои.

Бояна выпустила его руку.

— Ты, конечно, знаешь, что я люблю его...— начала она так тихо, что Павле еле расслышал. — Я должна тебе сказать. Я знаю, что ты самый близкий его друг. Мне не с кем поговорить. Я никому не могу рассказать. Неудобно: он командир. Нам нельзя любить — ни мне, ни тем более ему. Партизаны отнеслись бы к этому неодобрительно. Но тебе я могу сказать и должна...— Она говорила легко, не смущаясь и не раздумывая.

Павле слушал, ему не хотелось ни прерывать ее, ни расспрашивать. Он чувствовал, что ей необходимо высказаться. Влюбленные всегда многословны.

— Вот я все сказала. Мне было очень тяжело сегодня вечером, когда Йован ничего не сообщил об Уче. Ведь ужасно, если бы...—И Бояна схватилась за голову при мысли, что Уча мог погибнуть.— Когда мне трудно, когда кажется, что не могу больше выдержать, когда я валюсь с ног от усталости, я всегда думаю: «Он на той горе; он смотрит на меня, он меня ждет...»

— Эх, Бояна! Верь всегда, что и в жизни и в борьбе на каждой горе, на которую ты поднимаешься, на берегу каждой реки, через которую переплываешь, как бы ты ни устала, как бы ни было трудно, тебя ждет свобода, счастье, любовь! Без такой веры мы не смогли бы все это выдержать!

Но слова его показались Бояне слишком сухими и поучительными. Она замолчала.

— Прости, что я надоедаю тебе, Павле, — прибавила она смущенно...— Я знаю, что мои мучения вовсе не так важны. Есть много гораздо более тяжелых и важных вопросов для всех нас.— И, сделав над собой

усилие, Бояна заговорила о том, что, как ей казалось, терзает Павле. Ей казалось, что она выполняет этим свой долг.

Павле находился в нерешительности. Он не знал, стоит ли говорить с ней о своих неприятностях. Да и о чем, собственно, говорить? Но, несмотря на свою деликатность, она продолжала упорно расспрашивать.

Мимо них прошло отделение, возвращавшееся из караула. По всей деревне неистово лаяли собаки. Четники из местных жителей не переставая стреляли с косы. Но партизаны не отвечали. Где-то невдалеке надрывно и тоскливо мяукала кошка, и казалось, что плачет ребенок. Бояна вздрогнула и, словно испугавшись чего-то, взяла Павле под руку, продолжая ходить с ним взад и вперед.

Довериться женщине всегда легче и проще, чем мужчине.

Павле начал говорить, и казалось, он говорит с самим собой. Он не сердился, не обвинял ни Брку, ни других, которые его не поняли. Он говорил только о себе, о своих горестях. Время от времени он замолкал, словно проверяя себя и удивляясь своему настроению. Впоследствии, когда он будет вспоминать этот разговор, ему, вероятно, покажется, что это были минуты исключительной слабости и малодушия. И будет без конца упрекать себя за то, что он, комиссар отряда, всю ночь вплоть до самого выступления жаловался посочувствовавшей ему санитарке Бояне на свое тяжелое положение, на горечь и боль, которые доставило ему это письмо.

32

Ранним утром длинная колонна партизан вышла из села и направилась через виноградники, которые тянулись от крайних домов деревни вплоть до леса на Гледичской гряде. Еще не смолк лай деревенских собак, провожавших последние ряды партизан, а со склона уже начали бить пулеметы. Колонна остановилась. Павле решил, что четники устроили засаду, и эта стрельба скорей разозлила, чем испугала его. Ему было холодно. Втянув шею в воротник куртки и надвинув пилотку на глаза, он весь как-то съежился и, усталый, плелся по обледенелой дороге. Письмо Брки не выходило у него из головы. Мимолетное облегчение, которое он испытал, поделившись с Бояной своими заботами—они, правда, не стали от этого меньше,— сменялось горечью и раскаянием. И когда по колонне быстро и тревожно пронесся шепот: «Немцы!», «Скорее!» — Павле очнулся от забытья. Началось!.. Немцы вышли к Мораве и двинули крупные силы против роты. Они опередили его. Теперь трудно будет перейти Мораву. Им предстоят те же мучения, что и при первой переправе. Дорога, по которой шла рота, была проложена в искусственном овраге. Огонь неприятеля не был опасен для партизан. Они быстро поднялись на склон и устремились к Гледичским лесам.

Немцам не удалось окружить партизан в селе, но они продолжали преследовать их по пятам, не давая ни отдыха, ни срока. Арьергард непрерывно отбивался от врага, и Павле, который шел с замыкающим взводом, вынужден был до рассвета дважды вступать в бой, чтобы прикрыть основную часть отряда. На рассвете они дошли до отлогих отрогов Гледича, который до самой снеговой вершины зарос густым молодым дубняком. Вук скомандовал сделать привал, партизаны уселись на нетронутые сугробы, испещренные заячьими и лисьими следами; некоторые, пытаясь утолить жажду, ели снег. Морозный и чистый воздух был наполнен запахом сухих дубовых листьев и коры. В лесу перекликались сойки и щелкал черный дрозд.

Чистое бледное небо поднималось, как купол, над лесом. Меж ветвей просвечивала белесая полоса предрассветной мглы, окаймлявшая

розовеющую зарю. Прямо перед Павле остановился выскочивший откуда-то заяц, испуганно поглядел на него, быстрыми, судорожными скачками пустился наутек и исчез среди темных узловатых стволов. Павле охватила какая-то необычная, мальчишески светлая радость. Несколько мгновений он не мог двинуться с места, и в памяти его надолго сохранился этот быстрый испуганный зверек с его легкими, почти неуловимыми движениями. Пройдя вперед, Павле подошел к Вуку. Партизаны сидели, тихо переговариваясь. Старые бойцы спокойно дремали. Новички вопросительно поглядели вслед проходившему комиссару. Лицо его было сосредоточенно и строго.

— Хмурится. Видно, дело дрянь!

— Конечно, немцы близко!

— Мы с тобой, видать, счастливые! Вчера пришли, а сегодня — бой!

Павле, услышав этот разговор, обернулся и посмотрел на них, улыбаясь. Улыбнулись и новички.

Посоветовавшись с Вуком, Павле решил дождаться ночи здесь, в лесу, а потом уже, судя по обстановке, определить дальнейшее продвижение отряда. Колонна целый час шла лесом, с каждым шагом становившимся все гуще.

Наконец Вук скомандовал привал, и рота Николы заняла оборону в том направлении, откуда ожидалось нападение немцев. Немцы не оставили их в покое и здесь. Вскоре на позициях Николы завязался бой. Павле поспешил туда.

Немцы наступали смело и решительно. В лесу то и дело мелькали зеленоватые шинели вражеских солдат, которые, низко пригнувшись к земле, перебегали с места на место, стараясь окружить роту. Положение отряда становилось опасным. Павле приказал подтянуть силы и с боем медленно отступать. Но натиск немцев был так стремителен, что рота Николы бегом отступила. Основная часть отряда, стараясь ускользнуть от немцев, отходила быстрым маршем. Немцы шли следом, не переставая обстреливать арьергард.

Отступая, партизаны вышли из чащи и оказались среди редких зарослей можжевельника, где торчали кривые и приземистые дубы. По арьергарду снова начали бить пулеметы. Павле взглянул на часы — было без четверти двенадцать.

— Скверно! — сказал он и посмотрел на Вука.

— Да!

— Нужно скорее добраться до вершины.

Вук согласился с этим и приказал бойцам поторапливаться.

Павле пропустил мимо себя всю колонну и пошел в самом ее конце. Перед ним шла дочка писаря, которой Бояна дала кличку Данка. Девушка была одета по-крестьянски, и ее маленькая гибкая фигурка совсем утонула в широкой мужской куртке. Всем своим обликом она напоминала ребенка, которого одели в стариковское платье. Раскрасневшись, с капельками пота на лице, она то и дело встряхивала головой, и длинные косы вились у нее вдоль спины. Павле чувствовал, что она боится и стесняется его.

— Ну, как, товарищ Данка? Очень трудно тебе в партизанах?

— Нет, товарищ комиссар,— не оборачиваясь, ответила девушка.

— Конечно, нет. Еще немного и совсем привыкнешь, забудешь деревню. Стреляет, стреляет, а попадает редко, — говорил Павле только для того, чтобы что-нибудь сказать.

Вдруг с вершины холма грянул залп из винтовок и застрочил пулемет. Партизаны повернули головы. Удивленный внезапным появлением врага, Павле остановился как вкопанный. Сверху кричали четники, гро-

зя и ругаясь. Павле заметил, что некоторые стоят выпрямившись во весь рост.

— Крышка, коммунисты! Куда вы теперь пойдете?— орали они.

Вук только ругался и стрелял в ответ. Павле ясно видел, что положение отряда тяжелое. Его охватил ужас. Впервые за все время они столкнулись с таким взаимодействием четников и немцев. Павле ошеломило это открытие, но он принял решение атаковать врага. Он чувствовал, что это единственный выход.

Вук приподнялся и отдал команду. Партизаны под огнем развернулись в цепь и двинулись на вершину холма, укрываясь за кустами и корявыми стволами дубов. Павле очутился на краю левого фланга. Сзади, в лесу, отчаянно дралась рота Николы, пытаясь задержать немцев. С холма, прямо над головами партизан, строчили пулеметы, заглушая крики четников: «Да здравствует король Петр!» В ответ партизаны кричали хриплыми и злыми голосами и шли в атаку. Били только пулеметы. Стрелкам Вук еще не разрешал начинать.

Выскочив на вершину холма, Павле столкнулся с пулеметным прикрытием четников и тут же без сознания рухнул на снег.

Партизаны заняли вершину холма и стали расстреливать четников, которые бежали вниз по склону, бросались в кусты и падали с крутизны. Вскоре и бойцы николиного взвода в беспорядке взобрались на вершину, оставив немцев на опушке леса.

— Комиссар упал!

— Павле ранен!

— Эх, черт, неужели в него попало?

— Беги, чего ждешь? — слышались крики со всех сторон.

Бояна подбежала к Павле, перевернула его на спину и разорвала куртку. Крови не было. Он тяжело дышал. Она начала растирать ему снегом лоб, лицо и грудь. Павле открыл глаза и, придя в себя, прошептал:

— Что это со мной?

— Ничего. Просто устал и потерял сознание,— ответила Бояна и улыбнулась.

«Граната», — вспомнилось Павле. В ушах у него звенело, к горлу подкатывала тошнота, бледное лицо судорожно дергалось. Он зажмурился, но перед глазами у него стояла Бояна с ее милой, дружеской улыбкой. «Смеется... Думает, что я испугался. Рада, что жив!»

— Возьми сахар, — предложила Бояна, наклоняясь над ним.

— Не могу, тошнит.

— Поэтому и надо есть.

Павле открыл рот, и она положила ему кусочек сахара.

— Переутомился, вот и обморок, — проговорила Бояна.

— Это от взрыва, — сказал Павле и приподнялся. Но его отяжелевшая голова тут же упала на грудь.— Сейчас пройдет,— добавил он и стал тереть себе виски, припоминая все подробности атаки.

Ему не хватало воздуха. По шее стекала тонкая струйка и неприятно щекотала спину между лопатками. Он провел рукой по шее, на пальцах осталась кровь. Откуда же это? Раны он не чувствовал. Он повернул голову, и шапка упала в снег. Павле поднял ее и начал подниматься в гору. Надевая шапку, он провел рукой по волосам, почувствовал боль и нащупал царапину от пули. Только-то и всего! Пуля содрала кожу. Не пригнись он немного, на какой-нибудь сантиметр!.. Он вытер кровь и попытался догнать остальных. Боли он не чувствовал. Пули свистели над его головой. Он обернулся и увидел беспорядочно бегущую цепь — это бежала рота Николы. Все легли. Четники непристойно ругались и продолжали стрелять. С можжевельника посыпались

ветки и хвоя. Все смотрели на него. Он должен встать. В голове у него мутилось из-за раны. Он кричал что-то Вуку. Цепь не поднималась. Он кричал на бойцов и на Джурдже, подбегал к ним, говорил что-то о носе, которым они уткнулись в снег, о спинах. Джурдже тоже кричал что было сил, и снова все бросились бежать к вершине.

Снег вихрем вздымался у них из-под ног. Ему залепило глаза, а ветер свистел в ушах, в голове, в груди. Он не мог дышать... Кто-то взял его подмышки и поднял. Кто это был?

Рвались гранаты... Их бросали четники. Все вокруг гремело, свистело... Потом вдруг надвинулся красный сумрак... Теплый и красный. Только сумрак, и все.

— От взрыва! — повторял Павле.

— Небольшая контузия. Дыши глубже. — Бояна взяла его за голову.

— Ты видел этих бандитов, четников? Вместе с немцами! Мы их хорошо отделали, ты только посмотри!

Павле видел: по всему склону чернели трупы.

— Немцы притихли, но скоро опять нападут. Как ты думаешь, не отступить ли нам вон к тому леску, справа? — спросил Вук, отирая пот со лба.

— Нет, нет, лучше остаться здесь, — ответил, не размышляя, Павле.

Позднее, когда немцы повели наступление, сознание у него прояснилось, и он пожалел, что не отступил. До пяти часов роте не продержаться, будут большие потери, этого никак нельзя допустить. Он обязан привести на Ястребац, по крайней мере, человек двести. То, что он должен привести на Ястребац именно двести человек, определяло сейчас для Павле все события и все поступки.

Немцы упорно наступали на позиции партизан, обстреливая их из минометов, и Павле начал опасаться за исход боя. Да, было бы лучше, если бы они отошли. Он совершил ошибку, не послушавшись Вука. Отряд потерпит поражение... Павле лежал за старым корявым кизиловым деревом и следил за немцами, которые по всем правилам военного искусства перебегали от укрытия к укрытию.

Партизаны по обыкновению не открывали огня. Они ждали, пока немцы подойдут ближе. Вокруг падали мины, вздымая фонтаны снега и земли.

— Посмотри на Станко! — услышал Павле.

Станко лежал и обеими руками подымал над головой невзорвавшуюся немецкую мину. Он грозил ею немцам и что-то кричал, а они били по нему длинными очередями.

— Станко, спятил ты, что ли, черт тебя побери! — заорал Павле. — Брось, брось ее!

Но Станко ничего не слышал и продолжал грозить немцам миной. И только когда партизаны, находившиеся рядом с ним, тоже стали кричать, он швырнул мину вниз со склона, оттолкнул своего помощника, который стрелял из ручного пулемета, и начал бить сам короткими очередями.

— Товарищ комиссар, не люблю я таких людей!—крикнул партизан в новой офицерской шинели, который только несколько дней назад пришел в отряд.

— Он герой, товарищ, только...— Павле не договорил: рядом разорвалась мина.

— Герои не задирают носа! — снова крикнул партизан в шинели.

— Это правда!

Немцы подошли совсем близко. По команде Вука партизаны от-

крыли огонь. Павле целиться было не в кого, и он не стрелял. В ушах у него стучало и шумело не переставая, голова разламывалась от боли.

Партизаны остановили первую атаку немцев и отбросили их назад. Немцы восстановили порядок в своих рядах, подобрали убитых и раненых, быстро сомкнули и пополнили строй и снова двинулись в атаку. Партизаны потеряли несколько человек убитыми и ранеными.

В течение двух часов немцы несколько раз пытались овладеть вершиной и сбросить партизан с голой крутой горы. Последнюю атаку партизанам едва удалось отбить. Мины прорвали их стрелковую цепь. Огонь немцев становился все яростнее, потери все больше. По бледным лицам и лихорадочным, полным страха глазам бойцов Павле понял, что положение критическое. Особенно боялись немцев новички. При свисте мин, похожем на шелест крыльев дикого голубя, они зарывались головой в снег, и после каждого взрыва зрачки у них расширялись от ужаса. Павле поднялся и, согнувшись, начал переходить от бойца к бойцу, пытаясь ободрить их. Они удивленно смотрели на него, молчали и с раздражением отвечали на вопросы. Бывают такие минуты, когда боец злится и обижается, если его ободряют. Чем серьезнее положение, тем неприятнее и обиднее бойцам, что их подбадривают командиры и комиссары. Но Павле сейчас не думал об этом. Он считал своим долгом поддерживать бодрость в своих людях. Переходя от бойца к бойцу, Павле дошел до Вука, который лежал на спине и смотрел на белые, как вата, облака, плывущие по небу, и на проглядывающее сквозь них молодое зимнее солнце, клонившееся к закату.

— Нет такого человека, товарищи, который бы не боялся в бою. Мы, старые партизаны, тоже боялись первого боя. Вот спросите о Станко, о пулеметчике. Видели, как он размахивал сейчас миной, вызывая немцев на драку? А из первого боя он убежал. А я! — Повернувшись к ним и стараясь держаться непринужденно, словно не слыша свиста пуль, он продолжал: — В августе сорок первого, когда мы атаковали жандармерию — это было наше первое сражение, — по нам стреляли только из трех винтовок. А я никак не мог подняться. Лежал позади вяза да еще уткнулся носом в землю.

Один из партизан принужденно улыбнулся, другие рассеянно слушали и стреляли почти не целясь. «Доктор», старый партизан, лукаво улыбнулся и подмигнул Павле.

— Политическая работа? А?

— И не только в тот раз, — продолжал Павле, — я еще долго дрожал от каждого выстрела. Мне казалось, что все идут именно на меня. А потом... Смелые реже погибают... Вот они! Опять поднимаются! Прицелься и стреляй.

Бой продолжался до заката солнца. Партизаны едва удерживались на своих позициях. Немцы отошли в лес и притихли... Мороз крепчал. Ледяная корка покрыла снег. Павле подошел к раненым. Они лежали молча, только двое стонали. Ему хотелось поговорить с ними, утешить, но, уязвленный их стонами, он не сказал ни слова и пошел дальше. Партизаны, собравшись группами, тихо разговаривали о бое, перебирая в памяти события сегодняшнего дня. Они вопросительно смотрели на комиссара. Он понял их взгляды, но ничего не сказал.

Павле ходил по полю сражения, изрытому минами. Было тихо. На западе в небе угасали последние лучи солнца. Темные Гледичские леса становились все мрачнее. В них скрывалось множество тайн. Там подстерегала смерть. Сегодня вечером отряд должен пробиться. Немцы знают это и поджидают их. Не обойтись без жертв. Кто знает, какие бои ждут их

завтра, на другую ночь, наконец, послезавтра, когда они будут переходить Мораву? А как ее перейти? Немцы уже укрепились на реке. Паромы и лодки затоплены. Перейти вброд нельзя. По мосту? Тогда нужно будет пробиваться и через город, а это невозможно. ...Идти дальше, в Шумадию, тоже нельзя, они сразу же попадут в лапы к четникам, да и немцы начнут их преследовать. Отряд уничтожат в несколько дней. Учу постигла, вероятно, такая же участь. Значит, отряд будет окончательно истреблен. И все, что они делали ради его спасения, все страдания и жертвы, все достигнутые успехи — все окажется напрасным. И если он, Павле, останется в живых, он предстанет перед партийным судом. Тогда все обернется против него. Его будут осуждать все, и он один окажется виновным в гибели отряда. Почему он не двинулся к Мораве еще вчера? Как он не подумал об этом? Он мог легко предвидеть все, что случилось сегодня. Но, опьяненный успехом, он забыл обо всем на свете и о том, что неизбежно следует за победой.

Павле остановился и прислонился к дереву. В темноте он уже не мог различить бойцов. Они сидели, разбившись на группы, и курили, пряча папиросы в кулаке. Все реже и тише доносились их голоса. Вук злился на курильщиков: того и гляди заметят немцы и обстреляют из минометов.

— Разошли патрули по всем направлениям, пусть проверят обстановку, — приказал Павле Вуку.

Патрули ушли. Павле продолжал молча ходить взад и вперед. Вскоре в лесу началась пулеметная стрельба. Он остановился. «Наверно, мы окружены! Пробиться трудно! Нужно что-то придумать, похитрее!» Пулеметы замолчали, и вновь наступила тишина. Вдруг в небо взвились зеленые ракеты и, рассыпавшись, потухли над темным массивом леса и холмов.

Вернулись патрули и донесли, что всюду расставлены немецкие засады. Павле и Вук долго думали, не зная, как быть.

— Что же нам делать? — спросил, наконец, Павле, подходя к Вуку.

— Не знаю.

— Но ведь нужно что-то сделать...

— А что? Скажи, что!

Но Павле ничего не ответил и снова скрылся в темноту. Впрочем, он скоро вернулся и сел подле Вука.

— Нас заметят... и расшвыряют по всему лесу... Ночь,— сказал Вук.

— Да, нас может спасти только военное счастье, если оно вообще существует.

— Какое там еще счастье!

— А больше тебе ничего не поможет, даже смелость.

— Так что же нам делать?

— Как что? Мы должны пробиться. Должны, вот и все!

— Хорошо! Давай!— Вук встал и пошел собирать бойцов. Они быстро и тихо построились.

Павле шел впереди. Он весь превратился в зрение и в слух. Но он был встревожен и озабочен и боялся. И по мере того, как они, осторожно продвигаясь, углублялись в лес, страх этот все возрастал. Казалось, он исходит из мрака и тайн, которые скрывает роща. В сражении, в пылу атаки страх обычно проходит, но в минуты, предшествующие первым выстрелам и началу боя, он с особой силой завладевает человеком. Самый мучительный страх — это страх перед ночной засадой, когда совершенно точно знаешь, что она ждет тебя, и все же идешь прямо на нее. Павле пошел быстрее, словно желая как можно скорей встретиться с засадой, потом остановился и, словно сросшись с винтовкой, стал продвигаться медленней, напоминая товарищам чтобы они не шумели.

Ему казалось, что треск веток и оледеневшего снега слышен за километр. Он ждал залпа каждую минуту. Сердце у него билось так, словно хотело выскочить из груди. Все его мысли сосредоточились только на этом залпе. Но залпа все не было. Они шли долго. Ему казалось, что они идут по лесу уже несколько часов. И чем дальше они шли, тем больше он удивлялся. Почему же немцы не стреляют? Хитрят! Может быть, они намеренно хотят пропустить их вперед? Нет, немцы не так глупы и не так наивны. Чувство ожидания достигло такого предела, что ему уже хотелось наткнуться, наконец, на засаду. Только медленно, постепенно Павле начала охватывать радость. Он понял, что они смогут пробиться. И чем дальше они шли, тем радостней он становился. Напряжение ослабело. Он чувствовал себя почти спокойным и свободным.

Наконец после часа ходьбы они спустились в долину и остановились передохнуть. Партизаны молчали, чувствуя, что вот сейчас наступает то, чего они так долго ждали. Павле послал вперед Йована и приказал ему вместе с Максимом приготовить лодки для переправы через Мораву завтра ночью.

Неподалеку, прямо под ними, у подножья горы, заревели моторы грузовиков и, прорезая темноту, блеснул свет фар.

33

После перерыва немцы вновь начали преследовать роту Учи, не давая ей передышки. Партизаны пробивались, двигались дальше, налетали на немецкие и болгарские засады, отчаянно дрались, но не несли значительных потерь. На третий день они совсем обессилели от голода. Кроме нескольких буханок хлеба и небольшого запаса консервов, захваченных в бою с лётичевцами и недичевцами, партизаны не добыли никакой еды. Часовой совсем ослеп от голода. Он стрелял в пень, приняв его за солдата. Отряд снова находился в Соколовицком лесу. Этот день прошел без нападения.

В бору, где расположилась рота, было тихо. Но в ушах все еще стоял гул, напоминающий шум водопада. Тишина превратилась в огромный невидимый колокол, который раскачивается, гудит, а вдалеке отдается его эхо. Оно кажется то шелестом легкого шелка, то шорохом острых краев, которыми колокол трется об облака, то далеким гулом. Ни ветра, ни птиц в грязном, как тряпка, небе. Все вокруг пустынно и мертво. Деревья печально сгибают ветки под грузом белого снега. Только иногда сосна тряхнет, словно рукой, темнозеленой веткой и сбросит снег. Ветка качнется устало, и вновь все успокоится и затихнет. Лес полон темных прозрачных теней, и белизна снега кажется от этого еще ослепительней и гуще. Птицы беспокойно прыгают от дерева к дереву и исчертили снег крестообразными узорами. Сейчас их не видно, не слышно. Испугавшись людей, они скрылись.

Партизаны разгребли снег под соснами и, добравшись до сухой хвои, опустились на землю, прислонившись к стволам. Вдыхая аромат смолы, они напряженно молчали, погрузившись в какое-то тревожное ожидание. Усталость и сон овладевали людьми. Они сидели, потупив глаза, и все эти карие, черные, голубые, зеленые, серые, маленькие и большие глаза казались одинаковыми. Это были глубокие и пустые глаза изголодавшихся людей.

В зеленоватых глазах Малиши застыли усталость и голод. Ему грезился горячий кукурузный хлеб, испеченный на углях и золе. Мать дует на хлеб, шлепает, обтирает своим синим льняным передником. Вот она снова обтерла его, шлепнув с обеих сторон темными загрубевшими ладонями, и положила на стол. Хлеб разломился, показался желтый мя-

киш, поднялось облачко белесого пара. В глубокой тарелке лежит сыр, похожий на комья снега. Над плитой в деревянных корытцах отстоялись желтые сливки. Занесенная снегом поляна кажется топленым молоком в закопченном котелке. Все белеет, все пенится, все колышется и кипит.

— Ты чего так смотришь, Малиша? — тихо спросил Уча. Они сидели рядом.

— Ничего... — прошептал Малиша, не отрывая глаз от снега.

— Как ничего?

— Есть хочется...

— Потерпи еще немного... Только до ночи.

— Снег двигается, точно живой... И лес качается.

— Тебе только кажется. Так всегда бывает, когда человеку очень хочется спать. Поспи, Малиша.

— Я знаю, что это не по-настоящему. Не спится мне.

— А ты не думай о еде. Рассказать тебе что-нибудь?

— Не надо. — Мальчик замолчал, продолжая смотреть на снег.

Уча окончательно решил во что бы то ни стало пробиться вечером в деревню и накормить бойцов. Он не мог больше видеть, как они страдают. Огромным усилием воли он не давал себе думать о еде, хотя чувствовал страшную слабость — вот-вот свалится. Спуститься в деревню за продуктами казалось Уче единственным спасением. Голод — причина всех их несчастий. У бойцов нет сил для борьбы, они физически не могут выдержать такого напряжения. Что толку в сознательности, если силы исчерпаны. Бойцы ни в чем не повинны. Никто не выдержал бы того, что они вынесли за последние несколько дней. Уча проникся уверенностью, что с завтрашнего дня, когда они наедятся, все пойдет по-другому.

«Может быть, нам вообще не следовало подыматься в горы?.. Может быть, надо было пробиться пониже, к селам, и действовать на дорогах, которые ведут в города? Так мы и сделаем...» Ему показалось, что он нашел выход из кризиса. Но и теперь, как и прежде, он ни на миг не усомнился в правильности своего решения остаться на Ястребце.

В сумерки вторая рота начала медленно спускаться с горы. Бойцы едва двигались и часто останавливались на отдых. Хотя партизаны знали, куда они идут, их это словно не радовало. Все молчали. Они спускались в деревню Малиши, до нее было легче добраться, и Малиша спросил у Учи:

— Как ты думаешь, мои живы?

— Живы, не беспокойся, — ответил Уча, хотя вовсе не был уверен в этом.

Партизаны осторожно приблизились к деревне и остановились, чтобы осмотреться. В деревне царила ночная тишина. Не видно было ни малейшего огонька. Кое-где редко и лениво лаяли собаки. Из своего долгого опыта партизаны по лаю распознавали, есть ли в деревне солдаты, где стоят посты, засады, не ходит ли патруль. Прислушавшись, Уча решил, что в деревне никаких войск нет. Впрочем, это скорее удивило его, чем обрадовало. Он не верил тишине и боялся ее. В окрестных деревнях лаяли собаки. Партизаны долго стояли в ожидании, не покажется ли враг. Уча с двумя бойцами осторожно подошел к крайнему дому и постучал в окно. Прошло немало времени, пока откликнулся женский голос. Потом женщина открыла окно и спросила, кто стучит. Ей не верилось, что это партизаны, и она отказалась что-либо сообщить о положении в селе. Пришлось позвать Малишу.

— Стана, нана * моя жива? — спросил он.

— Жива.

— А остальные? Дом наш не сожгли?

— Все живы. И дом не сожгли.

— А немцы в деревне есть?

— Нет. Они вечером спустились с горы и направились к Расине. А куда, точно не знаю, товарищи. Может, сейчас и вернутся. Если узнают, что вы здесь, перебьют нас всех, и так уже здесь мало народу осталось. И деревню сожгут!

Напуганная женщина умоляла их немедленно уйти в горы и обещала собрать и принести им еду.

Малиша сердился. Он и ругал ее, и успокаивал. Наконец он позвал остальных, и все направились к дому Малиши, который находился в долине с другого края деревни, у самого леса. Почувствовав их приближение, собаки залаяли. Малиша постучал в дверь и позвал мать.

— Ты жив, сынок! Ох, господи, хоть еще раз погляжу на тебя! — сразу же отозвалась она, открыла дверь и, полуодетая, бросилась обнимать Малишу, обливая его лицо слезами.— Партизан ты мой, партизан мой пришел... Теперь и умереть не страшно.

— Да пусти ты! Что с тобой? Вот ты плачешь, а товарищи смотрят и ждут! — грубовато успокаивал ее Малиша, отбиваясь от нее. Ему было стыдно, что мать плачет и обнимает его на глазах у партизан.

— Идемте все в дом. Не бойтесь, швабы ушли. Сегодня весь день они тянулись в город. После той напасти, которая приключилась с нашим селом, я убежала и вернулась только сегодня вечером. Уча, где ты? Ты жив?

— Здесь я! — отозвался Уча и подошел поздороваться.

Она обняла его, целуя в руки и в плечо, потому что не доставала до лица, и снова расплакалась. Бабушка, младшие братишки и сестры Малиши проснулись и встали. Бабка зажгла лампу.

— Чего не спите?—вместо приветствия сказал Малиша, входя в дом.

Дети еще спросонья смотрели на него весело и любопытно, а бабушка плакала.

— Ты жива, бабушка? — обратился к ней Малиша несколько небрежно и свысока.

— Лучше бы мне умереть, сынок, чем дожить до такой беды...

— Молчи! Ты только и умеешь, что причитать. Война, что поделаешь? — укорял он ее.

Партизаны начали входить в дом. Мать Малиши — все старые партизаны звали ее «нана»— стояла в дверях, всех узнавала, со всеми здоровалась и с каждым находила о чем перемолвиться. Уча у дверей поставил часовых, окна занавесили одеялами, затопили печь. Партизаны сняли снаряжение, сбросили шинели и уселись на земляном полу. Мамаша снимала с кровати подушки и одеяла, раздавала бойцам и сердилась, что они не садятся на кровать.

— Что в печи — все на стол мечи! — солидно, как хозяин, распорядился Малиша.

— Сейчас, сейчас! Знаю, что наголодались, бедные вы мои! Молока и сыра у меня много, только вот хлеба не хватит.

— Тогда вари мамалыгу, — сказал Малиша.

Мать принесла три кринки молока и раздала партизанам чашки. Молоко выпили быстро.

---

* Нана — ласкательное обращение к матери.

Бойцы смущенно молчали. Дом, теплая комната, молоко — им казалось, что это сон, сверхъестественное, невероятное чудо. Они словно спрашивали друг друга глазами: «Что это, действительно дом, молоко?..» Малиша как хозяин приказывал бабушке подкидывать дрова в печь. Партизаны расстегнули гимнастерки, подсмеиваясь над собой. Они радовались своему нежданному счастью — после голода и ночлега на снегу вдруг теплая комната и дают молоко. Обогревшись и осмотревшись, они принялись шутить и возиться с детьми. Самые усталые скоро задремали, многие уснули сидя.

В соседней комнате возле очага, где варилась в котле мамалыга, сидел Уча и разговаривал с наной.

— Что, много людей побили немцы? — спросил он.

— Много, Уча, много! В нашей деревне и двадцати мужчин не осталось. Да и в других тоже. После того, как вы побили немцев на Лисинах, сколько тогда народу погибло! Есе спали, никто их не ждал. Эти проклятые окружили деревню рано утром и давай хватать людей. Много крестьян погибло, когда бежали, а многих схватили на месте, всех перебили. В деревне не осталось ни одного двора без траурного флажка. И женщин убивали, и детей. Мы, как услышали стрельбу, сразу бросились в лес. Насилу живы остались. Из дома у нас все растащили, Уча! Все проклятые забрали!

— Народ напуган, конечно?

— Как не испугаться! Вот тебе, говорят, и партизанская свобода... Кормим их, охраняем, а потом нас из-за них убивают. Вы не сетуйте на народ. Молодые, которые уцелели, поступили к недичевцам в полицию, чтобы только в живых остаться. Но это очень нехорошо: теперь в деревне начнется раскол. Мне рассказывали сегодня вечером, что к старосте, к тому самому, которого вы хотели расстрелять за реквизицию, приехал какой-то офицер от Драже. Они хотят организовать четницкий отряд, будто бы для того, чтобы защитить деревню от немцев.

— И что же? Записался кто-нибудь в четники?

— Не знаю, но, конечно, запишутся. Люди готовы хоть чертом стать, только бы остаться в живых. Народ у нас темный, не знает, как это там у вас говорится, об идеях.

Малишина мать еще долго рассказывала. Уча слушал ее и молча думал. По сравнению с горем, постигшим весь народ, его собственные страдания и мучения казались ему мелкими и незначительными. Вспоминая сейчас свои прежние мысли, он стыдился. «Наверное, я тоже деморализован, если мог так думать... Что это со мной было? Я не трусил, не боялся за свою жизнь. Я делал все, чтобы заставить роту воевать... Голод вынудил меня спуститься в деревню. Неужели я только здесь понял, что немцы обречены на поражение? Я шел сюда, как на самоубийство. Все, что произошло с ротой,— это только следствие тяжелого кризиса, который я пережил».

— Народ думает, что вас всех истребили, — продолжала женщина. — Сюда привозили мертвых партизан и показывали их по деревням. Слышала я, что за Моравой появился какой-то большой отряд. Говорят, это те, из Боснии. А вчера привезли будто бы из Крушеваца пятнадцать мертвых жандармов и лётичевцев.

— Да ведь это Павле с ротой!— вскрикнул пораженный Уча. Это было так неожиданно, что весть в первое мгновение больше поразила, чем обрадовала его. Он даже усомнился в правдивости рассказов наны. А она, обрадованная тем, что отряд за Моравой — партизаны Павле, начала подробно передавать все, что слышала, и еще прибавила от себя. Необычное настроение Учи не укрылось и от нее.

Он замолчал. Всего страшнее было сознание, что он потерпел поражение. Почему так случилось, он и сам не знал. Это было странно и необъяснимо. Он попрежнему был уверен и мог с математической точностью доказать, что с военной точки зрения правильно поступил он, а не Павле. Но на деле, кажется, произошло обратное. Павле действовал успешно, а он потерпел почти полное поражение, потерял двадцать пять человек. «Моя рота уничтожена. Она больше не существует», — с ужасом подумал Уча, словно только что понял это.

— На днях на горе я встретила Ефту. Он нес мешок. Я сразу поняла, что для раненых. Спрашиваю его о вас, но он не сказал ни слова. И другие его видели, — продолжала рассказывать мать, но Уча уже не слушал.

— Что у тебя с мамалыгой? Копаешься, будто студень варишь. Товарищи устали, голодные, не могут больше ждать, — сердито крикнул Малиша, появляясь в дверях.

— Сейчас, сейчас! Готово, сынок. Я еще не сказала тебе, пришло письмо от отца! И знаешь, что он пишет, Уча? — обратилась она к командиру, который сидел потупившись. — Пишет, хорошенько пасите и кормите коз в горах. Это он о вас заботится! — похвасталась мать и, взяв с полки письмо, протянула его сыну.

Малиша посмотрел на него, пробежал и отдал обратно.

Партизаны торопливо и жадно ели мамалыгу с сыром. Уча заявил, что ему хочется посидеть в тепле у огня, и не стал ужинать вместе со всеми. Мать принесла ему тарелку с едой, но он почти не прикоснулся к ней.

— Заболел... Скверно... — сказал он угощавшей его нане, которая сердилась, что он не ест.

Перед тем как партизаны легли спать, Уча вошел к ним в комнату и строго сказал:

— Мы будем спать только один час. Разводящий, в четыре разбудишь на выход!

— Рано в четыре, в пять! — крикнул кто-то.

— Ладно, в пять. Нет, в половине пятого! Мы и так залежались и обленились. Больше этого не будет, поняли? С завтрашнего дня мы перестанем болтаться по горам, — сердито сказал Уча.

Позднее он вспомнил, что в три часа надо послать на всякий случай патрули на околицу, но он забыл распорядиться. Партизаны скоро заснули. Уче не спалось. Он привернул фитиль и уселся возле плиты. Разводящий дремал. Уча резко окрикнул его. Чем больше он думал, тем менее достоверным казалось ему известие о Павле. И все же это оно заставило его иначе посмотреть на свое поведение и на положение роты. И это приводило его в отчаяние, лишало сил, омрачало радость, которую он испытал при мысли, что вместе с Павле находится, вероятно, Бояна. Он уже почти похоронил ее! Но в постигшей его неудаче Уча не винил себя. Он считал, что с его ротой произошло тяжелое несчастье, которое на войне может случиться даже при гораздо более благоприятных обстоятельствах. Но ведь нужно совершить какое-то чудо, чтобы оправдаться перед партизанами, у которых после всего, что они пережили, он не сможет уже сохранить свой прежний авторитет. При наступлении, именно тогда, когда нужно было проявить свои подлинные командирские способности, он потерял половину отряда. Но что еще предпринять, что еще совершить, он не знал. С горстью людей много не сделаешь. И с одной храбростью тоже. Но что-то нужно сделать. И сделать завтра, немедленно. Он придумывал различные маневры, направленные против врага. Но как только он принимал решение, оно начинало казаться ему слишком мелким и ничтожным по сравнению с тем, чего он

хотел. Ночь подходила к концу, разводящие и часовые сменялись, а он все еще сидел, безучастный ко всему окружающему, без сна, в каком-то отчаянии.

Приход партизан в село не остался незамеченным. Их кто-то увидел и донес. Оставалось уже меньше получаса до выступления, когда отряд немцев, крадучись, вошел в село и окружил дом Малиши. Уставший часовой дремал в кладовке возле дверей. Он заметил немцев, только когда они были уже шагах в десяти. Часовой так растерялся от неожиданности, что даже не выстрелил, чтобы поднять тревогу. В страшном испуге ворвался он в дом и закричал:

— Немцы! К оружию!

— Где? — заревел не своим голосом Уча.

— Здесь! Идут!

Немцы быстро окружили дом и направили пулеметы на окна и двери. Уча все еще объяснялся с часовым и расспрашивал его о немцах, когда вражеский офицер уже распахнул дверь и, осветив комнату карманным фонарем, надменным и резким голосом прокричал:

— Was ist denn los? Hinaus! * — он взмахнул рукой, в которой держал револьвер.

Началась паника и смятение. Бойцы спросонья бросились искать свои сумки, пулеметчики — ленты, все кричали, вопили, метались. Они совсем не слышали возгласа немца. Уче казалось, что у него отнялись ноги. Но он пересилил себя и бросился сквозь толпу к двери.

— Hinaus! — кричал офицер срывающимся тенором и освещал фонарем мечущихся людей.

У Учи уже не было времени выстрелить. Он бросился на немца и схватил его за горло. Тот выпустил из рук револьвер и фонарь и вступил в борьбу с Учей. Но Уча был сильнее. Он быстро вытолкал врага за порог и сбросил с лестницы. Потом выхватил револьвер и дважды выстрелил в офицера, который пытался подняться.

— Партизаны, вперед! — крикнул Уча.

Услышав этот крик и выстрелы, немцы открыли огонь по окнам и дверям. Дом был деревянный. Пули пробивали насквозь тонкие стены и летали по комнате. Сквозь стрельбу слышались вопли наны. Стонали раненые. Некоторые пытались выскочить в окно, но их скашивали пулеметные очереди, и они падали обратно в комнату. Уче все же удалось разыскать свой автомат. Примостясь возле порога, он стал стрелять. К нему подполз Вуксан и направил свой автомат прямо на пулемет, бивший по двери. Точными ударами они вскоре заставили его замолчать. Почувствовав, что наступил момент, удобный для атаки, Уча снова крикнул:

— Вперед, товарищи! За мной! — и выскочил на улицу.

Вслед за ним, стреляя на ходу, бросился и Вуксан с остальными партизанами. Уча бежал по двору, стреляя.

— Вперед, товарищи! Вперед! — кричал он.

Партизаны смешались с немцами. Они стреляли только из винтовок. Немецкий пулемет снова начал бить по дверям дома. Ошеломленные решительной атакой партизан, которых они рассчитывали захватить спящими, немцы начали отступать. Большая часть бойцов уже выбралась на откос. Они хотели отходить через лес, но Уча остановил их. «Если бы мы поднялись в четыре, ничего бы этого не случилось!» — вихрем пронеслось у него. — Вот и погибла моя рота. Раненые остались в доме. Их перебьют. Нет! Ни за что! Уча, Уча, несчастный ты человек!.. Все против тебя!.. Ударь на них! Другого выхода нет! Ударь!»

---

* Что тут происходит? Выходите! *(нем.)*

— Товарищи, вперед! В атаку! Спасем наших раненых! Вперед!

Не раздумывая ни минуты, человек десять бросились вслед за Учей на немцев. Но враги уже оправились от замешательства, снова окружили дом и принялись из нескольких пулеметов обстреливать откос, по которому спускались партизаны.

Заря насилу пробивалась сквозь мрак и облака. Наступала вторая рота, наступала в последний раз. Она шла прямо на пулеметный огонь. Это была ее самая отчаянная атака. Никто не думал о победе. Все хотели спасти раненых.

— Два!.. Три!.. Пять! — выкрикивал Уча. — Левей, Малиша, левей... Вуксан, заходи!

Стреляя, немцы поднимались вверх по руслу потока, чтобы окружить партизан.

— Товарищи, гранаты! — скомандовал Уча. Ему хотелось сказать бойцам что-нибудь теплое. Он знал, что в эту минуту решается их судьба. Он продолжал стрелять, внутри у него все горело. В голове, в груди, в горле, во рту... Кровь вытекала и струилась из пробитых вен и артерий, заливала глаза, капала на руки, на пулемет, на снег.

Пулеметная очередь, словно пила, резанула его по ногам. Он покачнулся и рухнул, как подрубленный вяз. Он еще раз попытался приподняться — на локтях. Из его перебитых ног хлынула кровь, заливая одежду и стекая на грязносерый снег. Он поднял голову, схватил выпавший автомат и нажал спуск. Он стрелял в снег.

К нему подбежал Малиша.

— Уча ранен! Товарищи! — закричал он.

— Молчи! Не поднимай паники... Вперед!.. — командовал Уча, задыхаясь и скрипя зубами.

Малиша сделал несколько шагов, обернулся и увидел, что остался один. Партизаны, услышав, что командир ранен, бросились в лес.

Пулеметная стрельба немцев стала еще яростней. Уча зарылся головой в снег, который казался ему горячим. «Самое теплое на свете — человеческая кровь...» — промелькнуло вдруг у него.

Малиша подошел к командиру, он пытался приподнять и оттащить его.

— Пусти, Малиша... Пусти. Беги в лес... Приказываю тебе! Вуксан — командир.

— Нет! Перевернись на спину, я потащу тебя. — И Малиша заплакал.

— Иди, Машо! Иди! Я не умру. Возьми автомат.

Летели пули. Уча почувствовал, как одна ударилась о его раненую руку. Ее свела судорога.

— Малиша, приказываю... Иди!

— Не могу! Товарищи-и! Где вы?

— Иди!.. Постой!.. Ты кем хотел быть?.. Судьей? Вот и будь судьей. В нашей крови много пороха... Иди! Все кровь. Дай руку, солдату не пристали слезы. Ох! Какая горячая кровь... Страшно горячая... Горит!..

Малиша взял его за руку. Напрягая последние силы, Уча пожал руку мальчика и выпустил ее.

Малиша всхлипнул и громко зарыдал. Потом взял автомат и тихонько пошел к лесу, провожаемый бешеной стрельбой.

— Где Уча? — встретил его Вуксан.

Малиша захлебывался от слез.

— Товарищи, не отдадим немцам убитого командира! — Вуксан крикнул: — За мной!

Несколько человек бросилось за ним и Малишей. Когда они добра-

лись до Учи, он уже похолодел. Они подняли его и понесли. По дороге тот, кто поддерживал голову, упал, убитый наповал. Пока они дошли до леса, упал еще один. Вуксан, Малиша и Душко, задыхаясь, несли своего командира. Занимался рассвет...

34

На рассвете немцы из мести спалили село. Нану с детьми и бабкой, которые спрятались во дворе, сожгли вместе с домом и всеми ранеными партизанами. Почти все жители убежали в лес еще в самом начале этой расправы.

Немцы жгли село целые сутки. Небольшими группами по пять и десять человек, надвинув на глаза шлемы и держа автоматы наперевес, они шныряли по селу, поджигали, подливали бензин, бросали солому туда, где еще плохо горело.

Они строчили из пулеметов по курам, по свиньям, собакам. Окончательно уничтожив все живое, они принялись сбивать прикрепленные к воротам траурные флажки, которые, словно мертвые галки, повисли над селом.

Вечером немцы поставили засаду у околиц, чтобы схватить уцелевших погорельцев и отомстить за своих убитых солдат. Крестьяне, которые пытались подойти к селу, чтобы обогреться на родном пепелище, были встречены пулеметным огнем. Остальные беженцы скрылись в горах, дожидаясь ухода немцев. Всю ночь тарахтели пулеметы, убивая возвращавшихся домой собак. Но собаки были упрямы. Невзирая на засады и пулеметы, они проникли в деревню и целую ночь с бешеным лаем и воем носились вокруг пожарищ. Немцы продолжали их убивать.

На откосе, над селом, шесть партизан простояли всю ночь, глядя, как горит деревня. Ярко пылали постройки, кое-где поднимались еще последние языки пламени, в мирной ночной тишине клубился дым, пахнущий паленой шерстью и мясом. Над долиной, где расположилось село, нависла фиолетово-красная пелена зарева. Партизаны не проронили ни слова.

На заре немецкая колонна ушла из села. И сразу же начали возвращаться люди.

Словно по молчаливой договоренности, Вуксан со своими партизанами тоже пошел туда. Последним шел Малиша, глядя прямо перед собой и волоча по снегу приклад винтовки. Они вошли в село и, все еще не проронив ни слова, направились к малишиному дому. Навстречу им попадались женщины, дети, мужчины. Все опускали головы и проходили мимо, не здороваясь. В первый раз, поравнявшись, те и другие остановились. Крестьяне смотрели на партизан и понимали, что их осталось всего шестеро. А партизаны смотрели на крестьян и знали, что им не к чему возвращаться. Так они стояли и молча смотрели друг на друга, а потом быстро разошлись. Они сторонились друг друга, каждому казалось, что другой еще несчастней его.

Над пожарищами торчали черные, обгорелые балки, в воздух поднимался густой синий дым. На каменных кирпичных домах провалились крыши, вместо окон и дверей зияли дыры. Только темные заборы с покосившимися воротами ограждали мрачные пепелища. Снег почернел от гари. Пахло едким дымом, паленым. Возле сгоревшего хлева, волоча за собой веревку, ходила корова и протяжно мычала, озираясь вокруг. На берегу ручья, в кустах, партизаны вспугнули кур, и те раскудахтались, словно почуяли лисицу. Они прошли мимо старика. Раздетый, с непокрытой головой, он носил в черепке от кувшина воду из ручья и поливал ею пожарище. Старик молчал, он торопился вылить пригоршню воды на потухший и уже подернувшийся золой костер.

Партизаны вошли во двор к Малише и замерли, глядя на черную кучу. Дымилась недогоревшая балка. Огромная горная овчарка стояла на каменной лестнице и глухо выла, глядя в небо. На истоптанном грязном снегу алели капли крови, словно пролитое вино. Возле обгоревшей кости торчало дуло винтовки, повернутое к небу.

Малиша подошел к собаке и сел рядом с ней на ступеньки. Собака замолчала, повернулась и посмотрела на него желтыми, полными слез глазами. Несколько мгновений они, не моргая, смотрели друг на друга. Глаза у Малиши заблестели и наполнились влагой. Казалось, они превратились в две огромные зеленоватые капли. Собака отвернулась и, скуля и лязгая зубами, снова принялась выть.

Вуксан отошел, выпрямился и дрогнувшим голосом скомандовал:

— Отряд, смирно-о!

Четверо партизан вытянулись и застыли. Лица их были бледны и губы дрожали.

— Винтовку на руку! Цельсь вверх!

— Огонь!

Грянул залп. В сером холодном утреннем воздухе взвились четыре дымка и быстро рассеялись.

Малиша обхватил голову руками и беззвучно зарыдал. Собака обернулась на стрельбу и снова глухо завыла.

— Сколько патронов осталось? — спросил Вуксан.

— Три...

— Четыре...

— Два...

— Пять...

— Поделите патроны — у всех будет поровну. Но ни одного не тратить зря!

На другом конце села послышались крики и женский визг. Вуксан прислушался.

— Вперед! — скомандовал он и пошел в том направлении, откуда раздавался крик.

Малиша встал и, пошатываясь, поплелся вслед за другими. Собака осталась на лестнице.

Они снова прошли мимо старика, который все еще носил в черепке воду и поливал потухшее пожарище. Он даже не обернулся. Миновав яблоневый сад, они поднялись на пригорок и увидели множество людей, главным образом женщин, которые, ругаясь и крича, как безумные, сжигали единственный несожженный дом. Партизаны подошли к женщинам. Те на минуту остановились, посмотрели на них и с еще большей яростью бросились к стогу кукурузной соломы. Хватая снопы, они швыряли их в огонь, лизавший уже окна и двери. Хозяева пытались защитить свое добро, они бросались на нападавших с вилами и топорами.

Жгли дом кмета, который донес немцам на партизан.

35

— ...Нас осталось шестеро. Что с первым отрядом — неизвестно. Все вражеские силы, брошенные против нас, теперь устремились на Павле, — медленно говорил Вуксан, делая паузу после каждой фразы. Внутри у него горело, во рту пересохло, он облизывал губы и шепелявил еще больше, чем всегда. Они сидели в дубовой рощице, над селом. — Значит, теперь мы отряд. А раз мы отряд, значит и воевать должны, как отряд. Слезами горю не поможешь. Пока есть силы — терпи, молчи и наноси удары. Немцы думают, что мы полностью уничтожены... Я предлагаю решиться на самое рискованное дело.

— Правильно. Но на какое? — задумчиво сказал Душко, роя ногой снег.

— Мы ворвемся в город и убьем кого-нибудь из агентов врага. Я знаю, где они живут. Это имело бы важное значение для товарищей в городе. После провала это подняло бы дух, — сказал Гаравко, одетый в форму недичевского жандарма.

— Нет, этого мало. Какие там агенты! Я бы бросил бомбы в крайскоманду *. Об этом деле, пожалуй, и Гитлер услышит, — предложил Шиля, бывший портновский подмастерье, толстощекий и косой юноша с закрученными вверх усиками. Он был известен в отряде как налетчик и подрывник. О его дерзости и хладнокровии слагались легенды. Его считали также лучшим «шатровцем» **, или, как он сам говорил о себе, «человеком, который говорит на двух языках».

— А на что нам это? — заметил Вуксан. — Лучше поджечь гараж. Там, наверное, есть бензин. Это нанесло бы ущерб немцам.

— Предлагаю разделиться: двое пойдут поджигать гараж, двое — ликвидировать агентов. У нас есть немецкая одежда и каски...— И Гаравко заговорил о подробностях дела и о подготовке к нему.

— Малиша останется и будет ожидать нас здесь, — предложил, наконец, Душко. Про себя он подумал: «На всякий случай. Пусть останется хоть один из отряда, чтобы рассказать о том, что было с нами». Все поняли его, и все с ним согласились...

Малиша, который все это время не проронил ни слова и сидел неподвижно, глядя на приклад винтовки, вздрогнул, услышав свое имя, и сердито заявил, что тоже пойдет. Все воспротивились его желанию, Вуксан воспользовался даже правом командира. Малиша снова умолк.

На следующую ночь, когда все было готово, они впятером отправились в город. Миновав сторожевые посты, перебравшись через рвы, защищенные колючей проволокой, они подошли к кладбищу, расположенному на окраине города.

Кроме крестьянина Уроша — неуклюжего верзилы в коротком и тесном немецком мундире, — все остальные были городскими жителями. Они привычно и ловко шныряли между городскими домами, которые стояли среди полей, садов и огородов. Все города в Сербии имеют такие полудеревенские окраины. И здесь в центре была сосредоточена торговля, мастерские, мелкие предприятия, государственные учреждения, словно город уже освободил голову и руки, а ноги его еще остались в кукурузных полях.

Проходя мимо огородов и садов, Шиля вспомнил свое детство, когда он крал черешни и орехи в чужих садах, и он стал шепотом рассказывать об этом Душко. Вуксан не останавливал их. В доме, где они провели эти сутки, они непрерывно разговаривали обо всем, о чем угодно, только не о роте. Так было и теперь.

На кладбище партизаны остановились передохнуть и еще раз договориться обо всем. Вуксан и Шиля подожгут гараж, находящийся в центре города, Душко, Гаравко и Урош ликвидируют двух наиболее отличившихся агентов сербской тайной полиции и гестапо. У выхода с кладбища на улице, по которой они должны были пройти, возле кофейни «Пиштольджия» послышался громкий говор болгар. Вуксан и Гаравко отправились на разведку.

Они возвратились, и пятерка вышла с кладбища. Обойдя немецкую стражу, они, надвинув шлемы на глаза и построившись, как немецкий патруль, двинулись в путь. На улице было пустынно. Прожекторы, укреп-

---

* Крайс-команда — штаб немецкого окружного командования.

** Шатровец — человек, свободно изъясняющийся на блатном жаргоне.

ленные на высоких столбах, бросали на далекое расстояние рассеянные снопы света. Снег блестел голубыми искрами. Наступил полицейский час. В домах не было света. Все ворота были на запоре. Город томился в принудительном покое. Топот оккупантских патрулей угнетал жителей, не давал им спать.

— Знаешь, что бы я сделал? — шепнул Шиля Вуксану.

— Что?

— Прижал бы дуло к доске забора, а сам побежал бы вдоль него. Дуло как застучит: др-р-р-р... Обыватели непременно подумали бы, что пулемет строчит у них под окнами.

Вуксан рассердился и приказал Шиле вести себя серьезно. Они недолго шли. Гаравко — «недичевский унтер-офицер», Душко и Урош — «немцы из полевой жандармерии» — вышли во двор, где жил гестаповец Петкович, главный немецкий агент. Он провалил партийную организацию на фабрике и в депо, составлял списки рабочих, намеченных для отправки в Германию, а потом выуживал деньги и вещи у их родных, обещая «выручить их». Гаравко хорошо его знал, так как Петкович был прежде его мастером.

Весь отряд быстро перескочил через забор и на цыпочках приблизился к освещенному окну. Дом был приземистый, окошко низкое. В комнате слышались тихие звуки джаза по радио. Гаравко заглянул в окно. Петкович в пижаме сидел за столом и рассматривал немецкий иллюстрированный журнал «Сигнал». Его жена, укрывшись красным одеялом, лежала в постели. Подложив под голову полные белые руки, она слушала мужа, который рассказывал ей о каких-то деньгах.

— Господи, Миле, ну зачем нам эти деньги? — говорила жена. — Грязная бумага, ничего не стоит. В войну печатают деньги, как газеты. Почему мы не покупаем вещей? В доме ничего нет. Мне просто стыдно, когда кто-нибудь к нам заходит.

Гаравко дрожал от возбуждения. Забывшись, он прижался носом к стеклу, стараясь разглядеть, нет ли на столе револьвера. На улице послышался стук деревянных башмаков. Партизаны бросились в тень и присели на корточки. Время от времени раздавались выстрелы. Прошел патруль. Гаравко поднялся и снова приник к окну.

— Ну, иди, Миле, я хочу спать... Иди, котик... Шалунишка мой милый... — говорила, воркуя, жена. Она потянулась всем телом, и ее голое колено высунулось из-под одеяла.

— Давай, — шепнул Гаравко и, покашливая, уверенным шагом направился к дверям. Поднявшись на низенькое крылечко, он постучал в стеклянную дверь.

— Кто там? — громко крикнул агент.

— Полиция! Отвори! — сурово ответил Гаравко.

В прихожей зажегся свет. Агент отдернул занавеску и, увидев недичевца и немца, отворил.

Гаравко, приставив к его груди винтовку, крикнул:

— Руки вверх! Ты арестован!

Петкович растерялся. Он смутно припоминал лицо вошедшего. Подавшись назад и прикидываясь, что ничего не понимает, он забормотал:

— Я Милан Петкович... Вы ошиблись...

— Нет, не ошиблись! Ты нам и нужен!

Урош вошел в прихожую и закрыл за собой дверь. Гаравко подмигнул ему, и Урош вошел в спальню. Жена поднялась с кровати, застегивая ночную сорочку.

— Если попробуешь кричать — застрелю, — тихо сказал Урош.

— Простите, что это значит? Это какое-то недоразумение, — удивленно, но довольно спокойно сказала женщина.

Гаравко втолкнул агента в комнату. Урош задернул занавеску.

— Где у тебя револьвер? — строго обратился к агенту Гаравко.

— Нет, честное слово!

— Никогда и не было. Откуда у него револьвер? Господи, что это с ними сегодня сделалось? — и женщина схватилась за голову. — Да знаете ли вы, господа, чей это дом? Мы будем жаловаться лично коменданту Тегенеру! — добавила она с угрозой.

— Молчи, ни слова! — резко оборвал ее муж. Ноги его тряслись. Он узнал Гаравко.

— Молчать! Еще одно слово... А ну, повернись к стене! — прикрикнул на нее Урош и толкнул ее в угол комнаты. Она зацепила за столик с горшочком цикламен; горшочек упал и разбился. Урош наступил на розовые цветы.

Гаравко, глядя на агента, рылся в столе.

— Дай список рабочих, назначенных для отправки в Германию.

— Какой список?.. Понятия не имею... Какое мне до этого дело? Я обычный мастер... Ты и сам это знаешь, — говорил, дрожа, гестаповец.

— А-а-а, — обернулся к нему Гаравко. — Узнаешь меня? Хорошо, что признал!

— Слушай, Бане, ты что это? Я, кажется, всегда обходился с тобой по-человечески.

— Да, да, не бойся! — говорил Гаравко, деловито перебирая бумаги.

— Вот револьвер! — воскликнул Урош и вытащил револьвер из ночного столика.

— Я еще с тридцать шестого помогал партии. Спасал... — взревел агент.

— Не рассказывай. Одевайся, поведу тебя на допрос к нашему командиру. Там и перечислишь свои заслуги! — приказал ему Гаравко, засовывая вынутые из стола бумаги себе в карман.

Жена начала рыдать.

— Успокойся, Зага! У меня совесть чиста. Старые коммунисты меня знают... Я объясню... Разве я мало им помогал! — говорил агент, одеваясь.

Руки его дрожали, он забыл завязать шнурки на ботинках. Гаравко обыскал карманы его пальто. Когда агент оделся, ему связали руки.

— А ты, госпожа, смотри! Если поднимешь тревогу, он поплатится головой, — припугнул Урош женщину, которая громко плакала, то умоляя их, то грозя.

— Зага, будь умницей, не подымай шума! Я знаю, что прав, и если меня, невиновного, захотят убить мои друзья-рабочие, — пусть убивают. Я этого не заслужил, — говорил, заикаясь, муж.

Жену заперли в кладовой, свет погасили. Петковича вывели из дома и заперли двери. Женщина подняла крик, зовя на помощь полицию. Агента повели через двор.

Шли они недолго. Повернули в темную улицу и расстреляли его.

Они спешили к дому поручика, известного организатора лётичевской молодежи, который вместе с немцами бросал в тюрьмы гимназистов и гимназисток. На его совести было пятьдесят расстрелянных учащихся и еще больше арестованных. Партизаны спешили выполнить свое задание до двенадцати, так как Вуксан и Шиля должны были точно в полночь напасть на гараж. Лётичевец жил в центре города. Они быстро шли по избитому, неровному тротуару. Вдруг на улице, которую они должны были пересечь, послышались шаги. У них не было времени спрятаться, они прижались к стене, в тень. Но немцы — их было пятеро — не повернули в эту улицу. Они прошли мимо ровным воинским шагом, в блестя-

щих касках, сверкнувших под фонарем. На груди у них были жестяные бляхи. Урош только громко охнул от неожиданности. Когда немцы прошли, они быстро перебежали улицу и торопливо направились дальше.

— В этом доме жила моя первая любовь. Каждый вечер я гранил здесь под окнами мостовую, а она пряталась вон под той айвой, — прошептал Душко.

— У тебя с ней что-нибудь было? — спросил Урош, немного оправившись от страха.

— Нет, ничего...

— Ну вот и дом еврея Левия, который содержал кино для детей. Его убили, и этот тип поселился в его доме, — сказал Гаравко.

— Немцы! — процедил, предупреждая товарищей, Урош, самый осмотрительный из всех.

Он толкнул железную калитку, она отворилась: шпион не запирал ворот. Они подождали, пока пройдут немцы, которые пели и громко смеялись. Урош остался у ворот, а Гаравко и Душко постучали в дверь маленького приземистого дома. Никто не откликнулся. Они постучали в окно.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Патруль! Откройте! — ответил Гаравко.

Ключ щелкнул, и они вдвоем вошли в дом. Пожилая женщина в халате и папильотках встретила их спокойно и заносчиво.

— Покажите список жильцов! — приказал Гаравко. Ему были хорошо известны вопросы, которые задает полиция, хозяйничающая в оккупированном городе.

— Здесь живем я и мой сын Раде Костич, поручик добровольческой армии. Можете не утруждать себя. Тут проверять нечего!

— Извините, сударыня, служба есть служба! Мы в вас не сомневаемся, но обязаны осмотреть дом. Знаете, коммунисты в последнее время стали очень искусно маскироваться, — вежливо объяснил Гаравко.

«Немец» Душко держался строго и спокойно, наблюдая за дверью, но втайне он волновался. Костича он хорошо знал.

— Слушайте, господин унтер-офицер, — последние слова она произнесла с иронией. — Это квартира поручика! Поручика Костича,— сказала она, отчеканивая фамилию, — вы должны это знать, потому что он — ваш непосредственный начальник.

И, отчеканив так же последние слова, она сделала паузу.

— Он сейчас спит, устал, только что вернулся из командировки. Вы не имеете права его беспокоить.

— Нам очень жаль, сударыня, но приказ есть приказ.

— Какой там приказ! Я издаю приказы, касающиеся только домов коммунистов. Что вам здесь нужно? — закричал из соседней комнаты поручик и распахнул дверь. Они увидели высокого растрепанного молодого человека в полосатой пижаме.

— Тебя-то нам и надо, поручик! Руки вверх! — крикнул Гаравко, направляя на него пистолет. То же сделал и Душко.

— Меня?! — изумился поручик.

— Тебя! А вы, сударыня, молчите, иначе убьем его у вас на глазах! — прибавил Гаравко.

Мать и сын в испуге глядели друг на друга.

— Кто ты такой? Что тебе надо? — спросил поручик.

— Ведь не боишься же ты партизан, Раде? — насмешливо заметил Душко. — Руки вверх! И ни слова! — И он толкнул его винтовкой.

Поручик задрожал и приподнял руки. Мать молчала.

— Выше руки! — приказал Гаравко. Оттолкнув его от двери, он

прошел в соседнюю комнату и тотчас же возвратился, неся пистолет и гранаты.

— Ты был в восьмом классе, а я в шестом. Мы с тобой как-никак знакомы. Сударыня, принесите ему одежду, — спокойно говорил Душко.

Мать всхлипнула и попыталась обнять Душко, но он оттолкнул ее. Гаравко принес из соседней комнаты ботинки и офицерскую форму, обыскал карманы и, направив на поручика винтовку, велел ему одеваться. Пока он одевался, мать, захлебываясь от слез, молила партизана не уводить ее сына.

— Почему вы плачете, сударыня? Ведь нельзя же, прожив здесь всю оккупацию, не знать, как хватают людей ночью из постели... Ведь надо же вам понять, каково матерям, когда ваш сын уводит ночью их детей в гестапо... Ведь надо, чтобы ваш сын не бил впредь чужих матерей рукояткой револьвера по лицу... — говорил Душко, готовый излить на нее весь свой гнев. Но Гаравко его одернул.

— Дорогие дети, вы же школьные товарищи... Разве вы можете убивать друг друга? Сыновья мои, смилуйтесь, ведь он у меня один... И у вас есть матери. В нем вся моя жизнь... — и мать заклинала, ползая на коленях и обнимая ноги Душко.

Сочувствие к материнскому горю боролось в нем с ненавистью и презрением. Он насилу вырвался от нее.

— Зачем вам плакать о сыне-предателе! Плюньте на него и проклините молоко, которым вы его вскормили.

— Я не могу... Кровь моя... Мое дитя... Он все для меня... Простите его, умоляю вас... — говорила, рыдая, мать.

«Плачь! Плачь!.. Умри от боли, и пусть сербская мать никогда больше не родит предателя!» — говорил про себя Душко, задыхаясь от волнения. Гаравко толстой веревкой связал руки поручику за спиной.

— Я готов! — сказал тот.

Мать повисла у него на шее.

— Не отдам тебя, сынок мой!.. Не отдам!

— Мама, будь мужественной! Передай привет моим друзьям. Прощай! — Он вырвался от нее, и она рухнула на пол.

— Да хранит тебя бог... — бормотала она.

Они вывели его и повели по улице.

— На помощь! Партизаны уводят Раде Костича... — закричала женщина, бросаясь к дверям.

Через несколько минут в переулке раздался выстрел...

Вуксан и Шиля с трудом пробирались к своей цели. Чем ближе подходили они к центру города, тем чаще встречались им патрули. Партизанам поминутно приходилось заходить в ворота, прятаться в тени домов.

Выйдя на площадь, где находились гараж и склад горючего, выстроенный немцами, они столкнулись с болгарским патрулем. Спрятаться было некуда. И они пошли прямо навстречу болгарам.

— Здравей, камарад! — бросил мимоходом Шиля.

Солдаты что-то весело закричали в ответ и свернули на другую улицу. Вуксан и Шиля пошли медленней. Часы на церкви пробили полночь. Возле входа в гараж, под фонарем, прохаживался часовой. Он был в тулупе и каске и держал у пояса, наготове, автомат. Они медленно шли, делая вид, что хотят пройти мимо. Сердце Вуксана билось часто-часто. Солдат взглянул на них и повернул в обратную сторону. Вуксан остановился, посмотрел на площадь и пригнувшись, быстро направился к часовому. Метрах в десяти он остановился и, не целясь, дал по нему очередь.

— Бросай! — крикнул он Шиле.

Они быстро выхватили осколочные гранаты, стукнули кулаками по рукояткам и бросили их через каменную ограду; потом отбежали и упали в снег. Четыре взрыва раздались один за другим, и тотчас же взвилось синее пламя. Вуксан и Шиля вскочили и кинулись бежать через площадь. Грохнул чудовищный взрыв, прерывистый и тупой. Казалось, что это откашливается земля. Воздушной волной их бросило в сугроб. В соседних домах со звоном посыпались стекла. Несколько минут они лежали оглушенные. Шиля очнулся первый, растолкал Вуксана и помог ему подняться. Они снова побежали.

Гараж горел, небо полыхало огнем, смрадный дым наполнял площадь и улицы. Один за другим раздавались глухие взрывы. Фонари погасли. В городе надрывно и грозно завыли сирены, на окраинах загремели пулеметы.

Вуксан и Шиля пересекли несколько улиц и, выбившись из сил, влетели в какой-то двор. Шиля забрался на забор, оттуда — на крышу низенького сарайчика и, запыхавшись, проговорил:

— Смотри, как здорово горит!..

— Здорово!.. Будут нас помнить... — подтвердил Вуксан, сидя в снегу. В голове у него мутилось, его тошнило.

Взрывы становились все реже и глуше. По улице мчались бронемашины, танки и грузовики, битком набитые солдатами. Сирены все еще выли. Пахло бензином и нефтью. Высоко в небе полыхало пламя, и отблески его плясали на снегу.

— Вот такое дело мне нравится!.. Посмотри, сколько дыма! — сказал Шиля.

— Идем!

— Подожди. Охота посмотреть, как паникуют немцы. Смотри, смотри! Весь город сгорит.

— И пускай сгорит!.. — сказал возбужденно Вуксан и поднялся.

Мимо них, стреляя, прогрохотал танк. Они вышли из ворот и побежали следом за ним.

36

Прорвавшись из Гледича, Павле маневрировал в течение двух дней. Он избегал открытых столкновений с врагом и ждал, пока Максим переправит их через Мораву. Положение в районе ухудшилось. После схватки на Гледиче немцам подбросили свежие силы. Закрепившись в нескольких местах, они стали прочесывать села и леса. На стенах сельских лавчонок и пивных, в трактирах были расклеены голубые объявления, в которых немецкое командование коротко извещало население о сожжении села под Гледичем и грозило дальнейшей расправой. Но, кроме детей, никто не читал этого. Крестьяне суеверно отводили взгляды от объявлений. Однако в переулках они долго шептались о том, что было написано на голубой бумаге. Говорили, что четники, таясь от немцев, возвращаются в села, вырезают по ночам семьи партизан и убивают всех, кто чем-нибудь досадил им. Эта резня и угрозы со стороны немцев совсем запугали народ. Когда партизаны по ночам приходили за продовольствием, крестьяне убегали, а некоторые тотчас доносили немцам. Но многие из тех, кому удалось ускользнуть от четницкой расправы, блуждали по лесам и перелескам и, разыскав партизан, присоединялись к ним.

На третью ночь после того, как немцы уничтожили село, в которое спустился Уча со своими партизанами, крестьяне рассказали Вуку, что в Грабовицах находится штаб четницкого корпуса и туда стягиваются бригады четников из Гружи и Темнича. Вук тотчас же предложил на-

пасть на штаб. Но Павле воспротивился этому. По полученным сведениям, четников было около шестисот человек, а ему не хотелось вступать в бой с численно превосходящим противником. Это значило бы не только рисковать, но идти на потери и очень затруднить переброску отряда через Мораву, которую он наметил на следующую ночь. Однако Вук продолжал решительно настаивать на нападении и сердился на Павле за излишнюю осторожность.

Они сидели в комнате и ужинали. Павле невнимательно слушал Вука. Он никак не мог согласиться с ним. Но после долгих разговоров, поддавшись настойчивости и упорству товарища, Павле все же решился на этот шаг. Вук, разгорячась, убеждал его в легкости предстоящей операции и чертил вилкой на столе направление атаки и отступления. Его самоуверенность несколько успокоила Павле.

Поужинав, Вук вышел из дому и приказал выступать. Партизаны быстро поднялись по склону косы. Снег был рыхлым, небо облачным, как перед дождем. После трех часов ускоренного марша колонна перебралась на другую сторону косы и очутилась над самыми Грабовицами. Все остановились, Вук подозвал Павле.

— Слышишь? — сказал он.

Из села доносился хриплый, усталый собачий лай.

— Да. Может быть, они тоже собираются выступать?

— Не думаю, рановато. Мы нападем после полуночи, когда они утихомирятся. А что, если послать Джурдже с пятеркой за «языками»?— предложил Вук и, не дожидаясь ответа, тут же подозвал Джурдже и сообщил ему задание.

Вук с нетерпением ждал возвращения Джурдже. Отойдя в сторону, он бродил по снегу, прислушиваясь, и неотвязно думал о Бранке. Он был уверен, что сегодня вечером окончательно узнает, что с ней, а сегодня ночью найдет ее, если только она жива. А она и не чувствует, что он тут, близко, что его пулеметчики сегодня ночью будут косить четников в этом селе. Но если она вела себя недостойно, если изменила ему? Он убьет ее своими руками, на том самом месте, где встретит. Он не скажет ей ни единого слова, но он никогда больше не возвратится в свое село. А когда кончится война, возьмет сына и будет жить с ним где-нибудь далеко, где никто его не знает.

Часа через два вернулся Джурдже, ведя трех захваченных четников. Это были крестьяне, насильно мобилизованные, испуганные и растерянные, они все-таки поняли, что Павле и Вук — командиры, и стали громко молить о пощаде.

Но Вук прервал их:

— Меня не касается, каким образом вы стали четниками и кого вы оставили дома. Если вы будете говорить правду, отпущу вас сразу после боя. А если соврете...

Четники громко выразили свое согласие и наперебой выкладывали все, что было им известно. Они сказали, что к двум часам ночи должна подойти Жичская бригада и тогда корпус выступит немедленно.

Покуда Павле разговаривал с четниками, Вук отвел одного из них в сторону и спросил:

— А что, в штабе есть какая-нибудь женщина?

— Да. Я сам ее видел. Писаная красавица! Говорят, жена какого-то партизанского вожака.

— Что же она там делает?

— Честное слово, не знаю. Я ведь только неделю, как мобилизован.

— А сейчас она в штабе?

— Она там все время.

Вук зашатался. Четник говорил еще что-то, но он уже не слушал.

Павле уловил отрывок из этого разговора. Он был потрясен. «Так вот почему Вук так упорно настаивал на нападении... Как это я не сообразил? Разве можно из-за жены командира идти на такую рискованную операцию? Ведь я должен как можно больше людей привести на Ястребац. Если бы об этом узнал Брка! Как же это мне не пришло в голову? Нет, я не пойду на это! Ни за что!» И Павле вдруг охватил страх за исход боя. Чувство ответственности приказывало ему скомандовать: «Налево кругом, марш на Мораву!» А с другой стороны, кто знает, что случилось бы с отрядом тогда на Мораве, не будь с ними Вука. Он и теперь, после письма Брки, держится твердо и решительно.

После долгого раздумья Павле подошел к Вуку и велел созвать командиров и комиссаров рот. Когда все собрались, он коротко объявил им свое решение и в нескольких словах изложил план нападения. Светящиеся стрелки на часах Вука показывали без четверти два. Решено было выступить немедленно. Вуку и взводу Джурдже было поручено захватить штаб. Павле и остальные партизаны окружат село и вступят в бой с основными силами врага, как только Вук нападет на штаб.

Бойцы шли быстро. Проводниками служили захваченные «языки». Пленные все время просили отпустить их. Но Вук и Джурдже приказали четникам молчать. Чем ближе подходили к селу, тем медленней они шли. На окраине деревни, в сливовой рощице, их окликнул четницкий часовой:

— Кто идет?

Проводники упали, как подкошенные. Вук нагнулся и встряхнул одного из них.

— Говори пароль! — приказал он ему шепотом.

— Здесь дядя! — едва проговорил пленный.

— Марко! Ступай вперед, остальные на месте! — ответил часовой.

— А ну, не шуми! Мы вторая Жичская, чего ты дурака валяешь?— прикрикнул на него Вук и, выругавшись по-четницки, пошел вперед, обходя часового слева. За ним шел взвод, готовый в любую минуту развернуться в боевой порядок.

Они вошли в село и направились прямо к штабу корпуса. В домах слышались разговоры и шум. То и дело их останавливали часовые. Вук говорил пароль, называясь командиром Жичской бригады. Какой-то благодушно настроенный, подвыпивший и любопытный четник попытался завязать разговор:

— Это что, Жичская? Куда же вы пропали, эрцови *? Только вас и ждем!

— Я тебе дам эрцови! Так-то ты, болван, несешь службу? Из какой части? — крикнул Вук.

— Из первого батальона Левачской! Ищу своего побратима Дроню, — неуверенно, пьяным голосом ответил четник. — Эй, побратим! Это я, Влада Бузда! Где ты, эй?

Партизанская колонна молча и быстро прошла мимо патруля.

— Вы что, отвечать не хотите? Молодцы, нечего сказать! — огрызнулся Влада Бузда.

— Вон светится, это штаб, — шепнул проводник Вуку. Тот тихо передал его слова колонне.

Пальцы Вука, казалось, вросли в приклад автомата. Его била лихорадка. Согнувшись, как для прыжка, он бросился вниз по улице. На другой стороне села грянула пулеметная очередь, застучали винтовки — и сразу все слилось в сплошную стрельбу.

---

* Эрцови — так в просторечье называют жителей Западной Сербии.

— Вперед! — крикнул Вук и побежал.

Проводники бросились на землю, а взвод, топоча и спотыкаясь, бросился вслед за Вуком, стуча ранцами и звеня оружием.

В селе захлопали двери, послышались крики и ругань четницких командиров. Свет погас всюду, кроме штаба. Партизаны уже подбегали, и Вук приказал окружить дом. Охрана открыла пулеметный огонь. Из переулка сквозь треск рушащихся заборов и ворот раздавались выстрелы из винтовок. Это стреляли по партизанам. В штабе погас свет. Четники бросились к дверям. Партизаны убивали их на месте, но некоторым все же удалось пробиться. Вук опустился на колено возле дерева и открыл огонь из автомата. В ответ из окон дома застрочили пулеметы четников. Но здание было уже окружено, оно обстреливалось со всех сторон. Село содрогалось от стрельбы, воплей и криков. «А вдруг ее убьют?» — промелькнуло у Вука. Пули со свистом пролетали мимо него. Он обрушил огонь на окно, из которого бил пулемет прямо по нему.

— Первая бригада, вперед! — кричал сильный и низкий голос из дома. — Здесь Балашевич! Я отплачу вам, коммунисты.

— Посмотрим, майор, посмотрим! — отвечал ему Джурдже

— Я всю кровь из вас выпущу! — грозил тот же голос, но его заглушила стрельба.

— Здесь Вук! Здесь Вук! — кричал Вук в надежде, что Бранка его услышит. Он весь пылал, как в огне.

— Да здравствует король Петр! Смерть коммунистам! — доносился из дома все тот же сильный голос.

— Сдавайся, предатель! Сожгу тебя живьем! — отвечал ему шепотом Вук.

Партизан начали обстреливать с тыла.

— Каждый второй стреляй назад! — крикнул Вук, испугавшись, что штаб пробьется и уйдет от них.

Действительно, четники, находившиеся в деревне, яростно стремились пробиться к дому, чтобы спасти штаб. Вук стрелял, как в бреду. Он грозил партизанам, подбадривал их, умолял держаться. У них уже были потери, но никто не пытался отступать. Четники наступали с бешенством, подошли совсем близко, бросали гранаты. Более получаса продолжалась ожесточенная борьба взвода с вражеской бригадой, которая пыталась пробиться к дому. К ней присоединились и остальные четники, которых Павле выбивал из села. Вскоре неприятель, окруживший Вука, оказался между двух огней и начал отходить. Место сражения передвинулось в сторону от штаба. Четники были явно разбиты. Вук крикнул:

— Четники! У вас нет выхода! Ваш отряд разбит! Сдавайтесь, я поджигаю дом!

В ответ раздалась брань и еще более ожесточенный огонь. Но Вук уже больше не ждал. Скомандовав атаку, он побежал к дому и бросил гранату. Она отскочила от оконной решетки и разорвалась прямо перед ним, на земле,— его оглушило. Раздался взрыв еще нескольких гранат на мостовой. Послышались стоны. Вук и партизаны перестали стрелять и прислушались. Четники бросили из окна несколько гранат. Стрельба на мгновение затихла. Какая-то женщина закричала, как безумная.

— Бранка!— отчаянно завопил Вук.

В доме снова застрочил пулемет. Вук вскочил, подбежал к стене и, мгновение поколебавшись, бросил гранату в окно. Пулемет замолк. Партизаны начали окликать друг друга. В конце села изредка слышались слабые выстрелы. Бой шел к концу.

— Пошли!— крикнул Джурдже, обращаясь к Вуку, который стоял,

прислонившись к стене, обессиленный и беспомощный.— Что с тобой, Вук?

— Я войду первый...— и Вук направился к дверям, шагая через трупы четников, валявшиеся на ступеньках. Он толкнул разбитую дверь и вошел в дом, освещая себе дорогу ручным фонарем.

— Да здравствует король!— крикнул кто-то слабым голосом. Раздался револьверный выстрел.

Вук остановился и направил на выстрел свет фонаря. Самоубийца был рослым человеком в офицерской рубахе без погон, с длинными волосами и густой черной бородой.

Тело его соскользнуло на пол. Револьвер выпал из рук.

— Сдавайтесь! — крикнул Джурдже, останавливаясь в дверях.

— Тут все мертвые, — словно про себя, сказал Вук и пошел дальше.

Среди обломков вещей, оружия и трупов сидела, словно в задумчивости, женщина, прислонившись к стене. Тонкая струйка крови стекала у нее по лбу, змеилась между бровей, по полуоткрытым губам, вдоль шеи и терялась под воротом, на груди. Она была убита выстрелом в лоб. Вук пошатнулся, задрожал и, едва держась на ногах, подошел еще ближе.

— Бранка... — прошептал он.

Джурдже стоял за его спиной. Потрясенный, смотрел он на прекрасное белое лицо, рассеченное красной полосой. Он знал, что это жена Вука.

Оба молчали, оцепенев. В свете фонаря, дрожавшего в руке Вука, блестели черные волосы, покрытые белым платком, да багровела струйка крови, стекавшая на белевшую шею...

— Убили ее, изверги! — прошептал Джурдже.

Вук долго стоял неподвижно. В темноте не было видно его лица и глаз. Рука, державшая фонарь, дрожала все сильнее. Он наклонился и робким движением поправил прядь волос, выбившуюся из-под платка. От его прикосновения голова немножко склонилась, как будто потупляя взор. Он вздрогнул от холода, прикоснувшись к ее лбу. Что-то сухое, словно комок, поднялось и застряло у него в горле. Ему не хватало воздуха, внутри у него все горело, он дышал все чаще и быстрее.

Из-под разбитого стола вылез высокий человек в английском военном мундире.

Джурдже вздрогнул:

— Руки вверх!

Человек в английской форме стоял и испуганно смотрел на него.

— Руки вверх!— повторил Джурдже и направил на него винтовку, готовый каждую минуту выстрелить ему в грудь, но его несколько смущал необычный вид и мирное поведение человека без оружия, который словно не понимал его.

Вук не обернулся. Он все еще стоял, глядя на убитую жену.

Джурдже и человек в английской форме смотрели друг на друга, как бы удивляясь и стараясь понять один другого. Потом тот стал что-то хладнокровно говорить по-английски, все еще не поднимая рук.

— А, господин англичанин! — сообразил, наконец, Джурдже. — Тот самый, что доставляет четникам оружие!

— Англичанин, англичанин!— забормотал незнакомец.

— И не стыдно тебе! Не стыдно!.. Руки вверх, раз я говорю!— прикрикнул разъяренный Джурдже.— Вот так!— прибавил он, показывая руками, чего он хочет.

В комнату вбежало еще несколько партизан, с криками окружили англичанина.

Англичанин продолжал стоять, опустив руки и быстро говоря по-французски. Но, заметив, что его не понимают, перешел на немецкий язык.

— По-сербски, дружок, по-сербски говори, раз пришел в Сербию свои дела обстряпывать!— кричали партизаны.

В конце концов англичанин залепетал по-русски:

— Я союзный офицер... Союзник! Москва — Лондон!

— Какой ты союзник, ты шпион!— зашумели партизаны, не обращая внимания на Вука, который все еще смотрел на освещенное лицо жены и молчал.

— Вяжите его!— приказал Джурдже. Партизаны схватили англичанина, обыскали и не очень крепко связали ему руки. Англичанин сопротивлялся, вырывался и негодовал.

— Ведите его! Соберите оружие! Вон его сумка, возьмите и ее, может быть, там какие-нибудь шифры. Это может понадобиться Павле,— приказывал Джурдже.

Партизаны, шумя, вытолкали англичанина.

В соседней комнате послышался детский плач и приглушенный голос женщины.

— Эй, кто там? Выходи, хозяин! — крикнул Джурдже, направляясь к дверям.

Не успел он открыть двери, как послышались громкое причитание женщины и плач.

— Четники есть?

— Нет... Одна я. Убейте меня, только детей не трогайте!— завопила женщина.

— Выходи, не бойся! Мы партизаны, ничего мы тебе не сделаем.

Женщина плакала и не хотела вылезать из-под кровати. Джурдже с трудом вытащил ее оттуда. Вук тоже подошел к ней и осветил своим фонарем обезумевшее от страха лицо.

— Джурдже, иди, собирай роту! — строго приказал Вук. Как только Джурдже вышел, он обратился к хозяйке:

— Что делала у них эта женщина?

Она посмотрела на Бранку.

— Ой, убили ее, ласточку бедную. Это жена какого-то партизанского командира. Она один раз убежала, а они опять ее схватили. Все время грозили, что зарежут.

— А где она спала?

— Тут, у меня. Они грозили, что и меня убьют, если она убежит.

— Мучили ее?

— Майор бил несколько раз... Не давалась ему, горемычная.

Вук опустился на скамью. Потом вскочил, взял на руки мертвую жену и вышел.

Занялась заря, и небо стало светлеть. Стрельба прекратилась. По улице, громко разговаривая, шли партизаны во главе с Павле. Окружив англичанина и других пленных, что-то кричали бойцы из взвода Джурдже.

Вук прошел мимо, неся убитую. Разговоры смолкли. Он встретился с Павле. Оба остановились. Остановилась и вся колонна. Несколько мгновений Павле и Вук смотрели друг на друга, потом Вук круто свернул на тропинку в сливовую рощу. Партизаны смотрели ему вслед и долго стояли, оцепенев.

Вук нес Бранку, чтобы похоронить как можно дальше от дома, где ее убили. Мертвая рука, перекинутая через плечо, качалась. Ее волосы щекотали и жгли ему лицо. Он шел, пошатываясь, дрожа всем телом и судорожно прижимая к себе свою ношу. Он шел все дальше, через сли-

вовые сады, пока силы не оставили его, и он рухнул вместе с ней на землю, под яблоней. Так он лежал долго, не выпуская ее из объятий, прижавшись лицом к ее холодной щеке.

И вдруг его бросило в дрожь от прикосновения этого холодного мертвого тела. Он разжал руки, выпустил ее и в испуге встал.

Медленно, словно крадучись, к нему подходил Павле.

— Ступай! Оставь меня одного!— прохрипел Вук, почувствовав его приближение.

Павле замер позади него.

Вук стоял, прислонившись к яблоне, потом, немного придя в себя, медленно зашагал к ближайшему дому.

— Погоди, давай я, — сказал Павле, поняв его, и побежал к дому за заступом и киркой.

Он быстро вернулся в сопровождении двух партизан. Вук велел всем уйти, но ему пришлось повторить это еще раз. Наконец, когда они отошли, он начал быстро рыть могилу. Потом взял на руки жену и осторожно опустил ее в яму. Сидя на краю могилы, он долго всматривался в Бранку. Лицо ее было мертвенно бледным. Ее тонкие брови изогнуты, как будто от удивления... Уголки губ, где застыли струйки крови, казалось, приподнялись в горькой улыбке. Вук убрал волосы у нее со лба. Ему очень хотелось приподнять веки, чтобы увидеть глаза, но не хватило сил. Наконец он встал и начал медленно засыпать могилу, стараясь не попасть ей в лицо. Он не мог бросать в нее комья. Он долго стоял, не зная, что делать. Потом начал разминать в пальцах маленькие комочки и осторожно посыпать ей лицо. Когда оно скрылось под влажной зернистой землей, он быстро забросал могилу.

Несчастье Вука омрачило партизанам радость победы над корпусом четников. Особенно потрясены были старые бойцы. Никто даже не оплакивал погибших. Все были под впечатлением зрелища, которое открылось им, когда на заре Вук нес мимо них на руках мертвую жену. Люди избегали говорить о событиях минувшей ночи и особенно избегали встречаться с Вуком. Им почему-то было стыдно смотреть ему в глаза. И к пленным четникам они испытывали на этот раз особую ненависть — ненавидели их с яростью и отвращением.

В доме сбежавшего с четниками кулака, в большой горнице, украшенной картинками и веночками из бессмертника, собрались командиры и комиссары всех трех рот во главе с Павле и Вуком. Отсутствовал только Никола. Вместе со своей ротой он нес караул.

Вук сидел на низком диванчике в углу комнаты, зажав руки между коленями, и глядел в пол. Остальные разместились рядом и молча рассматривали семейные фотографии, развешанные по стенам. Павле, заложив руки за спину, сгорбившись, ходил по длинной комнате из угла в угол. Ждали только его приказаний, чтобы ввести пленных и начать допрос. Всем было тягостно это молчание, но никто не решался торопить комиссара, хотя дело надо было кончить как можно скорей: днем ожидалось нападение немцев. Павле искал слова утешения, ему хотелось сказать Вуку какие-то слова, убедительные, трезвые, которые могли бы успокоить его, поднять его дух. Но он ничего не мог придумать, и молчание становилось все тяжелее.

— Почему вы не начинаете? Надо поторапливаться, Павле,— прервал, наконец, Вук эту мучительную тишину. — Что же мы будем делать с пленными, если нападут немцы?— прибавил он строго и деловито.

Павле рассеянно взглянул на Вука, как будто думая о чем-то совсем другом, обернулся и сказал:

— Введите первым англичанина! Товарищи, держитесь с достоинством. Пусть чувствует, что имеет дело с настоящей армией. Разговаривать с ним буду я. Застегнитесь, подтяните ремни.

Павле сел за стол и принял строгую, торжественную позу. Ему хотелось произвести как можно более выгодное впечатление на союзного офицера, который поддерживал изменников его народа. Остальные, кроме Вука, который сидел сумрачный, углубившись в свои мысли, поправили ремни и застегнулись на все пуговицы. Они чувствовали себя неловко в этой атмосфере искусственной подтянутости и серьезности.

Двое партизан ввели связанного англичанина. Он держался спокойно и с любопытством рассматривал присутствующих своими серыми глазами.

— Развяжите его и дайте ему стул!— медленно приказал Павле, смерив англичанина взглядом с ног до головы.

Он стал задавать англичанину вопросы, обращаясь к нему по-французски. Язык он знал плохо, по-ученически, изъяснялся с трудом и испытывал очень неприятное чувство.

— Вы находитесь в штабе одного из партизанских отрядов. Мы взяли вас при штабе четницкого корпуса. Кто вы такой?

Англичанин стряхнул пыль со своих брюк, сел и уставился на Джурдже.

— Скажи-ка этому шпиону, чтобы он тут очень-то не отряхивался, не то я его живо опять свяжу!— сказал Вук, которого раздражала непринужденность англичанина.

— Подожди. Я с ним быстро справлюсь,— ответил Павле.

— Я офицер связи британского командования на Ближнем Востоке при югославской армии, — проговорил пленный тоже на плохом французском языке.

Павле обрадовало, что англичанин еще хуже, чем он, говорит по-французски. Холодно и лукаво улыбнувшись, он сказал, перебивая пленного:

— Во-первых, это не армия, а во-вторых, уж, конечно, не югославская. Это банда предателей и убийц, которая борется против партизан и сотрудничает с немцами.— И Павле постарался неторопливо и обстоятельно разъяснить ему политический характер движения четников, его цели и направление.

— Мне это неизвестно. Я выполняю приказ своего командования и состоял офицером для связи при штабе, который вы этой ночью уничтожили. Политика меня не интересует. Я имею чисто военные задания. Югославское правительство — наш союзник, и моя страна имеет обязательства по отношению к нему. Ваши внутренние счеты нас не касаются. Мы помогаем всем, кто борется против нацизма.

— Нет, вы помогаете как раз тем, кто служит нацизму!— перебил его Павле и снова начал объяснять политику четников и цели партизан.

Англичанин выслушал его с видом человека, которому все это хорошо известно, и спросил:

— Вы коммунист?

— Да.

— А остальные господа, присутствующие здесь?

— Здесь все коммунисты, но в составе отряда большинство беспартийные.

— Мне очень симпатичны коммунисты. Меня восхищают фанатики, я уважаю их.

— Что он говорит?— спросил Вук.

Павле перевел ответ англичанина.

— Пусть он расскажет нам, почему Англия помогает убийцам, а лондонское радио превозносит Драже! — сказал Джурдже.

Англичанин спросил, о чем говорит Джурдже. Павле перевел.

— Это политика. Ее проводит правительство моей страны, и я не уполномочен говорить об этом. Я — солдат,— ответил англичанин, глядя на Джурдже.

Павле перевел его ответ, но Джурдже закачал головой.

— Старая лиса. Он думает, что мы дикари...

Англичанин интересовался численностью партизанских отрядов в Сербии, расспрашивал о связи с Тито. Павле ничего ему не ответил и решил кончить разговор. Он хотел в его присутствии допросить нескольких четников и показать англичанину истинное лицо этих убийц. Когда он сообщил о своем намерении присутствующим, они согласились с ним.

— Мы поймали одного профессионального убийцу, который признался, что убивал невинных. Пойду приведу его!— сказал Джурдже и вышел.

Он скоро вернулся в сопровождении двух партизан, которые ввели пленного четника. Это был низенький человек со всклокоченными волосами и маленькой рыжеватой бородкой. Он был одет в безрукавку и голубую шерстяную рубаху, на которой белыми шнурами были вышиты гербы и короны. На рукавах виднелся лозунг: «Свобода или смерть!» Его желтые высокие сапоги предназначались, очевидно, для человека более высокого роста. На запястье сверкали часы, а из кармана безрукавки торчали самопишущая ручка и карандаш. У пояса сбоку на серебряных цепочках висели кинжалы. На усталом испитом лице четника блестели зеленые глаза.

При виде этого соотечественника Павле стало противно и стыдно перед иностранцем. Но англичанин спокойно с любопытством рассматривал их обоих.

— Чем ты занимался раньше?— обратился к пленному Павле.

Тот подумал немного и глухим голосом нерешительно ответил:

— Я крестьянин.

— А сколько у тебя земли?

— Только под домом.

— Семья большая?

— У меня никого нет.

— Вот англичанин не верит, что офицеры заставляют вас резать людей. Расскажи-ка ему об этом.

— Заставляют, правда, чего ж тут рассказывать! Это и так все знают. Да и он знает. Во всем виноваты офицеры. Видишь, я, например...

— А ты скольких зарезал?

— Я... никого... я...

— Говори правду. Мы все знаем!

— Да, чтоб мне счастья не видать! Никого я не резал. Я адъютант капитана Васовича.

— Не ври! — вмешался партизан, который привел его. — Товарищ Павле, разреши, я приведу одного человека — он все про этого расскажет.

Павле согласился. Англичанин попросил перевести ему ответы четника. Павле перевел. В это время вернулся партизан с пожилым четником. Волосы его были еще короткие, на лице застыло выражение безумного страха.

— Пожалуйста...— забормотал он, стоя еще в дверях.

Первый четник взглянул на него с испугом и повернулся к англичанину.

— Ну-ка, скажи, сколько людей он зарезал?— обратился Павле к пришедшему.

Не задумываясь ни минуты, четник ответил:

— Я знаю про двадцать восемь... но он хвалился, что пятьдесят семь.

— Неправда! Я просто шутил...

— Молчи! Не ври! Вот я сейчас пересчитаю всех, которых знаю сам, точно. Если совру — зарежьте меня! — Без запинки он перечислял, где и кого убил первый четник. Убийца дрожал и с мольбой глядел то на англичанина, то на Павле.

— Ты что, только коммунистов резал?— строго спросил Павле.

— Нам все известно! Сознайся, если хочешь, чтобы голова уцелела,— прибавил Джурдже.

Четник долго думал, потом тихо ответил:

— Одиннадцать женщин, остальные мужчины.

— Ты знаешь, кто такие коммунисты?

— Да, коммунисты, которые против короля... Я не хотел. Капитан заставлял. Грозился меня убить. Сначала думал, помру...

Павле стыдился переводить его слова иностранцу.

Но англичанин прервал его сам, сказав, что он голоден, устал и хочет спать.

— Можете идти. Я распоряжусь, чтобы вам приготовили завтрак и постель. Мы отпустим вас, так как вы принадлежите к союзной армии. Идите куда вам угодно! Только знайте, что вы один из тех, кто помогает подобным злодеяниям. Прошу вас! — Павле встал и указал ему на дверь.

Англичанин поблагодарил и вышел.

— Зачем ты его отпустил? Он хуже этих!— возмутился Джурдже. Несколько минут в комнате царила тишина.

— Нет смысла его допрашивать: он не человек. Уведите его! И этого второго тоже!— приказал Павле, отвернувшись и глядя в окно.

Ввели смазливого чернявого паренька с большими, по-женски красивыми глазами, с длинными бачками и короткой острой бородкой. На нем был городской пиджак, крестьянские штаны и новые опанки.

— Здравствуйте, товарищи! Еле дождался, когда позовете меня объясниться. Стянул мне этот хлопец руки — вынести не могу!— заговорил он развязно и быстро еще с порога.

— А кто тебя спрашивает? Если еще раз скажешь «товарищ» — убью на месте!— рассвирепел Вук и, сжав кулаки, подошел к пленному.

— Я ваш человек. Подожди, брат, сейчас объяснимся,— не смущаясь, продолжал четник.

— Кто ты? Откуда пришел?— строго спросил Павле.

— Я гармонист Миле Дьявол. До оккупации играл в «Жагубице», ты должен знать меня. Меня весь Белград знает. У меня все друзья — студенты, прекрасные товарищи...

— Не болтай! Отвечай только на вопросы! Что делал у четников?

— Играл, браток, больше ничего! Вижу сам, что попал пальцем в небо. Это мне один дружок, поручик в штабе, свинью подложил. Говорит: «Пойдем, Миле, вот там жизнь! Воевать не воюем, а жратва хорошая. С партизанами драться не будем». А я тоже, дурак, не хотел есть «дирисов» * хлеб, вот и нарвался! Хорошо, что их перебили, и я устано-

---

* Дирис — учреждение по распределению продовольствия для населения во время немецкой оккупации.

вил связь с вами. Опротивело мне у них. Все лапотники, пьянчуги, ни одного интеллигентного человека.

— Погоди, а ты давно у четников?

— Да только пришел.

— А когда такую бородищу успел отрастить?

— Это просто чудо какое-то, как у меня борода растет! Прикажи, пожалуйста, чтобы мне развязали руки, невтерпеж больше. Я с вами иду! Хорошо бы после ночной заварухи поиграть немножечко. Лапотники бросаются на гармошку, как мухи на липучку.

— Уведи его тоже!— распорядился Павле.

Миле Дьявол осекся и в оцепенении посмотрел на Павле. Конвойный дернул его за руку и повел. Только в дверях он опомнился и начал умолять о пощаде.

Павле измучили эти допросы. Он предложил Вуку пойти к пленным и проверить всех сразу, чтобы отделить командиров и бородачей — наиболее свирепых из четников. Вук согласился.

Пленные четники были размещены в соседнем доме, который принадлежал тому же хозяину. Прижавшись друг к другу, они сидели на полу. Приход Павле и партизан взволновал их. Некоторые, понимая, что к ним пришли из штаба, попытались встать, но партизаны, охранявшие их, велели им не двигаться.

Павле стоял и рассматривал пленных. Он видел грязные и темные опухшие лица, искаженные страхом. Обратившись к одному из четников, человеку с маленькими глазками и кудрявыми волосами, одетому в синюю пелерину, Павле спросил:

— Ты кто?

— Меня ввели в заблуждение! Дайте мне возможность бороться, и я докажу вам. Я думал, что спасаю сербов, а это...

— Я тебя не спрашиваю об этом! Чем занимался?

— Я кадровый поручик артиллерии. Думал... присягнул королю...— он задохнулся и замолчал, глотая слюну.

— Хватит! А ты?— обратился он к толстяку в новом суконном гуне, расшитом коронами.

Тот встал и, лязгая зубами, пробормотал:

— Пощади, брат, принудили... Трое детей у меня... Я трактирщик. Помогал я и вашим людям. Спросите...

— А ты?— перешел Павле к следующему, который плакал. У него на лице был шрам, вероятно, от удара ножом.

— Я извозчик... Легковой. Я бедный человек, никого не убивал. С девятнадцатого года за Россию. Студентов возил, никогда с них копейки не брал. Отпустите меня...

— Ты что делал?

— Кто? Я?— спросил четник, длинные волосы которого были старательно спрятаны под жандармской шапкой.

— Ты, ты!

Он вскочил, желая встать навытяжку, и отрекомендовался:

— Гавра Катанич, жандармский унтер-офицер, теперь командир первого батальона Левачской бригады.

— Полицай, значит! Сколько коммунистов убил?

— Я поклялся служить королю и отечеству.

— Хорошо! Послужишь! Этого и вон того, в пелерине, отведите в сторону!— сказал Павле охранникам.

— Я, товарищи, насильно мобилизован,— не дожидаясь вопроса заявил крестьянин с длинным испитым лицом. — Еще винтовку не пристрелял. Бедняк я, трое детей и больная мать у меня. Отпустите только на побывку домой, я с вами буду...

— И меня силой взяли! Мой брат в партизанах. У вас он зовется «Жуча»,— говорил другой.

— А зачем ты такие волосы отрастил?— спросил Джурдже.

— Пришлось, иначе пропал бы и я, и дом. Он ушел к вам, а мне что было делать?.. Неужели я стал бы стрелять в брата?

— Проверьте!— сказал Павле.

— Я вчера мобилизован.

— Я сейчас же пойду с вами.

— И я!

— И я!

— Отделите этих безволосых и безбородых!— распорядился Павле и продолжал рассматривать сбившихся в кучу пленных. В углу мелькнуло чье-то лицо и тотчас же скрылось за спиной стоящего впереди четника. Лицо показалось Павле знакомым. «Васич!»— мелькнуло у него.

— Это ты, Васич?

— Я, Лукич!— вызывающе ответил тот, сверкнув голубыми глазами.

— Значит, и ты среди этих!

— К сожалению, я тоже взят в плен. Благодари мою раненую ногу и английскую стрелялку, которая меня подвела.

Павле задрожал.

— Веди его в штаб! Остальных допросить быстрее!— сказал он, обращаясь к товарищам из штаба, и вышел.

Прохаживаясь по двору, Павле ждал, пока охранник введет к нему в комнату высокого, хорошо сложенного молодого человека в офицерской форме с аккуратно расчесанной русой бородкой. Он сильно хромал на левую ногу.

Когда вошел Павле, Васич сидел на скамейке и смотрел в окно, как будто не замечая его прихода. Павле сел за стол и взглянул на него.

Перед глазами его вставали одна за другой картина прежней дружбы, вызывая горечь сожаления. Но ненависть и разум заглушали это чувство.

— Кто мог ожидать, что мы с тобой так встретимся?

— Да, удивительно!— Васич тряхнул головой и повел бровями. Холодная улыбка искривила его губы.

— Мы вместе сидели на последней парте.

— Договаривай, не стыдись. Это нисколько не повредит твоей революционности. Мы были друзьями.

Павле был не вполне уверен, что Васич произнес это без иронии.

— Как на это взглянуть! Если бы ты не стал тем, кем стал, и если б мы разговаривали при других обстоятельствах...

— Хорошо, хорошо. Мы об этом как-нибудь позже поговорим!— нетерпеливо перебил его Васич. — Почему ты так торопишься закончить разговор? Я знаю, что меня ждет. Не боюсь и не оттягиваю. Я только хочу тебя кое о чем спросить... Мне интересно, насколько ты переменился с того времени.

— Почему же тебя это интересует?— с раздражением спросил Павле, чувствуя неловкость от того, что допрос превращается в личный разговор.

Васич отвернулся, закрыл глаза и, немного помолчав, сказал:

— А не правда ли, как это отвратительно и... тяжело убивать людей?

Павле взглянул на него с удивлением и холодно ответил:

— Отвратительно и страшно! Но только когда это не изменники родины...

— Об изменниках родины мы тоже еще поговорим. А сейчас давай о людях. Вот, например, через полчаса я буду мертв. Ты меня

убьешь. А был ли у тебя товарищ лучше, чем я, пока ты не стал коммунистом?

— Откуда в тебе такая сентиментальность после всего, что ты делал эти два года? Как может так говорить человек, который убил столько людей?

— Подожди! Подожди, дай мне кончить. Скажи, любил ты кого-нибудь больше меня, пока не начитался «Анти-Дюринга»?

— Какое тебе сейчас дело до этого?

— Нет, я хочу знать. Вероятно, я все-таки заслуживаю, чтобы ты сказал д а или н е т! Не бойся. Это моя единственная просьба к тебе, коммунисту-комиссару. В память последней парты, за которой мы сидели,— ответь мне. Только в память тех семи лет...— Васич говорил твердым, энергичным голосом.

Павле прошелся по комнате и, не глядя на него, сказал:

— Нет, не любил!

— А теперь тебе безразлично, что ты расстреляешь прежнего друга?

— К чему этот вопрос?

— Как к чему?.. Мне нужно! Ответь, только по совести!

— Мне не жалко тебя, ты изменник! Я презираю тебя, вот!— Павле остановился перед ним, обжигая его взглядом. Он сжал кулаки, стараясь, чтобы Васич не видел, как у него дрожат руки.

— Значит, тебе все равно...— каким-то отсутствующим голосом произнес Васич и засмеялся. Он смеялся долго и громко.

В комнате вдруг наступила тишина. Под окном во все горло протяжно заголосил петух. Васич поднял голову и сказал:

— Не подведи меня оружие, ты не говорил бы со мной так. А вот попался тебе в руки, что ж, бей меня, бывший коллега!

— Все убийцы — трусы! Уж если убийца, то непременно трус!— Павле злобно усмехнулся.

— Не оскорбляй меня! Тебе не делает чести обижать раненого противника. Выдержи стиль; ты мог прочитать об этом хотя бы в буржуазных романах,— дерзко ответил Васич, иронически подчеркивая слово «буржуазных».

— О какой чести может говорить изменник родины и профессиональный убийца? А стиль? Ты тут новатор. Поножовщина — вот, действительно, новый стиль убийства!

— Прежде всего, я не изменник! Я борюсь за свою родину, а у тебя нет родины. Твоя родина — большевистский СССР. Я националист и борюсь за Сербию и за своего короля, а ты убиваешь сербов за каких-то Тито и Сталина. Изменник ты, а не я!

— А сколько сербов, поручик Васич, ты зарезал и убил за своего короля?

— Если помнишь, я всегда ненавидел математику. Еле на тройку тянул. Вам, коммунистам, легче произвести этот подсчет. Убивал всех, кого считал врагами Сербии.

— За это и получил чин!

— И чин, и звезду Кара-Георгия! Что скажешь, комиссар, если я убежденный контрреволюционер? Заклятый враг революции...

— Прекрасно! Ты первый злодей, который бахвалится своими злодеяниями. Интересный случай патологии. Не ожидал, что ты докатишься до этого.

— А ты что думал? Думал, что убежишь с дружками в лес, а когда закончится война, установишь советскую власть и станешь комиссаром? А мы? Мы будем молчать, как овцы, и смотреть?! Плохой ты марксист.

— А я тебе предоставлю возможность умереть за свою власть и за короля, так что ты не увидишь, как будет выглядеть наша советская власть!

— Думаешь, я очень сожалею об этом? Я уже хорошо отомстил вам и могу умереть спокойно... от руки бывшего школьного товарища,— голос Васича дрогнул.

Павле замолчал. Они не смотрели в лицо друг другу. Прошло несколько минут в полной тишине, казалось, в комнате пылает пожар непримиримой и страстной ненависти. Холодным и твердым голосом Павле позвал партизана из сеней:

— Уведите его и расстреляйте немедленно!

— Знай, я и мертвый буду ненавидеть вас!— крикнул, уходя, Васич.

— Презираю тебя!— ответил Павле, не взглянув на него. Он зажег папиросу и начал ходить по комнате, взволнованный, оскорбленный, горя как в лихорадке, думая о Васиче, об изверге-убийце, о четниках вообще.

Где-то вблизи послышался выстрел.

— Я его даже не допросил!— громко сказал Павле, выходя из дома и направляясь к толпе крестьян, которых отделили от остальных четников, чтоб распустить по домам. Он остановился, внимательно разглядывая пленных. Ему казалось, что перед ним не люди, а какой-то черный клубок страха, безумия и покорности, который копошится и скверно пахнет.

— Слушайте, вы, позор человечества!— полным голосом крикнул Павле, обращаясь к ним.— Неужели в вас не осталось хоть капли совести и чести?.. Как вы могли стать четниками?! Разве вы не думаете, что ваши дети будут стыдиться своих отцов, которые воевали против свободы и служили оккупантам и убийцам? Как вам не стыдно ходить по земле, которая вас кормит? Эх, вы! Ну что вы на меня уставились, как бараны? Поднимите головы, если вы еще люди, и посмотрите мне прямо в глаза!— Павле замолчал, дрожа от негодования.

Пленные стояли, потупив глаза. Партизаны окружали комиссара. Они никогда еще не слышали от него таких слов.

— Знаете ли вы, по крайней мере, что мы воюем против оккупантов?— продолжал Павле.— Говорите — знаете или нет?

— Знаем,— ответил кто-то тихо и трусливо.

— Хорошо! А если знаете, зачем же вы напали на нас вместе с немцами на Гледиче? А вы знаете, что четники убивают ваших родных в деревнях? Что нет села, в котором они не вырезали бы несколько семейств?

— Да, брат, правда!— раздались голоса.

— А вы, зная про это, взяли ружья и пошли грабить села! Пьянствуете, насилуете девушек и боретесь против нас — нас, которые проливают кровь за свободу! Так чего же вы заслуживаете, изменники?.. Ну, чего молчите?.. Ночью вы кричали «ура» и матерно ругали коммунистов... Говорите же!

— Смерти, брат, смерти!

— Расстрелять нас — и кончено!

— Правильно! Вас и нужно расстрелять!

Павле помолчал, словно рассматривая каждого в отдельности, и продолжал:

— На этот раз мы вас не расстреляем. Отпустим по домам. Но, если вы еще раз попадетесь нам с четниками, тогда пощады не будет!

— Правильно!

— Дай бог тебе здоровья!

— Да здравствуют партизаны!

— Живьем нас изжарьте, если опять уйдем к четникам!

— Да никто меня больше не мобилизует, ну их к чертовой матери! Пусть уж лучше зарежут. Ружья против своих братьев никогда не подниму.

— Я остаюсь у вас!

— И я!

— И я не пойду домой!— загалдели пленные, которые, казалось, были больше удивлены, чем обрадованы.

— Ну, хватит разговоров! Хорошенько запомните, что я вам сказал. Кто хочет в партизаны — отходи в сторону,— резко, но миролюбиво сказал Павле, уверенный в неискренности этих криков.

Отошло человек десять. Они сердито глядели на остальных, которые, в растерянности опустив головы, продолжали стоять на месте.

— Идите же! Чего надулись, как мышь на крупу!

— Любо! Дуле! Чего прячетесь?

— Э! Так нельзя, Домо! Твоя голова моей не дороже! Если погибать, так уж всем миром. Вот это по-людски!

— Дети у меня, только схожу домой, кое-что сделаю и приду!

— Не будь у меня так болен ребенок, клянусь, сейчас же пошел бы с вами.

— Что ты пялишь на меня глаза, Милан? Не знаешь, что ли, что у меня сердце плохое — не выдержу похода!— наперебой кричали, оправдываясь, крестьяне.

— Вы свободны! Идите домой и больше мне не показывайтесь! — Павле погрозил им кулаком и вошел в дом.

Удивленные неожиданным освобождением, крестьяне подняли радостный шум. Некоторые из них пытались обняться с партизанами, проститься с ними, но бойцы отталкивали их, словно брезгуя ими.

Около полудня немцы напали на партизан. Но они, расстреляв четников, отступили без боя в лес.

Наступила ночь. Павле и Вук, погруженные в свои заботы, молча встретили темноту. Вук измучился от боли и горя, Павле нервничал от нетерпения. Он торопился. Ему казалось, что час, когда они перейдут Мораву, будет самым счастливым в его жизни.

38

Как только стемнело, партизаны плотной колонной направились к Мораве. Они шли быстро, минуя села. Когда проходили около родной деревни, Павле очень захотелось зайти домой и увидеть мать. Он знал, что дома осталась она одна. Как ей будет горько, что он не завернул домой, не захотел повидать ее. Десять дней пробыл в родных местах, мимо проходил и не мог забежать на полчаса. Он чувствовал сильное искушение, но знал, что в условленном месте его ждут Йован и Максим, и, расстроенный, продолжал брести за колонной.

Йован оказался один, и он встретил его неожиданным известием: Брка в селе и приглашает их с Вуком к себе. Павле удивился. В эту ночь он думал о чем угодно, только не о встрече с Бркой. Он полагал, что встреча и разговор с ним должны состояться после перехода через Мораву.

— А что с лодками? — спросил Павле у Йована, стараясь скрыть свое удивление.

— Немцы так наблюдают за Моравой, что, по мнению Брки, переправа на лодках очень рискованна.

— Господи боже мой, да что же на войне не рискованно? — вскипел Вук.— Как только начинаешь зависеть от тыловика, так и знай:

тебе крышка! Куда же мы денемся завтра на этой равнине? И как он думает переправиться через Мораву?

«Он прав!» — подумал Павле, но промолчал, не желая говорить в присутствии Йована.

Оставив отряд в лесу, они быстро зашагали по направлению к деревне. Снег таял, небо было облачное, ночь — темная и сырая. Они спешили. По дороге Павле думал о предстоящем разговоре с Бркой. Подходя к дому, где их ждали, он чувствовал себя спокойным и уверенным. Однако, когда он здоровался, голос его дрогнул. Брка поздоровался с ними сердечно, и на лице его появилась улыбка удовольствия. Павле это ободрило и успокоило. Брка ходил по маленькой, слабо освещенной комнате и слушал Максима, который докладывал о работе. Время от времени он задавал ему вопросы и делал замечания своим мягким голосом. В руке он держал незажженную папиросу и разминал ее пальцами.

Павле и Вук сели в тени, подальше от лампы, которая стояла на краю стола, стараясь показать, что они не слушают этого разговора.

Брка был человеком среднего роста, плечистым, с нежным и бледным лицом. Его длинный с горбинкой нос выдавался над тонкими яркими губами. Усов у него не было, хотя его и звали «Брка» *. Он носил крестьянскую одежду и барашковую шубару. На левой руке у него недоставало двух пальцев. О том, как он их потерял, у партизан рассказывали по-разному. Рассказы о его подвигах делали еще более загадочными его личность и прошлое. Чаще всего рассказывали, что пальцы ему оторвало пулей дум-дум во время какой-то стачки, когда он ухватился за дуло жандармской винтовки. Его участие в стачках и демонстрациях и особенно то, что он старый коммунист — по крайней мере так все считали,— создало ему у партизан непререкаемый авторитет. Он был нездешний, никто не знал, откуда он прибыл в начале сорок второго года в качестве секретаря Окружного комитета партии после того, как погиб его предшественник. Павле встречался с Бркой несколько раз, когда тот приезжал в отряд на совещания со штабом и партизанским руководством. Он тоже не знал ни его прошлого, ни профессии. Насчет профессии Брки мнения партизан разделялись. Большинство считало, что он рабочий-металлист. Это мнение основывалось на его простых, непосредственных отношениях с людьми, на том, как он точно и ясно излагал свои мысли, а главное, на том, что профессия рабочего-металлиста была лучшим доказательством принадлежности к коммунистам и революционерам. Но Павле был убежден, что Брка — студент, профессиональный революционер, который на длительной партийной работе и в дружеском общении с рабочими усвоил некоторые их черты. Брка никогда ни одним словом не намекал на свое прошлое. Он энергично и искусно избегал всех разговоров, которые пытались заводить на этот счет партизаны. Сейчас, пока Брка разговаривал с Максимом, Павле внимательно присматривался к нему. Ему все больше и больше нравился этот надежный и спокойный человек.

— Ну, товарищи, теперь давайте поговорим с вами, — обратился Брка к Павле и Вуку. — Максим, скажи, чтобы нам приготовили ужин. Товарищи, наверно, голодны, — прибавил он, не обращая внимания на то, что они решительно отказались. — Прежде всего, хочу вас обрадовать, — продолжал он. — Слышали сообщения с Восточного фронта?.. Нет, конечно. Вчера мы поймали Москву и Свободную Югославию. Красная Армия скоро ликвидирует окруженную немецкую армию под Сталинградом. Там уничтожат более трехсот тысяч немцев, а это значит, что

---

* Брка — усач *(серб.)*.

будет сломлен хребет немецкой армии. Я убежден, что в скором времени ей предстоит безоглядочное бегство на запад. Весна обещает великие события. Кризис миновал. Советы ударят, через несколько месяцев они будут на Днепре... — Рассказывая эти новости, Брка тут же давал им объяснения и, по своему обыкновению, делал выводы для дальнейшего развития партизанской борьбы в Югославии. Он говорил медленно, со сдержанной радостью и, наконец, сообщил о борьбе в Боснии.

Павле обрадовали эти вести, и он начал излагать свои соображения о возможностях будущего наступления Красной Армии, о вторжении пролетарских дивизий в Сербию. Вук, задумавшись, слушал. После минувшей ночи он был не в состоянии громко выражать свою радость.

— Да, да! Все было бы хорошо, если б мы действовали разумно! — озабоченно и с укоризной перебил Брка. — Уча погиб. От его роты осталось всего шесть человек.

— Уча погиб?! — воскликнул Павле и остолбенел.

— Погиб!.. — повторил он, как бы убеждая самого себя. Губы у него задрожали, во рту пересохло.

— Когда он погиб? — тихо спросил Вук, поднялся со стула и встал, прислонясь к стене.

— Четыре дня тому назад. Немцы окружили его в Слатине. Тяжелая потеря для нашего отряда и для нашего дела. Он не покинул Ястребац, как вы мне сообщали. Что-то у вас не в порядке, товарищи! Так дальше нельзя, — сказал Брка.

Павле не слушал. Эта весть сразила его.

Брка заметил его состояние и решил повременить с критикой. Нахмурясь, он ходил по комнате, играя незажженной папиросой и глядя прямо перед собой.

Вук снова сел и вздохнул так громко, что даже Павле встрепенулся и посмотрел на него.

— Что делать, товарищи! Борьба! Нужно сжать зубы и терпеть. Меня радует, что вы хорошо справились с заданием. Ну-ка, Вук, рассказывай, что у вас нового, — промолвил Брка после продолжительного молчания.

Максим принес ужин. Ему стоило взглянуть на Павле, чтобы сразу понять, о чем они говорили. Поставив на стол тарелку с сыром и жареным мясом, он отошел к печке.

— Да у нас все хорошо...— начал Вук, сам не зная, о чем, собственно, он должен рассказывать и что особенно интересует Брку. — Этой ночью мы уничтожили штаб корпуса... Вы уже слышали об этом. Остальное вы знаете. Ничего особенного нет.

— Сколько у вас новых партизан?

— Мы разделились теперь на три роты. Всего нас около двухсот.

— А что ты думаешь, Павле, о переправе через Мораву? Ваш план я считаю невыполнимым. Немцы так следят за рекой, что перебросить на одной лодке двести человек абсолютно невозможно. Нужно придумать что-то другое.

Павле встрепенулся и сказал, не раздумывая:

— Сегодня ночью мы должны перейти через Мораву.

— Знаю, что должны. Но как? Я уже сказал — на лодке это немыслимо. Максим сумел раздобыть только одну маленькую лодку, которую наши люди стащили и спрятали. В нее может поместиться самое большое пять человек. Вот теперь и посчитайте, сколько потребуется времени, чтобы перебросить двести. И то при условии, что немцы нас не заметят. А это невозможно.

— Тогда пойдем по мосту! Ничего другого не остается, — сказал Павле.

Брка ответил не сразу. Он молчал и думал. Павле с Вуком и раньше думали о переправе через Мораву по мосту. Он был защищен бункерами и вел в уездный городок, главная улица которого служила как бы продолжением моста. Этот переход был последней и наиболее опасной операцией, до которой додумались накануне Павле и Вук, но они тут же отвергли ее как слишком рискованную.

— Я убежден, что переправа через мост вполне выполнима в военном отношении. Враг не может предположить такой наглости с нашей стороны. Мы застанем его врасплох, а этого достаточно для того, чтобы операция удалась, — сказал Павле.

Он судорожно ухватился за эту возможность. В том душевном состоянии, в каком он находился, он был не способен принять какое-либо другое решение. Только потом, когда все будет позади, и человек сможет трезво смотреть на происшедшее, его охватит страх перед бесчисленными опасностями, которые ему угрожали, и он сам тогда поражается своей храбрости.

Под впечатлением известия о гибели Учи Павле скорее чувством, чем разумом, страстно желал немедленно перейти Мораву и любой ценой сохранить отряд. Он видел, что сейчас он снова в том же положении, как и в начале немецкого наступления, и снова должен решать, как спасти людей. Но ведь сейчас у него не отдельная рота, а уже целый большой отряд. Он ни с кем не хотел разделять ответственности за выполнение задания.

«Да! Только решительная и быстрая атака моста!» Тоска по Уче превратилась, казалось, в твердый камень, который мучительно давил на сердце. Павле сидел, сжав кулак, и изо всех сил бил им по колену.

— Давайте подумаем. За отряд отвечаешь теперь не только ты, — сказал Брка и остановился, глядя на Павле.

— Мы должны идти через мост! Я согласен с Павле! — подтвердил Вук.

— Вижу, что должны! Только нужно все предусмотреть.

— Э, да кто же может все предусмотреть на войне! — возразил Вук.

Брка укоризненно посмотрел на него и продолжал ходить, анализируя все возможности, которые могут возникнуть в связи с этой операцией. Он вникал во все мелочи, представлял себе наиболее тяжелые ситуации и предлагал их решение. Павле и Вук слушали его. Они говорили мало. В конце концов Брка решил, что задание выполнимо при условии, если оно будет быстро и решительно проведено. Они договорились, что ночью, в полной тайне, отряд направится к мосту. Павле посоветовал Брке и Вуку ничего не говорить партизанам о судьбе Учи и второй роты, пока они не придут на Ястребац.

— Мы можем идти? — спросил Вук и встал.

— Я тоже пойду с вами, только мне нужно еще поговорить с Павле. Вы ступайте, подождите нас в другой комнате да, кстати, организуйте подготовку продовольствия для отряда, — сказал Брка.

— Ну, товарищ Павле, расскажи мне, что там у вас произошло с Гвозденом? — обратился он к Павле, садясь на стул напротив него.

— Это было так... — начал Павле, стараясь рассказывать коротко и излагать только самую суть событий... — Я предлагал прорвать блокаду и выйти в тыл врага, в новые районы. А они были против...

— Хорошо, понимаю! Дело шло о двух тактиках, — перебил его Брка. — Твоя точка зрения верна: это линия партии. Разве ты не мог убедить в правильности партийной линии таких коммунистов и руководителей, как Уча и Гвозден? — Брка говорил тихо, и Павле показалось, что ему неприятно и тяжело говорить об этом.

— Нет, это было невозможно. Я сделал все! Мы должны были его

расстрелять. Убивая его, мы убивали сомнение в бойцах. Он призывал расколоть, распустить отряд. Положение наше было... — и Павле взволнованно стал рассказывать обо всех обстоятельствах и событиях этого рокового для отряда дня. — Дело шло о моральном состоянии бойцов... Я убежден, что мы поступили правильно. Впрочем, это подтвердили все последующие события. Твое письмо меня сильно удивило и расстроило — оно задело меня, — сказал в заключение Павле.

— Ты пошел по линии наименьшего сопротивления. Твоей обязанностью как партийного руководителя было спасти и отряд и Гвоздена. Его расстрел произведет тяжелое впечатление на широкие массы. Ты убивал не сомнение: ты убивал веру в идейную силу партии. Для всех молодых коммунистов это навсегда останется мучительным воспоминанием. К такому средству партия прибегает только в отношении предателей. Это самая последняя и исключительная мера в нашей практике. Так мог поступить только коммунист, почувствовавший свою слабость и потерявший перспективу в борьбе. Вот так, товарищ Павле! — И Брка покачал головой.

— Я не согласен с таким пониманием! Это неверно. Я не потерял перспективы,— возмутился Павле и, забывшись, начал еще громче доказывать правильность своего поступка. Никогда он не чувствовал себя настолько убежденным в своей правоте, как в это мгновение. Он говорил смело и самоуверенно. — Правила — правилами, а жизнь — совсем другое дело! — закончил он и встал.

— Ты глух ко всему. Ты вырвался из-под партийного контроля, одичал, ведешь себя как атаман, а не как партийный руководитель. Что с тобой, товарищ Павле? — Брка говорил, не повышая голоса. — Не думай, что борьба не обойдется без нас с тобой. Меня удивляет одно: неужели ты не видишь, как тяжело это событие воспримется людьми во всем крае и как много теряем мы в политическом отношении из-за твоего поступка? Таких крестьян, как Гвозден, мало.

Но Павле упорно не соглашался.

— Хорошо, товарищ Павле! У нас нет больше времени на то, чтобы убеждать друг друга. Надо идти. Придем на Ястребац — созовем общее партийное собрание отряда и серьезно разберемся в этом вопросе. Послушаем, что думают остальные коммунисты, и в соответствии с этим займем определенную позицию по отношению к тебе.

Брка поднялся. Павле больше ничего не сказал. Для него все вдруг утратило всякий интерес. В течение всего этого разговора его терзала мысль об Уче, и когда они пошли темным полем, слезы покатились по его лицу.

39

Ветер хлестал темную ночь, мокрую от дождя и снега. В дубовой рощице тихо переговаривались партизаны, нетерпеливо ожидая выступления. Прямо под ними, у подножья косы, бурлила Морава. На том берегу над самой водой качались беспокойные желтоватые отблески фонарей, освещая маленький городок, который, словно рукой, обнял железным мостом реку, прижимая ее к себе.

Павле подсел к Николе и Джурдже, устроившимся под корявым дубом, и закурил, пряча папиросу в кулак. Он сидел, вглядываясь в тускло освещенный городок. Там в полночь будет снова решаться судьба его отряда.

Будущее его отряда, его самого — всего, что он до сих пор сделал, зависит сейчас от внимания вражеского пулеметчика, от настроения солдат в бункере, от того, болтают они или дремлют... А эти лётичевцы—

храбрые солдаты... Немцы все предусмотрели. Часовым в бункере приказали быть этой ночью особенно настороже. Стоит только кому-нибудь из партизан споткнуться о куст или о камень, тяжело ступить, зашуршать — и готово! Все зависит от случая. Как в рулетке!

— Какой жалкий вид у этих фонариков! Смотрю, и мне все кажется, что вот-вот их задует ветром или засыплет снегом, — промолвил Павле, который устал от забот, от молчания и напряженного ожидания полуночи.

— А меня зло берет, когда я смотрю на этот город. Везде темно, только немцам светит... — усталым голосом заметил Никола.

— Эх, служивый! Мокнешь ты, за шиворот течет, рубашка на тебе сырая, носки мокрые, брюхо от голода подвело, а там люди в теплых комнатах, лежат под одеялом рядом с женами... Ты ежишься от холода и ждешь ночи, чтобы броситься на бункеры и пулеметы. А они... И это называется справедливость! — сказал, вздыхая, Джурдже.

— Здесь я работал учеником... Таскал на морозе дубленые кожи из ямы. И этот городишко я просто ненавижу. Если бы у меня была такая бомба, чтобы разнести его на части, я непременно бросил бы ее сейчас,— сказал Никола.

— И я его ненавижу! — прибавил Павле. «Может ли быть что-нибудь отвратительнее, чем погибнуть в этом городке!»

— Я здесь работал два года. Хозяин три раза у меня жалованье зажилил. Я в суд на него подал. Но адвокат хотел содрать с меня пятьсот динаров — и я отказался от тяжбы. Сегодня вечером мы пройдем мимо дома моего хозяина. Постучу ему в окошко, напомню, что жив еще. Пусть хоть одну ночку не поспит.

— Да ты пошли его ко всем чертям, Джурдже!

— Нет, постучу, назло! А по правде говоря, есть у меня здесь что вспомнить и по женской части. Прости меня, Павле... Я ведь живой человек. Была тут одна, верно, она и сейчас еще здесь. Мы пройдем и мимо ее дома. Красивая вдова, молодая. Она и месяца с мужем не прожила — умер от воспаления мозга. Он был сборщиком податей. Эх, до чего же хороша баба! Налитая, как ягодка, смуглая, глаза, что чернослив. Если правду сказать, я вдов не больно люблю: они кровопийцы. Но эта — царица! Я целую зиму возле нее крутился. Сделал себе синий костюм да еще какой-то дурацкий галстук купил! Тут и самому судье до меня не достать! Танцы, кино, Новый год, праздники... Она и глазом не повела. Одна ее соседка свела меня с ней, познакомились. Но уж очень она серьезная. И нрав у нее чудной. Я ей говорю, говорю, строчу языком, что твоя швейная машина, а она только ерзает — видно, скучно ей— и тоненьким таким голоском поддакивает: «Да! Да!» Нечего делать — послал к ней сваху. «Пойти? За него? Это чтобы у меня в постели столярным клеем воняло? Господи боже мой! Пусть уж лучше навеки вдовой останусь, а кроме как за чиновника ни за кого не выйду!» — вот так и отрезала. Помню, я сквозь землю был готов провалиться от стыда. На другой же день собрал свои вещи и махнул отсюда. Вот тогда хозяин и заграбастал мое жалованье.

— А ведь знай она, служивый, что после войны ты станешь капитаном, наверно бы согласилась! — вставил Никола.

— Нет, правда, — продолжал Джурдже, — шутки в сторону, меня так и подмывает постучать к ней сегодня в окно.

Никола засмеялся.

Шел дождь. Ветер шумел листьями дуба. Никола и Джурдже продолжали разговаривать о вдове, о бывших хозяевах, о своей жизни в людях. Павле надоело слушать, он перешел под другое дерево, вынул часы и поднес к ним папиросу. «Еще целый час. Кто из нас выдержит? Когда

все кончится... жизнь моя начнется сначала», — говорил он самому себе, продолжая думать о предстоящем тяжелом, решающем задании — о переходе через город. Он знал, что самое важное при этом — быстро уничтожить охрану в бетонном бункере на берегу, который он старался разглядеть днем отсюда. «Группу на бункер поведу я... Так будет самое верное», — решил он, и это решение несколько его успокоило. Он верил в себя и был убежден, что под его руководством операция пройдет успешнее. Он встал и начал ходить, подставляя лицо холодному ветру. Прикосновение крупных сырых снежинок, падавших ему на лицо, было приятно.

Брка провел целый день с Вуком. Он назначил его командиром отряда. Теперь он позвал Павле, чтобы еще раз окончательно договориться о выступлении. Павле сказал, что сам поведет ударную группу на бункер.

— Об этом и речи не может быть! Комиссар отряда ведет весь отряд, а не группу из пяти человек. Я думаю, что ты не собираешься сегодня вечером щеголять своей храбростью, — сказал Брка.

— Если одному из нас надо пойти вперед, пойду я. Ни в коем случае не ты! — заявил Вук.

— Нет, пойду я! От этого зависит вся операция, и я хочу провести ее лично. На мне лежит главная ответственность. Сегодня я не могу рисковать.

Павле так настаивал, что Брка уступил. Комиссар приказал созвать бойцов. Когда они собрались, он коротко объяснил им задание. Он умышленно нарисовал его не таким тяжелым и серьезным, каким оно представлялось ему. Брке показалось даже, что Павле изобразил дело слишком легким, и он добавил несколько слов, подчеркнув, как необходимы быстрота и решительность.

— Пойдут Станко и еще трое — кто хочет! — сказал Павле, когда Брка кончил.

К нему подошли Бояна и двое старых партизан.

— Пулемет возьмем? — спросил Станко, который стал взводным в роте Николы, и передал пулемет своему помощнику.

— Возьми! А ты, Бояна, и вы, товарищи, возьмите по три осколочных гранаты.

Обращаясь друг к другу шепотом, партизаны построились в десятки и роты. Павле с ударной группой пошел вперед, за ним, на небольшом расстоянии, — вся колонна.

Они быстро спустились лесом и направились через поля к мосту. Ноги проваливались в мокрый снег, ветер на берегу дул сильнее и относил звуки в сторону, противоположную от моста. Колонна продвигалась неслышно. Павле бросало в дрожь от злости, если кто-нибудь задевал ногой о кукурузный стебель. Он все время напоминал о том, что нужно ступать осторожнее. Но иногда, в тот самый момент, когда он делал замечание, он и сам спотыкался. И его охватывали суеверные предчувствия и страх. Чем ближе они подходили к мосту и бункеру, у которого раскачивался фонарь, тем сильнее охватывала его дрожь. В ста метрах от бункера он остановился и приказал остановиться всем. Колонна должна была подождать, пока ударная группа уничтожит охрану бункера, а затем бегом броситься вслед за ней на мост. Ему показалось, что вблизи кто-то кашлянул. Он бросился на снег и стал напряженно прислушиваться. Ветер свистел в голых прибрежных ивах, гудел в стеблях. По реке шел лед. Он шумел, трещал, задевая о берега. Сердце колотилось как бешеное у Павле в груди. Он все сильнее зарывался в снег.

— У меня такое ощущение, словно Уча ждет меня за мостом,— шепнула ему на ухо Бояна, которая лежала рядом.

«Да ведь он мертвый!» — едва не вырвалось у Павле. И при мысли, что Уча умер, что его уже нет, его охватило предчувствие смерти. «Может быть, и я погибну этой ночью? Погибну перед самым концом, не сняв с себя обвинения? Страшно! Только не сейчас! Нет! Не в этом городишке! Пусть я погибну завтра, когда мы победим... Завтра! Там на Ястребце, все равно, где... Нет, я буду убит сегодня вечером. Сейчас...— Павле вскочил и бросился вперед. Остальные едва поспевали за ним. В нескольких десятках шагов от черневшего бункера Павле снова бросился на землю. В тусклом свете фонаря на мосту неясно виднелась плоская поверхность крыши. «Нужно бежать отсюда»,— думал Павле, продолжая лежать. — Погибну... Непременно погибну!»

— Идем, чего ждешь? — шепнула Бояна.

«Видит, что струсил! Будет презирать меня! Не могу... Часовой что-то кричит! Заметил нас. Щелкает затвором. Я должен!»

— Приготовьте гранаты, — шепнул он громче, чем хотел, и быстро пополз к бункеру. Он и сам не знал, как он дополз. Вдруг пулемет на бункере открыл огонь. Павле инстинктивно бросил одну за другой гранаты в щель бункера, прямо в огненную струю. Остальные последовали его примеру. Взрывы заглушили вой ветра, рассекли мрак сырой и снежной ночи. Пулемет замолчал. Часовой на другой стороне выстрелил из винтовки. Павле, как будто даже обиженный тем, что с бункером все кончилось так быстро и просто, поднялся и во весь голос крикнул: — Впе-ред! — и побежал по мосту.

За ним устремилась его пятерка, и деревянный настил моста загудел от топота проходившей колонны. В городке началась беспорядочная стрельба, возле железнодорожной станции забил пулемет. Павле, пригнувшись, бежал вперед, не обращая внимания на свист пуль. По мосту он вбежал в улицу. Станко длинной очередью из пулемета разогнал патруль и охрану. Фонари погасли. Наступил такой мрак, что Павле не знал, куда же бежать. Его догнали бойцы. Кто-то крикнул:

— Вперед! Налево!

Павле присоединился к тем, которые свернули налево, обогнал их и продолжал бежать вперед.

В центре городка затрещали пулеметы. Застигнутые врасплох и растерянные немцы и жандармы стреляли наугад, освещая небо красными ракетами. Вскоре пули начали свистеть возле партизан, попадая в стены домов и в окна. Партизаны перебегали улицу под обстрелом пулемета.

— Налево! Налево! — кричал за спиной у Павле Никола.

Павле повернул не сразу. Он пропустил всю колонну, умышленно подвергая себя опасности и, казалось, испытывая самого себя. Бойцы шли напролом через дворы и сады, ломая заборы и плетни. Они спешили выйти к железнодорожной насыпи в поле. Павле опять обогнал колонну. Треск и грохот указал немцам направление движения отряда. Немцы снова начали бить по ним густым огнем. Через несколько минут партизаны уже перебежали линию и очутились в поле, здесь железнодорожная насыпь прикрывала их от огня.

Партизаны громко окликали друг друга. Они обнимались и целовались от радости. Вне себя от изумления и восторга, что вот, наконец, они перешли Мораву. Павле, обессиленный, опустился на снег. К нему подошел Вук и, не говоря ни слова, крепко его обнял. Радоваться громко он был не в силах.

Павле вспомнил, как он боялся бункера, и весь вспыхнул от стыда. «Что же это со мной было? Почему я так испугался? Бояна видела, что я струсил...»

— Товарищи! Джурдже ранен и остался в поле!— закричал Никола.

— Джурдже? Где он остался? — отозвался Павле и вскочил.

— Там, за дорогой, возле последних домов. Его задела очередь. С ним был один из новичков. Он перепугался и не вынес Джурдже, черт бы его побрал, и только сейчас мне сказал! Погибнуть под самый конец! Пойду и вытащу его!

— Идем вместе! Позови того, кто тебе сказал!

— Да он далеко, товарищ комиссар! — заметил новичок.

— Пойдешь с нами! — рявкнул Павле и вместе с Николой побежал через железнодорожную насыпь.

Павле, казалось, повезло. Ему снова представился случай подвергнуть себя опасности. Он мог отомстить себе за свой страх перед бункером. Все пространство, по которому они шли, возвращаясь за Джурдже, немцы обстреливали из пулемета. Они бежали через сады и огороды. Наконец партизан, который их вел, остановился и сказал:

— Там вон остался. Возле того высокого дома, — ему не хотелось идти дальше.

— За мной! — приказал Павле.

— Где он? — спросил Никола.

— Дальше, впереди.

— Служивый! Джурдже! Это я, Никола! — кричал и звал Никола.

Возле них, шипя, упала ракета, ударилась о ветви яблони и рассыпалась, освещая сад и ближайшее здание. Они бросились в снег.

— Вот он! Вот он! — закричал Никола, заметив Джурдже.

— Джурдже! Это мы — Никола и Павле!.. Ты что здесь под окнами вынюхивал, дурачина? Долги хотел собрать, а? — укорял Никола.

— Удирайте отсюда! Видишь, как жарят... Побереги свой котелок, не мели здесь... — отвечал Джурдже, не переставая стонать.

— Молчи! Вот смажу тебя по роже, как только вытащу! Из-за какой-то вдовы решил с головой распрощаться! Эх ты, партизан!

— Сейчас не время шутить! — сказал Павле.

— Куда ты ранен, несчастный? — спросил уже мягче Никола.

— Ударило меня куда-то в ноги...

— Как это куда-то...

— Так, не знаю, куда... А подняться не могу. Здорово садануло...

— Вижу, что здорово!

Нести вдвоем было неловко, Никола согнулся и сказал:

— Обхвати-ка меня за шею! Из-за твоей дурацкой головы нам самим теперь крышка!

— Молчи, дурак... — застонал Джурдже и обхватил его.

Никола, согнувшись, побежал через улицу. Павле пошел за ними.

Ноги Джурдже бессильно болтались, цеплялись за плетни, Павле ломал плетни, расчищая путь перед Николой. Чем дальше они несли Джурдже, тем сильней и мучительней он стонал от боли.

— Потерпи, горе мое!.. Сам на рожон лез! А сейчас терпи! — сердился Никола, но не разрешал Павле сменить себя.

— Пусти, я понесу... Несу горе мое, мой позор...Своя ноша не тянет.

— Ладно, будет... Не могут больше слушать... Будет, пощади, — протестовал Джурдже.

Они с трудом перешли линию. Отряд ушел уже дальше, в поле. Но Вук оставил троих партизан дожидаться раненого. Они сменили Николу.

Павле шел позади и молчал. Он чувствовал себя разбитым, усталым. Ему хотелось сесть прямо в снег, и вот тут, на ветру, в этой сырой метели, под непрекращающейся стрельбой поговорить с кем-нибудь по душам. Но о том, что он сейчас чувствовал и о чем думал, он мог говорить только с Учей. А его больше нет.

Даже самая большая радость на войне мимолетна. Она проходит, когда умирают товарищи, те, что гибнут всегда, непрестанно.

40

Поздно ночью, возвращаясь из села с продовольствием для раненых, Ефта подошел к пастушечьей хибарке под Белой скалой. Ночь, тьма и вьюга. Отсюда до партизанского госпиталя было еще добрых два часа ходьбы по горным тропам. Измученный, вспотевший от усталости, Ефта остановился, сбросил ранец и несколько раз шумно вздохнул. Он долгое время жил возле стада. Постоянно общаясь с животными, Ефта научился разговаривать со своими немыми друзьями, и постепенно у него вошло в привычку думать вслух и разговаривать с самим собой.

— ...И куда я пойду в этой тьме-тьмущей! Еще голову сломаю на скалах. А сказать, чтоб они были голодны, — так нет. Кормлю их, моих голубков! Немец с горы ушел. Могу прийти и утром. Месяц всходит теперь на заре, вот я и выйду пораньше... Да нет! Вот только недолго отдохну, суну себе что-нибудь в рот, обогреюсь немножно и пойду. Уж если спать, так спать. А пораньше прийти — оно вернее!.. Есть у меня фляга ракии, да нехорошо, если ее увидит Боса. Он расскажет Павле, а тот начнет: «Товарищ Ефта, я оказал тебе величайшее доверие... Я тебя уважаю... Я думал принять тебя в члены партии... Поставить во главе уезда... А ты пьешь? А что ты обещал мне при расставании? А?» И на кой черт я ее взял! Привязался ко мне Стева, как зубная боль: и старая, мол, это сливянка, и выдержанная, и из тутовой бочки... Вот немножко отдохну да поужинаю, разопью бутылочку. А пока приду в Мечьи Рупы, она вся пóтом и выйдет.

Ефта вошел в хибарку, ножом нащипал лучины и быстро и ловко развел огонь. Очаг разгорелся. Ефта отодрал от крыши две буковые доски и сунул их в пламя.

— Благодатный огонь! Нет в доме огня — и все пусто, души нет. А зажжешь огонь — все сразу повеселеет и оживет. В этой пустыне, в горах, умрешь без огня со страха. От огня и зверь и всякая нечисть бежит.

Так шептал Ефта, сидя у очага в темной хибарке и наблюдая за веселой игрой пламени. Тихо потрескивала лучина. Обгоревшей палкой он ударял по углям, стараясь «разъярить огонь». Искры взлетали вверх. Ему было приятно, и он все чему-то улыбался.

— Поужинаю сегодня по-хозяйски. Да, я заслужил, браток! Чертовщина отгремела, а я сохранил раненых и прокормил лучше, чем если бы они были в государственном госпитале. Немец думал, что он сдерет с нас шкуру, как с зайцев, да высушит. Да где ему, дурню, тягаться с нами? Вот только убил у нас Учу и других хороших товарищей, будь он проклят! И сколько народу перебил зря! Ну, мы в долгу тоже не останемся! Ничего, Уча, — да будет ему земля пухом: такие, как он, редко рождаются — мы им отплатим за все. Я слышал, Павле идет от Моравы и ведет за собой большую армию. Уж этот Павле! Великий жулик, сорви голова! Хитрый мошенник. Генерал армии перед ним ничто. Но и я попусту не болтался на Ястребце. Кое-что и я сделал. Да, а что со мной было, когда по селам хватали заложников, не к ночи будь помянуто! Положа руку на сердце, кто бы это выдержал? В беде чего только человеку в голову не взбредет! Каждый на моем месте бросил бы винтовку и сбежал бы куда глаза глядят. А я? Нет. Да разве ж я брошу своих израненных и измученных детей голодными? Да лётичи твердят по всем селам: «Только бы нам этого Ефту схватить! Он знает, где склад продовольствия, где находится лазарет, без него отряд не может существовать. Мы бы легко с ними после...» А вот и не поймаете, щенки! Выдержал Ефта и это. А вот придет мое время, я вас найду! От меня не скроетесь. Не убью вас. Нет! Не бойтесь. Легче смерти ни-

чего нет! А вот заставлю вас камень дробить да дороги мостить! Дороги-то у нас все изрытые, пешком по ним не пройдешь. Их надо как можно скорее исправить... Погодите только! Русские погонят вас с одной стороны, а мы с другой. Сведет с вами Ефта старые счеты.

Он отвязал от пояса флягу и несколько раз хлебнул сладкой старой сливянки.

— Это для аппетита! Устал человек, не может есть, пока не согреется брюхо.

Он сбросил сумку, вытащил полкаравая желтого кукурузного хлеба, копченое мясо, завернутое в бумагу, три стручка моченого перца и приготовил ужин. Отщипнув ножом длинную тонкую лучинку, он разрезал мясо на кусочки и, нанизав их на вертел, поднес к огню. Он делал все это умело, с наслаждением. Ел он медленно, снимая с вертела уже прожарившиеся куски и запивая каждый кусок ракией. Этот ужин был самым вкусным в его жизни, и он нарочно медленнее жевал, разрезая хлеб на маленькие кусочки, чего никогда не делал, закусывая моченым перцем и попивая ракию.

— Даже свинья любит сливу, убей ее бог! Вот уж пятнадцать дней не пробовал! Заслужил я себе удовольствие. Наступление кончилось, я выдержал все по-геройски.

Разогревшись у огня, Ефта сидел за вкусным ужином и за ракией и посмеивался:

— Павле, жулик моравский, могу тебе рапортовать: и слово сдержал, и задание выполнил! Теперь очередь за тобой. Теперь уж ты не отвертишься. Ты помнишь, что обещал!

Ефта запрокинул флягу и долго держал ее в таком положении.

— Когда создадим свободную территорию, будешь, говорил, председателем уездного правления. Карету с воронымн жеребцами получишь, развалишься в ней, как попадья какая... Хе-хе-хе! Э, Павле, разрази тебя гром, добрая у тебя душа. Глаза хитрые, воровские... Да не соврал ли он? А ведь, если говорить по правде, я заслужил. На троицу мне шестьдесят будет, а воюю наравне с молодыми. Не дал бог счастья: внуков у меня нет. А то бы призывниками теперь были. Они бы воевали, а я бы щелк-щелк за овцами.

— В жизни у меня никогда счастья не было. Словно весь свет меня проклял, словно дед мой Святую Гору ограбил. Я еще и перекреститься не умел, а хозяин меня уже колошматил. А потом другой, да третий, да десятый — всех и не сочтешь. В селах под горой нет такой нивы, которую бы я не пахал, нет виноградника, который бы я не окапывал. А еще извоз!.. Сколько же я огромных буков порубил да вывез на волах с Ястребца! Если б хоть каждое сотое дерево было мое, я стал бы первым хозяином в селе... А проходил всю жизнь голый, босой, рваный, как будто с собаками дрался. Заработаешь на табак, да на ракию, да на опанки — и все тут!.. Сколько я одних волов переменил...

— Ни жены, ни ребенка... Никогда никто меня не спросил: «Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Не голоден ли ты, не устал ли, может быть, пить хочешь?» Никогда никто меня не провожал, не радовался мне, не ждал, когда я вернусь. Весь свой век прожил один, как пень. Весь век был слугой у чужих господ: чужой хлеб, чужой дом, чужой скот. Все чужое и все чужие, а я один для всех...

— А ведь если правду говорить, я много всего переделал. Нет, никто больше не будет колотить Ефту. Я тоже человек. Почему я должен всю жизнь мучиться? Почему? Разве сука меня родила, а не женщина? Разве я убивал, крал, жег? Кто же во всем уезде работал больше меня? Разве был у меня за все мои шестьдесят лет хоть один свободный день? Хоть один праздник? Разве я повеселился хоть раз в жизни? Почему же

мне, как собаке, умирать на чужой соломе? Почему общинный сторож закопает меня без гроба, словно падаль, где-нибудь у дороги возле кладбищенской ограды? Так, чтобы меня и мертвого топтало все село? Почему?.. А потом начнут рассказывать, что я стал оборотнем, и будут пугать детей? Нет, не будет так!

Его сморщенное, похожее на измятую тряпку лицо кривилось. Губы дрожали, глаза были полны слез. Они ручьями текли на его густую бороду. Он поднял кулак, будто грозя кому-то, потом снова схватил флягу и долго держал ее запрокинутой, жадно глотал ракию. Ефта уже не думал об обещании, данном комиссару. Он забыл, что поклялся не брать в рот и капли ракии, пока на его руках раненые. Эту часть разговора с комиссаром он, казалось, забыл. И ракию он взял не для себя, а для раненых, чтоб они могли заглушить свою боль. Так ему казалось...

Горькие и черные мысли Ефты рассеялись. Он забыл все свои обиды, страдания и несчастья. Жизнь предстала перед ним прекрасной и справедливой... Он уже не батрак больше. Он человек, которого все уважают и любят. Вокруг него только прекрасные люди. Лицо Ефты посветлело. Морщины разгладились, и счастливая улыбка дрожала возле его усов. В глазах вспыхнул какой-то необыкновенный огонь.

— А как же! Мы сменим власть. Прогоним обдирал и хозяев. А ну-ка, капитал, посмотрим, чья возьмет! Ты много и премного царствовал. Сейчас в красном углу сидит Ефта из Здравиня. Я был батраком, погонщиком, бездомной собакой. Никем и ничем, а теперь — я власть. Направо равняйсь! Отдайте честь шестидесятилетнему партизану!

На мгновение счастливая улыбка скрылась в усах. Лицо стало по-военному строгим, потом лукавым и, наконец, довольным. Он помешал угли и снова запрокинул флягу. Она была почти пустой. Ракия на дне всего слаще. В фляге оставалось всего несколько глотков.

— Ну, что скажешь: карета... жеребцы... кучер щелкает кнутом! Павле, разрази тебя гром! Э, да я сам выберу и распоряжусь. Вот, например, карета будет черная, лакированная. По задку, вдоль крыльев и на спицах — красные полоски, тонкие, словно шелковые нитки. Сзади, на кузове, розы с зелеными листьями, а над ними наша красивая пятиконечная звезда. По сторонам, над крыльями, пусть художник нарисует по коню белому с длинной гривой, и он мчится вперед! Посмотришь, так и кажется, что они перегонят впряженных в карету лошадей. На колесах резиновые шины. По бокам, как полагается, по фонарю. Стекла всегда протерты. Сиденье пружинное с кожаными подушками и кожаной невысокой спинкой. Только чтобы голову приклонить, если задремлешь. Под ногами, для тепла, зеленый коврик. И для кучера все так же устроено. Так точно! Кони должны быть черными, как сажа. Рысаки — голени тонкие, грудь вперед, как у солдат перед командиром полка. Голову держат прямо, ноги в сторону не выкидывают. Передними переступают мелко, словно нитки мотают. Чистят их славно. Хвосты подвязаны, грива, как полагается, расчесана. Копыта, разумеется, промыты и смазаны. Сбруя новая, и все, что в ней есть железного, — все должно быть никелировано. Недоуздок расшит и с красными кисточками. Так, чтобы глаз радовался. Конь, как женщина, любит наряжаться и прихорашиваться. На карете рожок — обязательно! Кучер едет как полагается и ест и пьет наравне со мной.

— А когда, наконец, все хорошо прилажено, кони накормлены и обхожены, карета вычищена и вымыта, кучер сыт и принаряжен, вот тогда запрягай! Как усядусь я, товарищ уездный кучер, да скажу: «Трогай!» — ты натяни поводья и скажи хорошенько коням, они все понимают, как люди, только что говорить не умеют. Ты скажи им по-хорошему: «А-ай, сынки-и!» — и пойдешь легонько, шагом, покуда кони разогреются

и прывыкнут к сбруе. Только злые, бессердечные люди сразу берут в галоп, чтобы перед народом покрасоваться. А как выедем из городка или из села, откуда случится, ты только отпусти вожжи да скажи: «Рысью, змеи!» — и больше ничего! Конь не любит кнута. Уж если дошло до кнута — значит, это не конь, а кляча! Кнут, товарищ кучер, служит только для украшения. Он подымает твой авторитет, как у офицера сабля... На каждом повороте кричи. Увидишь пешехода — все равно кричи. Ломовика всегда объезжай, не заставляй ты его, мученика, сворачивать с дороги. А если увидишь, что ломовой застрял в грязи, или не может тронуться с места, или сломалось у него что-то, остановись и помоги ему. Вот это порядок, это надо в закон внести. Под гору и в гору подымайся осторожно, береги и уважай животных. Хорошенько следи за ними — это государственные кони...

— Ха-ха-ха! Да ведь это Ефта из Здравиня! Уездный председатель! Ты посмотри только, какая у него карета и какие кони. Да, он заслужил, брат! Уж сколько он намучился и наработался! Другого такого и не сыщешь!

Ефта допил ракию и отшвырнул пустую флягу. Она упала с тихим стуком.

— Нет, надо сразу, как только кончится война, построить хорошие дороги. Государство без хороших дорог — это несчастное государство. Власть, которая не заботится о дорогах, — не власть. Нужно выбрать место для трассы, выравнять почву на поворотах, битый камень засыпать песком, а потом утрамбовать вальком... Всех недичевцев, лётичевцев и этих стервецов-четников — всех выгнать дробить камень! Не допустит Ефта, чтобы погонщики мучились. Не допустит! Зачем же он воевал тогда? А?... Все ручьи на дорогах будут забетонированы... А на Расине построим мост... да... мост... И пусть стоит! Там такие пропасти. Погонщик... Нельзя... Сорвешься... Сорвешься... Мост...

Ефта потянулся, свалился возле огня и тотчас заснул. Огонь догорал. В хижине слышалось хриплое дыхание человека, спящего тяжелым сном. На белом разостланном полотенце лежал недоеденный ужин: три кусочка мяса на вертеле, початый стручок перца и несколько ломтей хлеба. Возле двери к стене прислонилась винтовка. Рядом стоял ранец с провизией.

...На заре к партизанскому госпиталю двигалась рота немцев и лётичевцев. Они вели избитого, окровавленного крестьянина, на которого кто-то донес, что он знает, где находится партизанский лазарет, и вместе с Ефтой снабжает раненых продовольствием. Крестьянин ничего не знал. Ефта ничего ему не доверил. Его поймали, избили, поставили перед пулеметом, и он пошел наугад, сам не зная, куда. Но случайно они набрели на след и теперь шли по нему. В хижине, где спал Ефта, немцы заметили тлевший огонь и остановились. Офицер приказал окружить хибарку.

В хижине было тихо, тлеющий пенек изредка вспыхивал неровными язычками пламени. Ефта спал тяжелым, пьяным сном. Он проснулся только, когда трое немцев бросились на него, схватили за руки и за ноги и стали бить кулаками по лицу. Он закричал, стараясь вырваться. Немец схватил его за горло. Ефта захрипел и потерял сознание. Его вытащили на снег в обмороке и связали ему руки.

Он пришел в себя и запричитал:

— Будь ты проклята, отрава... Ох, ох, Ефта, что ты наделал? Павле, дети мои, партизаны мои! Ох, что я сделал!

Немцы били его, грозили, обещали оставить в живых, если он покажет, где госпиталь. Он стонал и кричал:

— Не выдам вас... Ошибся я, старый стал... Не бойтесь, дети мои, Ефта сознательный товарищ. Не выдаст, не выдаст!

— Говори, а то застрелю! — И немец прижал к его лбу пистолет.

— Стре-еляй! — завопил Ефта и стиснул свои беззубые челюсти.

Немец выстрелил возле самого его уха. Ефту оглушило. Он не слышал того, что ему говорили, не чувствовал ударов.

Его мучили до самого восхода. Потом потащили в лес. Но сколько ни искали, тропы к госпиталю не было: Ефта всякий раз шел другим путем и ловко запутывал следы.

Поздним утром немцы погнали полумертвого и избитого старика к подножью горы. В это утро Ефта—пастух без стада, возчик без клади, партизан без винтовки — навсегда ушел с гор. После него остался след на снегу, капли крови, которые падали с его разбитого лица. Капли были мелкие, как лесные ягоды.

41

Перейдя Мораву, отряд Павле, который насчитывал теперь около двухсот человек, после двухдневного перехода объединился под Ястребцом с ротой Вуксана — в ней было пять человек. Встреча была безмолвной, как всегда в семье после большого несчастья. Старые партизаны целую ночь одиноко бродили возле домов, где они остановились на ночлег.

На рассвете Вук, новый командир отряда, скомандовал выступление. Они шли на Ястребац, где должно было состояться общее собрание отряда, посвященное рассмотрению вопроса о Гвоздене.

Отряд поднимался в гору. В самом конце колонны, позади Бояны, шел Павле. Они достигли Лисины. Бояна вышла из колонны и остановилась. Остановился и Павле.

— Вот там, у того бука пятнадцать дней назад мы были в засаде, — сказала Бояна.

Павле молчал. Бояна немного постояла и вернулась на прежнее место в колонну.

Павле поднялся на склон и осмотрелся.

Ветер завывал в буковом лесу. Рыжие верхушки буков вздрагивали, как от прикосновения огромных невидимых пальцев. Из-за Малого Ястребца показалось солнце. По зернистому снегу полянки протянулась сверкающая дорожка, точно это по ней поднялось солнце на темный гребень горы. В голубом небе над Джюлицей вздымалось белое, похожее на огромную шапку облако. Ветер обрывал его края и гнал эти маленькие клочки в мягкую голубизну, словно море, разлившееся над Расиной, над Моравой, над всей Сербией. В вышине кружились стаи ворон, галок, дятлов, соек — всяких лесных птиц, опьяневших от этой голубизны, ветра, молодого январского солнца. Они кричали, каркали, клекотали и бросались в воздушные волны.

Павле, взволнованный, всей грудью вдыхал лесной воздух, напоенный запахом буковой коры. Он долго смотрел на отряд партизан, медленно подымавшийся в гору. Никогда еще такая большая колонна не поднималась на Ястребац.

Он стоял и смотрел на эту колонну. Потом бросился ее догонять и затерялся в ней.

Роман печатался с сокращениями.

Митчел Уилсон

Брат мой, враг мой

РОМАН

Перевод с английского Н. Треневой

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В страшных снах самое мучительное, самое ужасное — совершенная беспомощность.

Сначала все полно коварной безмятежности — страшное подкрадывается незаметно. Добрый друг улыбается знакомой улыбкой, но он уже не друг, а враг; комната, которую знаешь как свои пять пальцев, неуловимо преображается, и вот уже некуда податься, потому что в ней на каждом шагу ловушки. И наконец все захлестывает леденящий ужас, ближе и ближе надвигается чудовищная катастрофа, и нет сил ни двинуться, ни крикнуть. В такие моменты постигаешь сущность безумия и просыпаешься во-время, ибо муки, испытываемые в кошмаре, становятся невыносимыми.

Утром в понедельник, после экзамена Дэви пережил нечто похожее на страшный сон; в тот момент, когда Кен вошел в гараж, оживленно беседуя с незнакомым толстяком, Дэви хотелось исступленно крикнуть: «Не надо!», — но он оцепенел, и крик замер в его горле.

Незадолго до этого они с Кеном, как было задумано, поехали на своем стареньком «додже» в банк. Но в десять часов утра они уже возвращались обратно, совершенно ошеломленные, и каждый про себя размышлял о постигшей их неудаче. Держа на коленях ветхий кожаный портфель, Дэви недоумевал, почему он за все эти годы, живя мечтой о нынешнем утре, ни разу не представил себе, что они могут вернуться домой с пустыми руками.

Кен давно уже заготовил список вещей, которые будут куплены в первую очередь, как только они договорятся с банком о деньгах. С тех пор из месяца в месяц заветный список изменялся и удлинялся. Кен добавлял еще один костюм или более мощную машину, а Дэви только посмеивался. Он тоже составил список, но там не было никаких личных вещей, кроме тех, которые потребовал вписать Кен.

— Имей в виду, Дэви, я не потерплю, чтоб мой брат ходил оборванцем!

— Ладно, — говорил Дэви. — Но сначала давай купим вакуум-насос и токарный станок — нам так нужен хороший станок, Кен!..

И вот долгожданная минута уже позади, а заветные списки превратились в перечень детски наивных желаний. Кен попрежнему будет ходить в обтрепанных костюмах, а Дэви попрежнему будет без лаборатории.

Продолжение. См. начало в № 2.

Подавленное молчание длилось всю дорогу. Машина подъехала к гаражу; Дэви молча вышел и отпер дверь, а Кен завел «додж» внутрь, в прохладную полутьму, насыщенную знакомыми запахами. Выйдя из машины, Кен стал развязывать галстук, избегая встречаться глазами с братом.

— Ну ладно, Дэви, — негромко сказал он. — Нечего стоять с таким видом, словно жизнь уже кончена. На той неделе вернется Брок, и мы с ним договоримся.

— Ты думаешь?

— Конечно, договоримся. Будто ты сам не знаешь! — В голосе Кена послышались резкие нотки.

— Я знаю, что не договоримся. Мы все испортили. Слушай, — сказал Дэви. — Раз уж было решено обратиться с предложением к самому директору банка, то какого черта выкладывать все его четвертому заместителю только потому, что директор в отъезде? Нашу идею надо было продавать только тому человеку, который может дать деньги, — Броку. Разве вчера, на пикнике, мы вместе с Марго не решили, как нам действовать?

— Да, но...

— Решили или нет?

— Ну хорошо, решили, но как я, по-твоему, должен был поступить?

— Никак, в том-то и дело! Просто никак. Надо было сказать — хорошо, мы придем на той неделе. Но где там! И кто тебя тянул за язык, скажи на милость? И чем равнодушнее становился этот Люстиг, тем усерднее ты совал ему под нос чертежи и диаграммы! Ведь он, в сущности, дал нам коленкой под зад, или, может, ты и этого не заметил?

— Ну ладно! — резко оборвал его Кен. — Значит, виноват во всем я! И как это вышло, дьявол его знает! Слушай, вы же с Марго и Вики вчера смеялись, когда я репетировал речь...

— Мы смеялись не над тобой.

— Хорошо, я тоже смеялся, хотя не так уж это было смешно. Эту проклятую речь я все время держал наготове, и, когда мы пришли в банк, она вырвалась сама собой, независимо от того, кто там сидел.

— Почему ты прежде не позвонил и не условился о встрече?

Кен растерянно уставился на брата.

— Ах, черт! Ну, а ты-то почему об этом не подумал?

— Потому что ты решил добывать деньги сам.

— Тогда добывай ты! Честное слово, Дэви, ты здорово умеешь критиковать когда что-нибудь не так, а сам никогда палец о палец не ударишь!

Дэви быстро обернулся и гневно взглянул на брата, но тут же опустил глаза. Расслабив тугой узел галстука, он снял пиджак.

— Нет, Кен, —спокойно сказал он. — Это твое дело. И ты делай его сам.

— Тогда не мешай мне поступать, как я найду нужным. Не Брок, так кто-нибудь другой даст денег.

Кен пошел в дальний угол гаража, где висел его рабочий комбинезон. Дэви следил за ним глазами.

— У тебя есть какая-нибудь идея? — жестко спросил он.

Кен обернулся, почуяв в голосе брата скрытое возмущение, потом щелкнул пальцами.

— Деньги свалятся к нам с неба! — бросил он и пошел дальше.

Снаружи послышался гудок пришедшей на заправку машины, но Дэви не обратил на него внимания. Кен, успев переодеться, в эту минуту вернулся обратно. Гудок настойчиво вызывал кого-нибудь из них к колонке, и Кен, воспользовавшись этим, прошел через гараж молча. Дэви

рассеянно переоделся и попробовал было взяться за работу, но все валилось у него из рук. Как мог Кен там, в банке, не заметить его безмолвных сигналов? И как мог он сам, недоумевал Дэви, сидеть, точно чурбан, видеть, что Кен поступает неправильно, и не вмешаться?

— Чурбан безмозглый! — Дэви бичевал себя самыми обидными словами. Нет, надо поговорить с Кеном начистоту, раз и навсегда!

Дэви взглянул на часы, и гнев его перешел в ярость: с тех пор как Кен вышел из гаража, прошло двадцать пять минут. Дэви поглядел в дверь. Машина все еще стояла у колонки.

— Господи помилуй, — подумал Дэви, — не хватает еще, чтобы Кен завел там новую дружбу.

И тотчас же на пороге появился Кен, облитый солнечным светом, как броней, защищавшей его от гнева Дэви. За ним шел незнакомец, коротенький, круглый человечек лет под пятьдесят, с широким лицом, по типу — городской житель, привыкший толкаться в вестибюлях гостиниц и разъезжать в вагонах для курящих. У него были хитрые светлые глаза и маленький рот, сложенный в веселую, но скептическую и скрытную усмешку. Прежде чем было произнесено хоть слово, в сердце Дэви вспыхнула тревога, потому что незнакомец смотрел на него с веселым и фамильярным любопытством, будто знал о Дэви гораздо больше, чем Дэви о нем.

— Мистер Бэннермен,— официальным тоном произнес Кен,— это мой брат и компаньон по работе Дэвид Мэллори. Дэви, это мистер Карл Бэннермен, заведующий рекламным отделом цирка. — Кен сделал паузу, и в голове Дэви мелькнула ужасная догадка о том, как провел Кен эти двадцать пять минут. — Мистер Бэннермен согласен обсудить вопрос о вложении капитала в наше изобретение.

Бэннермен закинул голову, чтобы разглядеть Дэви, и, слегка кивнув, пробормотал:

— Черт побери, еще один безупречный тип! Не знаю, может, я и простофиля, но меня все это здорово интригует! — Потирая пухлые руки, он обернулся к Кену. — Ну, так что вы там хотели мне показать?

Дэви облизал пересохшие губы.

— Кен, — сказал он, — Кен, можно тебя на минутку?

— Да, малыш! — отозвался Кен, но, как и тогда в банке, охваченный одним стремлением — убедить, он был уже словно во сне. И, как тогда в банке, Дэви опять не мог заставить себя нарушить закон, придуманный и навязанный им самому себе девять лет назад, закон, который запрещал поправлять Кена или спорить с ним в присутствии посторонних. Дэви замотал головой, показывая, что не намерен продолжать разговор.

Кен посмотрел на него невидящими глазами, потом, открыв лежавший на столе портфель, вытащил толстую папку с чертежами. Папка тяжело шлепнулась на руки Бэннермену.

— Тут вся наша затея, мистер Бэннермен, — сказал Кен. — Все, о чем я вам наспех рассказал у колонки, находится здесь — все, до последней цифры.

Бэннермен перелистал чертежи, бормоча себе под нос заглавия: — Конструкция нити накала... Чертеж сетки... Анодный потенциал! С чем его едят, этот анодный потенциал? Амплитуда на сетке — бог ты мой! — хихикнул он, забавляясь непонятными словами.

— Сейчас я покажу вам специальную электронную лампу, о которой я говорил. — Кен взял Бэннермена за локоть и подвел к рабочему столу. Дэви хотел было запротестовать, но его сковало оцепенение.

Кен поставил на стол большую коробку, которую они недавно перенесли сюда из студенческой лаборатории. И когда Кен, подняв крышку,

достал двенадцатидюймовую стеклянную трубку конической формы, Дэви показалось, что он взял в руки его сердце. От шейки лампы отходили лучами пять маленьких пальцев, чувствительный кончик каждого пальца переходил в тоненькую проволоку, загибавшуюся назад и соединенную с блестящим металлическим элементом внутри лампы. На каждый электрод ушло несколько недель труда. Дэви вспомнил, с какой одержимостью работали они оба. Думал ли он, что лампа впервые будет продемонстрирована в такой обстановке, как сейчас? Как это непохоже на раскрытие чудесной тайны: просто вынули, показали — и все!

Он опустил глаза на свои стиснутые руки, изо всех сил заставляя себя выждать, пока Бэннермен уйдет.

— Вот это и есть та лампа. — Кен поднял лампу, давая Бэннермену рассмотреть ее. — Плоский конец представляет собою экран, на котором появляется изображение.

Бэннермен вгляделся в лампу.

— И сколько такая штука стоит?

— Купить ее нельзя, мистер Бэннермен, — ответил Кен, а Дэви жадно прислушивался, оценивая каждое слово, готовый разразиться горьким негодованием при малейшем намеке на пошлый торг. «Кен, будь осторожнее», — умолял он про себя.

— Вряд ли во всем мире найдется тридцать таких ламп. В лабораториях эту лампу применяют для сотни различных целей, но, насколько нам известно, никто еще не додумался использовать ее так, как мы. Примерно в тысяча девятьсот девятом году у одного русского по фамилии Розинг возникла верная идея, но то было еще до появления электронных радиоламп *. Мы первые наткнулись на описание работы Розинга в журнале «Попьюлер мекэникс» лет шесть тому назад. И с тех пор мы над этим работаем.

— Значит, дело на мази. Для чего же вам деньги?

Кен покачал головой и засмеялся. Дэви бросил на него пронзительный взгляд, но смех был искренним.

— Нам еще нужно сделать лампу, которая посылала бы изображение с передающей станции, — нечто вроде электрического фотоаппарата. Эта лампа будет как бы разглядывать передаваемый предмет так, как вы читаете печатную страницу. Ваш глаз никогда не видит страницу целиком — он читает букву за буквой в горизонтальном направлении, потом строчку за строчкой сверху вниз. Это я называю разложением изображения.

Бэннермен, отдавая Кену чертежи, покрутил головой; все это уже не забавляло его, а скорее внушало почтение, но все же он опять хихикнул.

— Сказать по правде, это здорово смахивает на жульничество высшей марки. Но не может же быть, чтобы вы каждый год в июне месяце оканчивали университет и выдумывали какое-нибудь изобретение только для приманки наивных прохожих, не правда ли? Это было бы некрасиво, сами понимаете. — Он перевел зоркий взгляд с Дэви на Кена и захохотал. — Нет, это, наверно, товар настоящий. Я ни черта не смыслю в вашем деле, и вы знаете, что я не смыслю. Но похоже, что эта штуковина может оказаться тем кладом, который я разыскиваю вот уже сколько лет. Слова-то у вас подходящие, красивые слова, ничего не скажешь: анодный потенциал, — голубчики мои!.. — Он захлебнулся от восторга и тут же весело затараторил: — Приходите сегодня в цирк в половине

---

* Русский ученый профессор Петербургского технологического института Б. Л. Розинг 25 июня 1907 года получил патент на предложение использовать электроннолучевую трубку для приема изображений.

четвертого. Вот вам два пропуска. Спросите там меня. Между прочим, кто вас в городе знает?

— В том-то и беда, что здесь нас все знают, — усмехнулся Кен. — Люди не могут поверить, что те, кого они знают всю жизнь, способны сделать что-нибудь выдающееся. Впрочем, можете навести справки в университете или у Нортона Уоллиса.

— Это тот самый, который изобрел автомобиль или что-то в этом роде?

Кен улыбнулся.

— Ну, не совсем так.

Бэннермен окинул его взглядом знатока.

— Что за улыбка! Ей-богу, мальчик мой, вы меня интригуете! Вот она, Америка! Отмахать вслед за цирком пять тысяч миль и остановиться без капли горючего прямо у золотых россыпей, у потенциальных золотых россыпей!.. Господи боже мой, до чего я люблю этот мир! — пылко воскликнул Бэннермен. — Он меня интригует. Ну ладно, ребятки! Значит, сегодня увидимся. Пока!

Бэннермен торопливо выбежал. Кен и Дэви проводили его глазами, потом медленно повернулись друг к другу.

— Ну, как ты на это смотришь? — замирающим голосом благоговейно спросил Кен. Лицо его пылало.— Что я тебе говорил? Деньги свалятся с неба!

— Дурак! — тихо сказал Дэви, вновь обретя способность говорить. Глаза его блестели жестким блеском. — Что ты опять натворил? Распустил язык перед этим клоуном...

— Да обожди ты...

— Обождать? *Обождать?* А что мы, по-твоему, все это время делали? Кроме старика, мы ни одному человеку не проговорились о нашей идее. Разве в университете кто-нибудь об этом знает? Мы же решили, что ни одна душа не узнает, пока мы не найдем подходящего человека. Обождать? Черт тебя возьми! Да разве мы не ждали? А ты выбалтываешь все первому попавшемуся сукину сыну. Ты и в банке вел себя безобразно, но сейчас!.. А, чтоб тебя!.. Ты отбил у меня вкус к работе. Ты ее опошлил! Для тебя это просто средство выдвинуться. Тебе ничего не дорого, вот и все! — Дэви глубоко перевел дух. — Скажи мне только одно: как случилось, что из всех людей ты решил открыться именно ему?

— М-да, — медленно произнес Кен. Он был бледен и очень спокоен. — Я и сам не понимаю. Мы разговорились, и, уж не помню к чему, он произнес слово «оригинальный». И что-то во мне прорвалось. Наверное, я был очень расстроен из-за банка и из-за тебя, если хочешь знать. Помню, я ему сказал, что он не понимает настоящего значения этого слова. Я стал рассказывать, и он заинтересовался. И чем больше он заинтересовывался, тем больше я ему рассказывал. — Кен взглянул на Дэви и вдруг разразился хохотом. — Из-за чего мы с тобой воюем, скажи пожалуйста? Послушать тебя, так выходит самое ужасное это то, что он захочет дать нам денег. Разве это так оскорбительно? Слушай, Дэви, а ты знаешь, ведь мы с тобой сроду не бывали в цирке? А ну их всех к черту, вот что! Брось, Дэви, не огорчайся, малыш! Тебе повезло: у тебя есть старший брат, который о тебе заботится, — и сегодня твой старший брат поведет тебя в цирк!

Дэви поглядел на Кена, и на лице его медленно проступила улыбка, хотя в глазах еще стояли злые слезы. Он беспомощно покачал головой, ибо, как всегда, был полностью обезоружен.

— Мальчик мой, вы меня интригуете! — пробормотал Дэви. Голос его дрожал от отчаяния. — И это истинная правда, старый ты пес!

Он улыбался, но в глазах его затаилась глубокая, тоскливая тревога.

2

Карл Бэннермен был не менее осторожен, не менее напряженно внимателен и не менее сосредоточен, чем два молодых человека, сидевших напротив. Но если Кен и Дэви были ему абсолютно ясны, сам он прятался под маской туповато-скептического дружелюбия. Он чувствовал, что стоит у порога золотого сна, интуиция подсказывала ему: «Скажи: да, да, да!». Ему пришлось сделать над собой усилие и заглушить этот голос, чтобы расслышать то, что говорят молодые люди. Единственным признаком внутреннего смятения была необычайная молчаливость, с какой он выслушивал своих юных посетителей, ибо если одним из высших удовольствий жизни считать бурную активность, то можно сказать, что Карл Бэннермен жил в полное свое удовольствие.

Он метался по поверхности жизни от одного занятия к другому, от города к городу, от увлечения к увлечению, от женщины к женщине, от одних друзей на всю жизнь к другим друзьям — и тоже на всю жизнь, неизменно следуя порывам и никогда не оглядываясь назад.

Он не мог высидеть спокойно и пяти минут, не вскакивая с места; он не умел разговаривать, не перебивая себя и собеседника. В пятьдесят лет он был подвижен, как двадцатилетний юноша. Он неизменно верил, что не позже как через час, завернув за угол, он найдет на тротуаре миллион долларов или встретит самую прекрасную на свете женщину. Они полюбят друг друга с первого взгляда — и это будет настоящая любовь, понимаете, настоящая страсть и нежность, а не какие-нибудь там шуры-муры; так вот, значит, они полюбят друг друга и будут счастливы всю свою жизнь.

В тысяча восемьсот девяносто втором году, восемнадцати лет от роду, он добрался в отцовском фургоне до железнодорожной станции Уотертаун в штате Нью-Йорк, а оттуда перекочевал в город Итаку, где шесть месяцев прожил над водами озера Кеюка*: «Дружище, когда я слышу слово «Корнелл», у меня застревает комок в горле. Только отъявленный негодяй может забыть свою «alma mater». Шесть месяцев были минимальным испытательным сроком, а так как Бэннермен не посетил ни одной лекции, его тут же отчислили. Увязавшись за лектором из Чатаюки, он прибыл в Литл-Рок, где нашел себе работу в редакции местной газеты, которую бросил в восемьсот девяносто восьмом году, отправившись на Кубу в качестве корреспондента газеты «Сент-Луис интеллидженсер». «Да, голубчик мой, это была прелесть, а не газета. Ричард Хардинг Дэвис рыдал у меня на груди, когда она закрылась! Бедный Дик!» Он вернулся в Литл-Рок и здесь, завернув за пресловутый волшебный угол, встретил первую красавицу из серии самых прекрасных женщин на свете — Адель Рейли: «Из-за нее застрелился в Монте-Карло настоящий русский великий князь!» — акробатку из Международного цирка Уленбека и паноптикума братьев Фокс, женщину с роскошными формами, крашеными соломенными волосами, невероятной физической силой и умом мангусты. «Она готова была съесть меня живьем, но, клянусь богом, я обожал ее, даже когда она вгрызалась зубами в мое тело!» И уже в зрелом возрасте, когда Бэннермен, казалось, мог бы понять, что в те времена он был просто назойливым юнцом, надоедавшим своей любовью заурядной бабенке, которая попросту его не любила, он изображал этот эпизод как одну из великих трагедий в романтическом вкусе. Он подвизался в цирках и на карнавалах в самых разнообразных качествах, в том числе пять лет был подручным знаменитого афериста Чарли Хэнда по прозванию

---

* В городе Итака над озером Кеюка находится Корнеллский университет.

«Руки-в-брюки», который в то время держал скромный магазин боксерских перчаток: «Глубочайший философский ум, какой я когда-либо встречал, но с простаками обходился жестоко, ненавидел их за бесчестность». Бэннермен влюблялся поочередно в целую вереницу «самых прекрасных женщин на свете», бережно сохраняя воспоминание о каждом, даже постыдно неудачном, романе как о пережитой им неземной страсти. О каждой возлюбленной он с чувством говорил: «Голубчик, от взглядов, которые мы кидали друг на друга, звенели люстры на потолке! Клянусь богом, они так и тряслись!»

У него было три желания: быть богатым, как Джон Д. Рокфеллер, тратить деньги, как Брильянтовый Джим Брэди, и жить, как Эдуард VII, но пока что он не сделал ничего для осуществления хотя бы одного из этих желаний. И все же, отлично зная подоплеку жизни своего мирка, построенного на притворстве, обмане и мелком жульничестве, Бэннермен лелеял в душе возвышенно романтическую мечту о том, что если он добьется богатства, так только благородным путем. Тут должен быть *высокий класс.*

Он разглядывал через стол двух юношей из гаража, явно чувствовавших себя неловко в этой маленькой лачужке на колесах, которая служила ему кабинетом. Один из них — тот, что говорил и за себя, и за брата, — явно умен, легко приходит в азарт и только внешне прост, ибо принадлежит к числу людей, которые любят нравиться. Но и второй, смуглый паренек, тоже себе на уме. Чтобы поладить с ними, решил Бэннермен, надо подружиться с одним и воздействовать на разум другого. Оба ему нравились.

Он еще раз взглянул на Дэви и понял, что вовсе не видит его насквозь, как это показалось ему сначала.

Юноши сидели чистенькие, аккуратно одетые, немного смущенные тем, что им приходилось делать усилия, чтобы то и дело не отвлекаться. Мимо открытой двери грузно протопали семь слонов, направляясь на арену; издали доносились пронзительные и зловещие звуки настраиваемого оркестриона. Бэннермен слушал юношей с необычным для него интересом и чувством, близким к отчаянию, потому что собственная жизнь, такая бессмысленная и нечистая, с жалкими, третьесортными удовольствиями, вдруг показалась ему невероятно противной. Ему захотелось, чтобы эти мальчики оказались правы. Он желал им успеха с такою же пылкой страстностью, с какой когда-то впервые влюбился в женщину.

Но когда Бэннермен заговорил, то, несмотря на всю его порывистость, интуиция подсказала ему, что, адресуясь к Кену, он на самом деле разговаривал только с Дэви.

— Вот я сидел и слушал вас, — начал он. — Конечно, мне далеко не все ясно, но кое-что я понял, а именно: тот русский, о котором вы говорили утром, — Розинг, что ли, — он так и не смог доделать эту штуку, потому что с тех пор, как он получил патент, появилось много новых изобретений...

— Создана новая область техники — электронные лампы, — сказал Кен.

— Новая область техники — электронные лампы, — повторил Бэннермен, как бы затверживая урок. — Без которых он не мог добиться самого главного. А вся ваша система построена — на чем?

— На электронике.

— На электронике, а его система — нет. Хорошо. Но вот о чем я думаю,— перебил Бэннермен собственную лекцию.— Вы уверены, что где-нибудь там, в Европе, крупные электрические компании не нащупали эту штуковину?

— Представьте — еще не нащупали. Мы с Дэви просматриваем все научно-исследовательские журналы, какие только можем разыскать. И нигде и признака нет, что кто-то пошел по нашему пути. Все они уперлись в тупик, так как старались достичь цели механическим путем, а это можно сделать лишь посредством электроники.

— Электроники. Но все-таки мне что-то не верится.

В замешательстве Бэннермен инстинктивно повернулся к Дэви, но ответил ему Кен:

— Ну хорошо, объясните мне, почему такая крупная компания, как эдисоновская, не открыла радио в те времена, когда этим занимался один Маркони?

— Ладно, ладно. Где уж мне спорить с вами. Но я знаю одно, если у вас что-нибудь получится, то эта штука переплюнет кино и переплюнет радио; вы, ребятки, зажмете в кулак всю промышленность, поставляющую развлечения...

— Развлечения? — недоверчиво переспросил Кен и взглянул на Дэви. Тот промолчал.

«Значит, я был прав, — подумал Бэннермен. — Главный из них — Дэви».

— Конечно, развлечения, — повторил Бэннермен. — А вы как же думали?

— Но ведь мы инженеры. Пожалуй, мы представляли себе это как средство связи.

— Ерунда! — фыркнул Бэннермен. — Разве радио пустили в ход не для того, чтобы сорвать монополию кабельного телеграфа? А потом какой-то тип стал запускать танцевальные пластинки через самодельный передатчик. И посмотрите, что вышло из радио — вся страна превратилась в большой мюзик-холл. Вы, инженеры и изобретатели, никогда ничего не знаете наперед. Преподнесите людям любое новшество, и они рано или поздно ухитрятся приспособить его для развлечения. Если я скажу — «паровой двигатель», что вы прежде всего вспомните — силовую установку? Нет, пароходики для приятных экскурсий. Что вы хотите, люди — это люди, им хочется повеселиться. Посмотрите, как они ломятся в этот не бог весть какой цирк; что ни город, что ни год — одно и то же: люди просят, вымаливают хоть немного ярких красок, немного шума, немного иллюзий. Что вам, жаль, если они лишний раз повеселятся?

Кен засмеялся.

— Нам не жаль. Мы просто об этом не думали.

Бэннермен покачал головой.

— Чем бы вы ни занимались, вы должны удовлетворять главные человеческие потребности, будь то пища, любовь, развлечения или даже воровство. Да, даже воровство! И не следует об этом забывать. Я знал одного человека — так, случайное знакомство, — поторопился добавить Бэннермен; это было довольно близко к правде, и он решил, что безукоризненно честен с мальчуганами. — Этот человек сделал своей профессией потворство скрытой тяге к воровству, свойственной многим людям. Он всего-навсего намекал, что можно поживиться на чужой счет, если бы только у него были необходимые средства, чтобы завертеть дело. И было страшно, понимаете, страшно глядеть, как охотно раскошеливались так называемые честные коммерсанты, чтобы снабдить его этими средствами. И, конечно, собрав средства, тот человек смывался, и это сходило ему с рук — не мог же честный коммерсант заявить полиции: меня обворовали, пока я собирался залезть в чужой карман. А тот человек просто удовлетворял человеческую потребность. И от клиентов не было отбою — люди валили к нему со своими долларами, как они

валят в этот цирк. Угадайте тайную человеческую страсть — и вы будете купаться в золоте! Вот чем вы владеете, мальчики. Черт возьми, в вашей штуковине и слава, и богатство, и райская жизнь — все вместе!

Он увидел, как загорелись глаза Кена. «Ага, — подумал Бэннермен, — вот его слабая струнка. А что другой?» А другой смотрел на него серьезно и угрюмо.

Снова Бэннермен попытался разгадать выражение глаз Дэви и вдруг понял: в них чувствовалась такая настороженность, словно Дэви готов был сорваться с места и убить Бэннермена, если тот протянет свои грязные лапы хоть на дюйм ближе к чему-то, что было бесконечно дорого юноше. Бэннермен придержал дыхание, сознавая, что еще никогда в жизни он так не боялся сказать что-нибудь невпопад. «Слушай, мальчик, — взмолился он про себя, — клянусь тебе, для меня все это значит не меньше, чем для тебя. Я не хочу никакой дешевки. Я тоже хочу, чтоб это был высший класс!»

— Как вы считаете? — обратился к Дэви Бэннермен.

— Как Кен, так и я, — спокойно ответил Дэви и, помолчав, добавил: — Только вы еще не сообщили, каковы ваши намерения.

— Вопрос прямой и заслуживает прямого ответа, — сказал Бэннермен, стараясь выгадать время. — Я навел о вас справки, ребята. Я был у Нортона Уоллиса. Почему вы мне не сказали, что он дает тысячу долларов?

— Дело в том, мистер Бэннермен, — поспешил ответить Кен, — что наша работа должна говорить сама за себя. Мы хотим, чтобы люди поверили в *нас*, в нашу идею, а не в чьи-то деловые расчеты.

Бэннермен лукаво и одобрительно подмигнул ему.

— Иными словами, вы не знали, что он хочет вложить деньги?

Кен засмеялся.

— Вы ведь еще не сказали, каковы же ваши намерения, — напомнил он Бэннермену.

— А вы еще не сказали, сколько вам нужно.

— Пять тысяч долларов, — быстро проговорил Дэви.

Бэннермен поджал губы. «Им нужно тысячи три, а то и меньше,— подумал он. — Мальчишка просто хочет меня отпугнуть».

— Сумма большая, — медленно произнес он. — И что дадут вам эти деньги?

— Возможность восемь месяцев работать, не отрываясь, и приобрести оборудование, чтобы сделать годную для эксплуатации лампу-экран, — сказал Дэви. — Бóльшая часть денег уйдет на испытательный прибор и насосное оборудование для работ, требующих высокого вакуума. Жалованья мы возьмем себе ровно столько, сколько нужно на еду.

— Восемь месяцев — значит будущей весной. К производству, следовательно, мы сможем приступить через год, считая с нынешнего дня. Отлично, но прежде всего надо установить, стоящая ли штука эта ваша идея или нет. Сам я не могу судить. Что если я соберу несколько авторитетных специалистов, которым вы все это объясните?

Кен насторожился.

— Ладно, если только и мы призна́ем их достаточно авторитетными.

«Он сейчас смотрит на меня точь-в-точь, как его брат, — подумал Бэннермен. — Дьявольски любопытно, как работает эта парочка?»

— Что ж, — сказал Бэннермен, — в этом городе есть крупные специалисты — профессора инженерного факультета. Я по опыту знаю: любой профессор за плату согласится рассмотреть идею, касающуюся

его специальности, и дать свое авторитетное заключение. Точно так же, как адвокат или врач. Что вы скажете, если я на днях соберу нечто вроде комиссии и попрошу ее уделить вам часика два?

— Ничего не имею против, — ответил Кен. — А ты, Дэви?

— Как ты скажешь, так и будет, Кен.

— Это не годится, Дэви. Давай будем откровенны. Нехорошо обижать мистера Бэннермена.

— Дело в том, — сказал Дэви, — что если нам придется раскрыть наш замысел, то мы имеем право принять меры защиты.

— Он прав, — сказал Кен, поворачиваясь к Бэннермену. — У нас нет заявки на патент. Мы сильно рискуем, соглашаясь обнародовать свое изобретение. Единственное, чем мы можем себя защитить,— это немедленно взяться за работу. А чтобы взяться за работу, нам нужны деньги. Мистер Бэннермен, если профессора найдут наш план годным, возьметесь ли вы достать нам эти пять тысяч долларов? — И прежде чем Бэннермен успел ответить, Кен повернулся к брату. — Это тебя устраивает, Дэви?

— Как ты скажешь, так и будет, Кен.

— Это тебя устраивает? — настаивал Кен.

— Вполне, — ответил Дэви.

— Итак, мы задали вам прямой вопрос, мистер Бэннермен, — сказал Кен. — Что вы на это ответите?

— Отвечу — да. — Интуиция подсказала Бэннермену, что надо соглашаться быстрее. — Возьмусь.

Дэви встал и улыбнулся, а Кен сказал:

— Значит, договорились. Устраивайте экспертизу, мистер Бэннермен.

Бэннермен сидел неподвижно, потрясенный тем, что он сделал. Он мог бы хоть сейчас подписать чек на две тысячи долларов и остаться не только без гроша, но еще с долгом в тысячу шестьсот долларов — долгом, который следовало выплатить много месяцев назад. Но лицо Бэннермена было безмятежно спокойным. Он просто подлаживался под настроение этих мальчуганов и старался подобрать на их вызывающие вопросы такие ответы, которые заглушили бы всякие подозрения. Это тоже один из способов делать бизнес: тут надо быть не азартным игроком, не прожектером, а чем-то средним между жуликом, играющим на доверии простаков, и мессией. Впрочем, он рисковал немногим, по правде сказать, вообще ничем не рисковал, ибо если дело обернется худо, то всегда можно вызвать Чарли «Руки-в-брюки», ныне полковника Шиффера, проживающего на Палм-Бич, и они, вдвоем, мигом состряпав какую-нибудь аферу, вернут все свои деньги и даже с лихвой. Конечно, Бэннермену до смерти не хотелось бы поступать так с этими славными мальчуганами, но какого черта... «Нет, — он сердито отбросил эту мысль, недостойную его мечты о «высшем классе».— Все будет хорошо», — уверял он себя.

Но как Бэннермен ни был потрясен сделанным, он заметил, что молодые люди были потрясены не меньше. Они вышли в дверь осторожной, скованной походкой, как ходят люди, ошеломленные до крайности.

Так они шли молча несколько минут, не замечая ни шума, ни занятных сценок, ни бьющей в глаза пестроты.

— Что ты об этом думаешь, Дэви? — немного погодя спросил Кен. Голос его звучал глухо.

— Ей-богу, не знаю.

— Тебе все это не по душе. Я вижу. Давай плюнем на это, малыш, и пошлем его к черту.

— Потому что мне это не по душе?

— Но ведь так оно и есть, Дэви. Утром ты сказал, что мне наплевать на нашу работу, что я ею не дорожу. Ведь это неправда, ты же знаешь!

— Я просто был очень огорчен, Кен. Забудь об этом. Но в чем дело? Ты себя неважно чувствуешь?

— Признаться, да. Вот тут что-то.— Кен приложил руку к животу.

— Знаешь, что я тебе скажу, — медленно произнес Дэви. — По-моему, нас с тобой вовсе не Бэннермен беспокоит. Понимаешь, нам вроде бросили вызов. И мы должны не ударить лицом в грязь.

Кен обернулся.

— Ты думаешь, в этом дело? Ну, уж не знаю почему, — он глубоко вздохнул, как бы стараясь преодолеть стеснение в груди, — только мне что-то здорово не по себе.

3

Они ушли с территории цирка, ощущая грызущую тревогу, и ни молчание, ни отрывистые фразы, которыми они перебрасывались на ходу, не приносили успокоения. Им была обещана возможность осуществить свою мечту, но они не радовались — слишком уж все это было не похоже на то, чего они ожидали. Они сели в машину и бесцельно поехали по залитой предвечерними лучами солнца проселочной дороге, ожидая, что пройдет это глухое смятение и наступит ясность, но сомнение точило их попрежнему. Вдруг Кен вспомнил, что за весь день никому из них не пришло в голову позвонить Марго. Очень уж быстро развертывались события.

Они повернули назад, в город, и остановились у первого же телефона-автомата, но Марго уже ушла из магазина. Время перевалило за половину шестого. Они помчались домой, но и там Марго не оказалось.

Дэви первый увидел записку от Вики. Он прочел свое имя, написанное ее рукой, и его охватил приятный трепет, как будто Вики была тут же, за его спиной, и стоит только обернуться, чтобы ее увидеть.

— Она пишет, что нас ждут там к ужину, — сказал он Кену. — Что за чудеса! Старик никогда никого не приглашает к столу.

Дэви подошел к телефону и вызвал номер Уоллиса, держа перед собой записку, чтобы видеть почерк Вики, вызывавший в нем ощущение чудесной интимности. Вики сняла трубку прежде, чем отзвенел звонок.

— Куда же вы пропали? Ваша сестра без конца звонила сюда, все ждала, что вы объявитесь.

— Мы были в городе, — сказал Дэви. Он не вспоминал о Вики целый день, а она, оказывается, думала и беспокоилась о нем. Он ясно представил себе ее темные выразительные глаза, устремленные прямо на него, ее нетерпеливо приоткрывшиеся губы, словно она хочет перебить его не дослушав. Дэви захотелось потрогать ее волосы и убедиться, так ли мягки и шелковисты эти завитки наощупь, как кажутся с виду. — Слушайте, — продолжал он, — ваша записка... Что-нибудь случилось?

— Нет, а что?

— Это до того приятная неожиданность, понимаете. Такого еще никогда не бывало; он ведь, знаете, как жил...

— Ну, теперь он живет иначе, — засмеялась Вики. — Постойте, с вами хочет говорить ваша сестра.

В трубке послышался взволнованный голос Марго:

— Что произошло в банке? Почему вы не позвонили? И кто такой Бэннермен, который звонил сюда?

Но в глазах Дэви еще стоял образ Вики и ее устремленный на него взгляд.

— Это длинная история, — сказал он. — Мы сейчас придем.

— Только скажи, все хорошо или плохо?

— Кажется, хорошо. Мы, вероятно, получим деньги.

— И тебе только *кажется*? О, приходи скорей, оба приходите!

Нортона Уоллиса они застали на веранде одного, в напряженно неподвижной позе, как сидят слепцы; впрочем, это объяснялось не только его подслеповатостью, но и тем, что на нем был высокий крахмальный воротничок и узкий, в обтяжку, костюм из альпага, какие носили в прошлом десятилетии. Вид у старика был такой, будто ему предстояло выполнить особо важное задание. По молчанию братьев он догадался, что они поражены.

— В чем дело? — сварливо спросил Уоллис. — Неужели мне нельзя хоть раз одеться прилично? Это все ее выдумки, — проворчал он, кивнув через плечо. — С первого же дня она перевернула все в доме вверх дном: чистит, моет, выбивает пыль — бог знает что! Перерыла все шкафы и вытащила вот это. Говорит, костюм надо проветрить. — Он встал с качалки, неуклюже выпрямился и одернул на себе пиджак. — Шил на заказ в Чикаго лет десять-двенадцать назад. Как железо.

На веранду выбежала Марго, за ней — Вики. Обе были в передниках. Дэви уставился на Вики, а Кен сразу же принялся рассказывать о происшедшем. Дэви нежно поглаживал пальцами записку, лежавшую у него в кармане. Он уже представлял себе, как будет хранить ее долго-долго, а потом, как-нибудь вечером, когда они с Вики заспорят, кто из них влюбился раньше, он докажет, что первым был он, показав записку, которую хранил все это время.

— Я сказал ему, что даю тысячу долларов, — заявил Уоллис, когда Кен умолк. Старик, казалось, вглядывался куда-то вдаль, на деле же он повернул голову в сторону, потому что лучше видел, когда смотрел краешком глаза. — Но давать деньги *ему* я вовсе не намерен. Я бы дал их вам; только если вы свяжетесь с этим типом, то лучше я их придержу, пока вы с ним не порвете. Эта тысяча будет для вас вроде амортизатора.

— Дело ваше, — сказал Кен. — Но сейчас, пожалуй, рановато говорить о разрыве.

— Вы же все равно с ним порвете, — внушительно сказал Уоллис. — Это неизбежно. Даже если бы он не был Бэннерменом.

— Ведь вы сказали, что не знаете его!

— Мне и не надо его знать. Пройдет время — и вы его возненавидите, а он возненавидит вас. — Уоллис опустил голову, и голос его слегка изменился; казалось, перед стариком прошли мрачные видения прошлого, но что он видел перед собой и какой давности были эти воспоминания, оставалось только догадываться. — Безразлично, даст он вам пять тысяч долларов или пять центов. У него — деньги, у вас — идеи. Он может быть хорошим или плохим, но вы все равно передеретесь. Так бывает всегда. За всю свою жизнь я ни с кем не враждовал, кроме людей с большими деньгами, а ведь я уже давно живу на свете. — Он помолчал. — Ну да что толку сейчас говорить об этом. Если он опять появится, тогда другое дело.

— А вы думаете, он не появится? — быстро спросила Марго.

— Я давно уже перестал думать о том, что могут сделать или не сделать другие.

— А, по-моему, это чудесно, — воскликнула Вики, обращаясь к Кену. Дэви заметил это. Он обрадовался ее словам, значит они будут теперь заодно уже не втроем, а вчетвером. — Не все ли равно,— продолжала Вики, — откуда возьмутся деньги?

— Я, пожалуй, согласен с Вики, — сказал Дэви, чтобы заставить ее обернуться. Она рассеянно взглянула на него, потом улыбнулась.

Позже, вспоминая, как он обрадовался этой улыбке и каким счастливым чувствовал себя в тот вечер, Дэви внутренне корчился от стыда, ибо уже знал, что Вики тогда улыбнулась просто от неожиданности: она не замечала присутствия Дэви, пока не раздался его голос, молвший взглянуть в его сторону.

— Так или иначе,— сказала Марго,— а я хотела бы посмотреть на этого Бэннермена.

На другое утро, уходя на работу, она повторила то же самое. После всех разговоров Кен пришел к печальному выводу, что они совершили ошибку и виноват в этом он один. Во всяком случае, Бэннермен больше не придет. Дэви же считал, что придет. Часа через два после ухода Марго Бэннермен влетел в гараж и сообщил, что вскоре можно будет назначить день для их доклада. А тем временем адвокат приготовит проект соглашения, которое послужит основой для дальнейших переговоров. Бэннермен держался так, будто совещания с адвокатами и незнакомыми университетскими профессорами были для него совершенно плевым делом.

На следующий день в гараж пришло два письма. В одном Бэннермен сообщал, что ему наконец удалось составить комиссию из профессоров инженерного и физического факультетов и что эта комиссия выслушает их доклад двадцать шестого июня. Его же до тех пор не будет в городе, так как цирк переезжает в Висконсин.

Второе письмо было написано на бланке нотариуса и уведомляло их о том, что, согласно устной договоренности от двенадцатого числа сего месяца, Карл Бэннермен предложил комиссии специалистов в области электросвязи ознакомиться с изобретением братьев Мэллори. В случае, если научные принципы изобретения будут одобрены комиссией, братья Мэллори благоволят предоставить Бэннермену срок в тридцать дней для заключения договора, удовлетворяющего обе стороны. Их подпись на настоящем бланке будет означать согласие с вышесказанным.

Официальный тон письма произвел на них внушительное впечатление. И хотя письмо это в общем никого ни к чему не обязывало, за ним вставал образ хлопотливого Бэннермена, с энтузиазмом втолковывающего суть дела черствому адвокату и их прежним профессорам. Все это должно было стоить Бэннермену денег, и Дэви впервые начал верить, что слова «пять тысяч долларов» действительно превратятся в шелестящие бумажки. Кен и Дэви поставили свои подписи, отослали письмо и стали ждать, но так как теперь в них разгорелись надежды, то ожидание вскоре превратилось в пытку.

Разумеется, доклад должен был делать Кен, и они с Дэви принялись приводить в порядок свои записи. По вечерам они больше не уходили из дому, даже к Нортону Уоллису Дэви теперь забегал лишь урывками и ненадолго. С приездом Вики кончилось унылое одиночество старика, удручавшее Дэви, как запах плесени. Уоллис теперь с плохо скрытым удовольствием ворчал на перемены, которые внучка внесла в его жизнь, но искренне огорчался, когда она заговаривала о поступлении на работу в книжную лавку.

— Что еще за книжная лавка? — спросил Дэви, пришедший посидеть со стариком на веранде.— С каких это пор вы стали искать работу, Вики?

— С позавчерашнего дня. Раз уж я решила остаться на некоторое время, почему же мне не поступить на работу? Я привыкла работать.

— А, глупости все это, если хотите знать. — Уоллис перестал раскачиваться в кресле-качалке. — Какой толк, что ты живешь здесь, если я тебя совсем не буду видеть? Кроме того, я считаю, что женщины не должны работать, если, конечно, их не вынуждает необходимость. И голосовать тоже не должны, упаси боже! Если б в молодости мне сказали, что моя внучка, живущая под моим кровом, пойдет работать, я бы утопил все свои инструменты в реке. Что-то я перестал понимать эту страну. Все как-то измельчало: в политике одни пигмеи да казнокрады, куда ни погляди — дрянь, дешевка, дурацкая спешка, джазы... И вот до чего мы дошли: на прошлой неделе в Чикаго два богатых молодца зарезали третьего, просто чтобы пощекотать себе нервы! — Уоллис с отвращением сплюнул за перила.— Один газетный писака как-то сказал, что я принадлежу к числу людей, которые помогли стране стать такой, какая она есть. Но, черт меня возьми, если я знал, во что все это выльется! Одним словом, девочка, я не желаю, чтобы ты поступала на работу.

— Ведь мы уже обсуждали это, дедушка.

— Можем обсудить еще раз.

— Нет, — сказала Вики. — Это ни к чему, дедушка.

Через два дня Вики поступила в книжную лавку. Она сказала Дэви, что работа ей очень нравится, но он не решился спросить, не завела ли она новых друзей. Ему хотелось верить, что Вики будет ждать, пока он хоть немного освободится. А она спрашивала лишь о том, как идет подготовка к докладу и... не очень ли волнуется Кен.

За неделю до назначенного срока нервы Кена начали сдавать.

— Они нас засмеют, вот увидишь, засмеют! — в отчаянии воскликнул он, хлопая тетрадками по столу. — Мы сами толком не знаем, о чем говорим, Дэви. И когда я пытаюсь вдолбить тебе это, ты мне говоришь: «Посмотри рабочую тетрадь». А кто писал в этой проклятой тетради? Любое положение мы можем доказать теоретически. Но сколько бы мы ни толковали об импульсах тока и разложении изображения, все равно изображения мы не получили! На это у нас так и не хватило времени!

— Да как же мы могли его получить? Лампа ведь была готова только за десять дней до экзаменов. Но все предварительные испытания...

— К черту предварительные испытания! Важно только окончательное испытание, и именно это я и хотел бы видеть.

Дэви ничего не ответил. Ему тоже хотелось бы проверить прежние расчеты в полном спокойствии. Четыре лампы, которые они сделали за этот год, оказались неудачными, хотя каждая из них была лучше предыдущей. Если даже эта, еще не испробованная, электронная трубка не даст желаемых результатов, то в будущем будет создана другая, которая уж не подведет. Ведь в теории все абсолютно правильно. Тут Дэви подумал о лежащей на нем ответственности. Кен должен предстать перед комиссией настолько уверенным в себе, чтобы никто не посмел придраться к нему. Дэви испустил долгий вздох и медленно поднялся на ноги.

— Посмотрим, может, мне удастся сейчас провести испытание, — сказал он. — Начнем с горизонтальной развертки в пятьдесят и вертикальной в тридцать. Это займет час или около того.

Кен отпихнул от себя бумаги.

— Я управлюсь быстрее. Устанавливай лампу, а я соберу схему развертки.

На конструирование этой электронной трубки ушло столько времени, труда и хлопот, что Дэви обращался с нею, как с редкой драгоценностью. С тех пор как они принесли ее домой, он почти каждый вечер осторожно разворачивал тряпье и осматривал ее, желая убедиться, что трубка не лопнула из-за вакуума внутри нее, что в ней не образовалась трещина от какого-нибудь предательского и незаметного изъяна в спайке стекла с металлическим электродом. Трубка, над которой они работали в университетской лаборатории, по договоренности с университетом перешла в их собственность, так как они сделали ее своими руками.

Дэви вынул ее из коробки, укрепил в горизонтальном гнезде с фетровой прокладкой, осторожно присоединил клеммы к стеклянным пальцам и только тогда вытер вспотевшие от волнения руки о рубашку. Тревога за трубку заставляла Дэви беспрерывно поглядывать на нее, пока он возился с бензиновым двигателем генератора переменного тока.

Маленький двигатель закашлял у него в руках, потом прерывисто запыхтел, наполнив гараж своим бормотаньем. Кен закончил сборку схемы развертки и теперь подключил ее к осциллоскопу.

Кен редко нуждался в чертежах: он умел импровизировать сложнейшие схемы, соединяя различные элементы. Дэви следил за его работой с грустным восхищением, в котором не было и тени зависти.

Дэви затемнил помещение, захлопнув обе половинки двери. Наступившая тьма, казалось, трепетала от напряженного ожидания, как туго натянутая тетива, и это напряжение еще больше усиливалось от жужжания генератора, тянувшегося тоненькой, беспрерывной ниточкой. Кен отошел от подключенного осциллоскопа, уступая Дэви, более терпеливому, чем он, место у щитка с кнопками и переключателями.

При повороте первого переключателя в узкой шейке конической трубки появился слабый отсвет, потому что тонкая нить накалилась от тока. Накаленная нить была скрыта, спрятана внутри маленького цилиндра, похожего формой и величиной на гильзу от пули сорокапятимиллиметрового калибра.

Когда Дэви повернул второй переключатель, к гильзе бесшумно подключилось напряжение, и ее внутреннюю полость с огромной скоростью стали бомбардировать электроны, исходившие от накаленной проволочки. В конце патрона было просверлено крохотное отверстие, сквозь которое тоненькая струйка невидимых частиц под напряжением в две тысячи вольт проникала внутрь трубки. Третий переключатель создал как бы электрический канал для электронов, по которому они устремились с еще большей скоростью, — канал с наэлектризованными стенками, такими крутыми, что электрон, случайно отбившийся от общего потока, тут же отбрасывало назад, на дно канала, откуда возникал плотно сфокусированный пучок энергии.

Результат всего происходящего можно было наблюдать на плоском конце трубки, покрытом изнутри белым веществом. Здесь тоненькая струйка электронов изо всех своих микроскопических сил вонзалась в пятнышко мягкого оксида. Фокусирование электронного луча создавало крошечный флюоресцирующий зеленоватым светом диск — пятнышко света, дрожащее, слегка колеблющееся из стороны в сторону, но всегда возвращающееся к своему центру. Бледное, быстро мерцающее пятнышко казалось живым и нервно трепещущим.

— Попробуй вертикальное поле, — сказал Кен.

На щитке щелкнул четвертый переключатель. Маленький дрожащий кружок света медленно вытянулся в продольную светящуюся нить. Сейчас каждую тысячную долю секунды на пути электронного потока взды-

малась новая гора и тут же обрушивалась в каньон, глубина которого равнялась ее высоте. Эти волнообразные подъемы и опадания разбрызгивали электроны вверх и вниз по всей внутренней поверхности трубки с такой быстротой, что человеческий глаз видел только линию стремительного луча — линию, которая колебалась и дрожала, как светящаяся ниточка на легком сквозняке. И все это происходило потому, что напряжение в тысячу пятьсот вольт изменялось тысячу раз в секунду между двумя маленькими квадратными пластинками из посеребренной бронзы: одна находилась выше, а другая — ниже сфокусированного электронного луча.

Дэви отключил напряжение от вертикальной развертки и подключил его к другой паре пластин, расположенных справа и слева от луча. Белая линия на поверхности трубки снова слилась в точку, потом точка расширилась в обе стороны и превратилась в дрожащую горизонтальную линию, тоже тонкую и волнистую.

— Теперь давай развертку, — сказал Кен.

Все переключатели были повернуты вниз. И словно распахнулось окно в лунную ночь: на поверхности трубки возник большой светлый квадрат.

Дэви вгляделся в квадрат мерцающего света, затем осторожно повернул выключатель: сейчас определится, готовы они к демонстрации прибора или нет. Квадрат стал больше, но вдруг сплошной белый свет начал дробиться и превратился в клубящийся хаос. Два колебательных поля внутри трубки работали без всякой взаимосвязи, электронный луч мчался через экран с такой скоростью, что ничего нельзя было разглядеть, кроме бесконечно извивающейся полоски.

На лице Дэви, освещенном зеленоватыми отсветами, не дрогнул ни один мускул, но он ощущал болезненное разочарование Кена так же остро, как свое собственное. Оба молчали; Кен поднялся со стула, нащупал в полутьме отвертку, обернул деревянную рукоятку куском резины и осторожно дотянулся до винта конденсатора, стараясь не задеть ничего вокруг. При этом прикосновении вспыхнула яркая голубая искра. Кен подкрутил винт на четверть оборота и с такой же осторожностью убрал руку.

— Как теперь? — спросил он.

— Иди посмотри, — ответил Дэви.

Кен обошел прибор и стал за спиной брата. На экране трубки опять светился матовым лунным светом неподвижный квадрат. Дэви снова повернул ручку развертки. В лунном окошке, возникшем из хаоса, появились ряды абсолютно ровных горизонтальных черточек. Дэви еще раз повернул ручку, и черточки слились в неподвижный квадрат, как и полагалось по теории.

Трубка работает!

Широким, торжествующим жестом Дэви выключил прибор и взглянул на Кена.

— Теперь ты видишь? — мягко спросил он.

Кен поглядел на брата сверху вниз, улыбаясь одними глазами.

— Вижу.

— Значит, мы знаем, о чем говорим?

В глазах Кена мелькнула ирония: — Знаем теперь, или знали до этого?

Он отошел к столу, заваленному чертежами и бумагами, и стал что-то записывать в рабочую тетрадь.

— Те четыре трубки, что мы сделали прежде, мы с тобой считали неудачными, — сказал он, не поднимая головы. — А они вовсе не были неудачными.

— Что ты хочешь сказать? — не сразу спросил Дэви.

— То, что я сказал. С самого начала была неправильна схема синхронизации. Ту схему, которой мы сейчас пользовались, я придумал на ходу, пока собирал ее. Сейчас я ее записываю. Мы видели на экране изображение, только новая трубка тут ни при чем. Все дело в новой схеме.

Дэви молчал, задумавшись. Он вынул электронную трубку из гнезда, потом сел рядом с Кеном и покорно придвинул к себе листки с записями.

Подготовка к докладу шла своим чередом, но никто из них и словом не обмолвился о том, что означало открытие Кена: они по собственному недосмотру потратили впустую почти целый год. Они знали — такие случайности возможны, это обычный риск, к которому надо быть готовыми, но каждый из них был благодарен другому за молчание, ибо каждый чувствовал себя виноватым.

4

Для доклада отвели одну из аудиторий — комнату, в которой Дэви и Кен прослушали немало лекций. Впрочем, сейчас братья чувствовали себя здесь чужими и держались неуверенно, словно возвратились после долгого отсутствия и сомневались, что тут их узнают и вспомнят.

В университетском городке, залитом солнцем, одетом зеленой июньской листвой, царила мирная, деревенская тишина. Дэви и Кен пришли сюда, как чужие, и эти люди со знакомыми лицами имели все права вытолкнуть их прочь. Ни один экзамен не имел такого решающего значения, как предстоявший доклад.

Шесть профессоров собрались небольшой группой у окна. Одни стояли, прислонясь к подоконнику, другие, раскачиваясь на стульях, любовались университетским городком. На Кена и Дэви они посматривали довольно дружелюбно, но не без любопытства. Не так давно к ним явился какой-то незнакомец и заявил, что эти очень молодые люди могут стоить больших денег, если то, на что они претендуют, окажется правдой. И университетским представителям, очутившимся в положении сестер Золушки, не терпелось выяснить, что же такое они проглядели в своих бывших студентах.

Последними явились Бэннермен и адвокат Стюарт. Полагаясь во всем на представителей университета, они были в отличном настроении и пока что не держали ничьей стороны: ни братьев Мэллори, ни их оппонентов.

Сейчас все зависело от того, какая чаша весов перетянет. Дэви остро чувствовал свое одиночество и знал, что у Кена тоже напряжены все нервы. Стюарт, человек лет пятидесяти пяти, раскрыл на столе свой портфель и вынул пачку напечатанных на машинке листков.

— Прежде чем начать, — сказал он и этими неофициальными словами открыл заседание, — я хочу предложить вашему вниманию докладную записку, которую вчера утром продиктовали мне Кеннет и Дэвид Мэллори. Это изложение основных принципов их изобретения, с которым вы познакомитесь через несколько минут. Справедливость требует оградить изобретателей от всякого риска. Поэтому после доклада пусть каждый из вас соблаговолит поставить свою подпись под нижеследующим документом. Содержание его таково: «Мы, нижеподписавшиеся, присутствовали двадцать шестого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года на докладе о вышеуказанном изобретении». Вот все, что вас просят подписать. Ни одобрения, ни неодобрения от вас не требуется. Вы просто выслушаете доклад. Этот документ является изложением сущности

их изобретения и после подписания будет храниться у братьев Мэллори в качестве гарантии от случайностей в будущем.

— Каких случайностей? — сухо спросил Бизли.

— Любых могущих воспоследовать действий с целью получения патента, — спокойно ответил Стюарт, не желая замечать враждебности в тоне Бизли. — Документ послужит доказательством, что в указанное время Кеннет и Дэвид Мэллори уже работали в данной области. В будущем такое доказательство может оказаться чрезвычайно важным.

— А какие обязательства по отношению к ним это налагает на нас? — опять спросил Бизли.

— Решительно никаких. Разрешите пояснить. Моим клиентом является мистер Бэннермен, а не братья Мэллори. Если любой из вас уже проделал подобную работу в этой области и может доказать свой приоритет, тогда этот документ лишь установит самостоятельность вашей работы. Если же кто-либо из вас, заинтересовавшись услышанным докладом, захочет провести подобную работу в будущем, этот документ будет свидетельствовать о том, что ваша работа не предвосхитила всего изложенного в сегодняшнем докладе.

— Значит, каждый из нас может получить копию докладной записки?

— Я велю моему секретарю разослать копии всем присутствующим.

В разговор вмешался Бэннермен. Сейчас он уже нервничал не меньше, чем Кен и Дэви.

— Погодите-ка минутку. Я ведь только хочу, чтоб никто не остался в обиде — ни вы, ни я, ни мальчики. Это условие составлено для того, чтобы у всех была чиста совесть, а кто не согласен — может уйти. Я все равно уплачу, как договорились. Есть желающие уйти? — Никто не пошевельнулся. Бэннермен взглянул на братьев. — Ну, тогда начинайте.

Кен встал и вышел к доске. Его светлые волосы были тщательно приглажены. Лицо сильно побледнело. Он казался спокойным, почти вызывающе уверенным, но Дэви видел нервно бьющуюся жилку у него на шее, и ему захотелось отвести глаза в сторону.

Кен развернул скатанные в трубку бумаги, чуть повлажневшие в его руках, долго смотрел на первую страницу и наконец с отчаянной решимостью поднял голову и взглянул на слушателей.

— У меня большое искушение начать сразу с технических принципов, без всякого вступления. — Кен старался совладать со своим голосом и потому первые слова произнес сурово, почти басом. Затем ему удалось улыбнуться. — Это потому, что все вы были нашими учителями. Естественно, нам с Дэви представляется, что вы все это уже знаете — и, быть может, лучше, чем мы. Ведь преподавателям полагается знать больше, чем ученикам. Тем не менее мы вот уже сколько времени просматриваем все научные журналы в университетской библиотеке и нигде не нашли и намека на то, что кто-то работает в этом направлении. Мы абсолютно уверены, что наш метод еще никому не известен. И раз уж он не известен «Дженерал электрик», раз он не известен в лабораториях компании «Белл», то не обижайтесь, если я буду вести себя так, будто он не известен и вам.

Некоторые улыбнулись. Пока что никто не выказывал открытой враждебности. Профессора приготовились слушать дальше.

— Не касаясь промышленной, финансовой и других сторон дела, я хочу рассказать о сущности нашей идеи, о том, чего мы добиваемся,— продолжал Кен.— Мы хотим передавать изображение подобно тому, как радио мгновенно передает звук. Радио превращает звуковые колебания в электромагнитное излучение, которое в приемнике снова превращается в звук. Мы хотим описать вам способ, с помощью которого можно про-

делать то же со световыми лучами. У нас приемником будет служить прибор, который дает последовательные изображения непрерывных движений в тот же момент, когда эти движения совершаются за тысячу миль от нас.

— Такой прибор уже существует, хотя находится еще в экспериментальной стадии, — вставил Бизли. — Вам это, безусловно, известно.

Реплика была неожиданной, и Дэви испугался, что Кен собьется, но тот только кивнул головой. И Дэви вдруг почувствовал, что в Кене появилась какая-то новая уверенность, свидетельствовавшая о том, что он уже не мальчишка.

— Совершенно верно, — ответил Кен. — Но метод, на который вы ссылаетесь, неверен и никогда не даст желаемых результатов. Он основан на механическом вращении дисков и зеркал. Получаемое изображение нельзя даже сравнить с газетными клише, переданными по фототелеграфу. Наш способ лучше и гораздо проще по своему принципу. Собственно говоря, он является единственным приемлемым способом, потому что всецело основан на электронике. Подвижных частей у нас не будет совсем.

— Даже в передатчике? — спросил профессор Латроп.

— Нигде. Разрешите мне начать с самого начала — с передатчика. Скажите, нужно ли мне говорить об основах разложения изображений?

— Делайте так, как вы решили, Кен, — сказал Латроп. — Можно с удовольствием выслушать даже то, что уже известно, если это будет изложено в интересной форме. Продолжайте.

Кен улыбнулся.

— Ну, я думаю, можно не говорить о принципе, на котором построен процесс разложения изображений. Это более или менее знакомо всем. Вопрос в том, как разлагать. По способу, о котором упомянул профессор Бизли, изображение предмета воспринимается так, будто вы рассматриваете огромную картину при помощи маленького фонарика. Луч фонарика очень быстро скользит взад и вперед по картине и позволяет видеть лишь одну деталь в данный момент. Фотоэлемент превращает отраженный свет в электрические колебания, которые затем могут быть переданы на расстояние. На другом конце эти колебания, конечно, должны воссоздать первоначальную картину. Беда только в том, что никогда не удается перемещать луч взад и вперед с такой быстротой, чтобы передать все движущиеся детали передаваемого объекта, если он находится в непрерывном движении. И эта беда оказалась роковой.

Мы обошли это препятствие, ибо электронный луч можно заставить колебаться в вакуумной лампе взад и вперед, вверх и вниз. Этого можно добиться при помощи полей высокой частоты. Вчера мы разложили изображение немодулированного электронного луча в десять раз быстрее, чем это может сделать любая механическая система. Без всяких затруднений мы можем увеличить эту скорость в пятьдесят или сто раз.

— Но как вы разлагаете изображение в вашей системе? — спросил Латроп.

— Мы намерены использовать пространственный заряд, — сказал Кен.

Он повернулся к доске и написал вывод Лангмюра из уравнения Ричардсона для распределения тока между двумя плоско параллельными электродами.

— Будем считать эти два электрода фотоэлементами. Коллектором будет рамка из проволоки, переплетенной наподобие открытой сетки. Через нее проходит свет и падает на внутренний электрод — анод, тончайшую проволочную сетку. Сторона сетки, обращенная к источнику

света, покрыта светочувствительным веществом. Передаваемый предмет светит на сетку, которая испускает электроны в направлении коллектора.

Мы намерены разлагать изображение задней стороны сетки. Наш электронный луч будет иметь нулевую скорость как раз у сетки. Там, где фототок мал, множество электронов из бегающего луча проникнет через сетку, чтобы удовлетворить условиям насыщения. Там же, где ток сильнее, только небольшое количество электронов отделится от луча. Вот в основном и вся наша теория.

Кен умолк, и наступило тягостное молчание. Сердце Дэви заколотилось. Он застыл на стуле, не сводя напряженного взгляда с бледного лица Кена. В аудиторию, как в нежилой дом, вливались звуки и запахи летнего утра. Дэви вдруг мучительно захотелось снова стать пятнадцатилетним мальчишкой и учиться на первом курсе, где ему никогда не приходилось переживать таких жутких, полных решающего значения минут, как сейчас.

Долгую паузу нарушил чей-то голос, явно дружелюбный голос, который до тех пор молчал:

— Будьте добры, повторите все это еще раз. И, если можно, с чертежами и цифрами. Меня интересует вопрос о частотах, применяемых при разложении изображения.

Дэви услышал, как за его спиной пробежал легкий шорох: слушатели зашевелились, задышали громче, очевидно, усаживаясь поудобнее. Никто не выказывал ни недовольства, ни одобрения, но братья Мэллори вдруг перестали быть центром внимания. Слушатели интересовались уже не ими, а идеей; идеи же временами могут жить независимо от людей.

Дэви чувствовал себя так, будто они с Кеном, возглавляя длинную процессию, вышли на площадь, окруженную безмолвной стотысячной толпой, и теперь, показавшись ей, могут выйти из строя, присоединиться к зрителям и с безмятежным любопытством смотреть вместе с ними на продолжающееся шествие.

В первый раз с той минуты, как начался доклад, Кен взглянул на Дэви, и они обменялись незаметными улыбками. Им уже не было страшно, ибо долго скрываемая тайна наконец была обнародована и ее никто не высмеял. Молния не поразила их за дерзость, когда они заявили, что первые нашли решение проблемы, над которой тщетно бились крупнейшие ученые. То, что лежало в папке, тоже наконец будет показано людям, и жизнь вдруг стала не только легче, но и бесконечно интереснее.

Дэви поставил свой стул боком, чтобы видеть слушателей и чтобы было удобнее отвечать на вопросы, которые могут задать и ему. Резкий скрежет отодвигаемого стула не смутил его ничуть. Ему важно было сесть так, чтобы быть всецело в распоряжении брата.

5

Когда Кен был мальчишкой, его стоило только подзадорить, чтобы он принял любой вызов; в душе он считал бы себя опозоренным, если бы ему пришлось отказаться. В те времена он с затаенным ужасом взлетал по лестницам башни и останавливался на самой вершине лишь для того, чтобы в отчаянии оглянуться назад, а затем, очертя голову, мчался свершать очередной мальчишеский подвиг. Вызов бросался мгновенно, и с такой же быстротой Кен делал то, к чему его подстрекали.

Теперь, когда он стал взрослым, когда перед ним открылась карьера изобретателя, эти тайные муки усилились во много раз. С тех пор как Бэннермен бросил ему вызов, он уже не бежал, а тащился по узким лестницам башни почти две недели, медленно взбираясь со ступеньки

на ступеньку. Пересматривая рабочие записи, Кен с трудом преодолевал каждый дюйм пути, наконец собрал всю свою волю в кулак и остановился, слушая, как враг ломится в последнюю дверь башни. И когда дверь подалась и он увидел знакомые профессорские лица, пригвоздившие его к доске своими испытующими взглядами, уже не оставалось делать ничего иного, как ринуться вниз. Но на этот раз произошло чудо. Он не упал — он полетел, паря в воздухе и ломая острия каверзных вопросов, которые бросали в него, как копья. Какое наслаждение чувствовать себя таким свободным, таким уверенным! Кен вдыхал не воздух, а чистую радость.

Радость не покидала его весь день, до самого вечера. Она проникала через кровь в сердце, в мускулы, в волосы, разлетавшиеся вокруг лба, когда машина Бэннермена мчала виновников торжества за город. Радость сияла в его глазах, тонким ароматом забиралась в ноздри, наполняла рот особым вкусом, от чего ему хотелось закинуть голову и смеяться, смеяться без конца. Он прищурил глаза и словно сквозь туман различал васильки, росшие вдоль дороги, синие, как глаза целой толпы улыбающихся девушек, которые выстроились вдоль пути, чтобы приветствовать победителя.

Целых пять часов Кен почти без всякой помощи Дэви рассказывал об изобретении. И наконец профессор Нортроп, неофициальный председатель комиссии, сказал: — Насколько я понимаю, никто из присутствующих не возражает против правильности этого метода. Что ж, мистер Бэннермен, молодые люди доказали, что знают о данном предмете больше, чем кто-либо из нас. Это они эксперты, а не мы!

Старый профессор говорил вполголоса, но Кену его слова показались громом победных труб, возвещающих, что Кен остался Кеном.

Кен открыл глаза. Марго и Бэннермен о чем-то болтали на переднем сиденье, но их слова и смех уносило из машины ветром. Вики и Дэви, сидевшие рядом, тоже разговаривали; Кен прервал их беседу:

— Ну, Дэви, скажи честно, как ты себя сейчас чувствуешь?

Дэви рассмеялся. — Так же, как и ты.

— Я — как победитель великанов, — пробормотал Кен и покачал головой. — Никогда со мной такого еще не бывало! Никогда! Дэви, ей-богу, я сидел на белой лошади. И на моей шляпе развевались перья, черт возьми! Я был... как называл себя Айвенго? Кто помнит?

Кен ощущал тепло тела сидевшей рядом Вики. Она повернулась к нему, ветер откинул назад и растрепал ее каштановые локоны. Взгляд ее стал острым и проницательным, словно она жадно ловила каждый оттенок чувства в словах Кена.

— Кажется, Дездичадо? — спросила она. — Помню, когда мы на улице играли в войну, это был наш боевой клич.

— Это значит «Лишенный наследства», — заметил Дэви.

— О, мне все равно, что это значит, — мечтательно сказал Кен, откидываясь на спинку сиденья и прикрыв глаза. Но он чувствовал на себе взгляд Вики. — Мне важно, как это звучит.

— Да, я понимаю, — сказала Вики. — Как далекий гром!

Кен открыл глаза и взглянул на нее. Вики отвернулась.

— Вот, значит, какой вы были в детстве.

— Да. А какой, собственно?

— Ну, водились с мальчишками. И вы были прелестны, как картинка?

— Нет, — улыбнулась Вики, — я не была прелестной. Я была смешной.

Кен, откинувшись на спинку сиденья, почти касался головой ее

плеча. Ему пришло в голову, что он до сих пор не разглядел ее по-настоящему.

— Ну, это вряд ли, вы ведь слишком хорошенькая. Хотя... — он задумался, ощущая ленивое желание поддразнить ее, — вы могли быть смешной. Косички у вас торчали в разные стороны?

— Да. — Вики смотрела прямо перед собой. Ее забавлял этот разговор, но говорила она тихо, чтобы слышал только Кен.

— Веснушки были?

— Всего несколько штук.

— Вы были рады, что вы — девочка?

— Иногда.

— Но вам хотелось быть хорошенькой.

— С чего вы взяли?

— А что, разве вам хотелось быть уродом?

— Конечно, нет. — Вики засмеялась.

— Вот то-то. Вы, безусловно, хотели быть хорошенькой. — И вдруг Кен заговорил другим, уже не ленивым тоном: — Вики, какой день у вас был лучшим в жизни? Самым лучшим, самым счастливым и чудесным?

Он увидел, как порозовели ее щеки. Вики наконец повернула к нему голову: ему давно уже хотелось, чтобы она сделала это. Лицо ее оказалось совсем близко. «Можно поцеловать», — подумал Кен. Она смотрела на него неожиданно откровенным и смелым взглядом, и в нем вдруг шевельнулось любопытство.

— Сказать вам честно? Это был день, когда я впервые убедилась, что я — девушка.

— А как вы узнали?

— Я опустила глаза вниз... — Ее темные зрачки все еще смотрели на него в упор, и Кен мгновенно понял, что девушка сейчас может сказать нечто такое, от чего ей будет мучительно стыдно всю жизнь, но она готова принести ему в дар что-то самое заветное, быть может интимное признание, которого от нее еще не слышал никто. Кен понял все это и ждал, не спуская с нее взгляда. — Я просто опустила глаза вниз... — тихо повторила Вики. — Вот и все.

У Кена на секунду перехватило дыхание, так поразила и тронула его эта откровенность и то, что Вики сейчас же раскаялась в ней: глаза ее стали виноватыми и молили его забыть, притвориться, будто он ничего не слышал. «А ведь легко сделать так, что она в меня влюбится,— с удивлением подумал Кен. — Нет, — тут же отогнал он эту мысль, — мне сейчас не до того».

— Нет, я спрашиваю про такой день, когда вы бы поняли, что ваш труд не пропал зря, — сказал Кен, давая ей возможность взять обратно предлагаемый дар и делая вид, будто не понимает его ценности.

Большие глаза Вики стали бездонными. Она смотрела на него, не обращая внимания на ветер, трепавший ее волосы, потом отвернулась.

— Такого дня у меня не было, — сказала она.—За всю свою жизнь я не сделала ничего значительного.

Кен положил голову на спинку сиденья, а через секунду переложил ее на плечо Вики. Он смотрел мимо ее профиля на сумеречные облака.

— Ничего, такой день придет, и вам покажется, что вы парите там, вверху, вот над тем облаком, что похоже на рукоятку меча.

— Меча? — Вики взглянула на небо. — Говорят, по тому, что человек видит в облаках, можно определить его характер.

— Правда? Положите сюда руку, а то ужасно трясет.— Кен взял ее руку, положил себе на плечи и как бы заставил Вики слегка обнять себя. Он отлично сознавал, что делает, но уверял себя, что вовсе не изменяет своему решению. «Ерунда, мы же просто дурачимся», — думал

он. — Ну, давайте. Я вижу рукоятку меча. Какой же у меня характер?

— Не знаю, — засмеялась Вики и отняла сначала пальцы, потом высвободила руку из-под его головы.

Услышав их приглушенные голоса, Дэви полуобернулся. Он прищурился от ветра, но могло показаться, что глаза его сузились от того, что он увидел. Наконец он сказал: — Один специалист по психологии говорил мне, что если долго смотреть на листок, закапанный чернильными кляксами...

Кен молчал и сидел не шевелясь. Он чувствовал, что и Вики нетерпеливо ждет, чтобы Дэви закончил этот странно натянутый рассказ. Кен был огорчен тем, что она убрала руку, хотя не протестовала против того, что голова его все еще лежит на ее плече. Хоть бы Дэви поскорее кончил эту чертову лекцию. И говорит он как-то неестественно. Что это у малыша с голосом?

— Ветер бьет мне прямо в шею, — тихо сказал Кен Вики.

— Может, остановиться и поднять верх?

— Нет, просто подложите мне под голову руку.

— Поднятый верх гораздо лучше защитит вас от ветра.

— Вам, значит, все равно, если я заболею воспалением легких.

Вики засмеялась.

— Мне не будет все равно, — сказала она, — но сначала заболейте.

Кен помолчал, потом вкрадчиво сказал:

— И это будет ваш второй лучший день в жизни? — Вики вздрогнула, как от удара, и быстро обернулась. Щеки ее пылали, широко раскрытые глаза смотрели беспомощно.

— Думаете, я когда-нибудь забуду то, что вы мне сказали, Вики?— продолжал Кен почти шепотом. — Я ведь знаю, что вы чувствовали, когда сказали мне это, и почему вы сказали, и что это значит. Вы никому и никогда еще этого не говорили и никогда не думали, что скажете мне.

— Да, — прошептала она, не отводя от него взгляда. — Никогда не думала.

— Но все-таки сказали?

— Да.

— И я этого никогда не забуду... — Он глядел прямо ей в глаза, такие выразительные, влажные от ветра... — Никогда в жизни, — сказал он, на этот раз совершенно искренне. — Ведь это было так, словно вы поцеловали меня.

— Не надо так, сразу... — прерывисто проговорила Вики. — Это нехорошо...

— У нас впереди еще целый вечер, — шепнул Кен, и она позволила ему взять свою руку; между ними вдруг возникло теплое ощущение близости, хотя им больше нечего было сказать друг другу. А Дэви тоже молчал, глядя куда-то вдаль.

И так же молча Кен и Вики танцевали, жгуче ощущая каждое прикосновение друг к другу. Им казалось, что они совсем одни: музыка румынского оркестра окутывала их, как облако, разноголосый шум загородного кафе долетал словно откуда-то издалека. Иногда, присаживаясь за столик, они замечали Бэннермена и Марго, которые болтали, перекидываясь добродушными шутками, и бледное лицо Дэви, рассеянно прислушивавшегося к их болтовне. «Дэви выглядит плохо», — подумал Кен и сделал ему знак не налегать на вино, но Дэви притворился, будто не видит.

— Трагедия в том, что вы, дети мои, вырастете так и не зная, что

такое настоящая выпивка, — разглагольствовал Бэннермен. — Это такой же рейнвейн, как я — индийская принцесса. А если эта бурда — пиво, тогда я сестра-близняшка индийской принцессы. Но черт с ним, я рад, что вы, мои мальчики, разбогатеете молодыми и еще сможете насладиться богатством, а вместе с вами и я стану молодым и богатым! — Он подчеркнул эти слова, стукнув кулаком по деревянному столу. — Да, сэры! Когда мы решили устроить этот маленький праздник, я, откровенно говоря, немного стеснялся: ну что, думаю, тебе, старому сычу, делать в компании пары девчонок да пары университетских хлыщей! Но сейчас, как погляжу на вас четверых за этим столом, мне кажется, будто я смотрюсь в зеркало. Пусть это немножко сентиментально, но, ей-богу, я молод душой, toujours gai *, как говорится. Идемте танцевать, — обратился он к Марго, — я вам покажу, до чего я еще молод. Сейчас как начну вертеть ногами, только держись!

Марго засмеялась и встала. Лицо ее раскраснелось. «Какая она сегодня хорошенькая», — подумал Кен. Он гордился сестрой: она так мило выглядела и так славно держалась с Бэннерменом. Марго всегда умела сразу попадать в нужный тон, безошибочно угадывая настроение собеседника. Вики, кажется, тоже не лишена этой способности. Кен обернулся к Вики; сейчас, когда он не обнимал ее, в руках его появилось ощущение пустоты. Взгляды их встретились, и Кен обрадовался, увидев в ее глазах отражение того, что чувствовал он сам.

Лицо у Дэви было бледное и напряженное.

— Как ты себя чувствуешь, малыш? — спросил Кен.

— Прекрасно, — кратко ответил Дэви.

— Вы не хотите потанцевать, Дэви? — спросила Вики.

При звуке ее голоса он смутился, не зная, надо ли ему смотреть ей в лицо.

— Вам сегодня весело, правда?

— Необыкновенно! Точь-в-точь, как вы обещали, когда уговаривали меня остаться. Знаете, как вы были милы со мной в тот первый день!

— Это звучит, как прощанье, — медленно сказал Дэви.

— Совсем наоборот. Я не собираюсь уезжать.

Голос Дэви стал почти дерзким.

— Я говорю о другом прощанье. Идите лучше оба танцевать. А то на площадке не будет места.

Кен отодвинул свой стул, Вики тоже встала и приподняла руки, словно раскрывая объятия.

На обратном пути Дэви сел впереди с Бэннерменом и Марго — он наотрез, почти со злостью отказался от приглашения Вики сесть рядом с нею и Кеном. Кен и Вики остались на заднем сиденье одни в теплой ночной темноте. Кен обвил рукой плечи Вики, а она прижалась к нему. Как только машина тронулась, Кен нагнулся и поцеловал Вики в губы.

Сидевшие впереди находились как бы на другой планете, путь которой случайно совпал с путем Кена и Вики; голоса их казались такими далекими, а обрывки разговора доносились как будто через огромное пространство.

— Самое главное, — деловито говорил Бэннермен, — чтобы вы, ребятки, начали как можно скорее. Завтра же возьмите тысячу долларов — и за дело! Боже мой, да через полгода Американская радиокорпорация собьет нас с ног золотым дождем, я уж знаю!

— Прежде всего, — слова Дэви долетали до сидящих сзади, как клочья изорванного флага,— мы с Кеном решили вот что: мы не желаем продавать свой патент кому бы то ни было, даже Американской радио-

---

* Tujours gai — вечный весельчак *(франц.)*.

корпорации. Мы знаем, что из этого получается: продать — значит сойти на нет.

— А будете долго колебаться, так и помрете старой девой. Кругленький миллиончик вас устроит?

— По миллиону каждому? — серьезно спросила Марго.

Бэннермен захохотал, но тут Кен почувствовал, что щека Вики прижалась к его щеке, и все остальное перестало для него существовать.

Когда машина остановилась у гаража, все вышли усталые, словно оглушенные. Кен и Вики смотрели вокруг себя расширенными, непонимающими глазами, как будто они еще не совсем проснулись. Бэннермен пробормотал что-то насчет завтрашней встречи в конторе Стюарта, затем Кен вместе с Вики пошли к холму.

Дэви смотрел вслед брату и Вики; они шли, держась за руки. Прежде чем они успели скрыться за поворотом тропинки, Кен обвил рукой плечи девушки, а она склонила голову ему на плечо. Они снова погрузились в чудесный сон и даже не оглянулись, не поинтересовались, что происходит с Дэви. Через секунду Дэви заметил Марго, которая ждала его в дверях и ласково улыбалась, все видя и все понимая. Дэви прошел мимо, отведя глаза и не приняв протянутой руки. Он не желал сочувствия, ибо не хотел признаться и себе самому, как болит эта свежая рана, и старался сделать вид, будто никакой раны нет вовсе.

— Очень красивая пара, — сказал он.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Августовская жара давала себя знать даже в затемненном гараже — Дэви весь взмок. Он брал маленькие спиральки из медной проволоки за расплющенный кончик и осторожно опускал их одну за другой в ванночку с бурой дымящейся едкой кислотой. На поверхности вскипали пузырьки, и тусклый металл начинал отливать золотисто-красным блеском. Руки у Дэви были потные, и каждый раз, когда он вынимал спираль из ванночки, кислота, легко проникая сквозь влагу, обжигала кожу на пальцах. Дэви почти не чувствовал боли, но кончики его пальцев стали коричневыми, будто их смазали иодом.

Дэви ополоснул последнюю спиральку под струей воды, со свистом бившей из большого крана, и пошел проверить, накалились ли паяльники. И вдруг он почувствовал, что изнемогает от жары, от жжения в кончиках пальцев, от медленного пламени бунзеновской горелки. В нем накипало раздражение, потому что стрелки часов приближались к половине четвертого, а это было время, когда силы его иссякали.

Но если среди дня все становилось постылым, то по утрам вместе со свежим прохладным воздухом в мастерскую снова вливались бодрость и надежды. Только что прибывшие картонные коробки и ящики с оборудованием были похожи на рождественские подарки. Оптимизм насыщал утренний воздух вместе с запахами жимолости, клевера и свежескошенного сена, вчерашние неудачи начисто забывались. Каждый наступающий день обещал быть тем днем, о котором Дэви и Кен много времени спустя скажут: «Вот когда мы по-настоящему двинулись вперед!»

В начале каждого рабочего дня Дэви мог яснее всего оценить для себя результаты чуть заметно подвигавшейся работы. Страстное стремление превратить аморфное «ничто» в сложнейшее материальное явление постепенно воплощалось в реальность. И каждый день Дэви

испытывал почти чувственное удовольствие, убеждаясь, что его гибкие пальцы становятся все более чуткими и разумными.

В эти блаженные минуты раннего утра руки тосковали по знакомому ощущению тяжести гаечного ключа, упругой силы паяльной лампы, округлой гладкости проводов составленной вчера схемы. Потом начинался коловорот рабочего дня: утренняя ясность постепенно таяла, исчезало ощущение времени, исчезало все, кроме бесконечной вереницы мелких проблем, требующих неотложного решения. Но время шло, и малопомалу внимание рассеивалось, потребность в передышке становилась все настойчивее, и Дэви взглядывал на часы. Он никогда не ошибался. Стрелки показывали половину четвертого.

Он оглядывался на Кена, но Кен обычно бывал всецело поглощен созерцанием гудящей в его руках паяльной лампы —в пламени ее вращался зародыш электронной трубки. Защитные очки придавали лицу Кена бесстрастную неподвижность; он никогда не прерывал работы, пока ровно в три тридцать не раздавался телефонный звонок. Телефон трезвонил раз, другой, третий — Кен тем временем не спеша ставил паяльную лампу, сдвигал на лоб темные очки и вытирал руки о майку, заправленную в бумажные брюки защитного цвета. И только приложив трубку к уху, он наконец улыбался и говорил: — Привет, Вики!

При первом же звонке Дэви должен был либо выйти наружу покурить, либо как-то заглушить голос брата, пока не кончится этот разговор. И с этой минуты день катился под гору, как лавина; Дэви погружался в беспросветное уныние, которое становилось еще горше оттого, что он упорно отказывался даже самому себе назвать причину своей тоски.

В середине дня и работа начинала приводить его в отчаяние — он испытывал чувства, прямо противоположные обычному утреннему настроению. Его и Кена донимали тысячи непредвиденных трудностей. Когда они работали в университетской лаборатории, для преодоления таких препятствий требовалось только время и терпение. Сейчас же они трудились над своим собственным изобретением, и, кроме времени и терпения, требовались еще и деньги. До сих пор Кен и Дэви фактически не получали никакого жалованья. Все отпущенные им деньги ушли на необходимое оборудование. Первую тысячу долларов они истратили за три недели, от второй осталось меньше половины. Дэви с ужасом думал о том, что они сильно недооценили стоимость своих экспериментов, но пока что помалкивал. Он не знал, как отнесется к этому Кен.

И вот, как всегда в середине дня, наступил момент, когда у Дэви появилось ощущение, что над ними мрачной тенью нависла неминуемая катастрофа. «Надо выйти на воздух,—сказал он себе,— и выкурить сигарету». Он взглянул на часы — было двадцать пять минут четвертого.

Он вытер руки о штаны, но не успел повернуться к открытой настежь двери амбара, как Кен неожиданно потушил паяльную лампу и, сдвинув очки почти на макушку, отер рукой пот с лица.

— Мы все делаем неправильно, Дэви. По крайней мере я. — Голос его был спокоен, но Дэви почувствовал, что Кен в отчаянии. — Второй раз я просверливаю трубку и заранее тебе говорю — опять ничего не выйдет.

— Разве она лопнула?

— Нет еще, но лопнет. Она, проклятая, деформируется. — Кен безнадежно развел руками. — У меня нет ни малейшего желания делать ее, потому что я не очень-то в нее верю. Откуда мы знаем, что расстояние между электродами правильное? Ни черта мы не знаем! И не говори, что мы все рассчитали. Никакие расчеты не помешают этой трубке разлететься на куски.

Через пять минут хозяин Вики, мистер Зейц, пойдет вздремнуть в заднюю комнатку, предоставив лавку и телефон в распоряжение Вики. Через семь минут зазвонит телефон, но с таким же успехом он мог зазвонить и через тысячу лет, ибо Кен, повидимому, вовсе не сгорал от нетерпения.

— Там еще осталось пиво, — сказал Дэви. — По бутылке нам с тобой найдется. Давай-ка сделаем перерыв. А потом все обсудим.

Сидя на табуретках у рабочего стола Дэви, они пили пиво и молчали. И в задумчивой тишине оба услышали легкое «дзинь», словно кто-то в пустом зале тронул самую тонкую струну арфы. Дэви взглянул на Кена; тот не пошевелился. Только лицо его стало еще грустнее. И снова в еще не законченной электронной трубке легонько зазвенела струна, возвещая о катастрофе. Кен уставился на бутылку с пивом, потом рывком поднес ее ко рту. Дэви, не сводя глаз с брата, поставил свою бутылку на стол и в третий раз услышал нежный звон. И тотчас же, словно чтобы не мучить их больше, раздался противный, глухой треск. Конец. Тонкое бледное лицо Кена казалось изможденным; он поднял бутылку и чокнулся ею с бутылкой Дэви.

— Выпьем за то, что будет впереди, — сказал он. — Ну как, начинать все сначала?

— Нет, — неохотно ответил Дэви. — Мы слишком торопимся. Вместо того, чтобы биться над такой сложной трубкой, нам сперва надо было сделать пробную модель попроще — фотоэлемент с постоянным электронным лучом, скользящим по тыльной стороне сетки. Мы запишем световые характеристики фотоэлемента и отраженного луча. И если между ними действительно есть какое-либо соотношение, то мы можем постепенно, шаг за шагом, дойти и до нашей теперешней трубки.

— Разумно, — подумав, согласился Кен. — Почему же ты до сих пор молчал?

— Должно быть, я вопреки всему надеялся,— ответил Дэви.— А как подумать, сколько мы ухлопали денег...

— Черт с ними. Деньги ушли на дело.

Дэви бросил на брата быстрый взгляд.

— Ты в самом деле не жалеешь о деньгах, Кен?

— Ну конечно, зачем ты спрашиваешь?

— Я просто хотел убедиться, что мы с тобой думаем одинаково. Мне тоже наплевать на деньги. Для меня процесс работы и есть самоцель. Я ведь думал, что ты беспокоишься о деньгах, потому и спросил.

— Ясно, беспокоюсь. Но потратили мы их правильно. И только по этой причине ты даже не заикнулся о более простой лампе?

— Нет, еще из-за времени. Работа, возможно, займет много месяцев — больше, чем мы рассчитывали.

— А куда нам спешить?

— Ну, я думал, ты и Вики... — Дэви запнулся.

— При чем тут я и Вики?

— Я ведь не знаю — у вас могут быть свои планы.

Кен нахмурился.— Какие еще планы? Слушай, Дэви...

Зазвонил телефон, но Кен не тронулся с места. Ему еще многое хотелось сказать, но резкие, дребезжащие звонки настойчиво звали его к аппарату. Кен неохотно поднялся и взял трубку.

Дэви вышел в открытую дверь.

Жаркое послеполуденное солнце накалило булыжную мостовую. Трамвайные рельсы блестели, как прямые застывшие ручейки. Листья на деревьях не шевелились, даже вечно трепещущие тополя и те притихли.

— Дэви! — услышал он приглушенный расстоянием голос Кена и медленно обернулся — значит, Вики поручила Кену спросить его о чем-то. — Вики хочет познакомить тебя с одной девушкой. Поедем сегодня все вместе купаться на Лисье озеро. Ладно?

— Нет, — отрезал Дэви.

— Ну поедем, будь человеком. Освежимся — и работа пойдет лучше.

— Работа и так пойдет. Скажи Вики, что я занят.

— Значит, не поедешь? — Кен был озадачен и явно раздосадован.

— Нет.

Дэви отвернулся и опять стал смотреть на улицу. Видеть Вики было для него слишком мучительно, временами он даже ненавидел ее. В последнее время она даже стала ему неприятна, по крайней мере Дэви старался уверить себя в этом. Когда они с Кеном синими летними вечерами отправлялись к ней, Дэви каждый раз давал себе слово поглубже упрятать свои чувства и держаться по-братски приветливо, но при первом же взгляде на ее счастливое лицо ему словно вонзали нож в сердце. Вики всегда бывала оживлена и светилась внутренней радостью. Она теперь и одевалась, и выглядела иначе — даже походка ее изменилась,— и трудно было узнать в ней ту сдержанную, печальную девушку, которую он не так давно встречал на вокзале, хотя уже тогда Дэви знал, что она может быть такой, как сейчас. Ее чуть расширенные глаза, с ожиданием устремлявшиеся на Кена, когда он поднимался по ступенькам веранды, ее радостная, выражавшая нечто более глубокое, чем просто удовольствие, улыбка — все в ней так беззастенчиво говорило Кену «я тебя люблю», что Дэви становилось не под силу удерживать на лице свинцовую тяжесть маски дружелюбия. Чувствуя себя чересчур большим и неуклюжим, Дэви молча ждал, пока Вики его заметит.

В начале лета он иногда ходил гулять вместе с Кеном и Вики. Они сейчас же отдалялись от него и, прильнув друг к другу, погружались в бесконечную беседу, не предназначенную для посторонних ушей. Стоило кому-нибудь заговорить с ними, как таинственная беседа тотчас же обрывалась, и оба терпеливо ждали, пока нечуткий собеседник отойдет прочь. Они, должно быть, говорили о чем-то очень важном; впрочем, Дэви не раз видел, как их серьезность улетучивалась в одно мгновение, и они начинали сравнивать длину своих ладоней или измеряли шаги, споря, кто из них шагнет шире, а порой, когда Кен, очевидно, принимался дразнить ее, она яростно молотила кулаком по его бицепсам. Кен смеялся и под конец, наверное, просил пощады, потому что Вики тоже начинала смеяться. А потом, ласково обхватив обеими ладонями руку, которой только что от нее досталось, Вики вместе с Кеном шла дальше. Дэви догадывался, что она пока что не допускает большей близости, но от этого ему было не легче, ибо он видел, что Кен никогда еще не был так увлечен.

Эти вечерние прогулки не доставляли Дэви никакого удовольствия. В присутствии Вики он всегда испытывал неловкость и в конце концов накрепко решил больше не ходить с ними. Он уже в третий раз отказывался, и, когда Кен повесил трубку и стал рядом с ним в дверях амбара, Дэви почувствовал, что он ждет объяснений.

— В чем дело, Дэви? Тебе не нравится Вики?

Дэви обернулся, сделав удивленные глаза.

— С чего ты взял?

— Я ведь все-таки не такой уж идиот. И потом — то, что ты сказал перед тем, как зазвонил телефон.

— Ничего особенного я не сказал.

— Ты очень прозрачно намекнул, что она мешает нашей работе.

— Никогда я этого не говорил, Кен.

— Ты сказал, что давно уже знаешь, что мы с тобой идем по неверному пути, и ты сказал, что не хотел говорить об этом, так как Вики, вероятно, будет недовольна, если работа затянется.

— Ты меня не так понял. Ради бога, брось ты это, Кен. Болтаешь, сам не зная что. У тебя все в голове перепуталось.

— Нет, это у тебя все перепуталось. Ты очень странно ведешь себя последние две недели. — Кен заколебался. — Ты на меня за что-нибудь сердишься?

Дэви поглядел на свои руки.

— Нет, — сказал он с расстановкой, — мне не за что на тебя сердиться. Ты тут не при чем.

— А кто же? Марго?

— Нет.

— Ну кто же, черт тебя дери?!

Дэви поднял голову.

— Никто, — сказал он, твердо решив поверить в это. — Все дело просто в работе.

— А если мы наладим работу, все опять будет хорошо?

— Конечно, — сказал Дэви, входя в гараж. — Все будет хорошо.

2

За ужином Дэви молчал, а Кен ушел сейчас же после того, как они вымыли посуду. Дневной свет начинал еле заметно меркнуть, хотя небо еще не потеряло прозрачной голубизны. На западе высоко над горизонтом протянулась длинная гряда облаков, похожая на изумленно приподнятую бровь над огромным золотым глазом, заглядывавшим за край земли.

Марго пришла поздно, усталая, побледневшая — в городе сегодня было особенно жарко. Лицо ее с чуть выступавшими скулами стало как будто еще тоньше, изогнутые губы были крепко сжаты. Она ходила по кухне босиком, в расстегнутом ситцевом платье. Наконец она уселась напротив Дэви с какой-то штопкой в руках.

— Ты сегодня никуда не уходишь? — спросил Дэви.

— Нет, — кратко ответила Марго.

Дэви поднял на нее глаза. Его смуглое лицо стало задумчивым.

— Скажи, Марго, — заговорил он, — что чувствуют хорошенькие девушки? Мне просто интересно. Целый день на тебя смотрят мужчины, и ты отлично понимаешь, как они смотрят. Ты ощущаешь их взгляды?

Марго не улыбнулась и не подняла своих серых, слегка раскосых глаз. Она отбросила со лба прядь волос и продолжала шить. Сейчас она казалась совсем девочкой — такой, какой была на ферме десять лет назад.

— Как тебе сказать, — не сразу ответила она. — Мне не бывает неловко под мужскими взглядами, если ты это имеешь в виду. И взгляды эти на себе я ощущаю не больше, чем ты. А что чувствуют в таких случаях мужчины?

— Нет, серьезно, Марго! Ты же знаешь, что я хочу сказать. Человек идет по улице и видит девушку. Одна секунда — и она проходит мимо, но он успевает рассмотреть ее лицо, ее фигуру — все.

— Ну, а девушки, по-твоему, слепые, что ли?

— Ты хочешь сказать, что они поступают так же?

— Да, а что ж тут такого?

— Ты хочешь меня убедить, что, глядя на мужчину, женщина видит сквозь одежду?

— Разве это не естественно?

— И у нее при этом такие же мысли, что и у мужчины? — настаивал Дэви.

Марго рассмеялась.

— Ну, может, не такие определенные, но в общем сводятся к тому же.

— Но что же может интересовать девушку, когда она смотрит на мужчину? Кроме лица, конечно.

Вопрос Дэви опять рассмешил Марго.

— Да я думаю, все. Мне, например, нравится, когда мужчина держится прямо. Иметь широкие плечи и выпуклые бицепсы совсем не обязательно. И потом сзади у мужчины не должно быть совсем плоско.

— Господи, да как же ты можешь это знать?

— Надо *смотреть* — вот и все. Когда мужчина идет, брюки облегают его так же, как женщин — юбка. — Дэви приоткрыл рот, и Марго поспешила успокоить его: — У тебя сзади все в порядке, можешь не беспокоиться.

— Неужели *все* девушки так смотрят на мужчин?

— За всех поручиться не могу. Я говорю только о себе. Разве ты не знаешь, что у девушек на уме? Вот Кен знает. Как по-твоему, почему он так легко одерживает победы?

— Я никогда не думал об этом, — медленно сказал Дэви. — Но Кен ничего не знает про тебя и Волрата.

Марго впервые за весь разговор опустила свое шитье на колени.

— Что же тут знать?

— А вот я знаю тебя. И всегда знаю, когда у тебя кто-то есть. Кстати, тебе это известно.

— Да, пожалуй, — согласилась Марго. Ее серые глаза стали задумчивыми. — Тебе это не очень неприятно, Дэви?

— Почему мне может быть неприятно? — удивился Дэви. — Только вот... тебе это не приносит много радости.

— Он любит меня, Дэви, по-настоящему любит, только не знает, что с этой любовью делать, — сказала она мягко, как говорят о проказах ребенка. — Он совсем запутался — разрывается между тем, что он чувствует, и тем, что, по его мнению, он должен чувствовать. Знаешь ведь, как относятся к нам студенты с Университетского холма: они считают, что только круглый дурак может влюбиться в девушку из города. Дуг воображает, будто так же относится ко мне, и, уж если говорить всю правду, стесняется знакомить меня со своими друзьями... Но ты бы видел его дом, Дэви! — с оттенком удивления в голосе воскликнула Марго. — Люди, у которых уйма денег, такое множество вещей принимают как должное, что порой это смахивает на ребячество.

— Где он сегодня?

— В Загородном клубе — это одно из мест, куда он меня с собой не берет. Уверяет, будто мне там не понравится. Вот почему я говорю, что он совсем запутался. Уж лучше бы прямо сказал, что таким, как я, там не место. Или вообще ничего бы не говорил. Но он *оправдывается*, понимаешь, и вдобавок делает вид, точно оказывает мне услугу. Как будто я не отдала бы десять лет жизни, чтобы посмотреть, какой он внутри, этот клуб!

— Погоди-ка, неужели ты хочешь водиться со всякими там Беттингерами, Броками и Квигли? Это же чванные болваны!

— Я тоже так думаю, — вздохнула Марго. — Но какие элегантные болваны!

Зазвонил телефон; Марго встала и пошла в темную мастерскую. Через несколько минут она с сияющим лицом вбежала в кухню, и усталости ее как не бывало.

— Он сейчас заедет за мной, — сообщила она.

— Он повезет тебя туда?

— Нет. Он звонил оттуда. Едет домой. Минут через десять будет здесь. Дэви, принеси мне воды, пожалуйста. Надо скорее вымыться. Должно быть, в последнюю минуту кто-то натянул ему нос. Знаешь что, в один прекрасный день этот молодой человек получит такой сюрприз, какой ему не снился за всю его молодую счастливую жизнь, и этим сюрпризом буду я!

Марго, надев свое единственное нарядное белое платье, вся светилась тихой радостью и была так поглощена собой, что даже не обратила внимания на Дэви, который тоже успел переодеться. На нем была чистая белая рубашка и отутюженные брюки защитного цвета. Волосы, смоченные водой, были гладко зачесаны, рукава рубашки он аккуратно подвернул выше локтя. За окном сгущались синие сумерки, но в кухне еще не зажигали света. Снаружи загудел густой переливчатый гудок, Марго быстро повернулась на каблуке, оглядывая темную кухню — не забыто ли что-нибудь. Впрочем, оглянулась Марго только по привычке — сейчас она ничего не видела от волнения. У самой двери она вдруг остановилась, почувствовав угрызения совести.

— О Дэви, ты знаешь, я бы с радостью взяла тебя с собой, но...

— Валяй, — усмехнулся Дэви. — Я тоже сейчас ухожу.

Марго уехала, и все звуки в доме стали постепенно затихать, как затихает хлопанье крыльев вспугнутых с дерева птиц, которые одна за другой снова усаживаются на ветках. Тишина принесла с собой ощущение одиночества; в первый раз за всю жизнь Дэви почувствовал себя никому не нужным. Он вышел из кухни, хлопнув дверью. Открытый трамвай, покачиваясь, плыл по рельсам, как галеон. Дэви вскочил на ступеньку, и вагон, продуваемый вечерним ветерком, поплыл дальше.

Пейдж-парк находился у озера, на окраине города, в конце трамвайной линии. Блестящие точки фонарей обозначали изгибы дорожек. На помосте для оркестра было темно и пусто, а посреди неровной луговины, являвшейся центром парка, статуя полковника Захария Армстронга грозила бронзовым кулаком призракам Войны Черного Сокола; впрочем, получалось, что полковник показывал кулак бронзовому мальчику-барабанщику, который в четверти мили от него шагал ему навстречу с 1871 года. По ту сторону кобальтово-синего озера, над темными висконсинскими берегами, багрово светилась полоска заката, а высоко в небе мерцали крохотные огоньки, похожие на миллионы Пейдж-парков; огоньки внушали пребывавшим в самообольщении бледным теням в летних платьицах и рубашках с расстегнутыми воротами, что они познали небесное блаженство больше, чем кто-либо на земле.

Возле киоска с мороженым Дэви встретил знакомого, одного из завсегдатаев парка; он предложил Дэви пошататься — может, попадется парочка стоящих девчонок.

Дэви отрицательно покачал головой.

— Та, которую я ищу, не станет ходить в паре. Она будет одна.

Ему показалось, что он нашел ее — девушка сидела на скамейке над озером, держа руки на коленях и аккуратно скрестив ноги. Дэви прошел мимо; лицо ее в рамке матово-золотых волос показалось ему матово-серебряным. Но когда он сел рядом, раздумывая, с чего бы начать разговор, то оказалось, что он знал ее еще тринадцатилетней девчонкой — она жила на той же улице, что и он, в полумиле от гаража. Сначала девушка не слишком обрадовалась ему, но потом, видимо, убедившись, что прекрасный незнакомец не выйдет к ней из таинственной ночной тьмы — во всяком случае, сегодня, — принялась болтать о людях, которых Дэви давно забыл или вообще никогда не знал. Помня

до малейших подробностей золотые школьные времена, она рассказывала о своих школьных друзьях так, будто Дэви был членом этой компании. Девушка даже не знала, что с тех пор, как она переехала на другую улицу, Дэви пять лет проучился в университете, а он не счел нужным сказать ей об этом.

Дэви старался не слушать ее болтовню. Он обнял девушку за узенькие плечи, а она привалилась к нему негнущимся телом и без умолку рассказывала что-то озеру и постепенно сгущавшейся ночи. Выложив все, что знала, девушка покорно прильнула к нему, притихшая, податливая, и снова стала красивой, будто на нее упал волшебный отсвет той девушки, что будет сидеть совсем одна...

На другое утро прохладный, свежий ветерок с солнечных полей принес в мастерскую новые надежды. Вчерашние неудачи были забыты, и оптимизм насыщал воздух вместе с запахами жимолости, клевера и свежескошенного сена. Сегодняшний день обещал быть тем днем, о котором они с Кеном много времени спустя скажут: «Вот когда мы по-настоящему двинулись вперед!»

3

Спустя два месяца, октябрьским вечером Марго стояла одна в большой гостиной Волрата, глядя, как синеют сумерки. В полутьме лицо Марго с чуть раскосыми глазами и тонко очерченными, немного впалыми щеками казалось нежным и задумчивым. В этот вечерний час северная осень окрашивала все вокруг в сине-голубые тона, исполненные особой грустной прелести, и казалось, отныне никогда уже не будет на земле таких цветов, как красный, золотистый, зеленый, ни одно человеческое существо не улыбнется в этой бесконечной ночи, которая надвигалась так быстро, и на всем свете только одна Марго знает эту тайну, поэтому лицо ее стало печальным, а взгляд мудрым и проникнутым состраданием.

Футах в сорока от нее, в залитой светом, сверкающей кухне Артур — вывезенный из Нью-Йорка дворецкий в белой куртке — готовил коктейли. Наверху, как раз над ее головой, переодевался Дуг. Снаружи в бешеной пляске, сшибаясь друг с другом, кружились черные листья, в окна бился канадский ветер, ему отвечало потрескивание дров в камине, слабо освещавшем комнату. Марго не зажигала свет, убеждая себя, что предпочитает быть в полутьме. Уже который месяц она бывала в этом доме, и все-таки здесь ее сковывала неловкость. Она не имела права дотрагиваться до этой мебели, и мебель, казалось, знала это.

Но если и здесь Марго чувствовала себя чужой, тогда у нее не было своего места на земле, ибо каждый раз, уходя от Волрата и возвращаясь к своей обычной жизни, она как будто с головой ныряла в горько-солоноватую воду и, задержав дыхание, ждала момента, когда снова почувствует на лице теплые лучи солнца. Но солнца она так и не видела — встречаясь с Волратом, особенно в его доме, Марго, несмотря на свой легкомысленно веселый вид, всегда испытывала тайные муки. Когда Волрат с небрежной ласковостью обнимал ее плечи или крепко прижимал к себе своими крупными руками, он, к удивлению Марго, видимо, и не догадывался, что вместе с желанием в ней просыпается панический страх. Она еле удерживалась, чтобы не закричать: «Не верю — что во мне может найти такой человек, как ты? Какой простенькой, некрасивой, сухопарой я, должно быть, кажусь по сравнению с твоими прежними женщинами! Ах, ты, наверно, просто смеешься надо мной!»

Когда Марго, бывая в его доме, смотрелась в зеркало, она неизменно поражалась: вместо бледного испуганного лица и застывшего взгляда

она видела веселую улыбку, сияющие серые глаза и живость в каждом своем движении. И когда она начинала презирать себя за лицемерие, когда ей хотелось сорвать с себя маску и признаться в притворстве, она вдруг убеждалась, что и улыбка и радость — настоящие; она не могла бы согнать их с лица, даже если б хотела. Она любила сильно и страстно, и, если б не эта пугающая способность смотреть на все происходящее со стороны, она была бы совершенно счастлива.

В соседней комнате послышалось звяканье стекла, серебра и кусочков льда — дворецкий ставил на поднос коктейли. Марго, ступая по мягким шкурам, устилавшим пол, прошла через комнату и зажгла свет, чтобы дворецкий не споткнулся в темноте. Раньше дворецкие всегда казались ей смешной нелепостью, глупой выдумкой легендарных богачей. Она не решилась бы сказать Кену и Дэви, что у Волрата есть настоящий, взаправдашний дворецкий,— братьям показалось бы странным то, что она не смеется над этим. А между тем Артур вовсе не вызывал желания смеяться. В такие минуты, как сейчас, он подавлял Марго своей бесшумной ловкостью и молчаливостью. Она украдкой взглядывала на его грубоватое, непроницаемое лицо и ждала, что он вот-вот скажет ей вполголоса: «На вас грошовое, совсем не подходящее к случаю платьишко, ваша пудра и губная помада — просто смех, да и только, но мы же знаем, вы никогда не жили в Нью-Йорке или в Голливуде, а чудес на свете не бывает. Поглядели б вы, что вы собой представляете по сравнению с настоящими леди, — и самой стало бы смешно».

В спальне Дуга висели голливудские фотографии, но не те глянцевитые открытки с портретами кинозвезд, которые может получить каждый, послав в киностудию десять центов и почтовую марку. Нет, это были обыкновенные любительские снимки — Дуг и Норма Ширер возле живой изгороди, Дуг и Род Ла-Рок, прищурившиеся от солнца. Или фотография, снятая во время пикника на приморской даче Алисы Тери: пятнадцать молодых мужчин и женщин стоят в ряд, и вид у них чуть смущенный, как у самых обыкновенных людей; но все лица на фотографии настолько знамениты, что неофициальная обстановка в тысячу раз усиливает их обаяние. Крайний справа был Джон Джилберт, а с левого края, рядом с Вильмой Бэнки, стоял Дуг Волрат, юный, худощавый, выглядевший совсем мальчиком, потому что он, единственный среди присутствующих, нахмурил брови.

— Ты с *ней* приехал на пикник? — спросила как-то Марго, указывая на Бэнки; она старалась говорить как можно равнодушнее, и от этого голос ее стал совсем тоненьким. Дуг приподнялся на локте и ткнул пальцем в другое, не менее красивое лицо на фотографии.

— Нет, вот с этой. Она тогда снималась у меня в «Венецианском принце».

— У *тебя*? — изумленно уставилась на него Марго. — Разве эту картину делал ты?

— Я сделал две картины. — Волрат откинулся на подушку, устремив глаза в потолок. — Как только я познакомился с Томми Уинфилдом, я в ту же минуту решил, что мы с ним выстроим киностудию. Ни я, ни он никогда в жизни не ставили картин, но это оказалось не таким уж сложным делом. С «Принцем» мы сели в лужу, зато «Карнавал» побил все рекорды.

— «Карнавал» тоже твоя картина?!

— О господи, мое имя было написано на ней большущими буквами.— Волрат добродушно усмехнулся. — Первое время я был там всеобщим посмешищем. За глаза меня называли «Маленький лорд с золотой сумой». Черт возьми, мне было всего двадцать два года — просто сопляк,— но скоро надо мной перестали смеяться. Знаешь, Том сейчас

был бы знаменитым режиссером, если б после моего ухода не сбился с пути.

— Я помню «Венецианского принца», — медленно сказала Марго; увлекшись воспоминаниями о великолепии этой картины, она не заметила, что в рассказе о крушении карьеры режиссера Тома прозвучало что-то знакомое. Все люди, с которыми когда-либо был связан Дуг, почему-то сходили на нет после того, как лишались его поддержки; по его словам выходило так, будто мир в основном населен хрупкими, неустойчивыми людьми, однако до сознания Волрата, видимо, не доходило, что он до некоторой степени ответственен за то, что его жизненный путь усеян человеческими останками. Но в его присутствии Марго захлестывала такая торжествующая радость, что, приди ей в голову эта догадка, она отвергла бы ее с негодованием. Для Марго он был совершенством и олицетворением всемогущества; одурманенная воспоминаниями, она продолжала: — Боже, как мне нравилась эта картина! Там про то, как...

Волрат засмеялся.

— Ну уж, мне-то, пожалуйста, не рассказывай содержания. Как-никак, ее делал я. — Вдруг он повернул к ней голову, и в глазах его мелькнул интерес. — А мне говорили, что простой народ не поймет картины!

Эти слова ничуть не задели Марго — она слишком любила Дуга.

Но вот в гостиную осторожно вплыл позвякивающий поднос, за ним — дворецкий Артур. Через минуту по лестнице быстро сбежал Дуг с той улыбкой, которая ей так нравилась, и внутренний трепет ее сразу исчез. Поправляя белые манжеты, он остановился на нижней ступеньке, сильный, коренастый и безукоризненно свежий. Он был в отличном настроении и даже потер руки от удовольствия.

— Третьего прибора не надо, Артур, — сказал он. — Мне очень жаль, но произошло недоразумение. Мистер Торн подъедет позже.

— Хорошо ли доехал мистер Торн? — осведомился Артур.

— Вряд ли, раз ему пришлось ехать поездом, — засмеялся Дуг и обернулся к Марго. — В жизни не встречал человека, который так любил бы летать. Лучшего летчика у нас в эскадрилье не было. На земле он — ничто, но подымите его в воздух или просто заведите речь о самолетах — и в нем вспыхивает вдохновение. Ну, теперь на заводе дело пойдет на лад. Артур, мисс Мэллори и я умираем с голоду.

Марго никогда не описывала Кену и Дэви столовой, потому что не решалась рассказывать о подаваемых там кушаньях. Мальчики никогда не видели устриц и уж, конечно, не могли представить себе, каковы они, жирные и холодные, под соусом, изготовленным по особому рецепту Артура, и имевшим десять различных и острых привкусов. И как им объяснить, насколько тонким бывает прозрачный бульон? А эти бифштексы толщиной в два дюйма, нежные, как масло, розовые, как цветок! Ведь если братьям приходилось есть бифштексы, так только тонкие, как бумага.

— Работа у мальчиков идет превосходно, — произнесла она вслух. Голос ее был негромок, но этими словами она хотела как бы подчеркнуть свою лояльность по отношению к братьям.

— Да? Это здорово, — отозвался Дуг. Небрежный тон, каким были сказаны эти слова, заставил Марго поднять на него глаза, в которых мелькнуло сдерживаемое негодование. Но он продолжал: — Марго, почему бы тебе не бросить твой магазин и не поступить ко мне секретаршей? У меня никогда не было толковой секретарши. А лучше тебя я не найду.

Марго почувствовала такое облегчение, такую радость, что чуть не

расплакалась. Значит, Дуг вовсе не бессердечен, он способен думать и заботиться о других. К нему надо относиться, как к слепому, внушала она себе. Должно быть, позади глаз у него маленькие зеркальца, обращенные внутрь, так что он никогда не видит ничего, кроме самого себя, разве только сделает специальное усилие, чтобы поглядеть на внешний мир. Раздражаться, бранить его — так же нелепо, как немедленно исполнять все его прихоти.

— Я подумаю, — неторопливо сказала она, глядя в чашку с кофе.

— О чем же тут думать?

— Видишь ли, мне нравится моя работа. К тому же там у меня есть виды на будущее.

Дуг сжал губы.

— А разве со мной у тебя не может быть будущего? У меня еще добрых сорок лет впереди.

— Ведь я не обязательно должна отвечать сразу, правда?

— Не представляю себе, почему бы тебе не согласиться сразу. — Резким движением он встал из-за стола. — Я дам тебе вдвое больше, чем ты получаешь сейчас.

— Дело не в деньгах.

— А в чем же?

— Не знаю. Если б знала, сразу бы дала тебе ответ.

— Ответ твой заключается в том, что тебе на меня совершенно наплевать, — со злостью сказал он. — Я тебе нужен только для развлечения. Ладно, я тебе доставлю развлечение. Пошли наверх.

— Благодарю, — холодно сказала Марго, не двигаясь с места. — Я сейчас не расположена к такого рода развлечениям.

— Черт возьми, ты-то чего злишься? Ведь это ты меня обидела, а не я тебя.

— Я тебя не обижала.

— Ты не сказала «да».

— А теперь я и вовсе не могу этого сказать, — отплатила ему Марго. — Даже если б хотела.

— Марго, — покаянным тоном произнес Волрат. — Послушай, прости меня. Подумай как следует — вот и все. Ну идем же.

Марго молчала.

— Ну, пожалуйста. Видишь, я прошу тебя. А то скоро придет Торн. А мне нужно еще взять у тебя мерку для платьев, которые я хочу тебе заказать.

— Спасибо, но с меня хватит моих собственных платьев.

— Новые будут гораздо лучше.

— Я не могу себе этого позволить.

— Ах, черт, ну я вычту из твоего жалованья. Прошу тебя, Марго.

Марго подняла глаза и вдруг увидела Дуга таким, как он есть, — без голливудских фотографий, без роскошного дома, без слуг, машины и этих изысканных блюд, — просто коренастого, пахнущего чистотой и свежестью мужчину с умоляющими и виноватыми серыми глазами. Марго чуть заметно улыбнулась. Она любила этого мужчину всем сердцем.

— Ты глупый, — ласково сказала она. — Ну, хорошо.

Когда они снова спустились вниз, Торн ждал их в гостиной. Он поднялся им навстречу с несколько растерянным видом. Это был высокий худой человек лет под сорок, черноволосый, краснолицый, с черным шнурочком усов на верхней губе и впалыми щеками. Туго натянутая кожа его лица была вся в буграх и рубцах, словно его когда-то исхлестали кнутом до неузнаваемости. Запавшие глаза, обведенные темными нездоровыми кругами, казались огромными. Если бы не большие рабо-

чие руки, Торна, одетого в элегантный, облегающий, заграничного покроя костюм из синей шерсти, можно было бы принять за изнуренного работой профессионального танцора.

— Здравствуй, человек-птица! — громко воскликнул Дуг, хватая его за руку. — Знакомьтесь, Марго, это Мелвин Джайлс Торн, главный инженер моего авиационного завода и главный виновник его существования. Мел научился летать еще мальчишкой, шестнадцать лет назад, у братьев Райт в Париже и у Сантоса Дюмона. Один из первых пришел в эскадрилью и выучил летать всех нас. — Дуг еще раз крепко стиснул руку Торна, потом обнял его за плечи.— Мел, это мисс Мэллори, которая собирается стать моей секретаршей.

— Очень приятно, мисс Мэллори. Вы только, пожалуйста, не верьте этому болтуну. Мне было двадцать три года, когда я начал летать с Уилбером. А у Сантоса Дюмона я работал всего две недели, когда братья Райт вытурили меня в наказание за проступок. Уилбер, знаете ли, был строг, точно церковный дьякон.

Голос у Торна был грубоватый, как у всех уроженцев Среднего Запада. Марго заметила, что он стесняется. В этом доме он не знал, куда девать руки, и ей страстно захотелось, чтобы Дуг обращался с ним как можно ласковее, тем более, что у него такой болезненный вид. Странно, удивлялась про себя Марго, что он, столько лет прожив в такой стране, как Франция, совсем, как видно, не поддался ее обаянию. Здешние мужчины, ветераны прошлой войны, до сих пор полны воспоминаний о веселом Париже.

— Присаживайся, Мел, я хочу, чтоб ты на время дал себе передышку, — сказал Дуг. — Мне удалось, наконец, наладить дела на заводе так, как тебе хотелось.

— *Мне* хотелось!

— Ясно, тебе! Чего ради, по-твоему, я купил завод в этом богом забытом городишке? Чтобы с твоей помощью заставить американскую авиацию догнать авиацию всех прочих стран.

Торн смущенно засмеялся, лицо его густо покраснело.

— Ну, знаешь, если бы я думал, что дело обернется так, я бы порекомендовал тебе целый десяток других заводов покрупнее.

Дуг покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Ты выбрал именно этот, еще не зная, заинтересуюсь ли я. И тут ты и начнешь. Если в тебе действительно есть то, что я чую нюхом, так через полтора года мы с тобой будем ворочать крупными делами на Большой бирже, а еще через полтора года перекроем славу братьев Райт! Ты будешь моей ракетой, Мел. И мы с тобой вместе совершим этот гигантский взлет. Первым делом ты переедешь из той комнаты, которую ты здесь снял. Неподалеку продается дом вроде моего. Он будет твоим. Весь этот год у нас с тобой будет общий кошелек и общие заботы. Я уже написал в Нью-Йорк, чтоб прислали тебе слугу не хуже Артура.

— Эй, погоди минутку! — Торн поставил свой бокал. Глаза его лихорадочно блестели. — Я не знаю, что я с ним буду делать, с этим слугой. Денщик во время la guerre * — еще куда ни шло, но лакеи — нет, уволь, ради бога!

— Хорошо, я тебе подыщу служанку,— сказал Дуг. — Слушай, дитя мое, ты уже спокойно можешь начать жить сообразно с твоими будущими доходами. Это очень важно. Может, ты и старше меня на несколько лет, но во всем, что касается денег, слушайся меня. Учись быть богатым. Чем ты богаче, тем меньше это должно бросаться в глаза, но где-

---

* La guerre — война *(франц.)*.

нибудь в петлице пиджака обязательно должна поблескивать золотая пуговичка, видимая невооруженным глазом.

Дуг увлекся советами. Марго следила за выражением измученного лица Торна и представляла себе, какое у него сейчас должно быть восхитительное ощущение,— словно он вошел в только что приобретенный сад, окутанный золотым, мерцающим туманом. И не нужно ничего хватать наспех. Он может спокойно вдыхать ароматы, ибо рано или поздно туман осядет на землю золотой росой, которую он будет подбирать, когда захочет.

Заговорили о заводе — Торн задавал множество вопросов; потом вспомнил о тех довоенных временах, когда авиация была еще в самом зачатке. Торн уже не казался больным — это был человек, сознающий свое внутреннее превосходство. Марго увидела, что Дуг, наконец, убрал с глаз свои обращенные внутрь зеркальца. Впервые при ней он обращался с другим человеком, как с равным.

— В последние десять-пятнадцать лет, — говорил Торн, — все развивается настолько стремительно, что с трудом припоминаешь, как было раньше. Всего двенадцать лет назад я впервые полетел на аэроплане — это была лодка с двумя крыльями. Все из парусины, фюзеляж вроде детского змея из дранки, пропеллер с цепной передачей. В те дни еще никто и понятия не имел, как выходить из штопора; мы даже не знали, отчего эти чертовы штуки летают. Мы были в положении людей, старающихся сохранить равновесие на скользком шаре. Знаете, я помню модель, где мотор «Гном» заводился пропеллером, а вал был неподвижен. Это было придумано для того, чтобы усилить охлаждение воздухом и сократить вес маховичка. И только лет восемь-девять назад мотор установили неподвижно, а вал заставили вращаться. — Несмотря на всю свою серьезность, Торн порядочно охмелел. — Уж эти мне французишки! Лучшие автомобили, лучшие аэропланы, лучшие летчики! Мы должны их догнать, хоть тресни! Правильно, хозяин?

— Правильней некуда, Мел.

— Тогда отвези меня домой. Видно, мне еще нельзя пить ничего крепче молока — ноги не держат. Увидел бы меня сейчас Уилбер — вытолкал бы в три шеи.

Все трое вышли в морозную ночь. Марго накинула широкое, подбитое енотом пальто Дуга, пушистое и мягкое, как шелк. В небе блестели острые, словно отполированные гудящим ветром, звезды. Машина мчалась стремительно, мимо мелькали тусклые фонари, все трое съежились и пригнулись от ветра. Марго чувствовала, как дрожит Торн, привалившийся к ней, словно ребенок. Слева сидел каменно-неподвижный Дуг. Марго прижалась к нему, стараясь отодвинуться от Торна. К жалости ее теперь примешивалась легкая неприязнь, ибо ей казалось, что Торн нарочно подчеркивает свою болезнь и свою выносливость. Они высадили его у небольшого дома на Чероки-стрит, где сдавались комнаты, и, промчавшись через весь город, подъехали к темному гаражу. Марго подала Дугу меховое пальто; он небрежно швырнул его на заднее сиденье. Марго, дрожа от холода, вышла из машины.

— Ну, что же ты решила? — спросил Дуг, обхватив рукой ее талию.

— Я согласна, — сказала Марго.— Но при одном условии — пока я работаю у тебя, я буду для тебя только секретаршей. И больше ничем.

Он недоверчиво поглядел на нее.

— Что ты хочешь сказать?

— Только то, что я сказала. Деньги меняют дело.

Дуг гневно усмехнулся.

— Ты сошла с ума!

— Нет, — ответила Марго и улыбнулась. — Вот этого уж никак нельзя обо мне сказать.

— Ты сама не выдержишь.

— Выдержу. Хочешь пари?

— Хорошо, будем держать пари, детка. Завтра приступай к работе.

— Нет. В понедельник.

— Ладно, в понедельник. — Он уже не злился, но, видимо, был озадачен. — Ты дурачишь меня?

Марго нагнулась и поцеловала его, вложив в этот поцелуй всю свою любовь и всю нежность, в которых он, по ее убеждению, вовсе не нуждался. Оторвавшись от его губ, Марго пытливо вгляделась в его сильное лицо с квадратным подбородком. Она не увидела ничего, кроме сердитой растерянности. — Ни за что на свете я не стала бы вас дурачить, хозяин, — сказала она, выпрямляясь.

4

В понедельник Дуг заехал за ней в гараж. Утро было мрачное, чувствовалось, что вот-вот пойдет снег. Кен и Дэви были уже за работой. Дуг вошел в боковую дверь и остановился у порога. Трое мужчин вежливо не замечали друг друга. Проходя через гараж, Марго старалась увидеть работу братьев такой, какой она представлялась глазам Дуга, но сегодня, как назло, выпал день, когда все было разобрано и в мастерской не осталось ни одной законченной конструкции — только какие-то стеклянные детали странной формы, наваленное хаотическими грудами электрооборудование, кучи медных трубок и банки с запасными батареями. В мастерской все было вверх дном, поэтому Марго по дороге на завод не решилась заговорить с Дугом о проекте братьев.

Завод разочаровал Марго, привыкшую к образцовому порядку универсального магазина. Это был огромный одноэтажный барак, холодный и продуваемый сквозняками. Одну половину здания заполняли пронзительно скрежетавшие машины, другая была пуста, если не считать четырех самолетов, казавшихся поразительно маленькими. На подвесных кранах висело несколько радиальных моторов, а на полу лежали три фюзеляжа, находившиеся в процессе сборки; они напоминали искалеченные тела насекомых. Служебные помещения представляли собою клетушки с фанерными перегородками, не доходившими до потолка. И всюду, куда ни пойдешь, сквозь пронзительный вой и стук моторов слышались голоса, густой смех и гулкие шаги по цементу.

Поначалу у Марго было такое ощущение, будто завод не может похвастаться какими-либо достижениями: ей скоро стало известно, что те четыре самолета были выпущены конкурирующими фирмами и куплены Волратом, для того чтобы разобрать их, изучить и либо скопировать, либо усовершенствовать.

Тем не менее Марго вскоре убедилась, что ей предстоит проделать огромную организационную работу. Надо было создать из хаоса стройную канцелярскую систему и в то же время вести переписку Дуга с его нью-йоркской конторой, с биржевым маклером, с принадлежащей ему Дойлес-вилльской бензино-нефтяной компанией в Дойлес-вилле, в штате Техас, с нефтеочистительным заводом Волрата в Оклахома-сити, с Нитрокорпорацией в Норфольке, а также с Министерством внутригосударственных доходов через юридическую фирму «Уитэкер, Чаллис и Баулз» о том, почему в Калвер-Сити, в штате Калифорния, существует «Перманент пикчерс компани», дочернее предприятие корпорации Волрата, хотя за последние два года она не выпустила ни одной картины.

Что касается вложения капитала, то, как убедилась Марго, Дуг меньше всего был заинтересован в этом авиационном заводе — однако местом своего жительства избрал Уикершем.

Через три недели после того, как Мел Торн представил ему отчет о состоянии дел на заводе, Дугу понадобилось ехать в Нью-Йорк. Он собирался взять с собой Марго, но в последнюю минуту передумал, решив, что она должна остаться и помогать Торну. Торн день ото дня становился все менее хилым. По взглядам, которые он исподтишка бросал на Марго, когда они оставались наедине, она догадывалась, что его занимает вопрос, действительно ли она возлюбленная хозяина, или нет. Но он был слишком занят, чтобы прийти к какому-либо заключению, и слишком уставал к концу дня, чтобы предпринимать какие-нибудь шаги. Впрочем, Марго не сомневалась, что рано или поздно он либо скажет ей что-нибудь, либо просто попытается ее обнять.

В день своего приезда Дуг объявил Марго, что она должна приехать к нему обедать; он намеревался пригласить ее как бы между прочим, но сам же все испортил, несколько раз подчеркнув, что ему необходимо поговорить с ней о делах. Уже целый месяц они ни разу не оставались наедине, и за все это время Волрат ни разу не попросил о свидании, словно решив вынудить Марго нарушить свое слово без всяких поползновений с его стороны.

В этот вечер Волрат был нервен и раздражителен. Он много пил и старался не смотреть ей в глаза. Марго почувствовала эту напряженность и спрашивала себя, долго ли он сможет выдержать. Часов около десяти Волрат швырнул стопку бумаг на пол и привлек Марго к себе.

— Когда же будет конец этой проклятой бессмыслице? — резко спросил он. Лицо его налилось кровью. Выражение его глаз ясно говорило о его намерениях; Марго не стала сопротивляться и сказала только: — Хорошо, но помни, я возвращаюсь в магазин.

Дуг выпустил ее сразу же; лицо его, вытянувшееся от разочарования, выглядело до того забавным, что Марго с трудом удержалась от смеха, но в то же время сердце ее заныло от жалости к Дугу и презрения к себе. Какую пошлую игру она ведет с ним, и все потому, что знает: Дуг никогда не предложит ей выйти за него замуж, пока она не измучит его вконец. Ей отчаянно хотелось стать его женой, иметь от него детей, быть рядом с ним, когда у него стрясется какая-нибудь беда. Однако она знала: как только Дуг убедится, что она опять принадлежит ему, их отношения превратятся для него в удобную связь и ни о чем другом он даже думать не станет. И все-таки чувство пересиливало холодный расчет, за который так презирала себя Марго. Она подошла к Дугу, и в ее серых глазах была ласковая покорность и раскаяние.

Когда она собралась уходить, Дуг показал три платья, которые он привез ей из Нью-Йорка. Примеряя их, Марго испытывала чувственное наслаждение, и не только потому, что о таких красивых платьях она не могла и мечтать, но и потому, что Дуг смотрел на нее и в глазах его светилась гордость.

— Оставайся ночевать, — предложил он.— Погода такая мерзкая.

— Ну, не такая уж мерзкая, — сказала Марго. — Если ты устал, я возьму такси. Между прочим, за платья я могу выплачивать из своего жалованья по десяти долларов в неделю. Сколько они стоят?

— Все три — десять долларов. Я купил их на распродаже.

Марго молча посмотрела на него.

— Ну, ладно, — усмехнулся Дуг. — Десять долларов каждое. Ах, ты, господи! Хорошо, двадцать долларов.

— Не двадцать, а все сто — так будет вернее.

— Ну, пусть будет сто за все три. — Марго кивнула головой, и Дуг тотчас сказал:

— И ты можешь прибавить к своему жалованью десять долларов.

Марго отшвырнула платья.

— Я возвращаюсь в магазин.

— А черт, уж и пошутить нельзя! — воскликнул Дуг и обнял ее.— Марго, зачем ты меня так мучишь?

Марго медленно потерлась щекой о его щеку и крепко прижала его к себе.

— Если б я тебя не мучила, ты мучил бы меня. А так как я лучше тебя, то ты от меня терпишь гораздо меньше, чем мне пришлось бы терпеть от тебя.

Но в конце концов одно из платьев, красное, бросающее теплый отсвет на ее лицо, обратило на себя внимание Кена. Был рождественский сочельник, и они собрались идти к Уоллисам. Дэви ушел раньше. Кен стоял в кухне, чистый и аккуратный, в новой рубашке и свежеотутюженных брюках. Его тщательно приглаженные волосы отливали бронзовым блеском, а вытянувшееся при виде Марго лицо было идеально выбрито. Марго, шурша платьем, ласкавшим ее, как сотня нежных рук, выбежала из своей комнаты, собираясь просить Кена застегнуть ей крючки сбоку. Увидев выражение его лица, она остановилась. Глаза его холодно блестели, ноздри раздувались.

— Где ты это взяла? — раздельно произнес он. — Это не ты сшила.

— Купила в магазине. — Марго подняла руку, чтобы ему удобнее было застегнуть крючки.

— Нет таких магазинов в Уикершеме.

— В Нью-Йорке, — сказала она.

— Знаю, что в Нью-Йорке, но ты в Нью-Йорк не ездила.

— Ездил Дуг Волрат. Он купил мне платья, а я ему заплатила.

— Чем? — язвительно спросил Кен.

— Деньгами, — отпарировала Марго.

— А еще чем?

Марго пристально посмотрела на брата. Лицо его сморщилось. Он опустился на табуретку возле стола и уставился на свои переплетенные пальцы. Несколько раз он пробовал поднять глаза на сестру, но у него не хватало сил.

— Он женится на тебе? — спросил он глухо, почти шепотом.

— Об этом не было разговора. Вряд ли.

— Он у тебя один?

— Сейчас — да.

— Но не первый?

— Не первый, — попрежнему спокойно ответила Марго.

— А кто были другие? Я их знаю? — Последовала долгая пауза.— Наверное, Чак?

— Я не стану отвечать на такие вопросы, Кен.

— И Боб?

— Я тебе ничего не скажу.

— И Док?

— Не скажу.

— Ненавижу этого выродка Дока, — как бы в раздумье сказал Кен. — Всегда его ненавидел.

— Ты и меня ненавидишь, Кен? — Марго села напротив брата, но он все еще не мог заставить себя взглянуть на нее. Он смотрел на свои стиснутые руки. Так прошло несколько секунд.

— Нет, но я мог бы убить тебя, — хрипло сказал он.

— За что? — допытывалась Марго. — В конце концов мне двадцать

пять лет. А во многих отношениях я гораздо старше. И если сейчас я не могу делать, что хочу, то когда же?

— Замолчи! — Кен вскочил из-за стола в полном отчаянии. — Что ты мне говоришь, подумай только! Ведь ты — моя сестра!

— А ты — мой брат. Разве я когда-нибудь попрекала тебя твоими девушками?

— Это совсем другое дело.

— Вовсе нет, и ты это отлично знаешь. Разве ты думаешь о них хуже только потому, что они любили тебя?

— Любили!

— Да, любили. Я любила каждого, с кем была близка, точно так же, как те девушки любили тебя. И ты тоже любил их, пока вы были вместе.

— А через минуту эта любовь проходила.

— Тем хуже для тебя, а не для них.— И вдруг спокойствие покинуло Марго, она разрыдалась, поняв, насколько безнадежна ее вера в то, что она сможет склонить Дуга на брак, в котором он, по ее убеждению, никогда не раскаялся бы, разрыдалась от презрения к самой себе, к той низкой игре, которую она намеренно вела с Дугом. Перестав сдерживаться, Марго в отчаянных всхлипываниях изливала горе, тяжким камнем лежавшее на дне ее души.

Раньше Марго никогда не позволяла себе плакать при братьях — ей хотелось, чтобы они верили, что могут положиться на ее мужество, и считали ее своей опорой. А вот у нее нет никого, кто мог быть ей опорой, и она плакала над собой, над бедной девочкой с сияющими, как звезды, глазами, одетой в чесучевое пальтишко, которая была так счастлива со своими родителями в купе пульмановского вагона и не думала о том, что ждет ее впереди.

Марго почувствовала, что Кен пытается застегнуть ей платье. Он опустился на колени, прижавшись лбом к ее груди.

— Ради бога, не плачь,— бормотал он. — Не могу видеть, как ты плачешь, это для меня, как нож в сердце. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты мне и мать и сестра. Живи с кем хочешь, только не плачь.

Но Марго, не привыкшая плакать, никак не могла остановить слез. Она не в силах была совладать с рыданьями, сотрясавшими все ее тело, но какая-то крошечная частица ее сознания смеялась, ибо каждый раз, когда Кену удавалось застегнуть два крючка, от ее судорожных всхлипываний они тут же расстегивались снова.

— Я не хотел тебя обижать, — продолжал Кен. — Все дело в том, что мы с Дэви потратили почти три четверти денег, а результатов пока еще нет. Бэннермен заваливает нас письмами, он орет «давай, давай!» — как болельщик на стадионе. Вставай же, детка. — Кен приподнял голову Марго и вытер ей глаза своим чистым носовым платком.— Довольно, успокойся. Ты единственная девушка, которая для меня что-то значит.

Марго сквозь слезы увидела его озабоченное лицо и испуганные ласковые глаза.

— Застегни мне платье, Кен,— прошептала она и, слабо улыбнувшись, добавила: — Как я уже просила.

Кен тоже тихо засмеялся.

— Вики и Дэви, наверное, беспокоятся.

— Вики чудесная девушка, Кен. Мне она страшно нравится.

Кен ничего не ответил, занявшись крючками. Марго умылась холодной водой, припудрила щеки и под глазами, потом накинула на плечи

пальто, забрав в охапку коробки и свертки с рождественскими подарками, которыми нагрузил ее Кен.

— Ты иди, — сказал он. — Я тебя догоню, вот только наведу здесь порядок.

Придерживая обеими руками пакеты, Марго дотянулась до Кена и чмокнула его в щеку. — Ну как, все в порядке, Кен?

— Все прекрасно,— ответил он. — Беги.

Марго вышла в зимнюю мглу и пошла было вверх по тропке, но, вспомнив о спокойствии Кена, вдруг встревожилась. В таких обстоятельствах спокойствие было для него так же необычно, как для нее — слезы. Она заглянула в окно — Кен шагал взад и вперед по комнате. Затем Марго увидела, как он взял чашку со стола, уже накрытого к утреннему завтраку, долго смотрел на нее, как бы стараясь разглядеть изъяны, и вдруг размахнулся и швырнул ее на пол. Марго не знала, бежать ли к нему, или идти дальше. Подумав, она решила, что лучше идти и предоставить Кена самому себе. Она с грустью подумала, что иного выхода, собственно, и нет.

5

Следующая неделя знаменовала собой начало нового года, и работа над электронно-лучевой трубкой стала заметно подвигаться. Кен трудился с молчаливой яростью, словно подвергая себя наказанию, и Дэви бывало нелегко угнаться за ним. Рабочий день Кена кончался, когда возвращалась Марго. Он ждал, пока она ляжет спать, потом прекращал работу и уходил в свою комнату. И все время он ожесточенно и мрачно молчал. Если он видел, что работу над какой-либо деталью приходится временно приостановить из-за того, что еще не получены нужные инструменты или оборудование, он сейчас же брался за другую деталь.

У Вики появилось обыкновение просиживать все вечера в мастерской. Сначала она приходила как бы в гости, потом, чтобы не сидеть сложа руки, стала по указке Дэви выполнять всякую несложную работу — полировать, сверлить или шлифовать. Она надевала брезентовый передник с выцветшей надписью «Саполио», а на короткие локоны натягивала старую студенческую фуражку Кена. Она называла ее «моей фуражкой» и не могла приняться за дело, не нахлобучив ее на макушку. Вики любила поговорить, возясь у тисков или подтачивая скошенный край пластины конденсатора — она делала это тщательно и любовно, как маникюрша, отделывающая ногти своего возлюбленного, и время от времени останавливалась, мечтательно глядя в одну точку или критически рассматривая свою работу.

— Сегодня я кончила замечательную книгу,— заявляла Вики. В книжной лавке она читала Теодора Драйзера, Уорвика Дипинга, Зейн Грей, Ф. Скотта Фитцджеральда, Уорнера Фабиана, Майкла Арлена, Синклера Льюиса, Рафаэля Сабатини и Джона Дос-Пассоса.

— Это до того интересно, — обычно начинала Вики, усаживаясь на высокую табуретку и оправляя юбку. Она держала напильники — «мои напильники» — в замшевом футляре и каждый вечер, прежде чем взяться за работу, чистила их металлической щеточкой.— Там говорится про одного человека... или одну женщину, одного графа, одного бродягу, одного светского джентльмена или одного дельца. Во всяком случае, это лицо встречало другое лицо, и начинался сюжет. Вики бывала так захвачена книгой, что, сама того не сознавая, как бы жила в мире, населенном ее героями. Однажды, увлеченно рассказывая содержание романа Фитцджеральда, в котором фигурировали баснословно богатые люди, Вики упомянула о светском промахе, допущенном одним из действующих лиц.

— О господи, — сказал Дэви, задерживая шипящий паяльник в лужице расплавленного металла. — Надо же быть таким остолопом!

Вики молча посмотрела на него, потом засмеялась.

— Ну ладно, вам не интересно слушать?

— Нет, почему же, мне хочется узнать, что было дальше. А тебе, Кен? Кен, тебе хочется?

— Я не слушал.

Дэви перехватил взгляд, который Вики устремила на отвернувшегося Кена. Голова ее чуть склонилась набок, а в темных глазах появилось растерянное выражение, как у ребенка, чей лучший друг неожиданно перешел на сторону мучителей.

— Продолжайте же, — сказал Дэви. На стыке проводов светились шарик расплавленного металла и капля припоя внизу. Дэви подергал провода, испытывая прочность спайки.— Она вошла в его дом и...

Вики озадаченно повернулась к нему. Потом взяла кусок наждачной бумаги и снова принялась рассказывать: — Ну, и увидела картину, а потом самым глупым образом...

«Жан Кристоф» оказался настолько увлекательным, что Вики было не до работы. Вечер за вечером она сидела на табуретке, восторженно пересказывая прочитанное. Дэви подметил ее привычку легонько пропускать пальцы сквозь волосы, подымая их над ухом, затем укладывать на место и приглаживать таким бесконечно нежным движением, что Дэви мог бы любоваться им целую вечность. Из-под волос показывалось маленькое, хорошо вылепленное ушко. Дэви казалось, что ее нежная кожа должна быть очень ароматной.

Когда ему приходилось тянуться в сторону Вики за каким-нибудь инструментом или куском проволоки, он как бы случайно придвигался возможно ближе, чтобы уловить теплый аромат, который имел право вдыхать лишь тот, кого она любила. Дэви наблюдал за ней с мрачным удовольствием, но взгляд его утрачивал оттенок грусти, как только Вики встречалась с ним глазами. В такие моменты к сердцу Дэви приливал сладкий ужас — ему казалось, будто она видит его насквозь и может обнаружить тайну, в которой он не хотел признаться даже самому себе.

— Вы читали эту книгу? — спросила она Дэви, рассказав уже добрую половину «Жана Кристофа». И вдруг Дэви понял, что Вики вовсе не видит его. Для нее он всего-навсего существо, в котором она чувствует дружеское расположение к себе.

— Читал, но давно.

— Нравится вам?

— Понятно, нравится.

— Потому что вам кажется, будто автор писал о вас? — Дэви бросил на нее быстрый взгляд.— Не смотрите так виновато, — сказала Вики.— Мне кажется, я совсем не понимала, что значит для вас ваша работа, пока не начала читать эту книгу.

— О, я знаю, что переживал Кристоф,— медленно согласился Дэви.— Но ведь принято считать, что инженеры, занимаясь своим делом, не могут чувствовать того, что чувствуют композиторы, сочиняя музыку.

— Однако на самом деле могут, — не сдавалась Вики.

— Да,— не сразу сказал Дэви. — Могут.

— Кен!

— Что?

— Вы читали эту книгу?

— Какую?

— Да я же в который раз говорю — «Жан Кристоф».

Кен выпустил изо рта резиновую трубку для подачи воздуха.

— А когда мне читать? — резко спросил он.— Надо же кому-нибудь

работать, пока вы с Дэви все вечера напролет болтаете о книжках. Это ведь мастерская, а не курсы соврлит.

Вики поджала губы.

— Что такое соврлит? — обратилась она к Дэви.

— Современная литература, — объяснил он, не сводя глаз с Кена.

— Мы проделали только три четверти работы над самой примитивной электронно-лучевой трубкой — ни одна схема еще не готова, а осталось всего триста долларов! — Кен с размаху насадил паяльную лампу на крючок и с гневным отчаянием огляделся вокруг. — А это ведь не шутки! «Жан Кристоф»! Какое мне дело до него и его музыки? Хватит с меня Кеннета Мэллори и его собственных проблем.

— Ладно, Кен, не волнуйся... — начал Дэви.

— Вот как, даже не волноваться?.. Я ухожу. — Он зашагал вглубь мастерской и сейчас же вернулся со старым клетчатым макинтошем в руках. — Я хочу прокатиться один. Если без меня придет Марго — что вряд ли случится,— скажите ей, я вернусь примерно через час. А вас проводит Дэви.

— Спасибо, — сказала Вики, — я и сама дойду.

Вики и Дэви стояли молча, прислушиваясь к шуму мотора, постепенно затихавшему вдали. Дэви смотрел в сторону.

— Пустяки,— сказал он. — Кен всегда бывает не в духе, когда работа не ладится.

— Нет, — сказала Вики угасшим голосом.— Это не потому. И дело вовсе не в том, как идет работа, и даже не в деньгах.

— Ну, на девяносто девять процентов именно в этом.

— Нет, — спокойно и твердо возразила она. — Дело во мне. Я ему больше не нравлюсь.

— Это неправда, — не очень убежденно сказал Дэви. — На той неделе приезжает Бэннермен. Он дал нам три тысячи долларов, и мы их уже истратили. Прошлым летом мы предполагали, что к этому времени почти все будет закончено, а выходит, мы вроде и не начинали. Не думаю, чтоб Бэннермен дал нам еще. Он не отказал, но просто не ответил, когда мы просили выслать остальные деньги. Его могут расшевелить только результаты нашей работы, а что мы ему покажем? Ну и вот, поэтому в последнее время Кену никто не мил.

Вики покачала головой.

— Он даже не говорит со мной об этом. А раньше все рассказывал.

— Но о чем же рассказывать? Вы же тут. Вы сами видите, что происходит.

— У него есть другая девушка? — вдруг спросила Вики.

— Да где же ему взять времени на другую девушку? Мы работаем день и ночь. Сами подумайте, Вики.

— Если бы у него и появилась другая девушка, я, пожалуй, не стала бы его винить. О, что толку читать книги! — вдруг воскликнула Вики с отчаянием, прорвавшимся сквозь ее сдержанность.— В книгах все девушки так делают, и вам дается понять, что в этом нет ничего дурного; и я поступила бы так — сейчас-то уж наверняка, только ему уже все равно, он об этом ни словом не обмолвился после нашей ссоры.

Дэви смотрел на нее, и ему казалось, будто вся кровь постепенно уходит из его тела. В голосе Вики не чувствовалось ни желания, ни страсти, одна только боль; но она призналась вслух, что хочет принадлежать Кену, и одно это признание вдруг сделало ее доступной тем желаниям, в которых Дэви не смел сознаться самому себе. Он опустил глаза, чтобы скрыть сжигавший душу гнев.

— Какой ссоры? — глухо спросил он.

— Сразу после рождества, — ответила Вики. — Было очень поздно

и я... я просто не могла через что-то такое перешагнуть. О, я хотела перебороть себя, — сказала она страдальчески.— Я знаю про всех его других девушек, но просто я не могла — вот и все. А он рассердился, ему стало стыдно, в общем я понимаю, каково ему было. Я сама чувствовала себя так же. Но я так растерялась...

— Пожалуйста, не рассказывайте мне об этом!

Тон, каким это было сказано, заставил Вики побледнеть. Она хотела что-то ответить, но запнулась.

— Я никому не призналась бы, кроме вас, Дэви. Даже Марго. Мне было бы стыдно, — наконец выговорила она.

— Что вы от меня хотите? — вспыхнул Дэви. Ему было нестерпимо больно. — Хотите, чтобы я ему сказал, что вы передумали?

Вики застыла, глядя на него глазами, полными горькой обиды, которую гордость не позволяла высказать словами, обиды такой глубокой и чистой, что в нем шевельнулось тревожное сомнение, правильно ли он понял ее слова. Все же она произнесла их. Она была с ним предельно откровенной, но явно не понимала, как может воспринять ее слова мужчина, поэтому для себя она осталась той же Вики, какой была до этого разговора.

Вики поднялась с табуретки и огляделась, ища глазами свою книгу. Она аккуратно заложила страницу закладкой, но движения ее были медленны и неуверенны, как у слепой. Дэви не мог произнести ни слова — он чувствовал себя бесконечно виноватым. Он понимал, что сейчас творится в ее душе, но был не в силах сделать несколько шагов, отделявших его от Вики. Когда Вики, идя к двери, поравнялась с ним, он схватил ее за руку.

— Вики, — мягко сказал Дэви. Ее макушка находилась на уровне его губ.

— Пустите. — В голосе Вики слышались слезы. — Уже поздно.

— Еще не так поздно. Посмотрите на меня, Вики. — Он приподнял ее голову.— Не сердитесь на меня.

— Вы такой глупый!

— Вы тоже, — тихо сказал Дэви, слегка улыбнувшись. — Ну-ка, стукните меня. Да посильнее.

Вики попыталась высвободиться из его рук.

— Нет, серьезно, — настаивал Дэви. — Стукните изо всех сил.

Вики внезапным движением вывернулась и с мальчишеской точностью, не сгибая запястья, ударила кулаком ему в грудь. Лицо ее было строго, губы сжаты, но, как только удар был нанесен, строгость сменилась удивленным выражением. Вики слабо рассмеялась, глаза ее наполнились слезами.

— Вот вам, — сказала она.

Дэви потер грудь — Вики действительно стукнула его как следует. Он уже не улыбался.

— Вот и ладно, — сказал он. — Мы квиты. Хотите, поедем на трамвае в город и выпьем газированной воды?

— Нет, пойдемте пешком. Приятно пройтись по морозу.

Дэви смотрел, как она надевала пальто, и печально любовался грацией ее легких движений, чистой линией ее шеи. Он ощущал непонятное смятенье, точно где-то внутри у него застрял злобный крик. Вики, поправляя воротник пальто, говорила: — Но, Дэви, должна же я с кем-нибудь посоветоваться, как мне быть с Кеном.

— Боже мой, Вики, если девушка в таких случаях спрашивает, должна она решиться или нет, всякий ей скажет — нет.

Вики взглянула на него несколько озадаченно и вместе с тем со странным облегчением, потом медленно покачала головой.

— Я совсем запуталась, — вздохнула она, идя к двери. Через секунду лицо ее прояснилось и стало задумчивым. — Помните то место, когда Кристоф бежит в Женеву и встречается с женой доктора? — спросила она.

6

Бэннермен обещал приехать в Уикершем в пятницу, девятнадцатого февраля, и в этот день братья ждали его с утра, но он позвонил из Милуоки, что задерживается на совещании, которое, возможно, затянется на несколько дней. Разумеется, если Кен и Дэви, несмотря на стужу, захотят приехать к нему, он выкроит для них несколько часов.

— Но мы хотели показать вам, что у нас тут есть, — уныло сказал Кен в трубку. — Должны же вы знать, куда ушли ваши деньги! — Он взглядом попросил у Дэви помощи, но Дэви только передернул плечами и покачал головой.

— Уж, конечно, нет человека, который сильнее меня жаждал бы взглянуть на вашу установку, — рокотал голос Бэннермена.— Но, насколько я понимаю, вы еще не добились изображения, так что от моего присутствия мало толку. Ну ничего, вы мне все подробно расскажете. Если только, — с надеждой добавил он, — вы не согласитесь подождать до той недели.

Явное желание Бэннермена отложить встречу заставило Кена решиться.

— Мы приедем, — сухо сказал он. — Дороги скверные, поездка займет часа два, но мы все равно приедем. Вы в какой гостинице?

Кен повесил трубку и стоял, все еще держа на ней руку.

— Кажется, он хочет увильнуть,— задумчиво произнес Кен. Он обернулся и поглядел на «выставку», над которой они трудились три дня, чтобы создать у Бэннермена иллюзию, будто работа движется вперед. Нагромождение схем, стеклянных трубок и приборов выглядело очень внушительно, но все это должно было служить только фоном для повествования о неудаче. Кен был убежден, что энтузиазм Бэннермена можно подогреть, толково объяснив ему, на что потрачены деньги. Впрочем, в этой чисто декоративной выставке заключалось и нечто дельное. Дэви случайно нашел наиболее простой способ нанесения окиси цезия на сетку фотоэлемента в условиях вакуума; Кен до того пытался сделать это три раза, и все неудачно. Таким образом, Кен мог бы совершенно искренне заявить: «Мы бились над этой проблемой целых пять недель, но Дэви удалось найти решение. Вот этот стеклянный выступ будет служить источником рассеивания электронов. Дэви, покажи Карлу, как это будет происходить».

Кен еще раз взглянул на выставку и презрительно хмыкнул.

— Жаль, мы не догадались сфотографировать это — показали бы ему хоть снимок. Ну, давай соберем записи, оденемся и — в дорогу.

— Неужели ты всерьез собираешься ехать? — спросил Дэви. — Мы замерзнем и, чего доброго, угробим машину.

— А где мы возьмем денег на поезд? Захватим запасное колесо — и все.

Снег не выпадал уже давно, и сугробы вдоль дороги осели. День был синий, морозный, колючий. Кен и Дэви взяли с собой фетровые шляпы — для города, но в дорогу надели вязаные шапки, поглубже надвинув их на уши. Кен, кроме того, надел защитные очки. Низкий брезентовый верх хлопал над их головами, задевая помпоны вязаных шапок. Бо́льшая часть дороги была расчищена, и Кен вел машину с предельной скоростью, не обращая внимания на то, что колеса то и дело буксуют. Как они и предвидели, покрышка— левая задняя — села под

самым Шорвудом; кое-как им удалось добраться до гаража Гэрсона, а там им помог Энди Гэрсон — руки у обоих совсем закоченели после трехчасовой езды.

На улицах Милуоки лежало месиво талого снега. Остановившись у разукрашенного сосульками подъезда «Маркет-Отеля», возле Ист-Висконсин-авеню, Кен снял очки и поглядел на часы.

— В среднем сорок миль в час, — торжествующе заявил он.— И машина целехонька.

Они спрятали под сиденье вязаные шапки, шарфы и рукавицы и вошли в вестибюль. Уши и шею Дэви холодило ощущение непривычной наготы, он еле удерживался, чтобы ежеминутно не скашивать глаза на поля своей фетровой шляпы, проверяя, правильно ли она надета. Дэви настолько не привык к ощущению громоздкого равновесия шляпы, что боялся, не надел ли он ее задом наперед.

Портье сказал, что мистер Бэннермен сию минуту придет. Стоя в вестибюле среди пальм, сафьяновых кресел и деревянных панелей, Дэви осторожно снял шляпу и заглянул внутрь. Нет, шляпа была надета правильно, но ему не хотелось снова водружать ее на голову. Через пять минут спустился Карл Бэннермен, кругленький, жирный и, как всегда, оживленный, но глаза его были красны, словно от перенапряжения, и от него пахло сигарами и только что выпитым виски. Дэви почувствовал в нем еле скрываемое нетерпение.

— Садитесь, мальчики,— засуетился Бэннермен.— Давайте устроимся поуютнее, вон в том уголке. Я бы пригласил вас в номер, но там совещание в самом разгаре — такая идет перепалка! Ну, что скажете хорошенького?

— Дело понемногу движется, — начал Кен. — Кое в чем быстрее, чем мы ожидали, а кое в чем и медленнее. Время — вот что нам нужно.

Бэннермен кивнул, и Дэви подумал: быть может, этот кивок означает подтверждение невысказанной мысли, что он, Бэннермен, ввязался в пропащее дело.

— Еще бы, — сказал Бэннермен. — Ваш проект оказался куда более сложным и трудным, чем вам вначале казалось. Я так и предполагал.

— Но мы справляемся, — торопливо возразил Кен. Волосы его, примятые шерстяной шапкой, лежали гладко, новая рубашка, галстук и костюм придавали ему, как казалось Дэви, мужественный и деловой вид. Дэви поправил свой галстук, сокрушаясь о том, что ему так неловко в этом выходном костюме. Он посмотрел на Кена — тот, повидимому, чувствовал себя так же непринужденно, как в рабочем комбинезоне. Кен с жаром рассказывал Бэннермену о положении дел, перечисляя все этапы проделанной работы. Каждый этап в свое время давался Дэви с огромным трудом, а по словам Кена выходило, что все это было лишь увлекательным приключением. А как они были изобретательны! Дэви слушал Кена, и в воображении его вставали сосредоточенно проницательные, волевые лица двух молодых серьезных исследователей; они вдумчиво работают, хмуря брови, никогда не тратя времени и труда зря, никогда не раздражаясь, не отвлекаясь ничем посторонним. Дэви даже преисполнился уважением к себе. Он решил, что, если Бэннермен предложит ему сигару, он обязательно возьмет.

Бэннермен сигары не предложил. Он только кивал головой, с глубокомысленным видом глядя на записи и чертежи, которые Кен бросал перед ним на стол.

У Дэви появилось тревожное ощущение, что Кен как-то незаметно восстанавливает Бэннермена против них и их работы, а тот коварно наматывает на ус каждое слово, чтобы потом утопить их обоих.

У столика остановился коридорный, скромно кашлянув, чтоб привлечь к себе внимание.

— Из вашего номера позвонили насчет новой колоды карт, мистер Бэннермен. Прикажете подать?

Бэннермен кивнул, и тогда только до него дошел смысл этих слов. Он побагровел, вытащил из бумажника доллар и, ловко согнув его вдоль, сунул коридорному.

— Вы только не подумайте, ребятки, что там идет картеж, а не совещание, — сказал он, отдуваясь. — Надо же отдохнуть, понимаете.

Дэви понял, что Кен так и не сообразил, в чем дело, и чуть было не спросил: «Вы так всю ночь отдыхали, Карл?»

— Факт тот, — продолжал Бэннермен, отпихивая от себя бумаги, — что я вижу — вы, ребятки, убеждены в своей правоте. Меня это устраивает. Чрезвычайно устраивает. Надо вам сказать, я в вас обоих крепко верю и очень ценю, что вы приехали сюда и все это мне рассказали. Глубоко ценю.

Дэви знал, что Бэннермен еще не договорил всего, но тут вмешался Кен. — Это очень приятно, Карл. Мы так и думали, что вы готовы поддержать нас.

Лицо Бэннермена выразило удивление. — Почему же вы так думали?

— Вы обещали нам субсидию в размере пяти тысяч долларов, а мы получили только три. Мы сидим без гроша, Карл. Мы с Дэви берем, сколько можем, из нашего жалованья.

— Рад, что вы заговорили об этом, Кен. В этот вопрос необходимо внести ясность, — сказал Бэннермен, и от его тона сердце Дэви упало.— С деньгами у меня сейчас туго, и давно уже туго. Может, через неделю или две дела немножко поправятся. Вот сейчас я вас слушал, и мне пришло в голову, что вы, детки мои, здорово ошиблись в расчетах. Здорово ошиблись. — Он похлопал себя по карманам, ища сигары, и, не найдя, поманил рукой рассыльного.

— «Корона»? — спросил тот с таким видом, будто столько раз выполнял заказы мистера Бэннермена и настолько изучил все оттенки вкусов мистера Бэннермена, что это связало их интимными узами.

— Как всегда, — кивнул Бэннермен. — Я как раз собирался сказать,— продолжал он,— что нам необходима финансовая поддержка со стороны. Какой смысл ковылять от доллара к доллару? Вы не в состоянии работать как следует, а у меня такое чувство, как будто я гублю ваш замысел. Нам нужны тысячи, десятки тысяч.

— Это же по вашему ведомству, не так ли? — спросил Кен. В голосе его звучала тревога.

— Безусловно. Вам не о чем беспокоиться. Факт вот в чем... простите, что я повторяюсь... берите сигары, пожалуйста... спичку надо подносить снизу, Дэви, снизу!.. Итак, факт вот в чем: мне хорошо известно, что с деньгами затруднений не будет. Расскажите о вашей идее любому человеку, у которого есть хоть на грош соображения, и он сойдет с ума. Вас забросают деньгами. Вы говорите, что вам нужны деньги, — я иду и достаю вторые восемь тысяч в один момент! Это не проблема, повторяю, все дело только в распространении информации...

— Вторые восемь тысяч? — переспросил Дэви, видя, что Кен пропустил эти слова мимо ушей. — Куда же девались первые?

— Как «куда»? — растерянно спросил Бэннермен.

— Вот именно, куда?

— Ах, да! Факт тот, что я продал часть своей доли. Дэви, так же пропадает весь вкус сигары! Она у вас горит только с одной стороны. Поверните ее, мальчик, поверните... вы же втягиваете воздух, а не хороший

табак. Так вот, об этом деле. Да. Я кое-кому рассказал о том, куда я вложил свои деньги, и люди заинтересовались. Это мои друзья, старые друзья, и я счел своим долгом сделать так, чтобы и они немножко попользовались. Не беспокойтесь ни секунды. Считайте их моими компаньонами, они войдут в дело на свой страх и риск.

— Но они и наши компаньоны тоже! — сказал Кен.

— Ничего подобного, они — члены моего синдиката.

— Погодите, Карл, вы же не имеете права...

— Нет, я имею право, — заявил Бэннермен с учтивой категоричностью, говорившей о том, что он не собирается отступать ни на дюйм.— Захочу — могу продать всю остальную долю. В нашем контракте это не предусмотрено. Черт возьми, интересно, что бы вы запели, если б я сказал, что вы не имеете права продать часть своей доли, чтобы сколотить добавочный капитал? Кстати, не понимаю, почему бы и вам не загнать какой-то процент своей доли?

— Но что же случилось с теми восемью тысячами? — спросил Дэви.

— Кажется, я их истратил, — засмеялся Бэннермен. — Факт тот, что, кроме шуток, деньги пришли в такое время, когда я был в долгу, как в шелку, а вы ничего не просили.

— Разве половина денег не принадлежала нам? — спросил Кен. В нем боролись злость и нежелание ссориться с Бэннерменом.

— Нет, — сказал Бэннермен уже гораздо менее любезно. — Мы делим пополам все доходы от изобретения. Мы не делим пополам деньги, вырученные от продажи моей собственности. Вам нужны деньги — продавайте свою долю, я знаю несколько предприимчивых капиталистов, которые с радостью ее купят. Радиоакции за последний год подскочили на пятьдесят процентов: главные вкладчики начинают понимать, что эта промышленность крепко стоит на ногах. Через несколько лет она развернется еще шире. У нас в руках пирог, от которого можно отрезать сколько угодно, был бы лишь нож, а каждый его кусок — чистое золото, и...

— Слушайте, Карл, — тихо сказал Кен. — Вы тут наболтали бог весть что. Я знаю, если мы с Дэви добудем денег, продав часть своей доли, то эти деньги будут вложены в изобретение, то есть мы поделим их с вами. Дальше, то, что вы продали свою долю, не посоветовавшись с нами, нарушает принципы контракта. И вы это знаете. Вы идете напролом. Насколько я понимаю, вы, не задумываясь, продадите нас обоих, если вам дадут хорошую цену. Конечно, мы сами виноваты, мы позволили вам составить удобный для вас контракт. Но каков бы он ни был, вы его условия выполните. Вы обещали нам пять тысяч долларов, значит, мы должны получить еще две. Вместо того чтобы, как вы обещали, приехать к нам в мастерскую, вы там наверху дуетесь в карты. Дело ваше. Нам нужно получить с вас две тысячи долларов — вот и все. Пошли, Дэви.

Бэннермен пристально поглядел на него. — Кен, — сказал он обвиняющим тоном, — вы сердитесь.

— Вы дьявольски правы, я сержусь. Мы с Дэви ломаем себе голову не для забавы. Даже считая те три тысячи, что вы нам дали, у вас в выигрыше остается пять тысяч. Сто шестьдесят процентов прибыли. Какого черта вы еще жалуетесь!

— Ну, ну, мальчики, сядьте. Сядьте, пожалуйста. Я не отпущу вас в таком состоянии. Это отразится на вашей работе. Я отлично знаю творческих людей: со столькими актерами работал, как не знать. Ну, допустим, у меня и вправду есть кое-какие недостатки. А у кого их нет? Факт тот, мальчики, что вы накануне огромного богатства, а между тем вы все никак не привыкнете к большим цифрам. Что такое две тысячи долларов? Что такое восемь тысяч? Ерунда! Речь идет о предприятии, которое принесет много миллионов долларов дохода; через несколько лет ваш счет

за сигары будет равняться двум тысячам долларов. Дэви, побойтесь бога, вы испортили сигару!

— Брось эту чертову сосульку! — рявкнул Кен, вырывая сигару из пальцев Дэви. — Вы слышали, что я сказал, Карл. Две тысячи долларов.

— Вы не хотите тут позавтракать?

— Здешние завтраки нам не по карману, — буркнул Кен. — Денег у нас еле хватит на бензин, чтоб добраться домой.

Дэви встал и, прежде чем надеть шляпу, заглянул в нее. Вслед за Кеном он пошел к машине; они молча поехали к дешевой закусочной на другом конце города. Потом натянули вязаные шапки, надели шарфы и варежки и пустились в обратный путь. До Уикершема они добрались благополучно, всего один раз чуть не попав в катастрофу.

На следующий день они получили письмо от Бэннермена с чеком на пятьсот долларов, обернутым в записку, которая гласила: «Никогда не выходите из себя по пустякам».

Дэви взглянул на записку и передал ее Кену.

— Он все еще тебя интригует? — кисло усмехнулся Дэви.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Три недели спустя последняя зимняя вьюга вихрем вздыбила унылое белое пространство вокруг сарая. Железная печка накалилась докрасна, две гудящие керосинки дышали жаром, и все-таки Кену и Дэви во время работы приходилось натягивать на себя по нескольку свитеров.

Они лихорадочно спешили, стараясь обогнать время, ибо снова остались без гроша. Почти половина денег, в последний раз полученных от Бэннермена, ушла на неоплаченные счета, остальное они взяли себе, так как давно не получали жалованья. Эти деньги тоже пошли бы на нужды мастерской, если б не Марго, настоявшая на уплате срочных хозяйственных долгов. Однако через их руки прошло уже больше трех тысяч долларов. Эта сумма казалась Дэви целым состоянием. Он проверил все счета, чтобы посмотреть, куда же уплыли эти деньги. Кен написал Бэннермену, но ни он, ни Дэви не возлагали на Бэннермена особых надежд. Нужда доводила их до отчаяния, и выход был один — стараться успеть как можно больше до того, как наступит окончательный крах.

Сейчас они бились над чисто технической проблемой: надо было покрыть светочувствительным веществом одну сторону сетки —такой тончайшей, что она казалась кружочком серебристо мерцавшего тумана. Этот процесс должен был происходить под вакуумом. Весь предыдущий день ушел на то, чтобы убрать все газообразные примеси из двенадцатидюймовой трубки. Дэви с огромной осторожностью разобрал электрическую печь, в которую была заключена трубка. Пальцы его коченели от холода, а малейшая неловкость могла оказаться роковой. Давление внутри трубки сейчас было сведено до одной стотысячной доли атмосферы. Когда оно упадет еще ниже — до одной миллионной доли, — Кен включит крохотную электрическую печь, которая расплавит и распылит по сетке микроскопическую каплю светочувствительного металла.

Каждые пять минут Дэви прекращал разборку печи и шел снимать показания ртутного манометра Мак-Леода. Работа требовала величайшей осторожности; глаза его ломило от напряжения. В тишине слышалось ритмичное постукивание вакуум-насоса. Кен молча следил за Дэви, стоя наготове у рукояток управления.

— Ну-ка, погляди на манометр еще раз, малыш, — нетерпеливо приказал Кен. — Сейчас уже все должно быть готово.

Дэви потер застывшие пальцы о грудь, стараясь вернуть им чувствительность. Любой стопорный кран, если его повернуть в неправильном направлении, пошлет в аппарат упругую массу воздуха — и это будет такой же катастрофой, как если бы ударить по трубке молотком.

Дэви медленно повернул кран номер один. Ртуть в манометре Мак-Леода поползла вверх, превращая стеклянный минарет в серебряный; наконец, ниточка жидкого металла, перескочив через все деления, помчалась по капилляру и уперлась в самый верх; послышалось тихое, но отчетливое «тук!» Манометр не улавливал воздуха во всем приборе. Давление было меньше одной десятимиллионной доли атмосферы.

В спину Дэви неожиданно ударила струя холода — он догадался, что кто-то открыл боковую дверь, но не мог обернуться, пока вся ртуть не стечет обратно в резервуар. Он вопросительно взглянул на Кена, но тот не отрывал глаз от рукояток управления. Дэви быстро взглянул через плечо и увидал мужчину в тяжелом пальто и меховой шапке, который молча наблюдал за ними.

— Мы заняты, — бросил Дэви. — Зайдите попозже.

Человек помолчал, потом принужденно рассмеялся. Видимо, он не привык к такому обращению.

— Меня зовут Брок, — сказал он и в качестве пояснения добавил: — Я из банка.

— Вы пришли не во-время, — ответил Дэви, снова нагибаясь над испарителем.

— Следи за манометром, ты снизил на три миллиметра лишних, — сказал Кен. Он не желал ни видеть, ни слышать ничего, что выходило за пределы телемикроскопа. — Мы к вам зайдем потом, мистер Брок. Когда будете выходить, пожалуйста, не хлопайте дверью. Мы должны избегать всякого сотрясения.

— Не возражаете, если я просто посмотрю? — Настойчиво любезный голос Брока донесся с того же самого места.

— Ладно, — буркнул Кен и тотчас же забыл о присутствии постороннего. Распыляющий прибор был величиной с кончик карандаша. При помощи специального механизма он медленно опускался сквозь воздушную камеру. Кен следил за его еле заметным движением через телемикроскоп, пока, наконец, прибор не принял правильного положения.

— Не включай ток, — сказал Кен, отодвигаясь от инструмента. — Сделаем перерыв и узнаем, чем мы можем служить мистеру Броку.— Он взглянул в сторону двери и продолжал тем же резким тоном: — Так чем же, мистер Брок?

— Вы, например, могли бы рассказать мне, что вы делаете, — слегка улыбнулся Брок. Дэви наконец рассмотрел его как следует. Это был человек лет за пятьдесят, с хитрым лицом, лысый и худощавый, как оказалось, когда он сбросил громоздкое пальто. На нем был добротный костюм из толстой шерсти, а на золотой часовой цепочке болтался зуб лося. Брок подошел ближе и, повидимому, был разочарован тем, что они прекратили работу. — В банк поступил запрос насчет вас, и я решил посмотреть, как у вас идут дела.

— Мы никому ничего не должны, — сказал Кен. — Дней десять назад мы начисто расплатились со всеми.

— Нет, это запрос другого рода, — ответил Брок. Улыбка его была холодна. — Дело в том, что кое-кто приобрел часть доли в вашем изобретении и хочет убедиться, что тут нет жульничества. Понимаете, это недопустимо в городе, где почтенные коммерсанты ведут дела не только с помощью местных капиталов. Но если то, что тут происходит, не настоящая работа, тогда уж это такое ловкое мошенничество, какого свет не видывал.

— Мы верим в свое дело, — просто сказал Дэви.

— Вижу, что верите, — согласился Брок. — Насколько мне известно, вы приходили ко мне в июне, когда я был в отъезде. Почему вы не зашли еще раз?

— Да незачем было, — сказал Кен; ему не терпелось снова взяться за работу. — Нашли другого человека и вошли с ним в соглашение.

— Да, с Бэннерменом.

— А вы его знаете? — спросил Дэви.

— Встречал, — сухо произнес Брок.

— Мы не пришли в банк еще и потому, — добавил Дэви, — что не были уверены, заинтересуетесь ли вы этим делом. Банки консервативны, а тут все же риск, по крайней мере был тогда.

— А теперь — нет? — спросил Брок. Он обвел глазами извивающиеся трубки насосной системы. — Значит, дело налажено?

— Нам пока нечего демонстрировать, — сказал Кен, стремясь поскорее отвязаться от расспросов. — Впереди еще уйма работы. Передайте вашему клиенту, что мы с братом достаточно обеспечены и можем двигаться дальше.

Брок пожал плечами — он был слегка раздосадован тем, что его так решительно отстраняют. — Ну, ничего не поделаешь, — вежливо сказал он, беря свое пальто. — Но мне хочется, чтобы при случае вы вспомнили обо мне. Очень жаль, что вы не зашли еще раз. Риск привлекает банкиров не меньше, чем прочих людей.

— Может, на днях мы к вам заглянем, — пообещал Дэви.

— Не трудитесь. — Брок вновь обрел хладнокровие. — Я, безусловно, заинтересован вашим изобретением. Мне, разумеется, уже рассказали, в чем оно заключается. Но вам вряд ли понадобится моя помощь, пока у вас есть ваш Карл Бэннермен. Ну, всего хорошего.

— Погодите, — сказал Дэви. — Вы нас спрашивали, а мы отвечали. Теперь вы должны ответить нам. Что вы имеете против Карла Бэннермена?

— Ничего,— сказал Брок.— Я очень хорошо отношусь к Бэннермену. Наш банк ведет кое-какие дела для цирка, когда он приезжает в город. Но по чисто личным соображениям я предпочитаю не быть ни компаньоном, ни пайщиком в его деле.

— Давайте-ка расшифруем это, — вмешался Кен. — Можно ли вас понять так, что вы не прочь принять участие, если Карл не будет портить пейзажа?

Брок не спеша надел свою круглую меховую шапку и немного подумал, не снимая руки с дверной ручки.

— По-моему, лучше не расшифровывать, — сказал он. — Никогда нельзя встревать между мужем и женой — то же самое и между компаньонами.

— Предположим, муж умер, — сказал Дэви. — Женились бы вы на вдове, если бы она представляла для вас интерес?

Брок взглянул на него.

— А вдова не отравила мужа?

— Нет. Вероятнее всего, он умер от несходства темпераментов, — засмеялся Дэви. — Или покончил самоубийством.

— Тогда, пожалуй, я бы ее взял, — коротко сказал Брок и вышел.

Кен и Дэви молча прислушались. Если Брок приехал на машине, значит, вой метели заглушил шум мотора.

— Что ты об этом думаешь? — наконец спросил Дэви, поворачиваясь к брату.

— Чушь! — пожал плечами Кен. — Давай работать.

Час проходил за часом, а они все работали. В половине пятого печь

и стеклянная перегородка были вынуты из лучевой трубки, и братья устроили пятиминутный перерыв.

Метель, должно быть, утихла уже несколько часов назад. Угрюмое зимнее утро перешло в весенний вечер. В ясном небе светило солнце, снег лежал круглыми белыми лоскутами на влажной земле. Термометр показывал три градуса тепла.

— Вот и еще год промчался, — вздохнул Кен. — Может, через год уже кончатся наши муки.

— Ты так и не ответил на мой вопрос, — напомнил Дэви.

С утра они обменялись тысячью вопросов, но Кен безошибочно угадал, что имеет в виду Дэви. И все же Кен заколебался.

— А ты сам что думаешь? — спросил он.

— Думаю, что нам следует отделаться от Карла, — сказал Дэви. — Он не выполняет своих обещаний. Мы, правда, тоже, но это не от нас зависит. А он использует нас, как дутые мексиканские золотые россыпи, чтобы втереть очки простакам; с ним мы наживем беды. По-моему, нужно его бросить как можно скорее, пока он не бросил нас.

— И у тебя хватило бы духу? — спросил Кен. Он смотрел на Дэви с тем же выражением, как во время выпускного экзамена в июне: недоверчиво, испуганно, восхищенно и даже растерянно — слишком уж разнился характер Дэви от его собственного характера. Но тут же Кен сдвинул брови: — Нет. Он пришел нам на помощь, когда мы в нем нуждались, и бросать его — просто свинство. Раз мы знаем, на какие штуки он способен, мы всегда можем приготовиться заранее.

— Ты обманываешь себя, Кен.

Но Кен покачал головой. Он не станет спасаться паническим бегством.

— Надо, чтобы все было достойно, — сказал он. — И Марго будет на моей стороне. Вот увидишь!

— Не понимаю, — сказал Дэви. — Ты часто поступаешь с людьми так, что у меня все нутро переворачивается, а когда нужно сделать совершенно необходимый шаг, чтоб иметь возможность работать, как мы задумали, то у тебя, видите ли, волосы встают дыбом. Нет, я, по крайней мере, знаю, чего хочу, и переверну небо и ад, а своего добьюсь!

— Меня ты не перевернешь.

— Думаю, это и не понадобится, Кен, — медленно сказал Дэви. — Потому что, если ты будешь продолжать в том же духе, ты скоро сам сойдешь с моего пути!

2

А в это время Марго была всецело поглощена мрачными мыслями о своей судьбе. В первый раз за много месяцев она возвращалась домой на трамвае.

Она сидела у окошка и смотрела, как весенние сумерки опускаются на талый снег. Впереди седой вагоновожатый раскачивался всем своим грузным туловищем на стульчике, похожем на гриб-поганку. Марго перехватила взгляд, который он, приветливо улыбнувшись, бросил на нее через плечо.

— Я все стараюсь припомнить, когда же это я вас в последний раз вез, — обратился он к Марго.

— Я тоже, мистер Тухи, — солгала Марго: мысленно она была на другом конце города, в конторе завода, куда доносился шум машин, одна за другой постепенно смолкавших к концу рабочего дня. Быть может, ей уже никогда не придется слышать этот гул и грохот, и сейчас она с тоской вспоминала о кипучей атмосфере завода.

Над улицей, обгоняя трамвай, бежали низко нависшие телефонные провода, и Марго жадно надеялась, что в эту минуту по ним несется злой, удивленный голос, допытывающийся, где она. «О боже, — горестно думала Марго, — нет у меня силы воли вести эту игру, я просто дура, я перегнула палку». Но внешне лицо ее было равнодушно спокойным.

— Помню, вы бывало работали у колонки, вот как сейчас вас вижу. Такая занятная девчоночка с косичками, в мужских брюках. Будто это было только вчера. Зато теперь вы выглядите настоящей дамой...

А Марго про себя с горечью договорила: «...что бы там ни сплетничали насчет того, что вы путаетесь с этим Волратом». Но все равно, старик славный.

— Вы попрежнему служите на авиационном заводе? — спросил он.

— Нет, — сказала Марго и удивилась тому, как ровно звучит ее голос. — Я вернулась в магазин.

— Да не может быть! — невольно обернулся вагоновожатый. — И давно?

— С сегодняшнего дня. — Марго встала и прошла к двери. — Передайте привет миссис Тухи.

— Обязательно передам. — Вагон остановился как раз напротив гаража. — Мальчиков тоже совсем не вижу, у них вечно дверь на запоре. Ходят слухи, будто они там делают миллион долларов. Это правда?

— Каждому человеку хочется сделать миллион, — ответила Марго.

Она надеялась, что, открывая дверь, услышит телефонный звонок, но в мастерской было тихо. Прибор, поблескивавший своими сложными и непонятными деталями, показался ей очень внушительным. В последнее время она поражалась той авторитетной уверенности, с какой мальчики держались во всем, что касалось их работы. Для нее они попрежнему оставались сорванцами в штанах из чертовой кожи, горластыми, вечно приставшими к ней то с одним, то с другим. И только в такие моменты, как сейчас, когда ей казалось, что время мчится слишком быстро, она вспоминала, что каждый раз, когда она, на минуту отвлекшись от своей личной жизни, оглядывалась на братьев, они становились все взрослее, басовитее, солиднее. Сейчас они готовили в кухне обед: там журчал спокойный голос Дэви и что-то кратко возражал ему басок Кена. И, как всегда, когда Марго слышала голос Кена, ее охватило чувство вины за то, что она совсем его забросила, сожаление о его былой любви и непонятное раздражение, словно он в чем-то стал ей поперек пути.

Она открыла дверь и на секунду остановилась, скованная невероятной усталостью.

— Ничего, если мы опять сделаем рыбные котлеты? — обратился к ней Дэви. Он сидел у стола, на котором четырехугольником были разложены белые шарики.

— Да черт с ними, с этими котлетами, — сказал Кен, разогревавший на плите сковородку. — Слушай Марго...

— Мне никто не звонил? — перебила его Марго.

— Нет, — сказал Дэви. — Марго, нам надо с тобой посоветоваться.

— Ох, оставьте меня в покое! — огрызнулась Марго, в то же время виновато сознавая, что, несмотря на все свои добрые намерения, она опять отталкивает от себя братьев. Нужно немножко выждать, про себя оправдывалась она, выждать и посмотреть, как сложится ее собственная жизнь. Она прошла в свою комнату, оставив позади себя ошеломленное молчание. Как дети, с горечью подумала Марго, как дети, которые, играя в пятнашки, носятся вокруг матери, озабоченной неоплаченными счетами, а когда она дает им шлепка, недоумевают и обижаются.

Марго приоткрыла дверь. — Поговорим немного погодя, — сказала она и бросилась на кровать.

«И зачем мне понадобилось искушать судьбу?» — спрашивала она себя с тоскливым недоумением. С рождества она только раз нарушила свой обет, требовавший большого самоотречения; и после третьего отказа Дуг совсем перестал настаивать.

— Хочешь быть только секретаршей — пожалуйста, пусть будет так, — сказал он. — Я этого не понимаю, но мне некогда тебя отговаривать.

Марго была отличной секретаршей и быстро освоилась со всеми разветвлениями деятельности Дуга. Если бы порой она не ловила на себе его особенный взгляд, она могла бы подумать, что Дуг совсем забыл об их прежних отношениях, тем более, что с некоторых пор он стал всюду появляться в обществе этой блондинки — м-с Копф. В Загородный клуб Дуг обычно ездил с нею и ее мужем. Однажды м-с Копф явилась на завод; на ней был вязаный костюм цвета беж, плотно облегавший ее тонкую, вертлявую фигурку. У м-с Копф был яркий природный румянец и голубые влажные глаза. Как-то раз, когда Марго сидела у Волрата и покорно писала под его диктовку, м-с Копф ворвалась с таким видом, будто весь дом принадлежал ей. Случилось ли это с ведома Дуга, или нет, но Марго была уверена, что он пригласил ее работать к себе домой специально затем, чтобы показать, что он ровно ничего не теряет.

Несколько раз она ходила с Мелом Торном в новый кабачок под названием «Шато», где, как говорили, бармен был из Нью-Йорка, а оркестр в составе шести человек — из Чикаго. Когда Мел шепнул ей на ухо, что бар содержат четыре бутлегера, по телу ее поползли мурашки, будто она совершила нечто противозаконное. Мел был одиноким и не очень счастливым человеком. С горячей убежденностью он доказывал Марго, что прошлая война была сущей нелепостью и что немецкие летчики — изумительные ребята. В начале войны, в девятьсот четырнадцатом—пятнадцатом годах, все летчики — и французы, и англичане, и немцы — знали друг друга по довоенной выставке и по авиационным состязаниям: в те времена летчики не стреляли друг в друга, это потом началось безумие.

К несчастью для Торна, его ухаживания, как и предвидела Марго, оказались слишком робкими. В разговоре он, как бы желая придать больше убедительности своим словам, дотрагивался до ее запястья и часто не сразу убирал руку. Однажды он постучал себя по колену указательным пальцем, затем наклонился вперед и будто по рассеянности постучал по колену Марго. Она поглядела ему прямо в глаза и пробормотала: «Да что вы говорите!» Торн явно робел перед ней; он ограничивался жадными, но неуверенными прикосновениями, словно ожидая, что она сама сделает следующий шаг. «Ну нет, — думала Марго, — пусть сперва докажет, что этого ему мало».

Она решила оставить службу на заводе только потому, что не знала, как иначе отступиться от данного Дугу обещания. Тоска по нему не давала ей спать по ночам, но, зная его характер, она понимала, что, уступив ему по своей воле, совершила бы непоправимую ошибку. Работа ей нравилась, но, поразмыслив, она убеждалась, что любовь к Дугу перевешивает все остальное, а удержать и работу, и Дуга ей не удастся. Такова уж его натура. И вот сегодня, без всякого предупреждения, приведя в порядок дела, она заявила Мелу — все-таки не Дугу, а Мелу, — что берет расчет, и ушла с завода. Теперь все зависит от Дуга, а он до сих пор не звонит, не торопится выяснить, что случилось.

В кухне опять послышались низкие голоса братьев; они разговари-

вали вполголоса, будто считали ее больной, и это еще больше усилило ее раздражение. Кажется, они говорили о Бэннермене. Марго вздохнула и поднялась. Нечего киснуть — этим не поможешь. Ей уже не было страшно: нервы, видимо, успокоились. Она открыла дверь и вошла в кухню.

— Давайте ужинать, — отрывисто сказала она. — Как там ваши рыбные котлеты?

Дэви смотрел на нее с еле заметной улыбкой.

— Я на твоей стороне, Марго, — сказал он. — Что бы ни случилось.

Марго ответила ему взглядом, в котором была молчаливая благодарность и легкая насмешка над самой собой.

— Очень возможно, что я окажусь величайшей дурой на свете. Я тебе тогда скажу.

— Что ты ему скажешь? — спросил Кен. Он стоял у плиты, накладывая на тарелки котлеты и макароны. — В чем дело?

— В Бэннермене, — не задумываясь, ответил Дэви. Он принялся рассказывать сестре об утреннем посещении Брока и о том, что значит для них приобрести поддержку банка. Но Кен упрямо стоял на своем — надо пристыдить Бэннермена за такое безответственное отношение.

— Мы докажем этому типу, что мы лучше его, — сказал Кен. — Пусть-ка он выкручивается как знает. А мы будем держаться своего слова. Как по-твоему, Марго?

— Я не слушала, — помолчав, призналась она.

— Скажи правду, ты не больна? — допытывался Кен.

— Нет, я здорова. Дело в том... — Она не успела договорить: раздался телефонный звонок.

Дэви увидел, как вдруг побледнела Марго. Но не двинулась с места.

— Подойди, Дэви, — еле слышно попросила она.

Дэви взглянул на Кена, встал и пошел в мастерскую, не закрыв за собою дверь. Это был Волрат, в голосе его чувствовалось замешательство, как всегда, когда ему приходилось называть Дэви или Кена по имени. Чаще всего он говорил: «Хелло, ваша сестра дома?»

— Тебя, Марго, — сказал Дэви. И когда Марго пошла к телефону, он и Кен молча сели у стола. Лицо у Кена было застывшее и суровое. Он прислушивался к тому, что говорила Марго, и даже не скрывал этого.

— Да,— доносился голос Марго из пустой мастерской.— Мел в точности передал вам то, что я просила... хочу уйти — вот и все... Нет, вы ничего такого не сделали и не сказали — работа мне очень нравится...— Тон ее становился все холоднее и холоднее. — Так я считаю нужным... Ну, значит, вы забыли, что я сказала, когда поступала к вам на службу. — Наступила пауза, потом раздался мягкий смех. — Очень возможно, что поэтому... Да, но ты же сам давно уже не заговаривал об этом... — Она снова засмеялась, и в смехе ее звучала такая нежность, что глаза Кена стали непроницаемыми. Он вскочил и захлопнул дверь в мастерскую.

— Боже мой, она разговаривает с ним, как с близким человеком! — Он зашагал по кухне, еле сдерживая бешенство. — Что нам с ней делать, Дэви? Что нам делать?

— Да ничего. — Дэви спокойно смотрел на брата. — Ровным счетом ничего. Почему мы должны вмешиваться?

Кен изумленно взглянул на него сверху вниз.

— Слушай, ведь она — твоя сестра! Неужели для тебя это безразлично?

— Абсолютно безразлично. Она — моя сестра. Хорошо. А Вики —

тоже моя сестра? — В голосе его задребезжали жесткие нотки. — Прикажешь и об этом беспокоиться?

Кен приоткрыл рот. — Слушай, мы с Вики никогда... Она — единственная девушка, которую... Да при чем тут вообще Вики?

Дэви стоило только вспомнить о Вики, чтобы понять, какие чувства взволновали Кена, когда он услышал нежный смех Марго; но ему было ничуть не жаль Кена — сейчас он его ненавидел. И, должно быть, ненавидит уже давно, все эти трудные месяцы. Дэви опустил глаза, но, даже если б он совсем зажмурился, ему не удалось бы скрыть от себя эту мучительную правду.

Вошла Марго; щеки ее разгорелись, глаза блестели.

— Ну, что ж, теперь все в порядке? — с угрюмой насмешкой спросил Кен.

— Все прекрасно. Я больше там не работаю.

— Что ты выдумываешь? Стала бы ты так ворковать, если б ушла от него!

— И все-таки я ушла оттуда.

— Но почему? — К злости его примешивалось удивление.

— Почему? — Марго замялась, потом вдруг вспыхнула. — Неужели так трудно понять, что я не желаю брать деньги у человека, с которым предпочитаю чувствовать себя свободно и поступать как мне нравится?.. Ну ладно, садитесь и давайте ужинать.

— Я его готовил, этот ужин, а есть не обязан! — в запальчивости выкрикнул Кен уже явную бессмыслицу. — Деньги? Всю жизнь твоим единственным стремлением были только деньги. В детстве ты играла в богатство, как другие девочки играют в куклы.

— Кен, прекрати! — Казалось, Марго вот-вот расплачется.

— И не уверяй, будто ты это делаешь ради нас, — продолжал Кен. — Ты нас стыдишься. Каждую свою девушку я приводил сюда знакомить с тобой, и Дэви тоже. А ты хоть раз привела его к нам или нас к нему? И все из-за его паршивых денег! Ну ладно, раз так — я докажу, что мы в его деньгах не нуждаемся. Через два года мы будем по уши в деньгах, как и он. К черту всякие приличия! И к черту сентименты! Мы выставим Карла в один момент, он и опомниться не успеет. Мы используем Брока, а потом и его турнем ко всем чертям. Не бойся, тебе не придется нас стыдиться. Мы дадим тебе то единственное, что ты способна любить, чему ты можешь предаться душой и телом...

Дэви, почти не помня себя, выскочил из-за стола и схватил Кена за ворот.

— А ну, перестань! — крикнул он. — Это же твоя родная сестра, о которой ты обязан заботиться! Еще слово — и ты получишь в зубы!

Кен растерянно замолчал, ошеломленный неожиданной яростью Дэви, который в эту минуту не только заступался за Марго, но и готов был убить его за Вики.

Тяжело дыша, Кен высвободился из рук Дэви и сел на место. Его охватил такой стыд, что он не мог поднять глаз. Набив полный рот котлетой, он жевал медленно, как ребенок, еле сдерживающий слезы. Через секунду он схватил свою тарелку и сорвался с места.

— Котлеты совсем остыли, будь они прокляты, — сказал Кен, повернувшись спиной к Марго и Дэви. — Кто хочет горячих — могу заодно подогреть.

Никто не ответил. Кен стоял у плиты и молча плакал над шипящими на сковородке рыбными котлетами.

3

Контора адвоката Стюарта помещалась в одном из закоулков Дома администрации штата. Это была маленькая тесная клетушка, для которой два просторных окна, выходящих на площадь, служили спасением,— иначе стены давно разлетелись бы на куски под напором сгущенной атмосферы гнева и обид. Из местного Капитолия, находившегося по другую сторону площади, сюда забегали политики потолковать о том, по чьей указке Джон сегодня выступил так, а не иначе, или о том, что, хотя старый Чарли — симпатяга и, безусловно, стоящий парень, все же на его место в округ необходимо посадить этого паяца на веревочке.

Здесь член приходского управления церкви святого Варравы, человек среднего возраста, поносил последними словами своего покойного отца, оставившего наследство младшему сыну, прижитому от потаскушки, с которой он обвенчался на склоне лет; здесь некий делец выбивался из сил, стараясь вдолбить вдове своего компаньона, что она не имеет никаких прав на долю своего мужа в фирме, но что он, пожалуй, мог бы уделить ей на бедность пятьсот долларов. «Пожизненно?» сердито спрашивала вдова. Стюарт, сын фермера, много лет живший на диэте злобных страстей, превратился из юного чернявого клерка в черствого седовласого мужчину. Только слабые отражения происходивших здесь драм фиксировались на бумаге и складывались в картотеки как напоминание о том, что все люди способны на добрые чувства, но с возрастом меняются и зачастую смешивают с грязью тех, с кем когда-то были заодно. Это была диэта, рассчитанная на то, чтобы сделать человека усталым, бесстрастным и осторожным, научить его убийственной рассудительности, свойственной тем, кого уже ничто не берет за душу.

Дэви понял все это по спокойным замечаниям Стюарта и по тому, как он терпеливо пожимал плечами, пока Кен и Бэннермен орали в его конторе, ожесточенно нападая друг на друга.

— ...и притом самый подлый тип паразита! — кричал Кен.— Во всем этом вы видите только возможность обжулить людей, приманку для тех, кого вы называете простаками. Черта с два мы вам позволим! Вам никогда не понять, что значит эта работа для нас с Дэви. Вы рассчитываете на то, что мы не в силах бросить ее, даже если захотим, и вы получите все даром...

— Хорошенькое «даром» — три с половиной тысячи! — завопил Бэннермен.

— Если вы не дадите пяти тысяч, как вы гарантировали, значит, даром, — отрезал Кен. — Мы вам сразу назвали эту сумму и можем повторить это двадцать раз. А вы нас время от времени только похлопываете по спине. И вам ли плакать о трех с половиной тысячах? Вы уже нажили на нас чистых пять тысяч.

— Подождите, сынок, — вмешался Стюарт, раскачиваясь в вертящемся кресле, пока спинка его не коснулась выцветшей карты штата, висевшей на стене позади стола. Тыча указательным пальцем в Кена, Стюарт по привычке заговорил тем грубовато жестким голосом, который появлялся у него, когда он устраивал своим клиентам так называемые «перекрестные допросы». — Контракт в нашем государстве...

— Бросьте! — оборвал его Кен. — Я вам не «сынок» и ждать не намерен. Наши права нам известны. Через два года вы до нас рукой не достанете. Наше дело верное. Приберегите ваши речи для всяких Бустеров, Ротэри и прочих торговцев липой. Вот сейчас здесь, в этой комнате, мы говорим о фактах, а факты заключаются в том, что наш контракт яйца выеденного не стоит, он юридически недействителен. — Кен крупными шагами подошел к двери и распахнул ее настежь. — Хо-

тите подавать на нас в суд — подавайте, черт с вами! Пошли, Дэви.

Дэви даже не шевельнулся.

— Я не собираюсь уходить, Кен, — спокойно ответил он. — Еще не все сказано.

— Ну так сам и говори, — заявил Кен. — Я выложил все, что думаю по этому поводу, и буду стоять на своем.

Дверь за ним захлопнулась, и Дэви, оставшись один, лицом к лицу с двумя разозленными людьми, гораздо старше и опытнее, чем он, вдруг оробел. Он не решался прервать затянувшуюся паузу. Ему было страшно.

— У вас не найдется сигареты, Карл? — наконец спросил он, похлопав себя по карманам. Бэннермен бросил ему пачку сигарет, но от прежней любезности маленького толстяка уже не осталось и следа. Это был человек, защищавший свои кровные интересы; он считал, что его надули, и твердо решил не отступать ни на шаг. Пять тысяч долларов прибыли — это ведь далеко не миллион.

— Кто вы такие, черт вас возьми, чтобы посылать мне подобные письма?! — накинулся он на Кена и Дэви, едва они успели переступить порог конторы Стюарта. Кто б мог подумать, что в этом грубом, резком голосе некогда звучала отеческая гордость, как в тот день, когда братья выступили перед комиссией с докладом, или щедрая покровительственность, как в тот вечер, когда они праздновали это событие. — Ей-богу, одного этого письма достаточно, чтоб я всю жизнь преследовал вас судебным порядком за клевету! Имейте в виду, я буду охранять свои вполне законные деловые интересы. Я был вам другом, черт возьми! Но раз вы написали такое письмо, раз вы грозитесь порвать со мной, если я не вышлю остальные деньги обратной почтой, то вы, молодые люди, потеряли во мне друга! Я вам скажу напрямик, как я это понимаю. Судя по всему, вы добились того, что ваша штуковина, дьявол ее знает, как она там называется, наконец заработала. И только благодаря моим деньгам! А теперь вы хотите отделаться от меня, чтобы не делиться барышом. Только, видите ли, это старый прием, меня вы на этом не поймаете! Контракт правильный, не так ли, господин адвокат? Ладно. Вот я с него и не сдвинусь! — Бэннермен заерзал на стуле. — П-ф! А я-то говорил — кристально честные, благороднейшие, стопроцентные ребята! Жулики паршивые, вот вы кто!

— Минутку, Карл, — предостерегающе сказал Стюарт.

— Еще чего! — Бэннермен обернулся к Кену. — Что вы можете сказать в свое оправдание, речистый Мэллори? Эй вы, блондинчик! Я вам говорю, вам, университетский вундеркинд, король электронов, что вы на это скажете?

Кен в ответ разразился не менее злобной речью, а теперь, когда он ушел, Бэннермен молча ерзал на стуле, устремив на Дэви уничтожающий взгляд. Кен, громко хлопнув дверью, как бы окончательно отрезал все пути к отступлению. Дэви безмолвно курил и выжидал, пока сердце его перестанет стучать так сильно, а ярость Бэннермена постепенно утихнет. Стюарт наблюдал за ними, положив подбородок на переплетенные пальцы. Наконец Дэви положил сигарету.

— Мне очень жаль, — медленно сказал он. — В самом деле, очень жаль. Пожалуй, вся вина лежит на мне, потому что я затеял это, и я очень огорчен...

Бэннермен, попавшись на удочку, нетерпеливо перебил: — Можете не огорчаться...

— Я огорчен тем, что вы такой безмозглый негодяй! — докончил Дэви. — Вы умудрились до того исковеркать все дело, что впору растрогаться, глядя на вас! Кен не прав. Но если уж он не прав, то для ва-

ших поступков и слова не подберешь. Вы же своими собственными руками перерезали себе горло, Карл! Слушайте, мистер Стюарт, я не могу поручиться, что предложения, которые я собираюсь внести, будут приемлемы для моего брата. Но вот этот субъект так взволнован, что ничего уразуметь не сможет. Скажите ему, пусть погуляет по площади, а мы с вами тем временем постараемся найти общий язык.

Стюарт неодобрительно поджал губы.

— Мой клиент имеет все основания волноваться, когда его деловым интересам грозит опасность.

— Да ничего им не грозит, — нетерпеливо возразил Дэви. — И я докажу вам, почему. Мы можем уладить дело в десять минут.

— Я готов вас выслушать, но и только, — продолжал Стюарт. — Мы с вами можем побеседовать, но ограничимся тем, что обсудим положение, так сказать, пообточим свои мысли. Договорились? Вы не возражаете, Карл?

Бэннермен ушел. Дверь опять захлопнулась со стуком, но на этот раз атмосфера несколько разрядилась. Стюарт смотрел на Дэви с добродушной хитрецой. Должно быть, через руки адвоката прошло так много подобных дел, подумал Дэви, что все это кажется ему совсем обыденным. Все же Дэви заговорил горячо и убежденно.

— Судя по тому, что вы мне говорили в прошлом году, — сказал он, — этот контракт ни черта не стоит, пока не будет получен патент.

— О, что вы, я уверен, что не мог позволить себе таких выражений. — Стюарт держался благожелательно и вместе с тем настороженно.

— Но, разумеется, подразумевали именно это. Партнерами можно быть лишь в том случае, если речь идет о чем-то материальном — о реальной собственности. Идея — не собственность. Идея, ставшая реальностью в форме патента, — это уже собственность.

— Ну-с... — неторопливо произнес Стюарт, не выражая ни согласия, ни неодобрения.

— Ладно, идем дальше. Участие Карла в этой сделке заключалось в том, что он должен был обеспечить нас деньгами, чтобы превратить нашу идею в реальность. Ни один из нас до сих пор не выполнил своего обязательства. Карл не обеспечил нас обещанной суммой, и мы до сих пор не превратили нашу идею в реальность.

Стюарт задумался.

— Но почему же вы сваливаете всю вину на Карла?

— Потому что нам необходимы деньги, чтобы выполнить наше обязательство. А он лишает нас этой возможности.

— Вы уже советовались с юристом?

— Кроме вас, ни с кем.

Стюарт откинулся на спинку скрипучего вертящегося кресла.

— Откуда мы знаем, что вы еще не превратили вашу идею в реальность? Мы не имеем возможности пойти в мастерскую и проверить, ибо в вашей воле показать нам то, что вы найдете нужным.

— Это верно, — согласился Дэви. — Мы, как специалисты, сами должны решать, когда нам следует обращаться за патентом. Если мы обратимся прежде, чем разработаем правильные схемы и чертежи, то нам откажут, так как изобретение будет практически неприменимым. А мы только раскроем наш замысел всем, кто этим заинтересуется. Но я хочу знать вот что: какие у вас основания обвинять нас в задержке? Ведь вы же не выплатили нам сумму, необходимую для того, чтобы добиться определенных результатов. Вам не за что зацепиться.

— Я не говорю, что вы правы, и не говорю, что вы не правы. Я только слушаю, прошу вас помнить это. Ну, так к чему же вы клоните?

— Я не согласен с Кеном, что Карла следует выставить вон. Кен очень расстроен, и я его вполне понимаю. Из принципиальных соображений я хочу, чтобы Карл остался участником в этом деле соответственно с той суммой, которую он вложил.

— Сколько он вложил?

Дэви пристально поглядел на Стюарта.

— Пока что он вложил три с половиной тысячи долларов, и ради пущей ясности я готов забыть пять тысяч долларов прибыли. Вероятно, нам понадобится в десять-пятнадцать раз больше, чтобы довести работу до конца. Я вам скажу, что я намерен делать. Если наше дело окупится, я готов согласиться на то, чтобы Карл получил тысячу процентов прибыли, то есть двадцать пять тысяч долларов.

Стюарт взглянул на него с любопытством.

— Первые же двадцать пять тысяч, которые вы получите?

— Э, нет. Мы будем выплачивать ему десять процентов с каждой полученной нами суммы, пока не выплатим все двадцать пять тысяч. Чем меньше мы получим, тем меньше достанется ему; но мы имеем право в любое время приобрести его долю за двадцать пять тысяч долларов.

— Дэви, сколько денег у вас в кармане вот сейчас, сию минуту?

Дэви покраснел.

— А что?

— Да так просто. Ну, скажите, сколько?

— Доллар и семьдесят два цента. — Дэви поглядел на монетки.— Семьдесят три.

Стюарт захохотал.— Я чуть было не попался: вы так небрежно говорили о двадцати пяти тысячах. Знаете, мальчик, вы действовали, как прожженный деляга. Вы позвякивали этими тысячами, как приманкой, а на деле предлагаете Карлу урезать его долю с пятидесяти процентов до десяти. Даже меньше того, раз вы устанавливаете предел в двадцать пять тысяч.

— Это лучше, чем другое решение вопроса.

— Давайте, я слушаю вас.

— Другое решение заключается в том, что Карл не получает ничего. Ни гроша. Сейчас объясню, почему. В нашем договоре говорится о некоем изобретении, основанном на принципах, о которых мы докладывали комиссии в июне месяце. Ладно. Мы с Кеном можем переключиться на работу над *другим* изобретением, основанным на других принципах. Это вполне возможно, сами понимаете. Не в одном только месте можно перебросить мостик через реку, и не один только тип моста существует на свете. Мы найдем новую систему и все-таки будем гарантированы от всякой конкуренции, даже если кто-то изобретет нашу нынешнюю систему, потому что она уже зарегистрирована, и, следовательно, наш приоритет обеспечен. Вот вам простой факт, мистер Стюарт. Это изобретение значит для нас гораздо больше, чем деньги. Не знаю, как объяснить, но только дороже всего для нас сама работа, и она всегда будет нам дороже, до тех пор, пока мы не добьемся успеха. Но это не только чисто научная проблема. Тут замешан и денежный вопрос, поэтому нам приходится говорить о деньгах. А теперь вы можете выбрать любое из двух решений. Третьего не существует. Постарайтесь растолковать это Карлу.

Дэви вышел на Кэпитол-сквер. И здесь чувствовалась весна: апрель был на исходе. Дэви медленно брел по пустынному тротуару, гадая про себя, куда пошел Кен. Он мог зайти в книжную лавку, чтобы излить остатки своего гнева и вызвать сочувствие в Вики, но это вряд ли. И уж наверняка он не пошел к Марго. Со времени последней ссоры Кен всячески избегал сестру, как будто сознавая, что после той безобразной

сцены нечего и надеяться на прощение. В последние недели Кен держался неприступно. Он замкнулся в себе вместе со своей тайной печалью, и ему казалось, будто он и этот черный призрак сидят в заточении, тоскливо созерцая друг друга и недоумевая, кто из них — узник и кто — тюремщик.

Вопреки установленному закону, в переговорах со Стюартом главная роль выпала на долю Дэви. Сейчас он решил и дальше действовать по возможности самостоятельно. Он свернул с площади и быстро пошел по Стейт-стрит к банку. Здесь тоже в мягком воздухе веяло весной.

Письменный стол Брока помещался посреди обширного пустого зала. Границы кабинета отмечал широкий четырехугольник зеленого ковра. Когда Дэви вошел, у стола, склонясь к Броку, стояла секретарша с какими-то бумагами, но Брок, заметив Дэви, сделал ему знак подойти. Указав на стул возле стола, Брок снова принялся быстро проглядывать лежавшие перед ним бумаги, одну за другой передавая их секретарше и бросая краткое «да» или «нет» или называя какую-нибудь цифру. Наскоро переговорив с секретаршей, банкир повернулся к Дэви, и в его глазах блеснули смешливые искорки.

— Ну, сынок, — протянул он, имитируя какого-то популярного комика, — что слышно насчет вдовы?

Дэви слабо улыбнулся.

— Она еще не вдова, мистер Брок, но уже бегает по городу, запасаясь траурной одеждой.

Брок громко расхохотался. На нем был темносерый костюм с белым кантом на жилете и черные лакированные штиблеты на шнурках, с серым замшевым верхом. Брок откинулся назад, скрестив ноги, и на его щиколотках под шелковыми носками Дэви увидел складки длинных зимних кальсон.

— Направьте эту даму ко мне,— с лукавой галантностью сказал он, — здесь она может приобрести все самое лучшее. Между прочим, ее здесь ждет брачный контракт на пятьдесят тысяч долларов.

— Что?

— О, сумма как раз подходящая. Я просматривал ваши счета вместе с Чарли Стюартом; при темпах, с какими вы тратите деньги, вам понадобится никак не меньше. А работа займет еще годика два. Вам не обойтись без поверенного для получения патента и без двух помощников, словом, это будет настоящее первоклассное предприятие, основанное на деловых принципах. Поймите, мальчик, вы вступаете в борьбу с великанами, которые засели там, на Востоке. Библейский Давид еще мог идти на Голиафа с пращой, но сейчас у нас девятьсот двадцать шестой год от рождества христова, и перед нынешними великанами Голиаф — просто креветка.

— Вы говорите, вы обсуждали это с мистером Стюартом? — помедлив, спросил Дэви.

— Он будет представителем компании, поскольку многие проблемы ему уже знакомы. Чарли — мой старый друг, понимаете. Откровенно говоря,— понизив голос, добавил Брок,— он уже читал мне завещание покойного супруга. Чарли представлял интересы Бэннермена, но в конце концов не обязан же адвокат добывать деньги клиенту, если тот обанкротился.

— В таком случае, почему вы не перекупите пай прямо у Бэннермена? — поинтересовался Дэви.

Брок пожал плечами.

— Мне это не нужно. Насколько я понимаю, вам придется взять на себя небольшой труд отделаться от Бэннермена, и, кроме того, — подмигнул он, возвращаясь к полюбившейся ему шутке, — я же вам сказал — я никогда не встреваю между супругами. Это гиблое дело.

4

Через десять дней после того, как Бэннермен принял ультиматум Дэви, документы о расторжении договора были готовы. И в сияющее майское утро, наполнившее контору Стюарта запахом цветов, Кен и Дэви подписали бумагу, дарующую им полную свободу. На губах Кена играла легкая довольная улыбка, и даже тайные опасения Дэви испарились окончательно. Братья шагали к банку по солнечным улицам, чувствуя, что в этом городишке, как и в жизни, для них открываются новые перспективы. Даже воздух, казалось, был напоен искрящейся жизнерадостностью. Вот эти дорогие магазины на центральной улице внезапно перестали быть недосягаемыми, так же как и расположенный по соседству магазин, торгующий гастрономией. В единственной маленькой витрине магазина под вывеской «Братья Доу — портные», между двумя пальмами в кадках, со спокойным достоинством красовался голубовато-серый в елочку костюм. Скромная, написанная от руки этикетка гласила: «75 долларов». До нынешнего дня Доу был так же далек от жизни братьев Мэллори, как какой-нибудь Английский банк, но сейчас Кен оглядел костюм с невозмутимым хладнокровием. — Если б у них нашелся такой коричневый, я бы, пожалуй, купил, — заметил он.

Чудесное ощущение радостного подъема усилилось еще больше, когда Брок поспешно поднялся им навстречу. — Я уж думал, вы не придете. Пошли, мы завтракаем в клубе.

Гражданский клуб, находившийся в двух шагах от Стейт-стрит, являлся своего рода местной достопримечательностью: это был старинный особняк с деревянными восьмиугольными башнями и бойницами, весь в лепных украшениях и кружевах из кованого железа. На лужайке перед домом стояли железные олени, всегда казавшиеся Дэви верхом аристократизма. При входе цветной слуга в белой куртке принял у них шляпы. В столовой сидели хорошо одетые мужчины, которые разговаривали гораздо бесцеремоннее и хохотали гораздо громче, чем преподаватели на Университетском холме. При этом они держались так уверенно, что каждый пришелец поневоле проникался почтительностью и проходил мимо них чуть не на цыпочках.

Постоянный столик Брока стоял в нише, возле окна-фонаря, выходившего на широкую лужайку; банкир сел лицом к залу.

— Берите меню и заказывайте, — сказал он, протирая очки салфеткой. Без блестящей прозрачной брони, защищавшей его глаза, Брок казался добрее, проще и как бы уязвимее. Он обвел взглядом зал. — Люблю этот дом, — задумчиво проговорил он. — Я, видите ли, помню его еще с той поры, когда здесь жили Шефферы. Было время, когда я мечтал жить в этом доме. Но потом, когда я прочно стал на ноги, мы уже обосновались на холмах, и миссис Брок не пожелала переезжать в этот район, даже ради шефферского дома. Кто-то вознамерился устроить здесь пансион, но я заставил муниципальный совет расширить зону отчуждения. А когда меня выбрали председателем клуба, мы купили этот дом, и теперь я могу бывать здесь, когда захочу, так что, в конце концов, он стал моим.

Несмотря на чуть смущенную улыбку, было видно, что это обстоятельство доставляет Броку истинное удовольствие. Ибо хотя давняя его мечта осуществилась весьма приблизительно, зато ему удалось сделать это за чужой счет, поэтому большего требовать не приходилось.

— Попробуйте-ка этот суп, — сказал он. —Дела у нас тут идут неплохо, но этот дом никогда уже не увидит такого зрелища, как свадьба Салли Шеффер. Какие тут были дамы! Знаете, может, у меня старомодные вкусы, но в девяностых годах дамы обладали чем-то таким, чего

и в помине нет у нынешних женщин. Конечно, я горой стою за прогресс и тому подобное, но, на мой взгляд, теперешние полуголые, намазанные девчонки, дымящие сигаретами и дрыгающие ногами в чарльстоне, прежним барышням и в подметки не годятся. Мужчины и те раньше были крупнее, солиднее. Ей-богу, вы просто кожей чувствовали, что Макс Шеффер имеет миллион долларов и общается со всей европейской аристократией и высшим светом Нью-Йорка!

— В тот вечер здесь был бал, — задумчиво продолжал Брок. — Французское шампанское, великолепные сигары, омары, специально привезенные с Востока, и тут же — я, желторотый птенец, только что окончивший школу. Этого вечера я никогда не забуду. Макс Шеффер стоял рядом с дочерью на этом самом месте, где я сижу. И вот я тут завтракаю, а он лежит на кладбище в Сан-Франциско, в городе, где он в девяносто седьмом году потерял все свое состояние.

Брок замолчал и покрутил головой, как бы отгоняя мрачное видение.

— Человек, нажывший такое богатство и не сумевший его сохранить, на мой взгляд, попросту его не заслуживал. А все-таки в тот вечер старик выглядел грандиозно. Понимаете, это был первый по-настоящему богатый человек в моей жизни. — Брок сейчас походил на коллекционера, который с ласковой грустью вспоминает о маленькой, далеко не безупречной гемме, впервые пробудившей в нем страсть к подобным вещам. — Ну, ладно. — Брок поднял бокал с водой. — Выпьем за завтрашних миллионеров, за то, чтобы вы поскорее получили свой миллион и сумели удержать его подольше!

Когда завтрак подходил к концу, Брок заговорил о делах.

— Наш договор будет готов на той неделе. Капитал найдется: я уже заручился согласием нескольких человек, кроме одного, который послезавтра приедет из Миннеаполиса. Это Арчи Тэрстон из «Уэстерн миллз». Слыхали о таком? Нет? Ну, конечно, Арчи Тэрстон— это не то, что старый Макс Шеффер. Должно быть, стиль миллионеров тоже изменился. У Арчи есть одна особенность — он целиком полагается на первое впечатление. Когда я приведу его к вам, постарайтесь как-нибудь устроить, чтоб вы работали таким же манером, как в тот день, когда я был у вас впервые. Очень внушительное зрелище для не-специалиста!

— Но то, что вы видели, — уже пройденный этап, — сказал Дэви.— Дело в том, что мы собираемся разобрать весь прибор — в нем надо кое-что изменить.

Кен бросил на Дэви быстрый взгляд.

— Это не к спеху, мистер Брок. Мы устроим для него любопытное зрелище.

— Но позвольте, я не хочу, чтоб вы обманывали Арчи,— торопливо сказал Брок.

Кен повернулся к нему.

— Мы верим в свою работу, мистер Брок, поэтому, что бы мы ни делали, никакого обмана быть не может.

— Вот это я и имел в виду, — благодарно улыбнулся Брок, и Дэви понял, что с этой минуты Кен стал его любимцем.

По дороге домой Дэви заметил: — Если б с такой просьбой к нам обратился Карл Бэннермен, мы сказали бы, что он заставляет нас заманивать простака.

— Да брось ты, — резко оборвал его Кен. Впрочем, и у него в душе остался неприятный осадок. — Мы должны добыть денег. Остальное неважно.

Человек из Миннеаполиса прибыл в кремовом лимузине марки «пирс-эрроу», исполосованном горизонтальными брызгами грязи, как бывает при большой скорости. За рулем сидел шофер. Мистер Тэрстон, крупный, цветущий мужчина, угрюмо возвышался над головой Брока и дергался от нетерпения. У него были большие руки с наманикюренными ногтями и почти сердитое выражение лица.

Он то и дело бормотал: «Э-э, спасибо... чрезвычайно интересно, знаете» — и упорно пятился к двери, но Брок крепко держал его за рукав, расспрашивая Кена с необычным энтузиазмом. Наконец терпение Тэрстона лопнуло, и он настойчиво дернул Брока за локоть.

— Фред, выйдем, пожалуйста, на минутку. Мне нужно кое-что вам сказать.

И через боковую дверь донесся его жалобный голос:

— Фред, я же вам говорил: меня такие вещи ни капли не интересуют...

— Нет, вы послушайте меня, Арчи, — возразил Брок и, решительно взяв своего спутника под руку, отвел в сторону, откуда их уже не было слышно. Дэви и Кен стояли неподвижно и молчали. Брок и Тэрстон, повидимому, обошли вокруг сарая и снова прошли мимо двери, ибо послышался голос Брока: — И эта штука, что у них в мастерской, по сравнению с радио — то же самое, что автомобиль по сравнению с велосипедом. Арчи, дорогой, — проникновенно говорил он, приостанавливаясь у двери, — вряд ли вы найдете более консервативного человека, чем я, но я беру на себя смелость предсказать, что через десять лет средний американец будет иметь в кармане миллион долларов. И черт меня возьми, если вы не верите в будущее своей страны!

— Я такой же хороший республиканец, как и вы, Фред Брок, и вы это знаете, но все остальное — чушь, и мне больно видеть, что вы клюнули на эту удочку.

Прошло десять минут, а спор все еще продолжался. Брок просунул голову в дверь и сообщил, что они вчетвером сейчас поедут завтракать в клуб.

Но и за столиком в нише-фонаре Тэрстон не перестал артачиться.

— Знаете, Фред, вы меня извините, но я хочу поговорить с молодыми людьми абсолютно откровенно, — скороговоркой произнес он. — Я вижу, вы славные ребята и знаете толк в своем деле. Желаю вам всяческих успехов. Но эта затея не для меня. Все, что связано с зерном,— пожалуйста, это меня интересует. Но надо быть полным простофилей, чтоб соваться в незнакомое дело. И не тычьте мне в нос своим Билли Дюрантом, — рявкнул он вдруг на Брока. — Дюрант и прочие, кто выпускает моторы, раньше занимались всякой техникой, а до изобретения автомобиля — телегами и каретами. Кроме того, мальчики, я ведь тут только проездом в Милуоки — по делам, — добавил он, многозначительно глянув на Брока. — Вас бесполезно приглашать с собой, так ведь, Фред?

Во взгляде Брока, который он бросил на своего приятеля, Дэви уловил сострадание.

— Да, Арчи, — тихо сказал Брок. — Поезжайте уж один.

На крупном розовом лице Тэрстона появилось робкое выражение.

— На этот раз без нотаций, Фред?

— Да, Арчи. Все равно толку не будет, правда?

— Никакого.

Брок глубоко втянул в себя воздух и опустил глаза.

— Но если вам нужна компания, почему бы не взять с собой этих мальчиков? Насколько мне известно, ни у того, ни у другого нет особых привязанностей, и они еще достаточно молоды для таких прогулок.

— Погодите минутку, мистер Брок, — вмешался Кен, начиная кое-что понимать. — Мы не желаем быть незваными гостями. Мистер Тэрстон...

— Мистер Тэрстон едет вовсе не в гости, — с горечью сказал Тэрстон. — Мистер Тэрстон едет в Милуоки не потому, что ему этого хочется, и не потому, что его пригласили в гости, а потому, что ему дьявольски необходимо устроить себе встряску, а дома это делать неудобно. А, пропадай все пропадом — едем!

Кен и Дэви молча обменялись взглядами через стол. Лицо Кена было суровым и упрямым. Он решил согласиться.

— Делай как хочешь, — сказал Дэви. — Я лучше останусь дома.

— Мы поедем *оба*, — объявил Кен.

По дороге к машине Брок отвел Дэви в сторону. Дэви подумал, что Брок хочет избавить его от поездки, и преисполнился к нему благодарностью за чуткость.

— Хочу вам сказать, что вы мне оказываете огромную услугу. Теперь он будет обязан войти в наше дело. Только последите, чтоб он остался цел и невредим. — Брок потрепал Дэви по плечу. — Вы бросаетесь в омут в отличной компании, молодой человек.

Громоздкая машина с ревом пронеслась через город и помчалась по шоссе. Внешний мир с убаюкивающим гулом пролетал мимо, обдавая запахом весенней зелени и полевых цветов. Некоторое время Тэрстон молчал, не зная, о чем говорить, и только потягивал виски, держа в одной руке бутылку, а в другой — серебряный стаканчик.

— Может, это весна так действует, — задумчиво произнес он наконец. — Я тоже бывало съезжал на заду по двери погреба, как тот мальчишка, что мы только что видели! А теперь мне уже пятьдесят два. Мне! Черт, быть этого не может! Иногда у меня бывает такое чувство, что стоит мне на минутку зазеваться — и тотчас какой-то шутник вырывает из календаря сразу пять лет. Еще десять-двенадцать лет — и конец, но куда же девались эти годы? Куда, спрашивается? Всего десять лет назад я был в полной форме. Я верил во все. Если случалось что-нибудь хорошее, я приписывал это тому, что я такой умный и ловкий. Теперь-то я знаю, какая все это ерунда! Вот я вам сказал, что хочу держаться той области, которую знаю! Это тоже ерунда! Ничего я ни о чем не знаю, и — что меня смертельно пугает — никто ни о чем не знает. Никто! — Он в отчаянии стиснул руки. — Мне нужно хорошенько встряхнуться — вот и все. Тогда, может, я опять приду в себя. Слушайте, перед девушками, пожалуйста, не называйте меня мистером Тэрстоном. Зовите просто Арчи.

Тэрстон снял в отеле «Фаррингтон» номер из нескольких комнат с мебелью, обитой гобеленами. В окна глядела сиявшая над городом и озером золотистая синева. В лазурной дали крохотные пароходики пронзали синий бархат озера черными иглами дыма.

Спустя час Тэрстон шумно и торопливо приветствовал трех вошедших девушек. Все они показались Дэви настолько прекрасными, что лицо его окаменело. Миниатюрная брюнетка тотчас же обвила руками шею Тэрстона. Она была тоненькая и изящная — Дэви казалось, что она может уместиться в его ладонях. Блондинка взглянула на Кена и неожиданно расхохоталась.

— Господи помилуй, Фэнни! — Кен задержал ее руки в своих. — А я думал, ты подвизаешься в «Фоли» или порхаешь где-то на Востоке!

— Прежде всего, меня зовут Флер, а «Фоли» — это уже в прошлом.— Она сняла низко надвинутую на лоб шляпку из блесток и провела паль-

цами по мальчишеской, гладкой, будто покрытой золотым лаком, челке. — Уже полгода я пытаюсь выбраться домой, навестить стариков, но тут веселятся не хуже, чем в Нью-Йорке. В этих краях, куда ни приедешь, — всюду сплошной кутеж.

Приглядевшись, Дэви смутно припомнил: эта девушка, Фэнни Инкермен, когда-то служила в магазине стандартных цен; но тут внимание его отвлекла высокая брюнетка, попросившая у него прикурить. У брюнетки был застенчивый взгляд.

— Может, вы все-таки поздороваетесь? — обратилась она к Дэви.— Меня зовут Розалинда.

Тэрстон суетился, громко выкрикивал распоряжения и понукал гостей. Обе руки его были заняты бутылками, но он успел потискать всех девушек по очереди — все они принадлежали ему. Лицо у него было красное, отчаянное и смеющееся, но глаза смотрели так, будто он вот-вот расплачется.

— Давайте, давайте! — кричал Тэрстон.— Пошевеливайтесь, друзья! Устроим такое, чтоб небу стало жарко!

Через два дня кремовый лимузин мчался сквозь серую пелену косого дождя обратно на север, и длинные брызги летели за ним из-под шин, как крылья. Лицо Тэрстона стало пепельно-серым и дряблым. Он съежился на переднем сиденье, рядом с шофером, словно стремясь спрятаться от всех и никого не видеть. Кен придвинулся к окну и смотрел на дорогу, крепко ухватившись за украшенную кисточкой петлю. — О господи, — время от времени бормотал он. Дэви сидел с закрытыми глазами. Его мутило, ему было стыдно за себя, стыдно вспомнить, что он видел и что вытворял сам, и все-таки о девушках он думал с нежностью. Он был даже чуточку влюблен в Розалинду, и ему хотелось повторить все сначала — сегодня же, сейчас.

Всю дорогу до Уикершема никто не произнес ни слова, и, только выходя из машины у дверей гаража, братья промямлили: «Спасибо, мистер Тэрстон». Впрочем, на следующий день позвонил Брок и сказал:

— Ну, ребятки, вы молодцы. Я получил чек от Арчи. Хочу поблагодарить вас обоих.

Дэви не мог сдержать любопытства.

— Сколько же он дал?

— Восемь тысяч.

С кривой усмешкой Дэви повесил трубку на рычажок.

— Можем гордиться, Кен, — с горечью сказал он. — Мы с тобой ценимся дороже, чем самые хорошенькие потаскушки в Милуоки.

Пятнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать шестого года начала свое существование Уикершемская исследовательская корпорация с капиталовложением в двадцать пять тысяч долларов. Председателем корпорации был Кеннет Мэллори. Дэвид Мэллори был вице-председателем, а Фредерик Кинсмен Брок — секретарем-казначеем. Братья Мэллори владели пятьюдесятью одним процентом паев, и каждому было положено двести пятьдесят долларов ежемесячного жалованья.

Пятнадцатое июня пришлось на вторник, теплый, солнечный день, а шестнадцатого июня «Братья Доу — портные» записали в своей книге заказов: «Мистер Кеннет Мэллори — 1 выходной костюм, двубортный, в елочку, № 22058 — 75 долларов. К 20 июня. Коричневый».

5

К началу июля кутеж с Тэрстоном превратился в смутное воспоминание, погребенное под тяжким грузом срочной работы. Деньги дали возможность приобрести оборудование, которое открывало новые пути

для исследований. Впрочем, иногда в памяти Дэви всплывали воспоминания об этой экскурсии в неправдоподобный мир, где Тэрстон швырял деньгами с такой небрежностью, будто это были не двадцатидолларовые бумажки, а вырезанные из газет купоны. Дэви думал и о Розалинде, но уже равнодушно, словно припоминая обрывки фраз, прочитанных в развеваемых ветром рекламных афишах.

Тем не менее однажды ночью он проснулся с таким ощущением, будто он опять в отеле «Фаррингтон», а рядом с ним — Розалинда. Почуяв еле уловимый сладкий запах ее духов, Дэви протянул к ней руку, но стукнулся костяшками пальцев о стену возле раскладушки. И в ту же секунду его потрясли за плечо. Дэви быстро приподнялся. В темноте над ним склонился Кен.

— Что случилось? — невнятно пробормотал Дэви спросонья. — Который час?

— Ничего не случилось, — ответил Кен. — Сейчас два часа.

Он присел на кровать, и его фигура в облегающем новом костюме изящным силуэтом вырисовывалась на фоне озаренного луной окна; запах духов, от которого сон показался Дэви явью, исходил от костюма Кена.

— Дэви, слушай, Вики не заходила и не звонила вечером?

— Нет. А что?

— Ты точно знаешь, что она не звонила? Ты никуда не уходил?

— Я весь вечер чинил диффузионный насос. Ради бога, Кен, что стряслось? С кем ты был? От тебя разит духами.

— Я был с Фэнни-Флер. Она была в городе и позвонила мне. Тебя не было, и я не успел тебе сказать.

— Где же ты взял денег?

— Говорю тебе, она сама приехала сюда, — раздраженно сказал Кен и встал. — Вики видела нас. Она, очевидно, задержалась на работе и переходила улицу прямо перед нашей машиной. Она взглянула на машину и явно узнала ее. Потом заметила Фэн. Она посмотрела на меня в упор и пошла дальше как ни в чем не бывало.

— Ну?

— Ну, к счастью, верх был спущен, так что она не могла меня сразу узнать. Ведь за рулем мог сидеть и ты, Дэви. И, конечно, это был *ты*! Завтра ты ей так и скажешь.

— Ох, боже мой, — с отвращением поморщился Дэви. — И ты из-за этого будишь меня среди ночи? Что из того, если даже она тебя узнала? Ведь тебе решительно все равно.

— Нет, не все равно, — в отчаянии воскликнул Кен. — Клянусь, мне не все равно. Правда, последние две недели я не слишком много думал о ней, но она посмотрела на меня так, что у меня душа перевернулась. Я весь вечер места себе не находил.

— Оно и видно — насквозь пропах духами.

— Господи, до чего ты глуп! — обиделся Кен. — Чем больше я злился на себя за Вики, тем скорее все произошло с Фэн. И, пожалуйста, не говори, что это вздор.

— Нет, я тебе скажу, что, по-моему, не вздор. Вики тебе уже совершенно безразлична, и ты должен сказать ей всю правду. — И вдруг в Дэви вспыхнула бешеная злоба. — Иди к черту и не мешай мне спать! — закричал он.

— Дэви, слушай... — Кен сел на раскладушку, сразу присмирев. Его красивый профиль четко обозначился на фоне окна; лунный свет лежал тусклыми бликами у него на щеке. — Я не могу порвать с Вики. Если мы расстанемся, со мной случится что-то ужасное — не знаю что, но я боюсь. Из всех девушек, которых я знал, только с ней одной я чув-

ствовал себя легко и свободно. Вики сейчас еще девочка, но ведь станет же она взрослой, и если я на ней не женюсь, это будет для меня все равно что самоубийство. Я это знаю.

— Ты на ней женишься? — грубо спросил Дэви, приподнявшись, чтоб заглянуть брату в лицо. — Что ты плетешь!

— Я серьезно говорю. Клянусь тебе.

— Так я и поверил.

— А я тебе докажу. И Марго тоже докажу.

— При чем тут Марго? — медленно произнес Дэви. — Знаешь, что ты за человек? — Дэви сбросил простыню и сел на краю раскладушки. Он готов был высказать всю жестокую, интуитивно угаданную им правду о Кене, но вместо того вздохнул и заговорил мирно, почти ласково:

— Кен, с самого рождества ты постепенно катишься под гору. С самого рождества. Ты это знаешь?

— Почему именно с рождества?

— В сочельник ты крепко поссорился с Марго.

Кен нехотя поднял глаза. Он не понимал, о чем говорит Дэви.

— Ну, ладно, я был не прав.

— Нет, — сказал Дэви, — дело вовсе не в том, прав ты или не прав.

— Тогда к чему же ты клонишь? — Кен не хитрил и не увертывался. Он просто ничего не понимал.

Дэви вздохнул.

— Пожалуй, ни к чему. Ладно, Кен, успокойся. Если будут неприятности с Вики, я постараюсь все уладить.

— Что ж, ты будешь ждать, пока начнутся неприятности? — взорвался Кен. — Завтра же займись этим. Скажи, что это ты был в машине с Фэн.

— Хорошо, я был в машине с Фэн. — И вдруг он резко спросил: — А ты и дальше намерен встречаться с Фэн?

Кен аккуратно снимал пиджак; его движения на фоне слабо озаренного окна казались странными и смешными.

— Я не буду с ней встречаться, — отозвался он наконец. — Если ты все уладишь с Вики, не буду.

— Значит, договорились, — сказал Дэви, и в нем шевельнулась глухая, беспомощная злость, ибо, не сомневаясь в искренности Кена, он все же понимал, что тот не сдержит своего слова. И был убежден, что Кен подсознательно тоже понимает это.

Сразу же после завтрака Дэви отправился на холм. Несмотря на ранний час, июльское утро дышало зноем. Не заходя в мастерскую Уоллиса, Дэви обошел дом и направился к входной двери. Как раз в это время Вики спускалась по ступенькам.

— Черный ход почему-то не открывается, — сказал Дэви. — Или вы стали запираться на ночь?

— Нет, там не заперто,— удивленно ответила Вики, останавливаясь. В своем тщательно выглаженном летнем платьице она была похожа на девочку, идущую в школу.

— Вы стучали? — спросила она.

— Я не хотел его беспокоить. Почему вы вчера так поздно кончили работу?

Вики бросила на него пронизывающий взгляд; в глазах ее светилось столько ума и насмешливости, что Дэви почувствовал уже не жалость, а страх.

— Откуда вы знаете, что я поздно кончила работу? — спросила она.

— Я подумал, что вы идете из магазина.

— Где же вы меня видели?— (Девочка, идущая в школу одна по за-

дворкам, вдруг насторожилась, увидев поджидавших ее мальчишек, но на их грубые поддразнивания ответила полным презрением.)

— То есть как «где»? Мы с вами даже кивнули друг другу вчера на Стейт-стрит, часов около девяти вечера. По крайней мере мне показалось, что и вы мне кивнули.

— Так же, как вам *показалось,* что вы там были? Я-то была там, Дэви. А вот вас не было.

— Нет, был, и со мной в машине сидела Фэнни Инкермен.

Вики очень медленно пошла вниз по ступенькам. Дэви, забыв обо всем, в это мгновение желал только одного: чтобы она ему верила, — и глаза его стали молящими. Но в следующую же секунду ему захотелось, чтобы она увидела его насквозь, поняла, что он лжет, а главное — почему он лжет.

— О Дэви, какой же вы глупый! Ведь я знаю, что с этой девушкой был Кен. — Вики сошла с последней ступеньки и остановилась на дорожке рядом с ним; теперь он смотрел на нее сверху вниз. — Я знала, что это Кен, и мне было решительно все равно: я уже давно ожидала чего-нибудь в этом роде. А вы со своей дурацкой ложью превратили все в пошлость и дешевку. Вы не оказали мне услуги, Дэви, а если вы думаете, что выручаете Кена, то очень ошибаетесь. И кто вам сказал, что вы умеете врать? — вдруг вспыхнула она. — Да такая девушка на вас и смотреть не стала бы!

— Спасибо. Какой же тип девушек вы считаете подходящим для меня?

— Я даже не хочу сейчас говорить о вас, Дэви. Вы сваляли такого дурака! И, пожалуйста, не корчите унылой физиономии! — добавила она. — Если уж решили врать, так имейте мужество врать посмелее!

— Вики!..

— Я знаю, что я — Вики. Ох, да уйдите вы наконец! Вы мне надоели! И вы, и Кен. Во всем, что не касается вашей работы, вы ведете себя, как абсолютные кретины. Идите вы оба к черту! — устало проговорила она и пошла через палисадник. Дэви догнал ее и взял за прохладную обнаженную руку выше локтя.

— Вики, не сердитесь. Если все было в порядке, пока я не ввязался в эту историю, то забудьте, что я сказал. Во всем виноват я один.

— Неправда. Это придумали вы с Кеном, иначе откуда бы вы узнали? Я злюсь на вас только за одно, Дэви: за то, что вы все знаете. А Кен меня в самом деле сильно обидел. И дело вовсе не в ней. Я понимаю, как это могло случиться. Конечно, мне больно, но так как я всегда знала, что я не та девушка, которая может завладеть им целиком, то, по правде говоря, для меня это не такой уж удар. С меня хватит и того, что я имею, но, когда мне лгут, я чувствую себя словно оплеванной.

Дэви шел рядом с нею под палящим утренним солнцем. Он был истерзан презрением Вики, подавлен сознанием своей вины, но сильнее всего его поразил контраст между ее великодушной любовью к Кену и тем, как относился к ней Кен. Вики оказалась настолько благороднее, чем он и его брат, что Дэви охватил гневный стыд. Отныне в ее представлении он навсегда останется таким, как сейчас: рохлей, лжецом и дураком. Однако с какой стати он будет отдуваться за все, когда Вики — сейчас это стало ему совершенно ясно — виновата в происшедшем не меньше, чем Кен!

Дэви остановился и выпустил ее руку.

— Знаете, что я вам скажу: я устал от вас обоих. Вы и Кен с двух сторон колотитесь о меня, как о каменную стенку, но ведь я же не каменный. Больше никогда не смейте изливать передо мной душу — ни

вы, ни Кен! — крикнул Дэви. Сейчас он невыносимо страдал. — Только я один и принимаю все это близко к сердцу, и к черту, довольно! Пусть Кен получает по заслугам, да и вы, Вики, тоже!

6

Весь день Дэви почти не разговаривал с Кеном, который заметно помрачнел, выслушав его краткий горький рассказ о случившемся. В половине шестого Кен ушел из мастерской и поехал в город. Длинные прохладные тени уже протянулись на улицах, освещенных косыми лучами солнца. Кен остановил свой «додж» неподалеку от книжной лавки, откуда через несколько минут должна была выйти Вики. Здесь, в центре города, улицы были запружены машинами и пешеходами, спешившими домой.

Наконец появилась Вики; заперев дверь на ключ, она быстро повернулась, и от этого движения чуть взметнулся подол ее легкого платья. Кен сидел за рулем спокойно, неподвижно, мысленно внушая Вики, чтоб она разглядела его в этой суетливой толпе, веря, что связывавшие их узы еще крепки и все пройдет бесследно, как пылинки сквозь солнечный луч. Вики сошла со ступенек и вдруг резко повернула голову, будто повинуясь инстинкту, настойчиво подсказывавшему, что в привычной уличной толчее она сегодня найдет нечто необычайное, если догадается, где искать. Увидев Кена, она приостановилась. И ничто не дрогнуло в ее лице, когда она пошла прямо к машине. Она шла, высоко держа голову, и ни один человек в этой толпе, кроме нее и Кена, не знал, что она избегает встречаться с ним взглядом. Кен, перегнувшись вбок, открыл дверцу, и Вики молча села рядом, но ни у кого из них не возникло ощущения теплой близости.

Маленький «додж» влился в поток машин. Кен искоса поглядывал на ее руки, спокойно сложенные на коленях. Руки лежали недвижно, будто и не они когда-то гладили его по лицу, не ими Вики прижимала его к себе, когда он обнимал ее. К сердцу Кена прихлынуло облегчение — он понял, что любит ее попрежнему. Сейчас, когда Вики стала недоступной, все в ней вызывало у него особенную нежность. Он было испугался, что разлюбил ее, что ему придется вновь ощущать ту серую пустоту, которая овладевает душой, когда уходит любовь, когда прикосновение к руке возлюбленной волнует не больше, чем поглаживание собственного запястья. И сейчас для него было гораздо важнее не утерять своей влюбленности, чем сохранить ее любовь.

— Давай немного прокатимся и поговорим? Мне много нужно тебе сказать.— Кен выжидал, но Вики ответила упорным молчанием. —Дэви рассказал мне о вашем утреннем разговоре. Я сделал страшную глупость, Вики. — Она попрежнему молчала, и в нем зашевелилось глухое раздражение, но вместе с тем усилилась и влюбленность. — Ты не хочешь со мной разговаривать? Ты ведь знаешь, я люблю тебя.

— Кен, — сказала Вики, и по звуку ее голоса он понял, что она отвернулась, то ли изнемогая от усталости, то ли просто заинтересовавшись витринами. — Нельзя ли немножко помолчать?

Кен опустил голову, но про себя улыбался от гордости за нее. Уладив ссору, он непременно повезет ее куда-нибудь закусить. Он миновал северную окраину города и свернул с шоссе на грязную проселочную дорогу, ведущую к высоким скалам. Сюда обычно ездили только по вечерам; автомобильные шины и колеса двуколок из года в год приминали траву на поляне. Позади высились темные сосны, окутанные синей вечерней тишиной. Кен выключил мотор и повернулся на сиденье так, чтобы видеть ее лицо.

— Можешь ты поверить только одному? — умоляюще сказал он. — Можешь ты поверить, что та девушка для меня — ничто?

Вики попрежнему старалась не смотреть на него, устремив взгляд вниз, на неподвижную гладь озера, освещенного закатным солнцем. В профиле ее была благородная гордость, и, как бы став на мгновение старше и мудрее, Кен вдруг увидел ее совсем иными глазами. Неизвестно откуда взявшаяся инстинктивная мудрость позволила ему понять, что с годами черты лица Вики будут становиться все красивее и значительнее. Его переполнило ощущение ликующей гордости за то, что он полюбил именно ее. Потом он заметил, что подбородок ее уже не так надменно вздернут, как раньше, и решил еще раз попытать счастья.

— Ты должна мне ответить, — убедительным тоном сказал он. — Рано или поздно нам все равно придется поговорить. Вики, ты веришь, что та девушка ровно ничего для меня не значит?

Смутное видение, придававшее Вики силу сопротивляться, окончательно растаяло в воздухе где-то у дальнего берега, и ресницы ее дрогнули. Она опустила глаза и стала рассматривать свои руки.

— Ну, хорошо, — внезапно охрипнув, прошептала она. — Предположим, я верю.

— И ты веришь, что я люблю только тебя одну? Ты веришь, я знаю, — сказал Кен. — Ты в этом никогда не сомневалась, как и я в том, что ты любишь меня. — Кен остановился; ее потупленное молчание казалось ему осязаемым, как легкая ткань. — Ну, ответь же, Вики. Ведь правда, у нас с тобой одинаковое чувство друг к другу?

Он положил руку ей на плечо, и сердце его затрепетало от жалости, так невинно и так целомудренно было ее тело. Но Вики отодвинулась.

— Не трогай меня, — тихо сказала она, и в глазах ее вдруг заблестели слезы. — Не трогай. Давай просто поговорим.

— Но ты же со мной не разговариваешь. Ты не сказала ни слова, и я знаю, почему. Все, что ты можешь сказать, мне известно в сто раз лучше, чем тебе. Тебе кажется, что ты меня ненавидишь — так я ненавижу себя гораздо сильнее. Я готов вырвать себе все внутренности за то, что я натворил. Но все равно я ни на секунду не переставал тебя любить, и ты это знаешь. Сказать тебе нечего, потому что тут уж ничего не поделаешь. Это прошло и никогда больше не повторится. Я даже не спрашиваю, веришь ли ты мне, так как ты знаешь, что это правда. Ведь я знаю, что ты это знаешь!

— Перестань меня урезонивать! — с горечью вырвалось у нее. Слезы, поразившие Кена, хлынули не от душевной боли, не от жалости к себе, а от сознания, что все ее надежды обмануты. И вдруг Вики закатила ему такую пощечину, что лицо его на мгновение перекосилось от боли. Она ударила его еще раз.

— Негодяй! — сказала она дрогнувшим голосом и умолкла, как бы прислушиваясь к хрусту ломающихся где-то внутри нее льдинок. В ее расширившихся глазах появилось выражение смиренного отчаяния. — О Кен! Кен, милый, я так тебя люблю!

Вики обвила руками его шею, прижалась головой к его лицу и безудержно зарыдала, уже не пытаясь сохранить внешнее достоинство и не зная, сколько настоящего достоинства было в ее чистом и искреннем горе. Но Кен вздрогнул, будто от удара кулаком: эта сдавшаяся наконец Вики уже не вызывала в нем нежности, и он испугался.

— Вики, маленькая моя, — шептал он в ее волосы. — Ради бога, не плачь.

Но Вики не могла остановиться.

— Кен... Кен... — только и могла выговорить она. Наконец она прерывисто вздохнула и еще крепче прижалась к Кену. — Делай что хо-

чешь, мне все равно, — зашептала она. — Ты для меня все, о чем я могла только мечтать и никогда не надеялась иметь. Я не достойна такого, как ты. Я не имею права сердиться. Ведь я же всегда знала: ты когда-нибудь очнешься и поймешь, что тебе нужна не такая, как я.

— Ты с ума сошла, — пробормотал Кен; ему неистово хотелось заставить ее замолчать, ибо у него появилось такое ощущение, будто трепещущее сердце, которое он все время держал в ладонях, начинает биться тише и вот-вот замрет навсегда. Он еле сдерживался — ему хотелось грубо встряхнуть ее за плечи и прекратить это отчаянное самоуничижение. «Рассердись на меня снова, Вики,— мысленно взмолился он.— Только гордой я и могу любить тебя».

— Каждая девушка мечтает о таком, как ты,— продолжала Вики.— О таком красивом, таком умном... И когда проходит еще неделя, а ты попрежнему со мной, я знаю, что это чудо.

— Не думай так, Вики. Это неправда! — Он целовал ее лоб, глаза, но страстная убежденность в его голосе шла уже не от сердца, в котором постепенно воцарялась серая пустота. Им овладел панический страх, потому что прикосновение к ее спине волновало его сейчас не больше, чем если бы он погладил собственное запястье; руки, обвившиеся вокруг его шеи, утратили свою колдовскую прелесть — они стали просто горячими и цепкими. Ему хотелось отшвырнуть ее от себя — сейчас она еще и не того заслуживала, — но он продолжал тупо глядеть поверх ее головы. Лучше, чем кто-либо другой, он знал, как бесполезны попытки возродить любовь, раз она умерла.

Сжимая Вики в объятиях, выдавливая из себя слова любви и придумывая маленькие ласки, он уже строил планы бегства к своей работе, которая надолго поглотит его целиком, но зато не даст запутаться в тонких сетях человеческих чувств, — бегства в тот мир, где вовсе не нужно разбираться в чьих-то душевных движениях, а меньше всего — в своих собственных.

— Ну, Вики, успокойся же, — в отчаянии шептал он. — Дэви ждет меня в мастерской, нам нужно работать.

7

Жаркие летние дни медленно катились один за другим над старым сараем, и каждый день был наполнен своим особым солнечным светом и тенью от облаков, своими ветерками, звуками, доносившимися с полей, и вечерними запахами, но ничто из внешнего мира, казалось, не проникало в мастерскую.

Мимо запертых дверей по булыжной мостовой с грохотом проносились машины, увозя отпускников на север, любоваться озерами в сумеречном освещении. На другом конце города, в Пейдж-парке, горящие фонари еженощно стояли на вахте над случайными любовниками. С авиационного завода Волрата на соседний аэродром стали поступать первые зеленые бипланы; они совершали пробные полеты, жужжа в летнем небе, как стрекозы. Нортон Уоллис упаковал свой двигатель и вместе с ним в душном товарном вагоне проделал путь до какого-то городка в Аризоне, где некий молодой профессор производил опыты с гигантскими ракетами. В Милуоки Фэн Инкермен попрежнему проводила время в своеобразных развлечениях. В августе она случайно встретилась с очень забавным маленьким толстячком по имени Карл Бэннермен и кутила с ним напропалую. К счастью, им не представилось случая установить, что в Уикершеме у них имеется общий знакомый по фамилии Мэллори — Кен Мэллори, — иначе дело могло бы дойти до драки.

А в Уикершеме Кен позволял себе выходить из мастерской только

по субботним вечерам — на свидания с Вики, которые назначались раз в неделю. Кен бывал ласков, но рассеян, ибо настоящая его жизнь протекала не здесь.

Все это лето он жил в далеком мире, среди нереальных скал и горных пиков, в мире, где расстояния измерялись не милями, а вольтами, а скорость стремительных потоков — амперами. Этот мир был заключен в двенадцатидюймовом стеклянном цилиндре, размером и формой походившем на сложенную подзорную трубу; внутри него в безвоздушном пространстве находились замысловато расположенные кусочки металла и изогнутой проволоки. Кен обитал в этом мире вместе со своим братом Дэви. Кроме них, здесь не было ни одного человеческого существа, и для Кена наступил период бесстрастной удовлетворенности и блаженного спокойствия.

А Дэви это лето представлялось цепочкой коротких, неуклонно размеренных дней, в течение которых успехи в работе становились все зримее, как постепенный рост виноградной лозы. Он знал, что не только интерес к разрабатываемой ими проблеме заставляет Кена с головой погружаться в работу. Слишком часто Дэви приходилось наблюдать, как ведет себя Кен, когда остывают его любовные увлечения. И хотя роман с Вики был серьезнее и продолжительнее всех предыдущих, кончился он тем же самым — отчаянным и длительным погружением в глубины, куда не могли проникнуть ни сожаления, ни слезы, ни отблески чувств. Дэви все понимал, но помалкивал. Он, так сказать, умыл руки, решив не думать о Кене и Вики; и теперь к кончикам пальцев уже не липли их горести, а ладони больше не влажнели от сострадания.

В конце августа Брок, вернувшись в Уикершем после двухнедельного пребывания в штате Мэн, куда он ездил навестить отдыхавшую там семью, пожелал выслушать отчет Кена о том, что сделано за время его отсутствия. Он позвонил в субботу, в конце дня, вероятно заскучав в одиночестве, и предложил Кену пообедать с ним в Загородном клубе. Кен охотно согласился.

— А как же Вики,— спросил Дэви, когда Кен повесил трубку.— Ты ей позвонишь?

Кен сдвинул брови.

— А черт, совсем забыл. Слушай, будь другом, своди ее в кино вместо меня. Звонить не надо, просто пойди и объясни ей, почему так вышло. Я даже оставлю тебе машину.

Но как только Кен ушел, Дэви, решив соблюсти вежливость, позвонил Вики в книжную лавку.

—...В общем он не мог не пойти,— сказал Дэви.— Это деловая встреча. Вики, сделайте мне большое одолжение: давайте поедем куда-нибудь поужинать. А потом пойдем в кино или в Павильон — там сейчас новый оркестр.

Вики помолчала, потом рассмеялась мягко, но с оттенком грусти.

— Дэви, вы даете мне слово, что будете приглашать меня каждый раз, когда Кен меня надует?

Улыбка сошла с лица Дэви: он понял, что, сколько бы он ни внушал себе, будто умывает руки, все равно зараза въелась в его плоть и будет выступать наружу при каждом благоприятном случае.

Он поймал себя на том, что для нее бреется и одевается с особой тщательностью. Уступив настояниям Кена, он тоже приобрел себе новый костюм, правда не сшитый на заказ, как у Кена, а готовый — в магазине студенческого городка. Дэви завязал черный с золотом галстук и попытался отвернуть пристежной воротничок так, как это делал Кен. Серый фланелевый двубортный костюм с небольшими лацканами Дэви аккуратно застегнул на все пуговицы. Ни один из его прежних костюмов

не сидел на нем так хорошо, и Дэви, поворачиваясь перед небольшим зеркальцем, мельком подумал, похож ли он хоть чуточку на изящного франта в небрежно накинутом енотовом пальто, который улыбался с рекламы фабриканта готового платья, поставив одну ногу на подножку голубого «джордан-плейбоя». Но никакого сходства между ними не было, и Дэви это знал. Прежде всего, Дэви не улыбался. При мысли о предстоящем вечере сердце его начинало стучать, разгоняя по телу смутный сладкий страх, моментами становившийся нестерпимым. «Если бы мне было все равно,— с болью подумал Дэви,— наверное, мы бы весело провели вдвоем вечер». Его брал ужас, когда он думал о предстоящем свидании, но тайное опасение, что их встрече может что-нибудь помешать, придавало этому ужасу странную сладость.

Вики ждала его у книжной лавки, на ступеньках, служивших ей спасением от хлынувшей на улицу субботней толпы. С того дня, как она неожиданно увидела здесь Кена, явившегося просить прощения, Вики молилась про себя, чтобы это чудо повторилось еще раз. Если б она умела сосредоточить всю свою волю на одном желании и смотреть зорче, Кен, наверное, опять возник бы из толпы пешеходов, посмеиваясь над ее долгими и тщетными поисками. Вики стояла на ступеньках, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Она казалась очень одинокой, и это придавало ей особую прелесть. С весны лицо ее заметно осунулось. На веках обозначились крошечные голубые жилки, а взгляд расширенных сухих глаз был словно устремлен в безнадежность.

Вдали показался маленький «додж», медленно пробиравшийся сквозь уличную сутолоку, и какая-то частица души Вики взмолилась: «Пусть это будет Кен, господи,— и я поверю в тебя!» Но столько раз ее молитвы оказывались напрасными, что, увидя Дэви, она лишь покорно вздохнула. Когда Дэви распахнул перед ней дверцу, Вики пытливо взглянула на него, точно надеясь услышать более убедительное объяснение отсутствия Кена, объяснение, которое как-то докажет ей, что Кен все-таки любит ее. Но Дэви даже не произнес его имени, а она из гордости не стала расспрашивать.

Дэви повез ее к Беллу — в ресторан, где встречались политики и конгрессмены во время сессий законодательных органов. Темный дуб, штукатурка «под шагрень», жестко накрахмаленные скатерти и салфетки — таков был стиль этого заведения. Здесь царили комфорт и двуличность, здесь сытые люди спокойно сговаривались между собой, как утопить своих друзей, таких же сытых людей, сидевших за соседним столиком. И как человек, обостренным чутьем улавливающий малейшие следы запаха, от которого ему когда-то стало дурно, Вики мгновенно почувствовала эту атмосферу, ибо она уже на себе испытала, что такое предательство. Она знала все оттенки ощущений человека, которого предали — смесь гнева, боли, отчаяния и, наконец, всепрощающей покорности,— ведь в конце концов приходишь к убеждению, что предатель был не волен в себе, подчиняясь законам, диктуемым некоей властью, будь то власть бизнеса или власть равнодушия, сменившего любовь.

Вики слушала Дэви, стараясь изобразить на лице внимание, но ни на секунду не переставала сознавать, что матовые стекла окон лишают ее возможности глядеть на улицу, искать глазами Кена. Она как бы очутилась в западне. Если, конечно, Дэви не дал знать Кену, куда они идут, и он не придет сюда, как только освободится. При входе каждого нового посетителя глаза ее устремлялись на дверь.

Она изо всех сил боролась с собой, стараясь прекратить эту предательски фальшивую игру. Кен не придет — это ясно. Усилием воли она

заставила себя увидеть Дэви, на которого до сих пор смотрела невидящим взглядом. И с таким же усилием напрягла сопротивляющееся внимание и заставила себя слушать то, что он говорит. Она завидовала тому, что Дэви так поглощен своей работой. Словно впервые она разглядела его смуглое серьезное лицо — лицо Кена, но вылепленное более грубыми руками. «А что если б я влюбилась в него», — вдруг подумала Вики. И с той же напряженностью, с какой она томилась по Кену, Вики попыталась представить себе, как она прижимается губами ко рту Дэви, обвивает руками его шею, льнет к нему... Сидеть у него на коленях и тереться щекой о его щеку; лежать рядом с ним на диване в гостиной деда, блаженно изнемогая от темноты, от прикосновения его рук, ласкающих ее тело, от долгих пауз между произнесенными шепотом нежными словами, в которые выливается смутный вздох желания...

— Вы не согласны со мной?— вдруг перебил себя Дэви.

— Я?

— Вы сказали «нет» и покачали головой.

Вики отвела взгляд.

— Я просто подумала о том, что никогда не может случиться,— сказала она, словно очнувшись, ибо Дэви давно уже исчез из ее мыслей и все это время она была опять с Кеном.

Она поглядела на Дэви серьезным, испытующим взглядом и в приступе самоуничижения решила, что он удивляется, как можно быть такой дурой. Минуту назад он говорил ей, что теперь окончательно убедился в одном: их работа имеет несравненно более важное значение, чем кажется с первого взгляда. Если рассматривать электронную схему как подобие нервной системы, то и в радио, и в их изобретении основные схемы функционируют точь-в-точь, как мозговые центры, управляющие слухом и зрением. И если существует возможность воспроизвести эту часть работы человеческого мозга, говорил Дэви, то в будущем...

Вики молчала, и Дэви, приняв ее притворную внимательность за поощрение, с еще большим жаром стал рассказывать о своей работе, пока она вдруг не сказала «нет» и даже не сумела толком объяснить, что она имела в виду. И теперь Вики никак не могла понять, что означает выражение его лица — презрение, досаду или, быть может, сочувствие? Как тоскливо и жутко стало вдруг у нее на душе!

Когда Вики впервые заметила, что Кен начал охладевать к ней, она старалась уверить себя, будто это лишь потому, что их отношениям не хватает полноты — не свершилось некое волшебство, или то, что, как ей давали понять, должно быть волшебством. Но сейчас она сомневалась, удержало бы его даже это волшебство. В ней уже не осталось ни сдержанности, ни гордости, ничего, кроме предельного отчаяния, которое доводило ее до того, что, когда с ней кто-нибудь заговаривал, она с трудом подавляла желание взмолиться: «Сделайте так, чтобы он снова полюбил меня!»

— Я уезжаю,— сказала Вики.— В Кливленд.

— Надолго?— спросил Дэви.

Вики удивленно взглянула на него — ей казалось, что все должны понимать, в каком она смятении.— Навсегда,— ответила она.

Дэви пристально разглядывал узор на скатерти; лицо его помрачнело.

— Но ведь Кен не единственный человек в городе. Если, конечно, это из-за Кена.

— Конечно, из-за Кена,— устало произнесла Вики.— И он — единственный.

— Откуда вы знаете? Вы когда-нибудь присматривались к другим?

— Нет. Мне и незачем присматриваться. Но быть возле него слиш-

ком мучительно. А раз так, то надо быть сущей дурой, чтобы не встать и не уйти.

На худом лице Дэви не дрогнул ни один мускул, но трудно было выдержать взгляд его голубых глаз.

— Если вы так настроены, — сказал он немного погодя, уже не глядя на нее, — то, пожалуй, вам действительно лучше уехать.

8

Когда Дэви вернулся домой, Кен в своем новом костюме сидел за столом в кухне, положив перед собой крепко сцепленные руки. Увидев брата, он даже не шелохнулся. Потом, вместо того чтобы спросить о Вики, он сказал:

— Кажется, мы расстанемся с Броком.

— Почему?

— Он хочет, чтоб мы реорганизовали дело: построили его, как он говорит, на деловой основе.— Кен встал и зашагал по кухне.— Это значит — мы с тобой уже не будем работать на-пàру, как изобретатели, а должны создать промышленное предприятие. Чем больше народу будет работать, тем скорее мы добьемся осязаемых результатов — так он считает. Говорит, будто средства он доставал именно на таких условиях.

Дэви подавил готовый вырваться протест и спросил только:

— А ты что сказал?

— Что думаю, то и сказал. Пока мы не будем точно знать, в каком направлении продолжать поиски, мы не сможем сказать, какие помощники нам понадобятся. До какого-то момента он меня охотно выслушивал, но, я тебя уверяю, Дэви, рано или поздно мы с ним расстанемся. Я его побаиваюсь. Ему наплевать на то, чего мы хотим. Он сидит себе и улыбается. Это, знаешь ли, не человек, а самая холодная рыба на свете. Ты бы посмотрел на него в этом Загородном клубе! Я знаю, как люди пьют. Но такой пьянки, как там, я в жизни не видел. А Брок держался так, будто ровно ничего не происходит. Кончил допрашивать меня, тут же встал и вышел, буквально шагая через валяющиеся тела.— Кен сжал губы.— Волрат тоже появился там ненадолго. Угадай, с кем.

— С Марго?

— Да, с Марго,— сказал Кен. И по его тону Дэви догадался, что это занимает его куда больше, чем все сказанное Броком.— Она ведь ни разу не обмолвилась, что бывает там. Но ты бы ее видел! Можно подумать, что она в этом клубе — свой человек и привыкла ходить туда каждый день. Они изволили помахать мне, по крайней мере она. А я просто кивнул. Как Брок. Вот так — чуть-чуть. — Кен снова уставился на свои руки.— Нет, ты бы ее видел, Дэви,— повторил он уже гораздо мягче.— Она была там красивее всех.

— Серьезно?.. Вики уезжает отсюда, Кен. Говорит, что едет в Кливленд навсегда.

Кен поднял голову и тупо поглядел на Дэви, как бы недоумевая, почему тот так круто переменил разговор.

— Что это ей вздумалось?— спросил он.

— Ты не знаешь?

— Нет. Ох, ради бога, Дэви, я скажу, чтоб она не уезжала, и она останется.

— Что ж, попробуй. Только я ручаюсь тебе, что она все равно уедет.

Кен оглянулся по сторонам с беспомощно раздраженным видом, как человек, к которому лезут с пустяками, в то время как у него есть тысяча более важных забот.

— Не завтра же она хочет ехать,— сказал он наконец.— Вот выберу время и поговорю с ней. А пока вот что: Брок взял с меня слово. Скажи, можем мы приготовить характеристику электронно-лучевой трубки ко Дню труда?*

— Если будем день и ночь ломать себе голову.

— Ну, такова уж наша доля.

В первых числах сентября ни с того ни с сего вдруг нагрянули холода. Моросил серенький дождик, небо выглядело по-зимнему, но братьям в мастерской было жарко от лихорадочного возбуждения. В день решающего испытания прибора Дэви взялся за работу в половине восьмого утра. С весны было сконструировано шесть различных трубок, и все они никуда не годились; но с каждой неудачей уменьшалось количество остающихся возможностей. Теперь перед братьями стояла последняя дилемма — либо теперешняя конструкция правильна, либо неверен самый принцип электронного разложения изображения. К концу нынешнего дня этот вопрос решится, и они будут знать, окажется ли трубка, лежащая на столе, последней, или же это только начало — и за нею потянется вереница других ламп.

Кен надел свой обычный рабочий комбинезон, но был безукоризненно выбрит и причесан, словно готовился к какой-то важной для себя встрече. Для Дэви же этот день ничем не отличался от прочих, потому что все последние дни представлялись ему длительной и напряженной осадой. Без всяких приготовлений он приступил к испытанию фотоэлемента. Он подключил напряжение к диску сетки и к находящемуся перед ней полому кольцевому коллектору. Остальная часть трубки не охватывалась электрической цепью.

Поворачивать выключатели — это вовсе не механический акт: Дэви как бы приподымал веки внутренних глаз, позволявших ему ясно видеть, что делается на маленьком безвоздушном островке внутри лампы.

Он видел гладкий пологий холмик, образуемый электрическим напряжением; холмик начинался у сетки и спускался вниз сотнями вольт к плоской поверхности кольца. Этот скат только для заряженных частиц был твердым, как глетчер; для всего, что не было заряжено электричеством, он казался прозрачным, как небо.

Дэви нажал кнопку, включавшую питание полукруглого угольного электрода. В окошко трубки хлынула струйка золотистого света, и сетка превратилась в сияющий желтый диск.

Свет заставил электроны стремительно выскочить из их атомных орбит внутри тончайших волосков сетки; электроны, не успевая вернуться к сетке, сразу же попадали на склон электрического холма и скатывались к кольцевому коллектору каскадом падающих звезд.

Глядя на бумагу сквозь витую струйку дыма от сигареты, Дэви составлял подробное описание этого катаклизма, превратившего мир света в мир электричества. Все извержения, взрывы, слепящие буйные вспышки уложились в прозаическую запись, состоявшую из двух чисел — цифры, обозначавшей силу света, и цифры на шкале микроамперметра.

Дэви постепенно ослаблял силу светового барьера. Стрелка амперметра, улавливая каждое изменение, отклонялась от нуля и, трепеща, останавливалась у какой-нибудь цифры. График показаний сравнивался с результатами измерений у предыдущих трубок.

— Пока что неплохо,— сказал Дэви Кену.

— Тогда давай попробуем бегающий луч.

— Ладно.

---

* День труда — первый понедельник сентября, официальный праздник в Америке.

— Ты волнуешься?

— Нет, просто у меня все внутри застыло.

Все же, каким бы спокойным ни считал себя Дэви, каждый раз, когда пальцы его нажимали на кнопку, включавшую электронный прожектор в узкой шейке трубки, его охватывала трепетная робость перед тем, что он пытался вызвать к жизни. Уже шесть раз они с Кеном терпели неудачи, но каждый раз новая надежда вызывала зуд в его руках.

Он видел перед собой не сложную электронную лампу, а небольшой островок, голую, пустынную равнину. С поворотом выключателей одна сторона равнины вздымалась кверху, превращаясь в конусообразный вулкан, на вершине которого, в кратере, находилось озерцо электронов. И почти сразу же узкая горловина становилась руслом потока, сбегающего по склону горы; таким образом электроны, переплескивающиеся через край кратера, стекали вниз, на плоскость, по этому строго определенному пути.

Поворот выключателей вызывал также смятение на гладком скате острова, покрытом светочувствительным веществом,— вся масса вздымалась, образуя гору с плоской вершиной. Позади этой горы немедленно возникала вторая, точно такая же, но уже с пологой вершиной, снижающейся с тыльной стороны. Русло потока, бегущего вниз от верхушки дальней горы с кратером, спускалось на равнину, превращаясь в канал, который упирался в подножие горы с плоской вершиной.

Дэви с каменным лицом следил за измерительными приборами и читал показания тоненьких стрелок. Непригодность шести предыдущих трубок выяснилась именно на этом этапе. Дэви еще раз повернул выключатель и изменил очертания острова: теперь поток, текущий в канале, стал плавно разливаться по склону горы. Но приборы упорно показывали, что ток электронного пучка еще не достиг высшей точки.

— Понизь немного напряжение на сетке,— сказал Дэви.

Когда устремившийся вверх каскад наконец коснулся электрических вершин, Дэви предостерегающе поднял руку. Электроны теперь достигли сетки. Сейчас нужно было сделать очень точное движение, чтобы установить равновесие, которое покажет, можно ли вообще считать эту схему приемлемой. Каждую частицу струящегося в канале потока, достигшую острой, как лезвие, вершины горы, нужно заставить застыть намертво, а потом либо рухнуть вперед, на равнину, покрытую фотоэлементом, либо соскользнуть назад, к заднему коллектору. Приборы, присоединенные к каждому коллектору, должны были дать одинаковые показания.

Целых два часа этот мрачный пейзаж терзали, разрушали, создавали вновь, пока, наконец, оба измерительных прибора не показали цифру 65. Дэви, прежде чем позволить себе насладиться ощущением победы, отключил и поменял местами измерительные приборы, чтобы проверить, нет ли в них какого-нибудь внутреннего расхождения. Но и на новых местах оба прибора показывали 65,00.

Ни Кен, ни Дэви не заговаривали о том, чтобы устроить перерыв и позавтракать. Мир за стенами сарая потонул в серой пелене мелко сеявшегося дождя. На заводе Волрата механики, присев на корточки у стен ангара, уплетали завтраки, принесенные в жестяных коробках. В конторе, за тонкими перегородками, Дуг Волрат жевал сандвич и разговаривал по телефону с Нью-Йорком, где светило сентябрьское солнце и акции компании «Крайслер» поднялись на восемь пунктов. В универсальном магазине Хорна Марго, поглядывая вниз, на суетливую толпу покупателей в дождевых плащах, ждала, пока освободится номер Дуга. За углом в книжной лавке Вики никак не могла решить, бежать ли ей под дождем в аптеку напротив, чтобы перекусить, или лучше докончить письмо к своей кливлендской кузине, в котором она просила разузнать

насчет работы. И ни о какой работе не думал Брок, снимавший галоши в передней Гражданского клуба. Он с удовольствием предвкушал свой обычный завтрак в обществе призраков покойных лесопромышленных магнатов, и только в каком-то закоулке его мозга шевелилась настойчивая мысль о том, что послезавтра надо будет позвонить братьям Мэллори и приструнить их построже.

А братья Мэллори не думали ни о Броке, ни о дожде, ни друг о друге, ибо сейчас они были неотделимы. Им предстояло сделать последний шаг в исследовании маленького стеклянного невидимого для глаз островка, и только этим были заняты их мысли.

Подняв левую руку с перекрещенными «на счастье» двумя пальцами, Кен правой рукой нажал кнопку. Дэви стоял рядом. Оба не сводили глаз с измерительного прибора, ожидая его решающих показаний. Стрелка заднего прибора медленно заколебалась. Без какой-либо подачи света на сетку, по точно выверенным делениям шкалы, ток равнялся 65. Сейчас, однако, происходило излучение фотоэлектронов в направлении переднего кольцевого коллектора. Каждая порция излучения должна была вызывать крохотные вздыбленности напряжения на гребне горы и нарушать тончайшее равновесие, так что теперь большая часть электронного пучка должна была скользить по склону с другой стороны горы. Возрастающий ток в заднем коллекторе мог служить непосредственным мерилом света, падающего на определенную часть сетки, освещенную бегающим лучом.

Дэви затаил дыхание, молясь, чтобы стрелка продолжала свое движение к более высоким цифрам шкалы. Пусть результаты будут ничтожны, лишь бы они оказались положительными. Уже и сейчас эта трубка была настолько совершеннее всех предыдущих, что неудача могла произойти лишь в том случае, если порочна вся система.

Кончик стрелки переметнулся за 56... 58... 62... «Дальше, дальше!»— кричал про себя Дэви.

Стрелка дошла до 65 — испытание началось — и, перескочив эту цифру, неторопливо поползла дальше.

Дэви позволил себе перевести дух.

... 66... 68... стрелка скользила все дальше и застыла на 70,3. Дэви, еще не доверяя глазам, испустил медленный вздох облегчения. Кен обернулся к нему. Это был момент, ради которого они трудились столько лет — и все же лицо его было абсолютно бесстрастным.

— Я устал,— сказал он, и вдруг губы его раздвинула изумленная улыбка, постепенно становившаяся все шире. Дэви, наблюдавший за ним, расхохотался. Кен тоже принялся хохотать — над собой, над Дэви, над всем миром, который наконец-то очутился на его ладони.

Воспоминания о пережитом, гордость и чувство удовлетворения сблизили их настолько, что Дэви недоумевал: неужели он когда-либо мог злиться или даже просто досадовать на Кена? Теперь Дэви твердо знал: никогда он не был одинок, даже в самые тоскливые минуты, потому что какая-то частица Кена никогда не покидала его и всегда будет с ним.

— Я закончу испытание,— сказал Дэви.— А ты меня проверяй.

Он снова присел к фильтрам, и теперь прибор перестал быть неодушевленным. Каждая деталь, до которой дотрагивались его пальцы, стала верным союзником, выдержавшим вместе с ними борьбу,— даже эти стеклянные изоляторы. То, что пережили они с Кеном, было настолько важнее всего испытанного ими за свою жизнь, что каждый инструмент, каждый кусочек стекла, связанный с этим опытом, даже много времени спустя будет узнан с первого взгляда. Составляя диаграмму результатов испытания, Дэви улыбался.

Они создали нечто чрезвычайно значительное, а не просто дешевый

фокус для развлечения публики. Ибо этот прибор может выполнять некоторые функции самого тонкого человеческого разума. Любой вопрос, который можно перевести в правильно составленную электронную схему, отпечатается на сетке, а бегающий луч найдет решение в виде ясно выраженного «да» или «нет». Это даст возможность производить новые математические расчеты; химические процессы, представлявшиеся чересчур сложными для практического применения, когда-нибудь будут извлечены из этой трубки и перенесены в заводские чаны.

Вычерчивая плавную кривую, соединяющую точки на лежащем перед ним листе бумаги, Дэви спрашивал себя, был ли Джемс Уатт осенен вот таким же захватывающим дух интуитивным ясновидением в тот день, когда стучащий поршень его паровой машины впервые привел в движение маховое колесо. Уатт, должно быть, до какой-то степени угадывал, какой будет его Англия через сто пятьдесят лет. Джемс Уатт жил в те времена, когда мужчины носили штаны по колено, чулки и длинные волосы, собранные сзади в пучок, на манер парика, и все же это было не так уж давно — столько времени, сколько могут прожить два человека, один за другим: только две человеческие жизни.

Дэви, сидя за грубо сколоченным столом, чувствовал, как расширяется его ощущение времени: ему казалось, будто все временные промежутки спрессованы и с гулом проносятся мимо. И, тем не менее, он с неподвижным лицом прилежно перенумеровал чертежи и записал дату на случай справок в будущем. Острее, чем когда-либо, он ощутил быстротечность человеческой жизни на земле.

Кончив записи, Дэви медленно поднял глаза — он знал, что стремительная, все нарастающая скорость, с которой люди переделывают мир, в это утро увеличилась еще больше.

Он протянул рабочую тетрадь брату, и ему вспомнилась та ночь, когда они с Кеном договаривались насчет будущего,— ночь, когда Кен согласился записаться на пятый курс.

— Слушай, Кен,— серьезным тоном сказал Дэви,— ты понимаешь, что мы с тобой нашли?

Кен взглянул на записи и медленно усмехнулся.

— Это ясно, как день,— не сразу сказал он. Усмешка его стала кривой.— Здесь написано черным по белому — миллион долларов!

Глаза Дэви расширились. Он вздрогнул, потом сразу окаменел. Кен либо забыл ту ночь, либо не понял, что хотел сказать Дэви. Неразрывная связь, объединявшая братьев весь день, вдруг расползлась, как намокшая бумага. И Дэви осознал, что он такой же, каким был всегда — одинокий и никому не нужный,—а Кен все тот, кем всегда был Кен — его старший брат и совершенно чужой человек.

9

В начале октября утра стояли прозрачные, холодные и ясные. В лучах восходящего солнца бледно поблескивал иней, лежавший на полях, на ступеньках веранды, в углах оконных рам. К девяти часам белое кружево таяло, небо уходило ввысь, как человеческие надежды, синева его парила над багряно-золотистым пламенем осенней листвы. Солнце взбиралось все выше, и полдень был бы совсем июньским, если б не дымки из труб и не тлеющие кучи сухих листьев, от которых в воздухе разливался слабый терпкий аромат. Вскоре с севера надвигались ранние сумерки, легкий пар, весь день стоявший над озером, оседал низко стелющимся туманом, постепенно переходившим в мглу. В девять часов вечера в синей морозной вышине вспыхивали острые хрусталики звезд, и все

опять начинало сверкать, потому что туман превращался в росу. А на утро, к восходу солнца, поля опять покрывались белизной.

В вечернем тумане вокзал казался еще мрачнее, чем всегда; туман, как пар, клубился под высоким железным навесом платформы, обволакивал вокзальные фонари, превращая их в расплывчатые опаловые пятна. К зданию вокзала то и дело подкатывали машины, они разворачивались и уносились прочь, и было похоже, будто пучеглазые рыцари гарцуют на турнире, пригнувшись к двум длинным светящимся копьям, которые бесшумно сшибались и перекрещивались с такими же парными копьями.

Поезд южного направления, на Милуоки, прибывал в 6.52, с расчетом, чтобы пассажиры могли успеть на восточный экспресс. Паровоз, волоча за собой вагоны, вползал под своды вокзала, как чудовищное насекомое, прокладывавшее себе путь длинным белым щупальцем, торчащим из циклопического глаза — головного прожектора; насекомое с шипеньем выбрасывало за рельсы гибкие лапки — белые струйки пара. Окна тянувшихся сзади вагонов казались желтыми сегментами туловища гусеницы; каждое окно отбрасывало на землю бледнозолотой квадратный отсвет.

Вики, Дэви и Кен в дождевых плащах неподвижно стояли на платформе, поеживаясь в клубах сырого тумана. Все трое молча глядели на приближавшийся поезд. Кен в последнюю минуту заставил Дэви пойти с ним на вокзал, и Дэви понял — брат не хочет прощаться с Вики наедине. Презирая его в душе, Дэви согласился. Они заехали за Вики, и, здороваясь, оба смотрели на нее одинаково виноватыми глазами, хотя провинились перед ней совсем по-разному. Из всех троих только Вики сохраняла полное самообладание; она сидела между ними в машине бледная, но с высоко поднятой головой.

Ожидание на перроне казалось им нескончаемой пыткой, хотя они спокойно говорили о погоде, о том, с какой точностью прибыл поезд, и чьи часы показывают верное время.

— Я, пожалуй, пойду в вагон,— сказала Вики, как только поезд остановился.

— Вздор,— резко ответил Кен.— До отхода целых десять минут, а ты еще успеешь насидеться.

Вики бросила на него взгляд, который можно было бы назвать уничтожающим, но Дэви показалось, что она заставила себя напоследок произвести окончательную оценку Кена, взглядом вобрать сущность всего, что она в нем любила, и унести с собой. А в поезде, оставшись одна, она попытается определить, драгоценный ли это камень или простой булыжник...

Дэви почувствовал, что ему уже не под силу служить барьером между ними. Он отошел в сторону, решив хоть на несколько последних минут оставить их наедине, не представляя, впрочем, о чем они могли бы говорить без взаимной обиды — разве только пожелать друг другу счастья. Лучше всего, подумал Дэви, если б Кен этим и ограничился, но сказал бы это искренно, сознавая, что они, быть может, никогда больше не увидятся, что он любил ее по-настоящему, потому что она чудесная девушка, а если разлюбил, то виноват в этом только он один. Вики не нуждается в утешениях, решил Дэви, а вот Кену необходимо вернуть себе уважение младшего брата.

— Я схожу за сигаретами,— сказал Дэви, на ходу придумав предлог.— И, если найду, куплю вам «Ярмарку тщеславия» *.

---

* «Ярмарка тщеславия» — журнал мод и светской хроники.

— Давай лучше я сбегаю,— быстро предложил Кен.— Я сделаю это быстрее. Через минуту вернусь.

Дэви и Вики молча поглядели ему вслед, и, когда они обернулись друг к другу, Дэви заметил на ее лице еле уловимую ироническую усмешку.

Взяв Вики под руку, Дэви крепко прижал ее к себе.

— Слушайте, Вики, имей я на брата влияние, все было бы по-другому. Вы — лучшая девушка из всех, кого он знал, да и не только он. И вам это известно, правда?

— Он ужасно растерян,— сказала Вики.— Я не хотела, чтобы он провожал меня. Но он настоял,— добавила она утомленно.— Я хочу пойти в вагон.

— Не дождавшись его?

— Вы думаете, он огорчится?— спросила Вики, подняв на Дэви усталый и умный взгляд.

— Думаю, что да. Я все еще надеюсь, что он скажет или сделает что-нибудь такое, за что я смогу уважать его попрежнему.— Он глядел на нее грустными, умоляющими глазами.— Вики, окажите мне эту услугу, хорошо? Иначе я долго буду думать о нем плохо.

— Ничего, это пройдет,— сказала она.

— И у вас тоже.

— Вы уверены?— В голосе Вики зазвучала беззлобная ирония.— У других девушек это тоже проходило?

— Да,— сказал Дэви. Теперь он вовсе не был намерен покрывать Кена.— Всегда проходило, и впредь будет проходить. И довольно незаметно.

— Что ж, это хороший признак.— Вики протянула ему руку.— Прощайте, Дэви.

Дэви взял ее руку и задержал в своей.

— Значит, вы его не подождете?

— Незачем. Что бы он ни сказал и ни сделал, все равно ничего не изменится. А я замерзла.

Дэви не выпускал ее руки: ему казалось невероятным, что Вики больше не будет жить в одном городе с ним. Пусть она никогда не думала о нем, но, живя в Уикершеме, она была близко. И что бы она ни делала, что бы ни происходило в ее жизни, он всегда знал об этом.

— Вики, а писать вы мне будете?

— Если только вы станете отвечать. Теперь ведь у вас будут работать два техника. Пожалуй, скоро вы заведете себе секретаршу. Она будет писать за вас письма.

Дэви все еще держал ее руку.

— Можно вас поцеловать, Вики?

Вики подставила губы, и он поцеловал ее. Прикоснувшись к ее губам, он забыл о своем намерении только чуть-чуть обнять ее и прижал к себе с такой отчаянной страстью, что Вики, отступив назад, посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Это накапливалось давно,— сказал Дэви.— Так поцеловать вас мне хотелось еще полтора года назад, когда я пришел на вокзал встречать самую прекрасную девушку в мире.

— Ах, Дэви!..— воскликнула она с тоской. И он не понял, чем вызвана эта бесконечная горечь, звучавшая в ее голосе,— сожалением о том, что могло быть, или о том, что утрачено. Голос ее дрогнул, но в глазах не было слез. Она взяла один из чемоданов, самый тяжелый — как в день своего приезда,— и шагнула на ступеньку вагона. Дэви пошел за ней, глядя на ее стройные ноги и спрашивая себя, сможет ли он когда-нибудь разлюбить ее. Бремя этой любви было ему ненавистно, он

изнемогал под его тяжестью, но в душе его, даже в самые горькие минуты, ни разу не шевельнулось желание, чтобы Вики навсегда ушла из его жизни.

— Ну, прощайте,— сказала она тем же усталым тоном, но на этот раз улыбнулась.

— Прощайте.

Вики вошла в вагон. Дэви проводил ее глазами, все еще чувствуя на своих губах теплоту ее губ. Он порылся в памяти, стараясь припомнить, было ли у него когда-нибудь такое же ощущение, и лишний раз убедился, что все прежние поцелуи занимали его, только пока они длились.

Повернувшись, он быстро зашагал сквозь туман к залу ожидания и у дверей столкнулся с Кеном, который выходил на перрон со свернутым в трубку журналом подмышкой. Лицо Дэви осунулось, а глаза как будто запали еще больше.

— Она уже села в вагон,— сказал Дэви.— Велела тебе кланяться.

— Не подождала меня?— медленно спросил Кен, и даже придирчивый слух Дэви не мог уловить в его тоне ни малейшего облегчения. — Она ничего не просила мне передать?

— Ничего,— отрезал Дэви.— А чего ты, собственно, ждал?

— Да, пожалуй, ничего,— тусклым голосом сказал Кен. В нем как будто что-то надломилось, но Дэви не хотел ни сочувствовать, ни даже замечать этого.

Он прошел мимо растерянного Кена и направился к стоявшей на улице машине, даже не оглянувшись, чтобы посмотреть, идет ли за ним брат. Он не ручался, сможет ли скрыть озлобление, ибо он только что потерял единственную девушку, которую любил, и потерял ее, так и не узнав взаимности. Даже сейчас она думала не о нем, а о Кене.

Поезд с пыхтением и ревом двинулся вперед. Все было кончено.

(Окончание следует)

Анна Зегерс

Основные вопросы современной немецкой литературы

Мы собрались, чтобы обсудить важнейшие вопросы современной немецкой литературы.

Хотя в центре внимания съезда — молодая литература Германской Демократической Республики, вопросы, с нею связанные, важны для каждого немецкого писателя. Ибо в нашей республике впервые на немецкой земле в трудной и упорной борьбе осуществляется строительство социализма и изменение общественного строя. Книги, о которых нам предстоит говорить,— это одна из тех сил, которые в этой борьбе воздействуют на сознание людей, прежде всего в этой части нашей расколотой родины.

То, что я собираюсь сказать, не будет докладом в обычном смысле слова. В нем не будет перечня всех созданных у нас произведений; книги, которые я буду упоминать для пояснения своих мыслей,— это прежде всего крупные произведения прозы. Я не буду выдвигать никаких тезисов. Но я надеюсь наметить некоторые исходные точки для дискуссии на нашем съезде.

Я благодарю наших зарубежных гостей за их готовность участвовать в нашей работе. Каждого из них сопровождает много незримых спутников — писатели настоящего и прошлого их народа, которых любим и мы, и все другие народы. Ибо они приобщали и приобщают наше сознание к тем человеческим ценностям, без которых мы не могли бы работать и без которых не хотели бы жить. Почему они так глубоко и прочно связаны со своим народом и несмотря на это или, может быть, именно поэтому преодолевают границы времени, как они достигли этого, благодаря чему — все это тоже относится к числу тех вопросов, о которых мы должны подумать. Ибо мы хотим ясно представить себе, чего мы уже добились и чего еще должны достичь.

Наша национальная немецкая литература — неотъемлемая часть мировой культуры, этой неприступной для врагов крепости. Любимые нами всеми, бессмертные, благородные творения искусства создавались на немецком языке во все периоды нашей истории — в те эпохи, когда Германия была разорена войнами, раздроблена и растерзана внутренними распрями, и в те эпохи, когда часть Германии была занята иноземными войсками. И все же эти произведения захватывали всех, кто говорил по-немецки. И часто бывало, что только родной язык оставался нашей единственной общей родиной. Как бы мрачна и гнетуща ни была действительность, писатели тех эпох создавали из своего опыта такие произведения, которые принадлежат и нашему мышлению и мышлению других народов.

Десять лет отделяют нас от конца второй мировой войны, двадцать два года — от дня захвата власти Гитлером. Есть ли у нас сегодня произведения на нашем язы-

---

Доклад на Четвертом съезде немецких писателей.

ке, которые объясняли бы и нам самим и всем людям, что нас волнует и чего мы ожидаем? Пишутся ли такие произведения? Накоплен ли опыт и знания, которые помогали бы писателям, а через них тысячам и миллионам читателей?

Когда я вернулась из эмиграции, я проехала через всю Германию с запада на восток. Города были разрушены, и в неменьшей степени были разрушены человеческие души. Тогда Германия являла собой «единство» развалин, отчаяния и голода. Однако находились люди, не оглушенные бедствием, и они впервые начали задавать вопросы, которые мучили всех: что произошло? Почему это произошло? И отсюда вытекал следующий вопрос: что должно произойти, чтобы этот ужас никогда больше не повторился?

Именно в эту минуту и должны были выступить немецкие писатели, чтобы как можно отчетливее и яснее ответить на эти вопросы. Средствами своего ремесла они должны были помочь народу понять положение, в котором он очутился по своей вине, и пробудить в нем силы для новой мирной жизни.

С этого началась воспитательная работа на востоке Германии. Но на западе тех, кто задавал эти вопросы, заставили замолчать, как назойливо любопытных детей. Было сделано все возможное, чтобы оттеснить на задний план всех, кто сознавал свою ответственность и вопреки всем угрозам давал ответ. В то время, когда у нас карали военных преступников, лишали их собственности и делили юнкерские поместья, в Западной Германии уже снова были в почете прежние промышленные магнаты и милитаристы. В театрах и кино, в издательствах и на радио, в газетах и журналах, в школах и библиотеках все настойчивее заглушалось то, что могло бы заставить людей задуматься и тем самым понять события, происходившие на их глазах.

Это совершилось не в день, не в два — это был длительный процесс, результаты которого мы видим теперь. С той поры жизнь и работа тех западногерманских писателей, которые все же продолжали писать для своего народа, стала непрерывной борьбой *против* господствующих сил. Наша жизнь и наша работа с самого начала были борьбой *вместе* с нашим государством и *за* наше государство. Об этом мы должны помнить, приступая к обсуждению проблем нашего ремесла, проблем формы и содержания.

Я поселилась в Восточной зоне, потому что была уверена, что здесь мой труд — тот труд, на который я способна, будет нужен и будет полезен в борьбе за новое общество и за каждого отдельного человека. Большинству здесь понятно, что я хочу этим сказать. Но поскольку я знаю, что некоторые этого не понимают или понимают превратно, то нужно объяснить это подробнее. Речь идет о свободе писателя и об его ответственности.

Здесь я свободна, потому что писала и пишу то, что хочу в меру своих сил и опыта. Пишу о людях и о задачах, которые выдвигает непрерывно перед ними жизнь в окружающем их мире, в уме и сердце, в труде, любви, дружбе. Здесь, где были приняты величайшие и далеко идущие решения — решения, которые в корне изменили людей и все человеческие взаимоотношения,— читатель относился к книгам в зависимости от своего характера: с увлечением или недоверием, в поисках совета или подтверждения своим мыслям. И мое государство, которое разделяет мою точку зрения и мое направление, помогает мне писать. Чем же, критикой? Да, конечно, и критикой тоже. Точно так же, как мы целыми неделями обсуждаем свои книги, так же как и вы будете обсуждать то, что я сейчас говорю.

Итак, я была уверена, что найду здесь свободу, какую только может пожелать себе писатель. Но вместе с тем я чувствовала себя обязанной в гораздо большей степени, чем до тех пор, отдать себе отчет, оказывают ли мои книги влияние на людей, и если оказывают, то какое. Не только на друзей, не только на докладчиков и критиков. Здесь у нас уже опрокинуто множество из тех преград, которые в других странах отделяют автора от его читателей. Благодаря всем культурным мероприятиям сперва советских оккупационных властей, а потом — нашего правительства, была коренным образом изменена вся система образования. Слово «мир» стало одним из первых слов, которое учатся писать наши дети; на уроках современной истории они узнают, какие силы готовят им светлое будущее и какие силы прошлого пытаются помешать этому. На рабочих и крестьянских факультетах сыновья рабочих

и крестьян получили возможность готовиться к поступлению в университеты, чтобы приобретать знания, соответствующие их призваниям. Во всех предприятиях и учреждениях, а также на всех заводах, на всех машинно-тракторных станциях были созданы библиотеки. Некоторые МТС организовали передвижные библиотеки в деревнях. Эти мероприятия осуществлялись и развивались благодаря запросам и растущим потребностям нового читателя. Мне кажется, что именно в пору их возникновения действенность этих мероприятий была особенно наглядной.

Возросла ли она или нет, и где именно нет, об этом мы еще поговорим.

Многочисленные письма читателей, которые мы и тогда уже получали ежедневно — теперь их приходит много больше,— показывают, какой отклик находят наши книги, показывают лучше, чем объем тиражей или критические статьи. Иногда этот отклик бывает неожиданно большим, иногда — неожиданно малым. Наши люди много лет были отрезаны фашизмом от окружающего мира, оглуплены, а зачастую развращены. Теперь это оцепенение кончилось.

Враги относились к нам недвусмысленно: так, один фашист вскоре после окончания войны, прочитав мой рассказ, сказал мне: «В вашей писанине «Саботажники» вы хотите научить молодежь тому, что ей надлежит делать во время войны с Россией. Я вам расскажу как было дело в действительности и почему это случилось с нами...».

Мы с особенной силой почувствовали свою ответственность, когда определенная часть нашей молодежи искренне, но тщетно пыталась понять нас. Но мы не знали, чего именно недостает им, для того, чтобы понять нас, не знали этих недостатков, в которых не были повинны ни они сами, ни наши книги.

«Вы говорите, что Ваша радиопьеса «Суд над Жанной д'Арк» воспроизводит истинный ход процесса. Но моя любительская труппа не может сыграть ее. Большинство из нас до сих пор не знает правды о борьбе за свободу других народов. Один из актеров даже сказал: «А может быть, нюрнбергский суд все же был несправедлив?»

Об этом примере мы уже как-то говорили в Союзе писателей. При этом возник вопрос — должен ли писатель считаться с пониманием читателей, на которых он хочет воздействовать, и если да, то в какой мере.

Несколько лет спустя я получила письмо от старшеклассниц женской школы: «Все мы любим Пабло Неруду. Мы знаем много его стихов. Мы любим его за то, что он понимает людей и так страстно борется за мир. Сейчас мы читаем его поэму «Да пробудится лесоруб!», и нам очень жаль, что мы не понимаем ее. Пожалуйста, объясни ее нам».

Здесь речь идет, прежде всего, о понимании формы. Из других побуждений исходит критика, на которую мы наталкиваемся еще и сегодня: «Я провел годы в концентрационном лагере. Мне противно читать, когда изображая нацистских деятелей, их наделяют человеческими качествами».

И опять иная точка зрения: «Роман Клаудиуса * мне понравился, за исключением нескольких мест. Я верю, что Эре тоже иногда ссорится с женой. Но что он ссорится из-за того, о чем пишет Клаудиус,— я не верю».

А вот слова, услышанные на первомайском книжном базаре года два тому назад: «Если большинство людей на самом деле так отнеслось к беглецу из концлагеря, как Вы изобразили в «Седьмом кресте», я не понимаю, почему все они пошли за Гитлером на войну».

Как видите, в этих высказываниях содержится так много вопросов, что для ответа на них нам понадобилось бы провести бесчисленное множество съездов.

Я так подробно привожу их потому, что воздействие книг на наших людей неотделимо от проблемы, которая волнует нас больше всего: в каком состоянии находится наша литература сегодня?

Прежде чем говорить о современной литературе, необходимо выяснить, что мы под этим подразумеваем.

В широком смысле слова современная литература — это литература, которая готовит человека к участию в нашей борьбе за жизнь, какой ее желают видеть лучшие люди,— жизнь без войны, в уважении к другим народам, жизнь, в которой каждый работает по способностям и получает по труду, где все имеют право на образование, на все культурные ценности, на уменье

---

* Э. Клаудиус, О тех, кто с нами.

постигать эти ценности и наслаждаться ими. Пишет ли писатель, стремящийся к такому будущему, о нашей современности или о жизни других народов, о прошлом своей страны или о музыке, об изобретениях, о любви, о дружбе, об отражении действительности в сказках и мечтах,— он всегда открывает современному человеку всю его глубину и многогранность, снаряжает его в путь к труду и в путь к будущему.

Именно для этой цели нам и нужно то, что мы называем современной литературой в узком смысле этого слова. Наши люди прежде всего хотят понять самих себя, свою жизнь.

Никакие премии и одобрения не могут подчас вознаградить писателя за его труд. И дело не только в затраченных силах. Ему приходилось бороться против лени и глупости, против ненависти и недоверия, против врагов, а иногда и против друзей, против себя самого. Часто кажется ему, что он пишет о том, что еще недостаточно пристально и долго наблюдал. Ведь то, чем живет человек, требует внимательного и длительного изучения. Но вот, словно чудом оказавшийся рядом писатель изобразил его жизнь. И обыденное перестает быть обыденным, ибо в нем уже волшебная сила искусства. Судьба человека, изображенная в книге, стала тем самым частью целого. Теперь его труд — это уже не просто тяжелая или легкая работа на фабрике, в поле или за письменным столом. Так бывало казалось ему, когда им овладевала усталость или досада. Теперь, в книге или на сцене, он воспринимает свой труд как часть общенародного строительства, а социалистическое строительство в его стране — это часть таких великих перемен, которые совершаются на половине земного шара. И потому он сам в произведении искусства воплощает в себе всех и все, что зовется строительством.

В своем выступлении в Янани Мао Цзэдун разъяснил писателям, в чем заключается воздействие искусства, которое иногда сильнее, чем воздействие действительности. Мы ведь знаем людей, которых заставили задуматься над жизнью не события их собственной жизни, а книга, пьеса или кинофильм. В жизни на неподготовленного, неискушенного человека воздействуют бесчисленные разнородные частности в их пестрой хаотической смеси. Художник же освещает то, что ему кажется важным. Он отбирает частное, особенное, и под его пером кристаллизуется то, что в жизни перемешано и трудно различимо.

Но писателю это дано лишь в том случае, если он в отдельном, особенном сумеет познать и воплотить самое существенное.

Мы уже обсуждали и устно и письменно понятие «идеологической ясности». Писатели с марксистским мировоззрением знают, что для правдивого изображения действительности нужно понять общественно-типическое и показать его на примере отдельных людей и событий. Но объяснение действительности — это совсем иной процесс, отличный от процесса художественного воплощения. Об эпохе, которую описывает Горький в романе «Мать», мы можем все точно узнать из истории партии. В романе же мы постигаем революцию через события, которые происходят в комнате на окраине города, через отношения между сыном и матерью. Вначале революция возвещает о себе тем, что сын перестает пить, садится за книгу, становится вежлив с матерью. Горький показал нам все эти частности, потому что его сознание созрело для понимания революции, а его дар художника был достаточно велик для изображения ее примет. Но бывает и так, что художник, понимая ход развития в целом, заблуждается относительно отдельных его стадий, как, например, Нексе, когда он писал своего «Пелле». Но Нексе было ясно, что рабочий класс — ведущая сила на пути к будущему, и он сумел показать это. Отсюда революционное воздействие его книги.

Томас Манн — об этом писал Курт Штерн в своей статье — имел сильнейшее влияние на современников, хотя он не был ни революционером, ни марксистом. Но он занял определенную позицию уже тем, что своим пером боролся за человечность и против бесчеловечности, за человеческое достоинство против низости, за разум против глупости и суеверия.

Специфические способности художника вытекают не только из ясного и глубокого сознания, которое нужно и ученому и преподавателю для того, чтобы своими специфическими средствами воздействовать на людей. Но там, где этого сознания нет, даже очень талантливый писатель теряет большую часть своего умения сообщать людям свои мысли. И это не только его личная

утрата, ибо всему нашему ремеслу присуща способность мощного воздействия. Литературе уже случалось способствовать гибели народов. Литература помогает и там, где народ борется за свободу. Она доводит людей до самоубийства и она превращает людей в героических борцов. Мы сейчас говорим не о том, есть ли талант у того или иного писателя. Только тот, у кого есть и ясность сознания и специфические способности художника, может сделать сильных и бдительных бойцов в наших рядах еще более сильными и бдительными и вдохнуть жизнь даже в косный ум, даже в холодное сердце. Наша ответственность так велика потому, что мы знаем силу искусства. Потому-то мы и требуем от талантливых писателей нашего государства, которое предоставляет им для этого все возможности, чтобы они шли к ясности и знанию, опираясь на собственный опыт и пристальное изучение жизни.

Посмотрим, что это значит практически для самого процесса нашей работы.

Мы часто слышим упрек, что наша современная литература отстает от действительности. При этом имеют в виду не современную литературу в широком смысле, о которой я уже говорила. Ибо не подлежит сомнению, что у нас есть книги, поднимающие сознательность современного человека, придающие ему знание, мужество и силу в работе, в борьбе с самим собой и с внешним миром. Тот факт, что к авторам таких книг мы относим столь разных писателей, как Брехт, Бехер, Цвейг, Бредель, Узе, Ренн, Гейм и других, которые по разным поводам самыми разными средствами воздействуют на разные слои населения, только доказывает многообразие нашей жизни и нашей литературы.

Но упрек, обращенный к нам, означает следующее: кто из вас изобразил перемены в нашем обществе, самые глубокие из всех когда-либо происходивших в Германии так, чтобы это литературное изображение было убедительным по форме и по содержанию? Нет ни одной области нашей жизни — будь то город или деревня, завод или семья,— которая не сотрясалась бы, не гудела от великого переворота. Почему в литературе это все отражено недостаточно?

Я не стану ссылаться на отсутствие гениев. Писатели, о которых я говорила вначале, писатели, создавшие великие культурные ценности для нашего народа и для всех народов, крайне немногочисленны, если провести этот отбор с точки зрения нашего поколения и грядущих потомков. Правда, мы не знаем, сколько из них бесследно погибло, потому что им не хватило сил выдержать всех нападок на свою жизнь и на свои творческие силы: войну, голод, нищету, отчаяние и успешный бойкот господствующих классов своей эпохи — все то, что мы сегодня здесь искореняем.

Разве художники, которых, вероятно, справедливо называют гениальными, сваливались с неба в пору великих исторических преобразований? Сложные общественные явления, которые возникают при смене одного класса другим, впервые никогда не описывались гениями и в дальнейшем о них писали не одни лишь гении. Живописец Джотто был не первым и не единственным, кто писал алтарные иконы с крестьян своей родины. Не Шекспир — родоначальник английской драмы. Если бы в те времена искали так же сознательно, как сегодня, Шекспира начали бы упорно разыскивать задолго до его появления. Я вспоминаю, как еще в студенческие годы меня поразили и заставили призадуматься слова искусствоведов, например Курциуса, о том, что в начале каждой новой эпохи развития искусства происходит открытие нового содержания. Они подтверждали это примерами из истории искусств от античности и до наших дней. Они ссылались на Мирона, который изображал атлета во время состязаний, вместо прежних идеальных, обожествленных тел. Они говорили о фресках в катакомбах, где первые христиане использовали в качестве священных символов мотивы из росписи помпейских вилл. И, наконец, они говорили о том, как импрессионисты изображали человека в солнечном свете. Подобные примеры можно найти и в литературе.

Однако ссылки на историю еще не снимают упрека, они могут только помочь нам быстрее осознать и преодолеть свои ошибки, если мы обладаем достаточными способностями для этого.

Основательно ли знают наши друзья, которые делают нам этот упрек, нашу молодую литературу? Не только Клаудиуса и Штритматтера, но также и Глогера, Фишера, Аннемарию Рейнгардт, Хариха, который, как и Хильд, начал писать уже в зрелом возрасте всего несколько лет на-

зад,— его следует упомянуть как пример появления новых дарований в рядах рабочего класса, который рассказывает сам о себе. Я называю здесь только имена прозаиков и то некоторых. У многих сочетаются оба понятия — писать о современности и писать для современности, как, например, у Глогера, который развернул свое историческое полотно на три поколения.

Во время дискуссии с горняками из Нахтерштедта * я обратила внимание на то, что многие имена вообще не были названы. Может быть, они им неизвестны? Позднее мы должны поговорить о задачах печати как посредника между автором и читателем.

Разумеется, у нас много ошибок и недостатков, есть они и у названных товарищей. Много в нашей литературе еще скудного, мещанского, халтурного. Есть и просто неубедительное. Некоторые произведения пока еще могут служить лишь примерами открытия нового материала, и притом такими примерами, из которых явствует, как мучительно долго живут в художественном изображении пережитки правящих классов и как неуклюжи и к тому же недостаточны усилия освободиться от них.

Как выглядит окружающий нас мир? С момента освобождения от гитлеризма прошло десять лет. Не успели люди начать отстраиваться на развалинах и преодолевать фашизм, как с Запада им начали внушать, что они не должны преодолевать его. Значительная часть населения Берлина сама помогала очищать от развалин город. Но это отнюдь не означало, что сознание и души людей очистились от развалин и мусора. Иногда дом был готов для новой жизни раньше, чем его строители.

Это явление наблюдается во всех странах, поднимающихся на более высокую ступень социального развития. У нас это особенно наглядно из-за разделения нашей страны и нашей столицы. Вчерашний день всегда и везде борется с завтрашним днем. У нас географическая граница совпадает с границей между двумя господствующими идеологиями.

При этом возникают конфликты, острее которых не мог бы себе пожелать и Бальзак. Об этом говорил Альфред Курелла на открытии литературного института в Лейпциге. Почему же тогда появляются пресные, лишенные напряжения книги, которые нагоняют на читателя скуку вместо того, чтобы захватывать его?

Нашей литературе не хватает сюжетов, основанных на подлинных конфликтах. Иногда даже кажется, что авторы намеренно избегают показывать подлинные конфликты — ведь в окружающей действительности они постоянно сталкиваются с ними. Нельзя поверить, что они их не видят и не участвуют в них. Но по различным причинам они уклоняются от изображения этих конфликтов. Это обедняет их книги. И читателей разочаровывает, порою даже возмущает, что их писатели, от которых они ждут правды, делают вид, будто они не замечают острых жизненных конфликтов.

Увлекательный сюжет немыслим без конфликта. Все книги, которые захватывают читателей, захватывают их сюжетом, конфликтами, на которых строится сюжет. Так было и с греческими мифами, и с библейскими легендами, так обстоит дело и сегодня. Только в конфликте может раскрыться и характер отдельного человека, изображаемого писателем, и все его личные и общественные отношения. В конфликте обнаруживается, на чьей он стороне и почему. Только в конфликте открывается перспектива, перед которой стоит и он и мы сами. И автор, показывая читателям эту перспективу, тем самым говорит, на чьей он стороне. И всегда именно конфликт и его разрешение сильнее всего волнуют чи-

---

* Имеется в виду письмо к немецким писателям рабочих и служащих народного предприятия Нахтерштедт, в котором они говорили о недостаточном отражении в литературе жизни Германской Демократической Республики. Это письмо, опубликованное в газете «Трибюне» в январе 1955 года, вызвало горячую и оживленную дискуссию в писательских организациях и печати ГДР. В частности, Стефан Гейм возражал против требования рабочих Нахтерштедта «больше показывать в литературе энтузиазм, страстность, огромное чувство ответственности, пронизывающее рабочих в борьбе за новое», видя в этом призыв к схематизму и лакировке действительности. Против такого толкования этого требования выступили многие писатели и критики ГДР, в том числе А. Зегерс, Ф. Вайскопф, Г. Цвойдрак, М. Чесно-Хелль, В. Рейновский, Г. Шмидт. Дальше в своем докладе Анна Зегерс еще раз касается этого вопроса (Прим. ред.).

тателя — как зрелого, так и неискушенного, как ребенка, так и взрослого.

Но сегодня уже недостаточно изобразить один лишь конфликт, даже если это сделано с силой, равной бальзаковской. Писатель должен так показать его, чтобы ясно было направление общего развития. Следуют ли действующие лица по данному направлению или уклоняются от него — от этого зависит разрешение конфликта и следующая ступень развития. И воздействие на читателя зависит от того, насколько он это почувствовал и насколько разрешение конфликта становится для него его собственным решением.

Ниже я скажу о том, почему в наших книгах зачастую нет подлинного конфликта, а только мнимый, нет подлинного развития, а есть только мнимое, отчего и читатель остается совершенно равнодушным.

Многие книги, написанные на Западе и, в частности, в Западной Германии, превосходят наши книги по мастерству построения конфликта и сюжета. Возьмем, к примеру, американский роман «Нагие и мертвые» *. Он читается с напряженным интересом. Но, закрыв книгу, читатель видит перед собой точно такую же перспективу, как и до прочтения ее. Он глубоко проник в ту часть действительности, которую со всей беспощадностью показал ему автор. Но это только подтвердило его собственное тревожное восприятие жизни в этом мрачном, несовершенном мире.

В нашей стране мы строим мирную, радостную жизнь. Перед нами еще немало препятствий. Но мы их преодолеваем. Мы видим, по какому направлению мы идем.

Совершенно необходимо, чтобы один из основных законов диалектики — закон развития в борьбе противоречий — применялся и в художественном творчестве. Я хочу привести положительный пример, чтобы, исходя из него, объяснить, чего нам недостает. В «Тихом Доне» Шолохов показывает и развитие и противоречия. Вместе с главным героем Григорием мы переживаем каждый конфликт, через который ему приходится пройти, каждое неизбежное столкновение, казалось бы, действительно неразрешимых противоречий. Шолохов беспощадно вскрывает их. Его Григорий, который в каждом конфликте находит свое личное, временное решение, переходит с одного фронта гражданской войны на другой. Но читатель ни на одну минуту не теряет направления общего развития, ибо автор неколебимо стоит на своей точке зрения. Поэтому читатель понимает, что Григорий должен стать предводителем банды, когда советская власть становится государством. Чем выше поднимается Советское государство, тем ниже падает Григорий.

Это падение, показанное шаг за шагом, вовсе не предопределено заранее. Оно не начертано с самого начала на его челе, словно каинова печать. Его характер определяется в конфликте. Различные черты Григория, как, например, самоуверенность и храбрость, проявляются так или иначе в зависимости от того, на какую дорогу он вступил, следуя или сопротивляясь направлению развития, за или против своего народа. Наши же авторы, у которых их герои не проходят через испытания, обусловленные соответствующим сюжетом, заставляющим их принимать решения и тем самым двигаться вперед или назад на пути развития, нередко сразу навешивают на них «ярлыки», как это называл Горький. И сразу, как в средневековых мистериях, чертей узнают по рогам, а ангелов — по крыльям. И персонажи действуют соответственно своим знакам различия.

Я знаю, что многие друзья хотели бы мне сейчас крикнуть: «Как ты можешь утверждать, что у нас нет сюжетов с подлинными острыми конфликтами?»

По большей части наши романы исходят из предпосылки, будто бы всем понятно, в чем смысл строительства социализма, представленного в данной книге как строительство на том или ином заводе или руднике — и, следовательно, всем ясно, что это — следующая ступень на пути ко всем понятной цели; препятствуют же этому развитию империализм и война.

Мы знаем — и вы и я,— что строительство социализма — это уничтожение эксплуатации, мы знаем, что капиталистическая конкуренция, прибыли, империализм, война — это звенья одной цепи. Но в действительности оба эти ясные положения до такой степени опутаны паутиной лжи, что большинство людей еще не способно провести между ними грань. Чтобы разорвать эту паутину, нужно такое изображение действительности, которое в своем развитии раскрывает обе стороны жизни и

* Роман американского писателя Нормана Мэйлера.

приводит к их познанию. Где и как в наших романах разрывается паутина лжи, что, по словам Сталина, должно быть сделано самими народами? Под этим ведь подразумевается нечто большее, чем разоблачение вредителей.

Наши же авторы иногда предвосхищают конечную цель развития вместо того, чтобы, убедив своей книгой, подвести к ней читателей. А сделать ее убедительной возможно только, если читатель вслед за автором пройдет через все противоречия, которые приходится преодолевать в жизни.

Многие среди нас сомневаются в ходе своей работы, опасаясь упрека в том, что якобы они слишком выделили темные и отрицательные стороны действительности в ущерб светлому и передовому. Этот упрек справедлив в том случае, если автором утеряна основная линия развития и если он не сумел четко провести ее сквозь все противоречия. И тогда читатель увязает в отрицательном. Но этот упрек несправедлив и вреден, если автор показывает противоречия для того, чтобы их преодолеть. Мы оказываем плохую услугу именно нашим лучшим людям, когда дело их жизни изображаем несложным и легким, как детскую игру, замалчивая все внешние и внутренние конфликты.

Ложная точка зрения автора или ложные наставления ведут к оскудению литературы. Это уже не раз приводило честных писателей к настоящим конфликтам. Писатель сам понимает, что в его творчестве не все ладно. Он должен решить для себя: ошибочно ли в своем творчестве опираться на тот основной закон, который объясняет нам и нашу жизнь? Несомненно одно: правдиво и увлекательно может писать только тот, кто понимает ход развития действительности. Автор не должен попросту оставлять читателя перед неразрешенным конфликтом или совсем без конфликтов, но не должен и преподносить ему конечный результат развития, которого читатель вовсе не пережил. Перед таким результатом читатель только холодно пожимает плечами.

Правда, за нашей работой следят не только друзья, которые вместе с нами ищут лучших путей к достижению цели. За ней следят и враги, которые стремятся использовать в своих целях наши дискуссии. Тот, кому выгодны война и раскол нашей страны, радуется ошибкам, которые мы выявляем в спорах. Но если мы ошибки покажем так, что они будут преодолены и мы продвинемся вперед, то врагам скоро нечему будет радоваться.

Если я правильно поняла товарищей горняков в Нахтерштедте в ходе нашей дискуссии, то под «энтузиазмом» они понимают вовсе не предвосхищение цели и не замалчивание наших конфликтов. Это как раз противоречило бы их столь решительному требованию дать им увлекательные книги — такие, чтобы в них, по их собственному выражению, «по-новому увидеть привычное окружение».

Жаль, что наша полемика с «Трибюне» произошла по поводу слова «энтузиазм». Право же, незачем объяснять Стефану Гейму, что такое энтузиазм, а нам — что такое «антиэнтузиазм». В своей книге «Голдсборо» Стефан Гейм и сам очень хорошо изобразил развитие со всеми его противоречиями; он не замалчивал конфликтов, и он показал перспективу. На мой взгляд, у нас в Германской Демократической Республике лучше всего это удалось Штритматтеру, рассказавшему в своей книге «Тинко» о развитии деревни. Мархвица показывает развитие на примере создания одного из крупнейших предприятий металлургического комбината имени Сталина. Иногда слышишь мнение, что он громоздит конфликт на конфликт, что из переплетения стольких судеб трудно выделить хотя бы одного героя. Я позволю себе, как читатель, обратиться к автору с просьбой: в новом издании вывести в книге созданную им и всем нам знакомую и любимую семью Кумяков. Именно на примере этой семьи — серьезно или весело, как того хотел бы Мархвица,— проявилось бы все характерное описанной им ситуации.

Если автор заранее предвосхищает цель, тогда он скрывает от читателя свой собственный опыт, свои трудности и свои побуждения. Он мерит окружающую его действительность мерой своего сегодняшнего энтузиазма. Ему кажется это правильным, потому что отвечает его глубочайшему убеждению. И действительно, в общем и целом это правильно. Наша цель — мирное счастливое будущее без частных прибылей и эксплуатации — рано или поздно будет достигнута. У нас — сегодня, в других странах — завтра. Мы гордимся нашими успехами, мы защищаем наши достижения. Но мы достигнем цели только тогда, когда

наши успехи, в том числе и успехи нашей литературы, будут столь велики, что мы увлечем за собой всю Германию. Сегодня многие еще стоят в стороне. А даже самое восторженное восхваление того, что уже достигнуто, воздействует не сильнее, а, напротив, слабее, чем весь процесс и сам факт достижения. Когда Мао Цзэ-дун говорил, что произведение искусства может воздействовать сильнее, чем сама действительность, он имел в виду только подлинные произведения искусства; ибо слабые произведения оказывают обратное действие.

Точно так же, как в революцию различные люди приходят из различных побуждений и только в борьбе узнают, что означает революция, так и у нас многие, только участвуя в работе, узнают, в чем смысл нашего строительства. В этом им помогает книга, если автор показывает развитие шаг за шагом. В нашей республике много молодых граждан, которые, несмотря на то, что они выросли как члены гитлеровского союза молодежи, теперь сознательно и в полную силу работают вместе с нами. У многих за плечами трудный и противоречивый путь развития. Один из них говорил мне: «Ваши книги недостаточно помогают нам. Если бы вы в них показывали как раз то, о чем вы умалчиваете, считая чем-то само собой разумеющимся, заранее данным, многие поняли бы, что нас изменило. Почему вы не пишете о том, как отдельные люди только после тяжелой внешней и внутренней борьбы пришли к правильным выводам?»

Что доказывает эта критика? То, что только изображение развития во всех его противоречиях обладает силой убеждения.

Тот, кто не применяет этот основной принцип нашего мышления и нашей жизни — по незнанию или неумению, из боязни критики или из оппортунизма,— тот быстро скатывается к схематизму. Схематизм — один из серьезнейших недостатков нашей литературы. Писатель-схематик воспринимает наше мировоззрение, учение и указания нашей партии как догмы и схематически точно следует им в своем творчестве.

Но в жизни нет догм: то, что писатель принимает за догму, покоится на выводах, к которым пришли самые зрелые, самые передовые люди, наши учители — классики марксизма-ленинизма на основании собственного опыта и данных жизненного опыта бесчисленных людей.

Вместо того чтобы так же глубоко изучать действительность, такой писатель поступает наоборот: отыскивает в действительности те части и частички, которые кажутся ему подходящими для иллюстрации бесспорной догмы. Он думает: «Так никто не придерется!» Уже в «Фаусте» сказано: «Что написано черным по белому, можно спокойно унести домой». Да, но ведь это сказано в разговоре с Мефистофелем. Схоластика в литературе — это яд, как бы она ни подделывалась под марксизм. Она враждебна нашим идеям. Ибо она приводит к застою, а не к движению, к лени, а не к инициативе.

Такие книги не волнуют читателя. Ему незачем утруждать себя размышлениями. Он знает схему, по которой сконструирована книга, не хуже самого автора. Внешне как будто и есть развитие, но это только кажущееся развитие. Верный путь, который отыскивают в реальной жизни, преодолевая столько препятствий, зачастую и опасностей, так просто и легко найти в этой книге, что даже ребенок впотьмах не заблудится. Конфликты в ней мнимые, потому что читатель с самого начала уверен в благополучном их разрешении. Уже на первой странице ясно: та или иная работа, в мастерской или за письменным столом, на верфи или в МТС, в конце концов удастся.

Разбираясь в этой ошибке, необходимо учитывать то, что я говорила вначале о трудностях нашей молодой литературы: она пытается выразить новое, еще никем не выраженное содержание. Часто молодой автор, прочно связанный с действительностью, повторяет те слова, которые произвели на него огромное впечатление. Он не задумываясь вкладывает их в уста своих героев, хотя они не соответствуют ни данному характеру, ни ходу действия. При этом он упрощает действительность, сводя все к черной и белой краске, к «за» и «против». Это еще не означает бесталанности. Тот, кто торопится называть это бесталанностью, просто схематически критикует.

Мне, например, в книге Нейхауза «Зарницы вокруг Вадраны» кажутся недостаточно обоснованными некоторые действия, характеры, положения. Вредителя узнаешь с первых строк, просто по внешнему обли-

ку. Но Нейхауз дает и убедительный пример того, как одно и то же качество может быть использовано хорошо и дурно. Так, бывшего уголовника заставляют для совершения диверсии нарисовать план забоя. Одновременно члены молодежной группы на предприятии открывают его талант художника. Он участвует в выпуске первой стенгазеты, и его связь с новым окружением укрепляется.

Поскольку один шаблон как две капли воды похож на другой, не всегда сразу можно понять, из каких побуждений он использован,— из энтузиазма, лицемерия или бесталанности.

Книги, написанные по схеме, отнюдь не пробуждают оптимизма в читателе. Ведь он же с самого начала уверен в благополучном исходе конфликта. Но оптимизм и в жизни и в литературе — явление сложное. Он прокладывает себе путь в борьбе положительного против отрицательного. Мы полны оптимизма относительно будущего, даже если отдельные частности и представляются нам мрачными. Отсюда название — «Оптимистическая трагедия». Вот где догматик становится в тупик, это разрушает все его представления.

Нетрудно установить, какие дурные последствия имеет привычка к схоластической литературе, возникающая у читателей и у зрителей. Они часто остаются равнодушны к книгам и к пьесам, которые не соответствуют привычной схеме. Например, к произведениям революционных писателей других народов. Углубление способности к восприятию ведь тоже входит в воспитание человека: воспитание в духе мира требует умения понимать и другие народы, других людей, их жизнь и их культуру.

Прав наш французский друг, который писал в «Нувель критик»: «В таком случае формализм, выгнанный за дверь, входит обратно через окно».

Почему он прав?

То, что мы называем «формализмом», проявляется тогда, когда на первый план выступает воздействие формы вместо того, чтобы форма стала соответственным выражением правдивого содержания. Тогда форма заглушает содержание; она может прикрывать и враждебное нам содержание и полную бессодержательность. Для того, кто дотошно придерживается воображаемой догмы, и существует только отсутствие содержания. Ведь он исходит из схемы, а не из реальной жизни, и он заполняет эту схему, как ребенок складывает кубики.

Тем самым художники, которые открещиваются от действительности как от нечистой силы, весьма приближаются к догматикам — к неудовольствию обеих сторон. Один думает: «Я полагаюсь на свою догму. Она для меня надежнее, чем действительность». А другой говорит: «Грубый жизненный материал вредит чистоте искусства». И обоих это приводит к обеднению действительности, к одинаковому, часто обывательскому шараханью от подлинной жизни.

Есть много явлений, от которых отделываются, поверхностно называя «формализмом», хотя на деле они не имеют к формализму ни малейшего отношения. Например, если какой-либо народ выражает незнакомое нам содержание в своей национальной форме, это не имеет ничего общего с формализмом. То же относится и к отдельному писателю. Никто не вправе делать общим мерилом свое собственное пристрастие к определенным средствам выражения.

Все больше черт неисчерпаемой действительности познается людьми через произведения искусства. Нельзя ограничивать возможности искусства теми или иными узкими понятиями. Ныне, особенно у нас, писатель, пользуясь нашим методом, может с наибольшей полнотой изображать жизнь. Позже я еще скажу об этом.

Писатель имеет право, более того, он обязан искать действенные средства выражения, если он поставил себе целью способствовать развитию людей, а следовательно, и повысить их способность к восприятию. Арнольд Цвейг писал недавно в своей прекрасной статье, что в числе задач искусства есть и задача доставлять читателю отдых, необходимый ему в ходе борьбы за выполнение своих повседневных задач.

Многие спрашивают: к чему же это приведет, если писатель застрянет в путаных, туманных произведениях под предлогом, что это эксперименты? Возможно, что иногда нашим терпением злоупотребляют. Но, по-моему, чаще бывает так, что у кого-нибудь не хватает терпения, и он слишком быстро завершает свою работу. Никто из нас не думает, что недостатки, которыми нередко страдает наша молодая

литература, свойственны только ей. Ни один из нас не свободен от ошибок. И у более зрелых писателей, у мертвых и у живых, есть книги или страницы в книгах, где можно найти те же недостатки. То, что называют формализмом, или схематизмом, или лакировкой действительности, по тем или иным причинам встречается у всех нас.

Возможен и такой случай, что какое-нибудь произведение сперва оказывает влияние только на узкий круг людей. А потом через них это влияние широко распространяется. Это может произойти и с новой книгой, и с книгой из нашего классического наследия, с художественными переводами, со стихами.

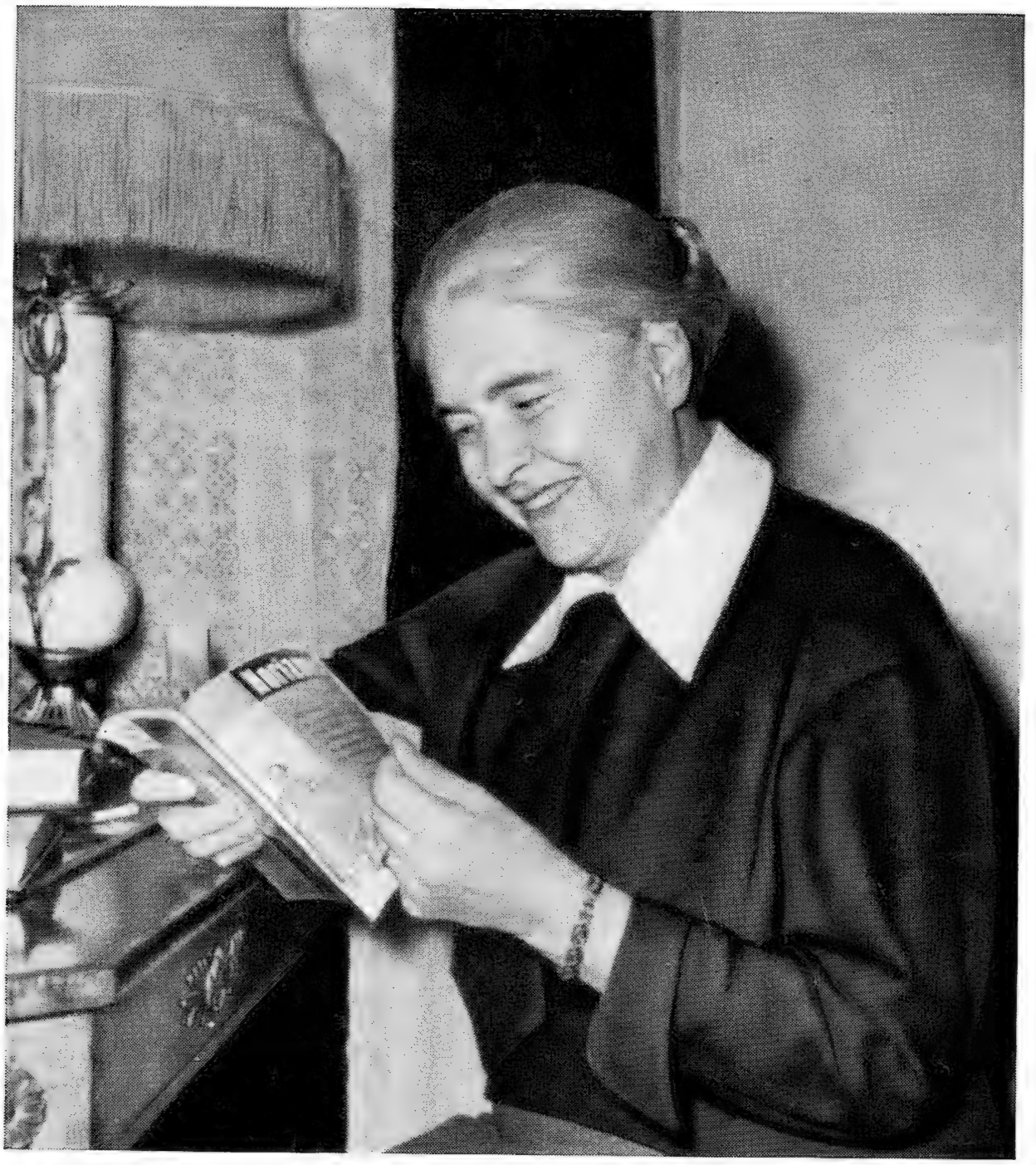
Критик должен рассматривать каждую работу писателя в связи со всем его творчеством; он должен ставить вопрос, чего мы ждем от автора, что мы уже получили от него, а также вопрос, к чему автор стремился в новой своей работе.

Большое значение имеет критика в периодической печати. Но иногда создается впечатление, что наши критики не вполне правильно понимают свою роль по отношению к читателю и к писателю. Перед ними лежит готовая книга, и они зачастую выносят свои личные суждения, не разобравшись как следует, в чем ее суть. Задача критиков никоим образом не ограничивается только похвалами и порицанием. Они должны разъяснить точку зрения автора, жизненный материал, лежащий в основе книги, и его художественное воплощение. Возможно, что писатель не удовлетворяет нас в каком-либо одном отношении, зато в другом он сказал что-то новое, даже значительное, что может углубить сознание читателя. Писатель еще не покончил со своей книгой, он может переработать ее, и для этого ему предоставлены у нас все возможности,— он может довершить в следующей работе то, что ему либо самому было неясно, либо то, что он недостаточно ясно выразил. Нельзя допускать, чтобы автор терял веру в свои силы оттого, что односторонняя или неправильная критика препятствует распространению книги, которая, несмотря на некоторые недостатки, могла бы помочь перестройке нашего общества. И уж совсем недопустимо, что нужные книги наших или зарубежных авторов остаются неизвестными широким кругам читателей из-за того, что критика и печать прошли мимо них. После меня другие выступающие еще скажут о чисто технических трудностях — о полиграфической базе, о бумаге и т. д.

Для развития немецкой литературы основополагающее и творческое значение имели критические работы Лессинга по вопросам театра и драматургии. Множество таких примеров можно привести из истории литературы всех народов. Сегодня, мне кажется, даже в нашей периферийной печати не может остаться незамеченным самый скромный маленький Лессинг, если он смело и энергично отстаивает свою точку зрения перед автором и читателем. Разумеется, критик должен быть свободен от тех недостатков, которые мы осуждаем у писателей. Наша точка зрения должна быть его точкой зрения, наша перспектива — его перспективой. Он не должен мыслить схематично или по обывательски узко. Он должен обладать всеми знаниями, всеми качествами, которых требует его призвание.

Так же как нашего читателя интересуют самые различные темы, в зависимости от его воспитания, образа жизни, характера, так и писатель выбирает наиболее близкую для себя тему. Это не значит только, что один пишет о крестьянах, а другой — об интеллигенции, один — о промышленности, а другой — о флоте. Если он своим пером участвует в великом преобразовании нашего общества, он должен прежде всего знать и показывать внутренние процессы, происходящие в человеке. И только так он может, в свою очередь, воздействовать на внутренний мир человека. Чаще всего те, кто непосредственно участвует в производстве, знают технические процессы лучше, чем мы. Они могут научить нас, помочь нам разобраться в технике. Это необходимо, ибо избранная тема, сюжет книги, конфликты — все это обусловлено реальной обстановкой, в которой развертывается действие. Но от писателя требуется нечто большее, чем описание нашего строительства и связанных с ним трудовых процессов. От него требуется, чтобы он раскрыл, что происходит при этом в самих людях. Что и как они любят и ненавидят, что их вдохновляет и что сковывает.

Как бы правдиво ни изобразил писатель все трудовые процессы, но если сознание человека, проблемы которые перед ним



АННА ЗЕГЕРС

стоят, и конфликты, в которых он участвует, останутся вне поля зрения автора, книга произведет впечатление шаблона. На это как раз и жалуются самые сознательные наши рабочие, имено те, на ком зиждется все строительство. Многие книги об их жизни, которых они так ждали, не волнуют их. Они часто сетуют на то, что в нашей литературе не затронуто много важных тем. То, что я раньше говорила о слабостях изображения, относится, полагаю, уже и к выбору темы. Если бы позволило время, мы могли бы проследить это вплоть до языка, вплоть до конструкции фразы. Как только тема — какова бы она ни была — находит правильное воплощение, сразу же выясняется, что по сути она охватывает множество тем.

Один из читателей, к примеру, хочет прочесть книгу о любви, другой — о приключениях, третий — о молодежи, особенно молодежи в Западной Германии; этого интересует история, особенно история рабочего класса в Германии, тот отмечает, что не создан еще образ заводского мастера, еще кто-то недоволен, что не выведен учитель. На отсутствие этих и еще множества других тем жалуются только потому, что вследствие недостатков нашей литературы обеднено общее изображение действительности. Самые разнообразные факторы воздействуют на человека, они только искусственно разбиты на отдельные группы. И каждая книга — это книга о человеке, о том, что для него значат партия, личная жизнь, любовь, дружба, брак,— все это влияет на его судьбу, из всего этого складывается его характер. В хорошей книге объединены многие факторы. Да и как может быть иначе: в книге и в жизни подлинный конфликт охватывает всего человека в его связи со многими сторонами жизни. Так было у Горького и у Нексе, у Томаса и у Генриха Манна, так обстоит дело и сегодня у настоящих художников.

«Война и мир» Льва Толстого — книга о борьбе против Наполеона; в ней есть самые волнующие любовные сцены. «Анна Каренина» — роман о любви; из нескольких его страниц мы узнаем, что думает Вронский о войне.

Только тот писатель, который любит свою тему, может глубоко проникнуть в нее, охватить все стороны жизни. Это никогда не удастся тому, кто взялся за тему только из каких-то внешних побуждений. Наше государство предоставляет сегодня писателю широчайшие возможности. Оно дает ему возможность учиться, накоплять опыт где и когда он пожелает. Ведь множество тем только тогда открывается дарованию писателя, когда он перешагнет тесные рамки своего кругозора. Только тогда он начинает ощущать, как неисчерпаем материал действительности — будь то в городе, где он живет, или в далеких странствиях. Если же он выбирает тему, с которой не сроднился, он уподобляется молодой девушке, которая ради денег выходит замуж за старика. Поэтому и тот, кто дает заказ, и тот, кто принимает его, должны строго проверить, имеются ли все необходимые условия для того, чтобы под конец обе стороны не постигло разочарование. Такой заказ подразумевает: подумай, соответствует ли данный материал твоим творческим возможностям. Ясно, что здесь, как и повсюду, схематическое следование этому правилу чрезвычайно вредно.

Часто возникает вопрос, откуда писатель берет свой опыт? Он черпает его в изучении литературы, в которой собран опыт лучших писателей, и в своей собственной жизни. Но что означает «собственный опыт»? Только то, что испытал сам непосредственно? У меня, например, есть дети. Но я знаю много замечательных описаний родов в книгах, написанных мужчинами. Итак, собственный опыт черпается еще из иных источников, а не только из лично пережитого и испытанного. Если я хорошо знаю человека, его характер, его отношение к другим людям, я могу представить себе, как он будет действовать, оказавшись даже в положении, которого мне не довелось пережить вместе с ним. Вот я знаю тебя или тебя практически только по нескольким эпизодам. Но на основании этого знания я заключаю, как ты будешь реагировать на надежды и разочарования, дома и на работе, в революции и в уличных боях, как отнесешься к обману со стороны классового врага. Я готова ко всем неожиданностям, приятным и неприятным. Такие выводы писатель делает быстро и правильно, если он умеет находить типическое в единичном.

Только писатель с ясным и зрелым сознанием может сделать более ясным и более зрелым сознание людей. Но это утверж-

дение остается слишком общим, если не продумать, что это означает в каждом конкретном случае. Толстой в своих дневниках говорит о творческом процессе примерно так: для писателя существует три степени развития. На первой он воспринимает действительность непосредственно, как дитя. И ее изображение дается ему легко, неосознанно, само собой. На этой ступени его работы как раз и кажутся многообещающими, полными особого очарования. На второй ступени он уже размыслил о жизни, она уже не воздействует на него наивно, его непосредственность утеряна, иногда он даже пишет в эту пору хуже, чем прежде, — мы могли бы сказать — шаблонно. Ибо ему грозит опасность заняться компанованием в соответствии со своими представлениями вместо того, чтобы творить. Он должен достичь третьей ступени: когда приобретенные знания и опыт стали само собой разумеющимися, вошли в его плоть и кровь. И тогда он снова может непосредственно воздействовать на читателя, но уже как большой художник. И значительно шире и глубже, чем прежде.

Следовательно, это неверно, как иногда думают, что достижения писателя растут прямо пропорционально возрастанию его идеологической ясности. Только тогда, когда то, что он знает, стало для него второй природой, может он своим творчеством воздействовать на читателя. Тогда он может привести его к тому, чтобы «по-новому увидеть привычное окружение».

«Знать» и «изображать то, что знаешь» — эти понятия связаны друг с другом отнюдь не автоматически.

В нашей литературе можно обнаружить, что писатели уклоняются от определенного круга тем. На это имеются разные причины. Отнюдь не случайно, что многих областей вообще не касаются или касаются слишком мало.

Так, например, мало и недостаточно пишут у нас о мелкой буржуазии, о служащих, о государственной и частной торговле, о ремесленниках, а также об интеллигенции, художниках, преподавателях, ученых, то есть именно об общественных слоях, так часто в нашей истории служивших каналом, по которому проникала в народ буржуазная идеология.

Вольфганг Иохо написал роман «Путь из одиночества», уже одним названием указав на проблему промежуточного класса. Нам недостает изображения специфической профессиональной проблематики людей искусства и ученых наших дней.

В некоторых романах все же затрагиваются те области, о которых я сказала, что их изображают еще далеко не достаточно. В ряде случаев их очень охотно читают, и это, на первый взгляд, противоречит моим словам. Но вопрос заключается в том, скатывается ли писатель на позиции своих героев, когда изображает мещанскую среду, или его собственная позиция достаточно сильна, чтобы он мог правильно показать конфликт — отчаянное цепляние за отжившее, которое может быть и комическим и трагическим, может привести и к преступлению и к принятию нашей действительности. Нужно учиться у Чехова и у Мопассана умению подходить к любому материалу так, чтобы точка зрения автора не смешивалась с точкой зрения изображаемых им персонажей.

Мне, например, кажется несправедливой критика, которой подверглась Эльфрида Брюнинг за то, что она якобы банальные явления искусственно относит к нашим дням. Но ведь брак, любовь, забота о детях, рождения и болезни не становятся незначительными событиями только потому, что они банальны. Именно здесь и нужно показать, как типичные для всех людей и времен явления развиваются при соприкосновении с типическим в нашем обществе.

Еще одно иногда высказываемое у нас мнение кажется мне ошибочным: ту или иную книгу относят к «развлекательной литературе» и утверждают, что такие книги нужны, даже если они не созданы рукой мастера. Писатель может быть более или менее зрелым, более или менее талантливым. Но никого нельзя раз и навсегда привязывать к определенной ступени развития. И если писатель пользуется успехом у многих читателей именно благодаря мещанским, то есть отрицательным сторонам своего творчества, то тем более надлежит ему позаботиться о своем развитии, чтобы тем самым содействовать и развитию своих читателей.

Особенно большой пробел в нашей тематике — это отсутствие романа о второй мировой войне.

По праву внимание наших писателей уже давно и настойчиво направляется на

современную нам действительность, на наши успехи и завоевания. Победа Советского Союза над гитлеровским фашизмом явилась предпосылкой нашего строительства. Свобода, которую принесла нам Советская Армия, была закреплена государством, и мы продолжаем ее развивать; на этой общей нашей работе мы должны сосредоточивать все наши физические и духовные силы.

Но изображение нашего идейного и материального строительства — отнюдь не единственный способ нашего содействия этому строительству. Писатели зачастую ограничивают свою тематику центральными проблемами нашей современности, забывая многие другие важные темы. Но тем самым, на мой взгляд, даже задерживается правильное и полное изображение нашей сегодняшней действительности, которого ждут с таким нетерпением. Ибо каждый кусок еще не до конца понятой жизни требует творческого воплощения для того, чтобы полностью понять нашу современность. Отсутствие книги о второй мировой войне — это не только пробел в нашей литературе, но и пробел в сознании людей.

Сразу же после окончания войны наши лучшие друзья — советские и немецкие — начали в школах, на курсах, в частных беседах, длившихся до утра, разъяснять людям ход исторического развития в Германии и в других странах, причины войны и мира. Однако не только учитель, но и писатель должен, пользуясь своими профессиональными средствами, объяснить людям, почему, какими средствами и ради чего совращали или принуждали ту молодежь, которая пошла воевать за фашизм. Он должен помочь нам понять, как проводился процесс одурманивания, осуществлявшийся так же последовательно и ловко, как в дни войны закрывали дымовыми завесами завод или крепость.

Правда, мы располагаем в ГДР значительными книгами, действие которых происходит во время второй мировой войны. Но все они говорят о деятельности немецких антифашистов во второй мировой войне. Вилли Бредель в своей трилогии впервые показал судьбу немецкой рабочей семьи от франко-прусской войны 1870—1871 годов до второй мировой войны. Бодо Узе выбрал захватывающую тему, рассказав в «Патриотах» о группе немецких борцов Сопротивления, которые были сброшены на парашютах в гитлеровскую Германию. Эти романы важны, даже необходимы. Но нам нужны также и книги, в которых было бы показано, что́ испытывают молодые люди, которые пошли воевать, обманутые гитлеризмом; их сомнения, их отчаяние, изменения, происходящие в их сознании под влиянием тяжелых испытаний. Чтобы передать этот самый острый личный конфликт, какой только возможен в гуще всемирного конфликта, автор должен располагать всеми теми предпосылками, о которых мы уже говорили. Только если ему такая тема по плечу, только если он со всей беспощадностью покажет, чем был такой человек и чем он стал и как эта перемена произошла, — только тогда ему читатель поверит и переменится сам, если он до сих пор опутан старой ложью.

Лишь немногие из нас обращались к этой теме, например Фюман и Шрайер. Талантливое произведение Фюмана «Поездка в Сталинград» адресовано, как мне кажется, только ограниченному кругу читателей. Молодой Шрайер написал свой роман «Операция Thunderstorm» об одном эпизоде войны — варшавском восстании, в котором он сам не участвовал. Но талант и любовь к избранной теме помогли ему собрать богатейший материал, и это — несмотря на некоторые недостатки книги — большая заслуга. Об этих двух произведениях, вероятно, еще будут говорить после меня.

О первой мировой войне в Германии написано много романов, авторы их поведали о своем опыте, который был опытом миллионов, своему народу и всем другим народам. В романах Ремарка, Ренна, Арнольда Цвейга и других мы ощутили всю бессмысленность войны, которая была войной империалистической — войной за господство германских империалистов над большей частью мира. И мы чувствуем в них страстное стремление к миру. Против этой войны Октябрьская революция подняла свое знамя: «Мир и хлеб!» И поэтому война против Советского Союза была войной против «мира и хлеба». С того времени на одной части земли началось строительство социализма. Узнавая об этом, люди ликовали или приходили в бешенство, готовы были отдать за это свою жизнь или нерешительно стояли в сторонке, и только одно с тех пор стало невозможным — делать вид,

что ничего не случилось. Это было так же невозможно, как делать вид, что ничего не знаешь об открытии Америки. Это было так же невозможно, как если бы после французской революции кто-нибудь заявил, что ничего не знает о том, что во Франции отменено крепостное право.

Существование Советского Союза оказывает глубочайшее влияние на литературу независимо от того, сознает это писатель или нет. Даже если он не касается политических или социальных тем, нет такой области нашей жизни, в которой вопрос: война или мир — не играл бы важной, даже решающей роли. А Советский Союз самим фактом своего существования, своим общественным и государственным строем, своими законами уже ответил на этот вопрос.

Во второй мировой войне народы, подвергшиеся нападению Гитлера, боролись за свою свободу и независимость. С неслыханной жестокостью набросился Гитлер на страну, которая впервые в истории осуществила полную свободу от всякой эксплуатации.

Конечно, нелегко описать, как юноши, сбитые с толку и одураченные нацистской ложью, участвовали в варварских захватнических войнах Гитлера, как они — сперва, быть может, добровольно или плохо сознавая, что делают, — сами участвовали в расправах над народами, которые защищали свою свободу; а затем — кто быстрее, кто медленнее — поняли, как подло злоупотребили их доверием, и начали ненавидеть войну и фашизм. Но как бы ни трудна была эта тема именно для немецкого писателя — и для осмысления и для воплощения, — она насущно необходима сегодня.

В книжных магазинах Западной Германии всевозможные кессельринги беспрепятственно знаменуют мемуарами и воспоминаниями о войне свое воскресение из мертвых. Но вместе с тем там же выходят и книги, которые пробуждают в молодежи чувство, нужное ей в борьбе против подготовки новой войны, — отвращение к войне.

Но мир — это гораздо больше, чем просто отвращение к войне. Жить в прочном мире и в дружбе со всеми народами — значит постичь, в чем корни войны, и вырвать их из народа.

Разъяснить это людям может только писатель, обладающий и смелостью и талантом. Мне кажется, что на примере «Stalinorgel»* Ледига ясно видно, чего может достичь автор, который обладает и тем и другим, насколько далеко он способен шагнуть.

Он описывает ожесточенные бои за высоты на подступах к осажденному Ленинграду. При попытке овладеть этим клочком ничьей земли, этой пустынной высотой, у солдат уходят последние силы, как с той, так и с другой стороны, и тут раскрывается внутренняя сущность человека — мы узнаем не только, каков он сейчас, в бою, но и то, как он стал таким, всю его жизнь до этого дня. Автор очень далек от слепой ненависти к русским; в его книге и на той и на другой стороне есть верящие и колеблющиеся, дурные и хорошие люди. Он считает, что война затмила солнце для правых и неправых — на той и другой стороне, что люди истекают кровью в бессмысленной борьбе — на той и другой стороне. Но так же, как линии их окопов, перемешались и их страхи перед жизнью и смертью — все кажется тождественным. Но на самом деле тождественности быть не может, когда речь идет о войне между Советским Союзом и гитлеровским фашизмом. Это так же нельзя смешивать, как нельзя смешивать борьбу за мир и хлеб с борьбой за власть и прибыли. Бой за одну высоту был жестоким боем для обеих сторон. Но он не был бессмысленным для людей, которые сражались против фашизма.

И даже пусть в книге ничего об этом не сказано, все равно, если ее читает не совсем отупевший и очерствевший человек, он подумает: вот она, война! Мне не нужна такая Германия, где мертвецы хоронят своих мертвецов.

Те же мысли вызывают многие хорошие книги, появившиеся в Западной Германии. И не только книги о второй мировой войне, но и о послевоенном времени, которое носит уже привычное для всех нас, но нелепое и циничное наименование «холодная война».

О литературе Западной Германии после меня будут говорить другие товарищи. Я хочу сказать только одно: из нашей общей немецкой литературы, которая создается в борьбе за единство и мир, ясно вид-

---

* Так в гитлеровской армии называли советские гвардейские минометы («катюши»).

но, в чем разница между социалистическим и критическим реализмом. Эти два понятия много раз объясняли, много раз толковали превратно. Почему наш метод называется методом социалистического реализма? Потому что мы стремимся изображать действительность в ее поступательном движении к социализму. И отказаться от этого было бы так же бессмысленно, как отказаться от социалистического строительства.

Бальзак был критическим реалистом не потому, что какой-нибудь съезд или Союз писателей навел его на этот метод, а потому, что он как большой художник изобразил свою сложную эпоху со всеми ее противоречиями и пороками.

Там, где наше искусство отстает, становится узким, схематичным и бесцветным, в этом повинен не метод, который, напротив, требует от художника изображения жизни во всем ее многообразии и глубине. Его никто не ограничивает, напротив, ему дан новый, могучий стимул — показать путь в будущее. Там, где действительность становится богаче, многограннее и счастливее по мере своего развития, там и искусство, правдиво отражающее действительность, должно становиться богаче и шире. Оно не только не должно отставать от своего времени, в нем должно найти свое завершение все то ценное, что утвердили в нашем сознании художники прошлых времен.

Здесь, в Германской Демократической Республике, мы переживаем период построения социализма со всеми его проблемами и трудностями, и мы в меру своих сил участвуем в этом строительстве. Мы партийны и наше творчество партийно. У нас общий метод и общее мировоззрение со многими друзьями-писателями в других странах. С друзьями в Советском Союзе и в странах народной демократии, а также в Америке, Италии, Англии и Франции.

О том, как каждый писатель в своей стране в разных исторических условиях, на разных ступенях развития изображает путь к социализму, говорили наши друзья на Втором съезде писателей в Москве.

Горький — основоположник социалистического реализма — писал при царизме. В его книгах многих читателей сильнее всего захватывало изображение ожесточенных конфликтов в мрачной, чужой для них среде. Но его друг и критик Ленин и все сознательные люди из рядов рабочего класса видели в них самое главное — устремленность в будущее.

Ни один писатель-реалист не может обойтись без того, чтобы действительность не лежала в основе его творчества. Если этого нет, перспектива исторического развития предстает абстрактной, декларативной. Но грядущее — зародыш грядущего или его бурное развитие — писатель должен находить в действительности своего времени. Типично не только массовое, численно огромное, измеряемое количественно, но и то, что развивается и растет. Так, здоровый побег — более верный залог будущего, чем гигантский, но прогнивший ствол дерева.

В одной книге, которая вышла год тому назад в Западной Германии и вскоре была запрещена, стоят эпиграфом слова Гоголя: «Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество [или даже все поколение] к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...»

Эти слова можно с полным правом поставить эпиграфом и к некоторым другим книгам, написанным в Западной Германии. Их авторы критически изображают действительность. В их книгах мы видим часть нашей страны, ее людей и ее природу, ее развалины и уцелевшие деревни, молчаливый труд и манию вооружения, кошмары вчерашнего дня и надежды на завтрашний день, видим одержимых жаждой власти и наживы, влюбленных и детей. Эти книги помогают нам в нашей совместной жизни, никакая искусственная граница не может разъединить нас.

Наше государство, государство рабочих и крестьян, несет с собой мир. Оно несет мир потому, что в нем невозможны нажива, эксплуатация, кризисы и, следовательно, невозможна война. Если мы сумеем хорошо изображать все это, что составляет суть нашей жизни, мы тем самым расшатаем разделяющую нашу страну внутреннюю границу. Так мы поможем нашему народу объединиться для свободной счастливой жизни и разоблачать тех, кто препятствует этому. Потому-то так важны все вопросы художественного воплощения, все вопросы мастерства, о которых мы здесь говорим.

Есть люди, которые хотят убедить нас, что в настоящее время литература утрачивает свою былую силу. Литература не утрачивает свою силу. Напротив, она сей-

час сильнее, чем когда бы то ни было, учитывая, конечно, что писатель правильно использует эту силу.

В заключение я хочу пересказать вам одну сцену, которую я недавно прочла в японской новелле. Юноша и девушка беседуют через окно, выходящее в сад. Но их разговор звучит по-иному, чем все те беседы, которые во все времена и повсюду на земле вели молодые люди, стоя у окон, выходящих в сад. Оба пережили Хиросиму. И юноша спрашивает девушку, болит ли еще шрам у нее на лице. В его деревне жила красивая девушка, у которой на лице был подобный же шрам от ожога в виде бабочки. Эта девушка внезапно заболела и вскоре умерла, отравленная атомной радиацией, которая сказалась спустя много лет. «Кто был в Хиросиме, — говорит юноша, — тем только кажется, что они еще живут. Ты и я, мы оба — как пепел на моей папиросе. Сейчас этот пепел имеет еще определенную форму, но это — иллюзия, я стряхну его одним движением. Что снится тебе по ночам? Тем, кто, как мы, поражен атомной болезнью и должен умереть от нее, тем снится обычно что-нибудь белое — белые паруса, белые птицы или белые цветы. Ты когда-нибудь молишься? Молиться бессмысленно. И вообще все теперь бессмысленно. Есть только бесконечное пространство, и в этом бесконечном пространстве царит владыка всего сущего — бомбардировщик с атомной бомбой».

Почему я, уже заканчивая свое выступление, задерживаю ваше внимание на этой сцене? Не только потому, что в стране автора этой книги дважды произошло то, что может угрожать всем нам, но еще и потому, что, на мой взгляд, из этого ясно видно, чего ждут люди от мыслящего писателя. Этот юноша и эта девушка обращаются к нам от имени всех живущих на земле юношей и девушек, требуют от нас бо́льшего, чем просто изображение мира, которому грозит опасность. Они ставят те же вопросы, которые после второй мировой войны стояли перед нами, только, быть может, еще настойчивей: что произошло с нами? Почему это произошло? Что надо сделать, чтобы этот ужас не повторился?

Ответственность, которую несем мы, немецкие писатели, особенно велика. На нашем языке так часто звучали смертоносные приказы, возвещались людям война и горе. Так часто на нашем языке создавались великие произведения, возвещавшие людям мир и счастье. То, что мы пишем, может оказаться развеянным, бессмысленным, как ваяние из пепла, но может и приблизить новую, лучшую жизнь. Это зависит от нас.

Е. Эткинд

Искусство переводчика

„Язык перевода должен быть чем-то вроде прозрачного окна, которое позволяло бы видеть подлинник незатуманенным и неискривленным".

М. Лозинский, из статьи „Классическое создание Шеридана".

Имя Михаила Лозинского неразрывно связано с развитием советского переводческого искусства на всем протяжении его истории. Он начал свою деятельность в горьковской «Всемирной литературе», созданной в первые годы советской власти, и активно работал в литературе в течение почти четырех десятилетий, вплоть до своей смерти, последовавшей в прошлом году.

В период «Всемирной литературы» М. Лозинский был еще начинающим литературным работником. Правда, еще ранее он выпустил сборник стихов «Горный ключ»; но стихотворения этой книги не отличались ни оригинальностью мысли, ни яркостью формы — то были поэтические упражнения ученика. Именно здесь, во «Всемирной литературе», под непосредственным руководством А. М. Горького, рядом с А. А. Блоком, Лозинский прошел свои литературные университеты — многое переводил сам, многое редактировал; постепенно он накапливал драгоценный опыт.

За три с половиной десятилетия своей деятельности М. Лозинский стал одним из крупнейших мастеров переводческого искусства. Он воссоздал на русском языке такие эстетические ценности, о величии и поэтической прелести которых прежде можно было лишь догадываться, доверяя на слово комментаторам и историкам литературы. Данте и Шекспир, Лопе де Вега и Аларкон, Корнель и Мольер, Шеридан и Флетчер, Гюго и Роллан, Челлини и Мериме, Вольтер и Фирдоуси в полный голос заговорили по-русски в переводах М. Лозинского.

Вырабатывая свой творческий метод, М. Лозинский не сразу нашел гармоническое соотношение между двумя сторонами перевода — его близостью оригиналу, верностью и художественной полноценностью, поэтической свободой и непринужденностью. М. Лозинский пришел в литературу как противник переводческого своеволия. Отсюда — известное полемическое преувеличение в вопросе о точности. Это преувеличенное стремление к точности влекло за собой скованность переводчика, приверженность к синтаксическим фигурам и оборотам оригинала, сохранение которых отнюдь не диктовалось стилистическими соображениями. Развитие творческого метода М. Лозинского можно проследить по изменениям, внесенным переводчиком в русский текст «Гамлета», над которым он работал около четверти века. Сравнение первой редакции (1930) с последующими в высшей степени поучительно. Первый вариант в ряде случаев слишком близок к оригиналу, копирует его синтаксис, порою нарушая нормы русского литературного языка; последующие освобождают фразу от тисков чужеязычных построений, стих приобретает все больше выразительности, естественности, блеска. Вот несколько примеров (заметим кстати, что последние правки в тексте «Гамлета» относятся к последнему году жизни М. Лозинского и еще не опубликованы):

ПРЕЖНИЙ ВАРИАНТ

Ведь если что-нибудь всегда бывает
И так же просто, как обычный случай...

НОВЫЙ ВАРИАНТ

Ведь если что-нибудь неотвратимо
И потому случается со всеми...
(слова Клавдия)

ПРЕЖНИЙ ВАРИАНТ

О, если б этот слишком плотный остов
Растаял, сгинул, изошел росой!..
... О мерзость! Это одичалый сад,
Растущий в семя; всем дурным и буйным
Захвачен он. До этого дойти!
Два месяца, как умер! Меньше даже.
Такой король! Сравнить их — Гиперион
И са́тир. Так любивший мать мою,
Что ветрам неба он бы не дал тронуть
Ее лица...

НОВЫЙ ВАРИАНТ

О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!..
... О мерзость! Это буйный сад, плодящий
Одно лишь семя; дикое и злое
В нем властвует. До этого дойти!
Два месяца, как умер! Меньше даже.
Такой достойнейший король! Сравнить их —
Феб и са́тир. Он мать мою так нежил,
Что ветрам неба не дал бы коснуться
Ее лица...
(монолог Гамлета)

Сравнение обеих редакций с оригиналом показывает, что первый вариант формально, внешне точнее, но на самом деле он бесконечно дальше от Шекспира, чем второй. «Слишком прочный остов» — казалось бы, ближе к шекспировскому обороту. Но, разумеется, «плотный сгусток мяса» несравненно яснее, ощутимее. «Гипе́рион и са́тир» формально ближе к оригиналу, сохранены даже ударения. Но эти ударения нарушают русскую норму произношения. И, конечно, насколько же лучше, естественней — «Феб и сатир»... Можно было бы подробно проанализировать все изменения, внесенные переводчиком, и показать, как всякий раз они приводят к большей верности оригиналу, к освобождению прежде скованного стиха.

М. Лозинский ставил перед собой труднейшую задачу: всегда идти «под наименьшим углом к оригиналу», создавая в то же время эстетически полноценное произведение русской литературы. Добиться этого можно было, лишь овладев всеми речевыми стилями и ресурсами родного языка — от торжественной стихии славянизмов до разговорно-бытового просторечья. Словарь М. Лозинского, его владение русским языком разных эпох и разных стилей заслуживает специального изучения. Исследователи будут анализировать и переводные произведения М. Лозинского, и его богатый архив, в котором сохранились многочисленные заготовки: списки русских идиом, пословиц, поговорок, отдельных строк или оборотов, которые обратили на себя его внимание.

М. Лозинский был переводчиком необычайно широкого диапазона. Подобно актеру, в совершенстве умеющему перевоплотиться, изменить и внешний облик, и голос, и характер, и жесты, он до неузнаваемости иной в произведениях поэтов разных эпох и народов. Таково важнейшее свойство его поэтического дара. В докладе об искусстве стихотворного перевода, прочитанном в ноябре 1935 года на Всесоюзном совещании переводчиков, М. Лозинский утверждал:

«Тем больше заслуга поэта-переводчика и тем большим он себя показывает художником, чем объективнее он в своей работе, чем полнее он перевоплощается в того поэта, стихи которого создает. Пусть он не боится, что утрачивает при этом свою индивидуальность... Индивидуальность поэта-переводчика — это индивидуальность художника-портретиста: его мазок — то, чем ценен портрет, то, чем ценен перевод.

В переводе, наиболее близком к оригиналу, индивидуальность поэта-переводчика скажется резче всего. Потому что сильный мастер, от всех отличимый, всегда напишет наилучший портрет».

Недаром крупнейшие победы одержаны М. Лозинским при переводе произведений, в которых наиболее отчетливо звучит характерный голос автора. Казалось бы, нет ничего труднее воссоздания на другом языке дневника: не легко поддаются переводу живые интонации разговорной речи, которая пересыпана национально-специфической идиоматикой, поговорками и пословицами. Но именно в работе над такими произведениями М. Лозинский чувствует себя особенно естественно и свободно. Читая его перевод «Кола Брюньона» Ромен Роллана (1931), с трудом представляешь себе, что это — перевод.

Глубоко народная книга Р. Роллана пронизана французским национальным духом, в ней — живая стихия народной речи. Кола — веселый балагур, великолепный народный художник, тонкий и острый наблюдатель, своеобразный и мудрый философ. На первый взгляд, произведение Роллана непереводимо. И в самом деле, в первом

его русском переводе не было почти ничего от той неповторимой веселой прелести, которая свойственна этой книге. Книга — дневник Кола, и о разном Кола пишет по-разному. Отсюда в книге Роллана различные речевые стили, которые, причудливо сплетаясь друг с другом, объединены многогранным ее героем. М. Лозинский нашел на русском языке возможности для того, чтобы воссоздать и каждый из этих стилей в отдельности и их гармоническое единство.

Перевод «Кола Брюньона» можно считать образцом реалистического перевода. М. Лозинский не стремится к тому, чтобы копировать все черты оригинала. Он отбирает лишь то, что является типическим для строя переводимого произведения. Реализм в переводе — это и есть умение выделить в оригинале типическое и, отбросив или видоизменив по необходимости второстепенное, воспроизвести это типическое на другом языке. Используя богатейшие возможности русского языка, М. Лозинский воссоздал народную французскую речь тонкими, тактичными, умелыми приемами. Вот, к примеру, несколько общенародных или созданных Ролланом присказок, поговорок, пословиц, переведенных М. Лозинским:

Où femme il y a, silence n'y a.
Завел жену — забудь тишину.

Qui bon vin boit, Dieu voit.
Кто пьет много, видит бога.

Plutôt, qu'enclume, enclume, enclume, soyons enclume et puis marteau.
Чем подставлять бока, бока, бока, дадим-ка лучше сами тумака.

Le mal s'en va-t-à pied, mais il vient à cheval.
Беда от нас пешком, а к нам верхом.

Принципы, положенные в основу перевода «Кола Брюньона», позволили М. Лозинскому добиться больших успехов и в других своих прозаических работах — например, таких, как перевод новелл и повестей Мериме («Кармен», «Арсена Гийо», «Аббат Обен»).

Значительная часть наследия М. Лозинского — переводы стихотворные. Как известно, перевод поэтических произведений, который неминуемо связан с большей степенью свободы в отношении деталей текста, таит бо́льший соблазн субъективизма, нежели проза. Но и здесь М. Лозинский ставил себе железные пределы. В неопубликованной заметке, датированной 1941 годом, он писал:

«Поэт-переводчик должен стараться как можно более отрешиться от самого себя, от собственных навыков и склонностей, чтобы во всей возможной чистоте воспроизвести оригинал, пользуясь для этого всеми средствами, которыми располагает его родной язык».

А в уже цитированном докладе об искусстве стихотворного перевода он указывал:

«Есть отступления, характерные именно для стихотворного перевода. Это те, которых требует *форма*. Форма тиранична, и она вправе быть тираничной, потому что без нее рушится все гармоничное здание стихов. И она требует жертв.

...Само собой ясно, что поэт-переводчик должен позволять себе *как можно меньше отступлений,* должен держать как можно *круче к ветру,* как можно меньше лавировать.

А там, где отступления в виде пропусков, замен и добавлений неизбежны, в том, как они сделаны, сказываются его такт, его вкус, его искусство.

Всех элементов формы воспроизвести нельзя.

Поэтому поэт-переводчик должен заранее определить, какие из этих элементов *наиболее* существенны в том произведении, которое он переводит, и потому *должны быть воспроизведены во что бы то ни стало.* Выбор этих элементов и есть то, что Валерий Брюсов назвал методом перевода» [Подчеркнуто М. Лозинским]. В тезисах к тому же докладу М. Лозинский писал: «Обязательность воспроизведения всего того, что характерно для эпохи, страны, социальной группы автора, для его индивидуальности, для жанра произведения».

Важнейшее свойство таланта М. Лозинского — способность к перевоплощению — явилось особенно важным для перевода памятников мировой драматургии. Здесь оказалось в высшей степени необходимым и умение найти правильные словесные краски для передачи стилистического своеобразия произведения в целом и нужные интонации для речевой характеристики каждого персонажа в отдельности. М. Лозинский придавал решающее значение воссозданию в переводе национальной формы оригинала. В статье «Русский текст «Собаки на сене» он писал:

«Внутреннее своеобразие испанской,

французской и английской драмы нашло свое внешнее выражение в самобытных формах сценической речи. Для французского театра стал законом александрийский стих, с его мерным чередованием строгих двустиший, напоминающих архитектонику дорического портика. Для английского — белый стих, свободно возносящийся и позволяющий созидать из слов огромные чертоги, высокие готические залы. А для испанской драматургии характерно пышное нагромождение разнообразных и причудливых стихотворных фигур, в своем роскошном изобилии подобных зодчеству барокко. Воссоздание классической драматургии Запада на нашем языке невозможно без воссоздания этих поэтических форм. Они — органическое воплощение ее внутренней сущности, они — тот голос, которым она говорит, они — ее неотъемлемый жест».

Глубокая уверенность в неисчерпаемых возможностях русского языка, позволяющего воспроизвести все национальные завоевания иностранных литератур, помогла М. Лозинскому создать ряд переводных произведений, которые вошли в золотой фонд русской поэзии.

Французская драматургия представлена в творчестве М. Лозинского двумя самыми яркими ее образцами: трагедией Корнеля «Сид» и комедией Мольера «Тартюф». Сравнение этих двух пьес, которые обе написаны одним и тем же александрийским стихом, убедительно показывает, как широк был драматургический диапазон переводчика. Благородная чистота и энергия стихов «Сида», произведения, которому в высшей степени свойственно классическое единство стиля, контрастирует с бытовой точностью речевых характеристик мольеровского шедевра. А как по-разному и как выразительно звучит традиционный шестистопный ямб «Тартюфа» в устах рассерженной, властной старухи госпожи Пернель, злобного святоши Тартюфа, лукавой и умной служанки Дорины, пылкого юноши Дамиса, ослепленного глупца Оргона! Остановимся лишь на первой сцене комедии; здесь главное действующее лицо — г-жа Пернель. Старуха говорит с женой своего сына, Эльмирой:

Г-ЖА ПЕРНЕЛЬ

Прошу, сноха, прошу, вы оставайтесь тут.
Все эти проводы — один напрасный труд.

ЭЛЬМИРА

То, что мы делаем, прямая должность наша.
Но почему вы так торопитесь, мамаша?

Г-ЖА ПЕРНЕЛЬ

А потому, что мне несносен этот дом,
И я внимания не вижу здесь ни в ком,
Я ухожу от вас обиженная кровно:
Все, что я ни скажу, встречают прекословно,
Почтенья ни на грош, крик, шум, такой же ад,
Как если нищие на паперти галдят.

Речь г-жи Пернель богата интонациями. Старуха полна презрения и раздражения, когда прощается со своей снохой; она ударяется в высокопарную набожность, восхваляя добродетели Тартюфа; она груба и своевластна, браня свою служанку Флипот. Неудивительно, что маленькая роль Пернель — не более восьмидесяти стихов — дает такой благодарный материал для исполнительницы, и не только для французской, но и для русской актрисы.

В 1935 году М. Лозинский начал свою многолетнюю работу над испанскими драматургами Ренессанса переводом «Собаки на сене». Позднее он перевел еще три пьесы Лопе («Валенсианская вдова» — 1938, «Глупая для других, умная для себя» — 1944, «Фуэнте Овехуна» — 1946), «Сомнительную правду» Аларкона (1939), «Дон Хиль — Зеленые штаны» Тирсо де Молина (1943), обогатив русский репертуар лучшими образцами драматургии «золотого века». Большинство этих пьес шло в театрах множества городов Советского Союза, на их основе созданы замечательные спектакли, любимые нашим зрителем. Читая старые переводы, русский читатель мог думать, что персонажи Лопе де Вега и Тирсо де Молина говорят скучно, порою невнятно и главное — совершенно одинаково. В переводах М. Лозинского их речь впервые зазвучала с присущей испанскому оригиналу неповторимой характерностью, живостью и блистательным остроумием. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить с подлинником разностильные отрывки, например, из «Собаки на сене». Как выразительны рядом с сентиментальными или патетическими монологами Дианы реплики плутоватого и развязного слуги Тристана! Вот он объясняет, как он привязан к своему хозяину:

Я подпись этого письма,
Я ножны этого кинжала,
Я рукоятка этой шпаги,
Я камень этого забора,
Я пляска этого танцора,
Я обувь этого бродяги,
Я только дышло этой фуры,
Я только цифра этой сметы,
Я только хвост его кометы,

Я только тень его фигуры,
Короче — я давным-давно
На этом пальце только ноготь,
И я прошу его не трогать,
Пока мы вместе с ним одно.

Другие поэты-переводчики — рядом с М. Лозинским или вслед за ним — тоже работали над переводом испанских классиков театра. Много достигнуто ими удач; назовем в этой связи имена Т. Щепкиной-Куперник и М. Казмичева. Но именно М. Лозинскому принадлежит честь введения в русскую поэзию стиха испанского театра. После его «Собаки на сене» и «Валенсианской вдовы» пути, по которым должен двигаться переводчик, были открыты и предуказаны.

М. Лозинский оставил интересные размышления о языке перевода реалистической пьесы. Например, в статье «Классическое создание Шеридана» (1937) он сформулировал свою точку зрения на передачу архаических и национально-специфических элементов оригинала.

«Воссоздать эту старую и вечно молодую комедию на языке другого строя, другой эпохи не так уже просто, — писал М. Лозинский о «Школе злословия».— Переводя ее по-русски, прежде всего нужно преодолеть соблазн стилизации, которая ей тем более чужда, что язык Шеридана несравненно ближе к современной английской речи, чем литературный язык времен Екатерины — к сегодняшнему нашему языку. И, кроме того, такая архаизация сообщила бы ей специфические черты — именно русской местной старины, оторвала бы «Школу злословия» от английской почвы... Для характерных, чисто английских оборотов требуется найти соответствующие русские, простые и естественные, но вместе с тем возможные и не в русском быту. Язык перевода должен быть чем-то вроде прозрачного окна, которое бы позволяло видеть подлинник незатуманенным и неискривленным».

Тщательный анализ «Школы злословия» и «Дуэньи» Шеридана, переведенных М. Лозинским, показал бы, как последовательно осуществлял переводчик эти реалистические принципы.

М. Лозинский внес немалый вклад и в освоение творчества Шекспира. Можно сказать, что над Шекспиром поэт работал в общей сложности около двадцати пяти лет: «Гамлет» был переведен в 1929—1930 годах, последний перевод из Шекспира — «Сон в летнюю ночь» — закончен в январе 1953 года. Кроме того, М. Лозинский перевел «Двенадцатую ночь» (1933), «Отелло» (1947), «Макбета» (1947—1948). Переводы Шекспира принадлежат к спорной части наследия М. Лозинского. Недаром в свое время вокруг перевода «Гамлета» развернулась полемика, в ходе которой переводчика упрекали в чрезмерном пристрастии к принципу «эквилинеарности» (равнострочия) и в том, что ради сохранения этого принципа он приносил слишком большие жертвы. Выше мы останавливались на творческой истории перевода «Гамлета»; мы старались показать, что стиль шекспировских переводов, да и самый «принцип эквилинеарности» у Лозинского были следствием полемической позиции самого переводчика, боровшегося против произвола и субъективизма, в пылу борьбы ударившегося в противоположную крайность. С годами М. Лозинский все больше отказывался от этого принципа и связанного с ним требования. И все же, может быть, никто из русских переводчиков не подошел ближе к подлинному Шекспиру, чем М. Лозинский.

Когда талант М. Лозинского достиг подлинной зрелости, когда поэт овладел многообразными богатствами русской речи, сложными формами русского стиха, он взялся за самую значительную свою работу: за перевод «Божественной комедии» Данте. Самый перевод был создан за шесть с половиной лет; начатый в феврале 1936 года, он был полностью завершен 14 ноября 1942 года. Впрочем, на это же шестилетие приходится ряд других работ: «Валенсианская вдова» Лопе, «Сомнительная правда» Аларкона, две комедии Шеридана.

Шесть с половиной лет поэт работал над осуществлением того, что им было задумано и подготовлено в течение более чем десятилетия. Он проделал огромный предварительный труд исследователя. Известно, что поэма Данте — одно из самых сложных в мировой литературе произведений: в ней множество темных мест, допускающих разные толкования, о ней написаны сотни томов. Во всем этом нужно было разобраться. Постепенно копился материал, и в конце работы комментарий, составленный переводчиком к поэме Данте, достиг шестнадцати авторских листов! Комментарий этот в полном объеме еще не из-

дан. Для М. Лозинского не было ничего более чуждого, чем перевод произведения, которое бы не было ему до конца ясно, которое бы он всесторонне не исследовал как историк, искусствовед, литературовед, филолог. Для него перевод с подстрочника был невозможен. Достаточно сказать, что когда М. Лозинскому пришлось перевести фрагмент из «Шах-Наме» Фирдоуси, то он специально для этого изучал персидский язык.

В деле перевода «Божественной комедии» у М. Лозинского были предшественники. Наиболее одаренный из них — Дм. Мин — тридцать лет работал над «Божественной комедией» (1855—1885), и его перевод сыграл свою роль в истории нашей культуры — по нему несколько поколений русских людей знакомились с великим творением Данте. Но в советскую эпоху, когда требования к художественному переводу необычайно возросли, перевод Мина уже не мог удовлетворять читателя: он изобилует грубыми ошибками, затрудненными и косноязычными строками, он не передает поэтического дыхания Данте, ибо лишен его «пластической и музыкальной выразительности».

Появление перевода М. Лозинского было встречено как крупная победа поэта, как достижение всей советской поэтической культуры. В статье «История одного перевода «Божественной комедии» М. Лозинский писал, что, работая над своим переводом, он вспоминал слова, которые Данте вкладывает в уста Вергилия, своего вожатого по аду:

Здесь нужно, чтоб душа была тверда,
Здесь страх не должен подавать совета.

«Божественная комедия» — стилистически необыкновенно многослойное произведение. В ней, помимо флорентинско-итальянской основы, итальянского «сладостного нового стиля», есть и пышно-торжественные библеизмы, и трагическая патетика Апокалипсиса, и отголоски эллинской поэзии; в ней искусно сочетаются разнообразные речевые стили — от бытового просторечия до высокой гражданской риторики. М. Лозинский воссоздал на русском языке характерное для Данте стилистическое богатство. Специального изучения заслуживают открытия и находки переводчика, сумевшего своеобразные стилистические явления итальянской поэзии передать средствами русского языка.

Разумеется, чтобы добиться этого, переводчик должен был превосходно разбираться в оттенках старинного итальянского языка, понять всю культурно-историческую базу «Божественной комедии», изучить современные Данте искусство и поэзию, философию и религиозные учения. М. Лозинский писал в своей статье «Данте Алигьери» (1950, рукопись): «Данте умел придавать отдельным терцинам и группам терцин неизъяснимое звучание, которое их облекает как бы особой атмосферой, то неясной, то грозной, то величественной... Когда мы перелистываем его книгу, она, как его таинственный Грифон, предстает перед нами «то вдруг в одном, то вдруг в другом обличье» (Чистилище, XXXI, 123). Так ограненный алмаз, если его вращать, загорается то синим, то алым, то желтым огнем». В переводе перед русским читателем раскрывается эта тайна дантовой поэзии. С какой трогательной человечностью звучат строфы рассказа Франчески да Римини, некогда вдохновившие Чайковского на создание симфонической поэмы о любви и страдании:

Я родилась над теми берегами,
Где волны, как усталого гонца,
Встречают По с попутными реками.

Любовь сжигает нежные сердца,
И он пленился телом несравнимым,
Погубленным так страшно в час конца.

Любовь, любить велящая любимым,
Меня к нему так властно привлекла,
Что он со мной пребыл неразлучимым,

Любовь вдвоем на гибель нас вела...

А каким неукротимым гневом вскипают терцины, в которых поэт обличает своих врагов — римских пап католическую церковь:

. . . . . .
Вы алчностью растлили христиан,
Топча благих и вознося греховных.

Вас, пастырей, провидел Иоанн
В той, что воссела на водах со славой

И деет блуд с царями многих стран;
В той, что на свет родилась семиглавой,

Девятирогой и хранила нас,
Пока ее супруг был жизни правой.

Сребро и злато — ныне бог для вас...

Данте впервые предстал перед русским читателем борцом, страстным политическим поэтом, который в поэме своей вершит суд над идейными противниками. Перевод М. Лозинского не во всем совершенен: в нем порою встречаются трудные, темные

строки, неясность которых не задана оригиналом (об этом писали в рецензиях на перевод Б. Кржевский, Б. Реизов и др.). На лексике перевода лежит легкий налет архаичности, который в ряде песен подменяет стилистическую атмосферу Данте иной, более торжественной, иногда даже выспренней. Впрочем, это у М. Лозинского не случайная ошибка. Дымкой архаизмов он и в пьесах Шекспира, и в поэме Данте нередко стремится передать ощущение исторической отдаленности произведения, поднять его над повседневностью, над бытом, над временем. Конечно, это прием старый и спорить с ним лучше всего новыми достижениями в области поэтического перевода. Как бы то ни было, только теперь, читая перевод «Божественной комедии» М. Лозинского, наш читатель смог почувствовать, почему Пушкин называл ее «пройственная поэма, в которой все знания, все поверия, все страсти средних веков были воплощены и преданы, так сказать, осязанию в живописных терцинах».

Работы М. Лозинского в подавляющем большинстве связаны с эпохой Возрождения. К этой эпохе относятся и Данте Алигьери, и Шекспир, и драматурги «золотого века» испанской литературы — Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Аларкон и Бенвенутто Челлини; из нее вышли Корнель и Мольер; с ее духом связан и герой книги Роллана — Кола Брюньон. И дело не только в том, что свойства таланта и натуры Лозинского увлекали его в сторону Возрождения. Он видел свой патриотический долг в том, чтобы способствовать обогащению советской культуры лучшими произведениями мировой поэзии. Шекспир и Данте, Сервантес и Рабле, Лопе де Вега и Монтень, Боккачио и Мольер его усилиями обрели в нашей стране новую родину.

В дело сближения между культурами народов мира, в дело укрепления взаимопонимания между ними М. Лозинский внес свой вклад. Он так определял цель труда своего и своих собратьев: «...Приблизиться к мелодическим водам, бьющим из чужой земли, и, зачерпнув их золотыми ведрами своего искусства, принести их к себе на родину.»

Н. Абалкин

Классическая драматургия стран народной демократии

После того как прочитаны два тома пьес «Классическая драматургия стран народной демократии», кажется, что вы вернулись из большого путешествия. Так много раскрывается в жизни народа на страницах старых драматических произведений, написанных еще в ту пору, когда лишь в мечтах виделась человеку желанная заря свободы.

С кем бы ни встретился читатель в этом путешествии — с кутногорскими рудокопами или карпатскими горцами, с отважным патриотом Банк баном или трогательной Лиллой Венедой, неустрашимо зовущей к расправе с поработителями, со славным мельником Либором или болгарскими изгнанниками, хранящими на чужбине сыновнюю верность страдающей отчизне,— он сердцем своим почувствует красоту души, чистоту устремлений всех тех, кто служит писателю живым олицетворением народной мечты о счастье. Эта мечта о новой жизни согревает сердце человека, придает ему отвагу и мужество. Он знает и чувствует:

Народа вера — сил источник,
Надежный щит в борьбе веков.
В ней как великое наследство
Живут дела, мечты отцов...

Эти строки из поэтичной пьесы Алоиса Ирасека прекрасно выражают гуманизм классической драматургии народов, ставших хозяевами своей жизни в результате упорной многовековой борьбы.

Казалось бы, чем может заинтересовать сейчас трагическая «Лилла Венеда», эта легендарная, мифологическая история о том, как жестокие и грубые лехиты поработили когда-то славных венедов, исконных обитателей польских земель? Но когда о тех давних временах начинает свое романтическое повествование Юлиуш Словацкий, то сразу чувствуешь, как в рассказываемую им печальную историю врывается свежий ветер современности. Не к далекому прошлому, а к жизни, к окружающим его современникам обращался драматург с горячим словом, со своими раздумьями о судьбах народа, об уроках освободительной борьбы. И его Лилла Венеда, отважная дочь короля Друида, становилась живым символом героизма, беспримерной самоотверженности. Ее подвиг говорил о том, что живет в народе гордый, несломленный дух свободолюбия и непримиримости к тиранам. И как знать, может быть, и сейчас польские юноши, давая друг другу клятву верности и братской дружбы, вспоминают героические образы Леля и Полеля, славных братьев Лиллы.

Настоящий писатель, берущийся за историческую тему, раскрывает в ней то, что дорого и близко сердцу его современника. Да он и берется за эту тему чаще всего для того, чтобы напомнить своим соотечественникам о славных традициях, помочь им глубже осознать их призвание, их долг перед отчизной. Так поступил Юлиуш Словацкий. С этих же позиций подходит к отображению прошлого в своем «Банк бане» и Йожеф Катона. Он уходит в очень далекие времена, напоминает о том, как в первые годы XIII столетия венгерские дворяне-патриоты подготавливали заговор против чужеземцев, хозяйничавших в их стране. И в его взволнованном романтическом рассказе звучит горячий призыв к патриотам бороться, подобно смелому и пламенному Банк бану, за национальное единение, за национальную независимость,

---

«Классическая драматургия стран народной демократии», сборник пьес, составление и редакция переводов К. Державина, томы I и II, Государственное издательство «Искусство», Москва, 1955.

за честь родной земли. И сегодня в свободной, демократической, независимой Венгрии попрежнему дорог зрителю образ мужественного патриота Банк бана. Патриотическая драма Йожефа Катоны не сходит с венгерской сцены и в наши дни.

В революционном 1848 году, незадолго до баррикадных боев, на пражской сцене появилась пьеса Иозефа Каетана Тыла «Кровавый суд или Кутногорские рудокопы». Тогдашним зрителям, да, пожалуй, и самому драматургу, не дано было понять, какой глубочайший смысл заложен в этом историческом совпадении. В тот год, когда буржуазная революция потрясла старую Европу, впервые на чешскую сцену вышел рабочий, простой человек из народа, которому историей было предназначено быть вершителем будущих судеб своей страны, ее грядущих революционных преобразований.

Это тоже была историческая пьеса, посвященная восстанию рабочих серебряных рудников, разразившемуся в конце XV века в городе Кутна Гора. Чуткий писатель, активный участник революционных событий, близко знавший народную жизнь, обращаясь к кутногорским рудокопам, словно предчувствовал, кто станет истинным положительным героем в литературе нового века. И не поэтому ли он так дорог сегодня свободному театру свободной, демократической Чехословакии? В правдивых жизненных картинах с большой симпатией и сердечностью показано им, как пробуждается в народе его самосознание, становится ясной необходимость упорной, непримиримой, жестокой борьбы с угнетателями за свободу, за свое счастье. И думается, актерам чехословацкого театра доставляет истинное удовольствие играть сегодня роли чистого душой и сердцем старого рудокопа Опата, его милой и трогательной дочери Анежки, гордого и непокорного Вита.

Классическая драматургия верно сопутствовала народу в его борьбе за лучшую жизнь, в ней с большой вдохновенной силой передан патриотический пафос национально-освободительного движения. И этим она особенно дорога сегодня театру Польши и Чехословакии, Болгарии и Венгрии. Благородная патриотическая традиция классической драматургии — всегда живая и волнующая тема любви к родине — прекрасно выражена и в «Изгнанниках» Ивана Вазова. Драматург вводит нас в среду болгарской революционной эмиграции, с нескрываемой симпатией знакомит с честными, самоотверженными патриотами, все помыслы которых устремлены к родной и милой земле. Они с ней всем сердцем, всей душой, и нет силы, способной сломить их волю, охладить пламень этой горячей сыновней любви, отвлечь мысли от борьбы за освобождение родины. Даже старый, изможденный Странджа, храбрый знаменосец юнаков, верит в тот час, когда он снова встанет во главе повстанческого отряда и сможет развернуть боевое знамя болгарских повстанцев. Вся его жизнь, как и жизнь его братьев по борьбе и изгнанию, отдана родине. И он знает:

«Наши славные битвы за Болгарию не забудет народ. Они пробудили народ и вселили в его сердце стремление к свободе и правде...»

И оглядывая старческими глазами славных своих соратников, он говорит:

«Мы принесли себя в жертву отечеству, и если захотим награды, то ею будет освобождение Болгарии...»

Вместе с историческим жанром, овеянным патриотическими идеями национально-освободительной борьбы, в классической драматургии стран народной демократии большое место занимает и бытовая комедия, острый сатирический жанр. Пороки, порождаемые буржуазным строем жизни, во многих пьесах подвергаются комедийному осмеянию, гневному сатирическому обличению. Лицемерие показной буржуазной демократии, буржуазная жажда стяжательства, дикость и пошлость мещанства, продажность морали, падение нравов, всяческая обывательщина — вот те мишени, по которым бьют эти пьесы.

Смело и прямо обличая пороки буржуазного общества, поднимая гневный и мужественный голос протеста против социальной несправедливости, драматургия прошлого века, однако, еще не выносила своего неумолимого приговора самому капиталистическому строю. Она не поднялась до его отрицания, и на то были исторически обусловленные причины. Но это никак не умаляет ее прогрессивной роли в защите и утверждении животворных идей гуманизма, в воспитании благородных гражданских чувств, в осуждении всего того, что опошляет и принижает высокое достоинство человека.

Великолепным образцом острой сатирической драматургии может служить выдающееся «Потерянное письмо» Иона Луки Караджале. С каким сатирическим запалом, неистощимым остроумием и веселостью показывает драматург неприглядную оборотную сторону буржуазной демократии, весь ее цинизм и продажность! Он воздает, как говорится, «всем сестрам по серьгам». От драматурга одинаково достается и либералам и консерваторам, он иронически высмеивает и лакейскую угодливость беспринципной журналистики и грязную механику псевдосвободных конституционных выборов. Вовлекая читателя в кипучий водоворот событий, Караджале все сильнее и злее издевается над героями своей комедии. Его удары сыплются один за другим, почерк становится все острее и острее. В изображении бурной сцены в примарии, когда там происходит схватка, вызванная выдвижением кандидата в депутаты, писатель прибегает к смелой сатирической гиперболе, но тем не менее его образы сохраняют свои реалистические признаки. Такая сатира, конечно, была неугод-

на буржуазному обществу, и не случайно румынская реакционная критика настойчиво рекомендовала автору «Потерянного письма» «переменить жанр».

«Переменить жанр» — это значило сложить оружие, пойти на уступки реакции, отказаться от всяких надежд на прогресс и социальную справедливость. Но лучшие писатели прошлого не складывали своего оружия, они честно и мужественно обличали пороки современного им общества. Это в полной мере относится и к венгерскому классику Гёргею Чики, автору блестящей сатирической комедии «Дармоеды». В ней есть все, чего ждет театр от драматического писателя: и острота конфликта, и занимательность действия, и живость диалога, и яркость характеристик действующих лиц, и, наконец, прекрасное знание законов сцены.

Во всеоружии мастерства, с глубоким сознанием своего общественного долга писатель безжалостно обличает цинизм бесстыдной буржуазной морали. Он выводит на сцену Камиллу Седервари, которая занимается наглым вымогательством, разыгрывая роль безутешно страдающей вдовы никогда не существовавшего героя. Эта бессовестная вымогательница покажется добрым ангелом при сравнении с Бенце Затони, наглым буржуазным дельцом, пользующимся неожиданной статьей дохода: он выбирает себе невесту, жену, потом по весьма выгодной цене в знак «дружеского» расположения уступает ее какому-нибудь богатею.

С огромным интересом, как большую сенсацию встретили зрители в свое время появление на сцене «Дармоедов». Это была смелая и яркая картина падения нравов, духовной опустошенности буржуазного общества. Обличительная сила талантливой сатирической комедии живо чувствуется и сегодня, хотя критический реализм Гёргея Чики и носил отпечаток известной ограниченности.

Сатирический, комедийный жанр достаточно широко представлен в рецензируемом двухтомнике классической драматургии. Здесь и хорошо известная у нас мещанская трагикомедия Габриель Запольской «Мораль пани Дульской»; и комедия выдающегося польского комедиографа Александра Фредро «Пан Иовяльский», с искрометным творчеством которого познакомил нас гастролировавший в Москве польский театр; и впервые представленная вниманию нашего читателя комедия виднейшего словацкого драматурга Яна Халупки «Как бы нам в дураках не остаться». Подобно щедринскому городу Глупову, Коцурково — вымышленный маленький городок, в котором, кстати, происходит действие не только одной этой комедии. В словацкой и чешской литературе ему посвящен цикл произведений. Несмотря на вымышленность адресата, зрители без труда узнавали в героях Яна Халупки своих современников, обрисованных во всей их жизненной достоверности, с хорошим народным юмором.

Украшением двухтомника служит и очень сценичная, мастерски написанная бытовая комедия Антона Страшимирова «Свекровь». По своей манере, по всему своему духу, отношению к изображаемому она близка драматургии Островского. Талантливый болгарский писатель обличает обывательщину, мелочные, своекорыстные интересы ограниченного, духовно убогого городского мещанства.

Румынского Гарпагона, скрягу-ростовщика, потерявшего человеческий облик в жадном стяжательстве, правдиво рисует в своем «Хаджи Тудосе» Барбу Делавранча. Он не дает ему никакой пощады, высмеивает его зло и язвительно. Но не только жажда наживы, безумная фетишизация денег служит в комедии предметом осмеяния. В ней сатирически обличается дикое религиозное суеверие, убожество мещанских нравов.

В двухтомнике представлена также и пьеса-сказка Алоиса Ирасека «Фонарь». Участие сказочных персонажей в ней не вызывает никаких сомнений в жизненной достоверности всего происходящего и совсем не мешает драматургу высмеять в ярких пародийных сценах чванливую и самонадеянную чешскую аристократию, воспеть простого человека из народа, красоту родной природы. Привлечение сказочных героев из народных преданий как бы подчеркивает глубоко народные истоки оптимистического, жизнеутверждающего творчества Алоиса Ирасека.

Не без интереса познакомятся читатели и с драмой Юзефа Коженевского «Карпатские горцы», правдиво повествующей о тяжелой доле гуцулов под гнетом австрийской монархии; и с пьесой Жигмонда Морица «Господский пир», гневно обличающей паразитизм и оскудение провинциального венгерского дворянства.

Вот и все пьесы близких наших соседей, впервые представленные советскому читателю в таком единстве. С особым вниманием и понятным пристрастием познакомятся с двухтомником классической драматургии наши театры. Некоторые из них уже испытали на себе волнующее чувство открытия богатейших золотоносных жил в литературе братских народов. И нужно пожелать им еще более смелой и настойчивой разработки этих золотых россыпей.

Наши зрители, увидевшие на советской сцене знаменитое «Потерянное письмо», сумели по достоинству оценить великолепное комедийное дарование славного Караджале. Их восхищение вызывает и блестящий талант Гёргея Чики, о котором они прекрасно могут судить по поставленному у нас спектаклю «Дармоеды». Они знакомы и с оперой «Банк бан», созданной по мотивам патриотической драмы выдающегося венгерского драматурга Йожефа Катоны.

Пусть еще больше увлекает наши театры

романтика все новых и новых открытий в культуре братских народов. Советские зрители будут только благодарны им за это. Они хорошо знают, что взаимное ознакомление с ценностями национальных культур служит великому делу сближения народов, укрепляет наши искренние дружеские связи.

Растущий у нас с каждым годом интерес к литературе братских народов не случаен. Давняя духовная близость связывает классическую драматургию стран народной демократии с передовой русской литературой XIX века. Наша драматургия, драматургия Гоголя и Островского, Чехова и Горького, оказывала на нее свое благотворное влияние, способствовала ее возмужанию и росту. Исторически сложившиеся связи наших близких литератур несомненно заслуживают серьезного и вдумчивого исследования. Но не об этом сейчас речь. Здесь не менее интересно и другое. Воспринимая опыт близкой ей русской литературы, испытывая те или иные влияния, классическая драматургия стран народной демократии сохраняла в целостности свое национальное своеобразие, сохраняла свою самобытность, следовала прогрессивным традициям национальной культуры.

Эту характерную особенность развития существенно важно отметить именно сейчас, в наши дни, когда благородные идеи могучего и неодолимого движения сторонников мира привлекают к себе все новые и новые отряды мужественных борцов. Сближение народов под знаменем борьбы за мир ведет и к сближению их культур. Жизнь учит! Она учит тому, что национальной культуре нет необходимости изолировать себя от мира из-за боязни утраты своей самобытности. Национальная замкнутость, пугливая самоизоляция никак не способствует расцвету культуры.

В наше время два пути открыты перед культурой. На один путь пытаются столкнуть ее люди, сеющие вражду между народами, оголтелые поборники войны. Они предпринимают широкое идеологическое наступление. Они осуществляют воинственную культурную экспансию, пытаются всюду бесцеремонно насаждать космополитическую культуру империализма, культуру духовного вырождения. Для нее не существует понятий национальных традиций, народности литературы и искусства. Она покушается на то, что́ народы с гордостью считают своим национальным достоянием, стремится уничтожить все признаки национальной самобытности культуры, вытравить из нее вольнолюбивый дух гуманизма.

И есть другой путь — путь содружества и взаимообогащения культур. Это путь самой жизни! Чем больше и дружелюбнее будут народы знакомить друг друга со своими национальными художественными сокровищами, тем полнокровнее и ярче станет расти и развиваться их культура, сохраняя все свое неповторимое своеобразие.

Это взаимоознакомление, полезное и поучительное, никак не приведет к нивелированию культур. Наоборот, оно будет только обогащать их!

Наши театры, храня верность национальным традициям, не смогут воспринять и сделать своими древние традиции условного китайского театра. Но сколько поучительного и интересного было для них в чудесных, красивых спектаклях гастролировавшей у нас Шаосинской оперы! И как знать, может быть, появятся на нашей сцене музыкальные спектакли, в которых обнаружатся следы пребывания у нас талантливых китайских артистов. И это будет совсем неплохо. Разве нечему у них поучиться?

Наши художники не смогут следовать в своем творчестве глубоко национальным художественным традициям Индии. Но каким большим и опять-таки поучительным событием была для них выставка индийской живописи.

Сколько таких событий, интересных, ярких и волнующих, было у нас в последние годы! К нам приезжали театры из великого Китая, из Польши и Чехословакии, Болгарии и Венгрии, из Англии, Франции, Америки... В концертных залах столицы мы слышали песни Вьетнама и Кореи, Аргентины и Бразилии, Югославии и Греции...

Растут, крепнут и ширятся наши культурные связи. Укреплению этого жизненно необходимого содружества культур служит и сборник классической драматургии стран народной демократии.

Отрадно сознавать, что классическая драматургия стран народной демократии получила сейчас самый широкий выход на национальную сцену, становится достоянием все новых и новых слоев зрителей. Она освобождена от прежних цензурных ограничений, народ впервые во всей красоте и силе услышал голос своих писателей, которые еще в мрачные годы прошлого призывали к лучшим дням и лучшей доле.

В ряду строителей новой жизни, сегодняшних борцов за мир и демократию, всегда найдется место для честных и мужественных сынов народа, которые в минувшем столетии творчеством своим приближали будущее. И сейчас, когда в переводах на русский язык ожили для нас классики драматургии стран народной демократии, наши зрители и наши театры с душевным гостеприимством говорят:

— Добро пожаловать на нашу сцену!

С. Тураев

Проблема романтизма в университетском учебнике

Советские литературоведы проделали большую работу по осмыслению историко-литературного процесса в странах Западной Европы. Пересмотрены и опровергнуты многие ложные концепции реакционного литературоведения, разоблачено немало легенд, затемнявших благородный облик замечательных мыслителей и поэтов прошлого. За последние годы серьезных успехов достигла передовая марксистская литературоведческая мысль в странах Запада: следует особенно отметить большой вклад французской прогрессивной критики, труды исследователей литературы в Германской Демократической Республике и в странах народной демократии. Юбилейные даты, отмечаемые ежегодно по решению Всемирного Совета Мира, вызвали к жизни много работ, в которых прогрессивная критика разных стран сумела по-новому оценить неумирающее наследие Гюго и Андерсена, Фильдинга и Шиллера, Сервантеса и Монтескье.

Вместе с тем следует отметить, что как в советской, так и в зарубежной прогрессивной критике остаются неразработанными многие узловые вопросы историко-литературного процесса. К таким нерешенным проблемам относится проблема романтизма вообще и романтизма начала XIX века в частности.

Этим прежде всего объясняются трудности, которые стояли перед автором университетского учебника, посвященного западно-европейским литературам начала XIX века.

В. Ивашева стремилась обобщить и привести в систему все то, что достигнуто передовой исследовательской мыслью нашего времени по изучению творчества западноевропейских писателей периода романтизма (в учебнике представлены Германия, Франция, Англия и Италия). Перед нами обстоятельные главы, посвященные не только таким выдающимся мастерам, как Гюго, Байрон, Леопарди, Гейне, Беранже, Шелли, В. Скотт, Гофман, но и менее значительным, но занявшим известное место в истории литературы своей страны, как Ламартин, Саути или Тик. Каждая из этих глав заслуживает внимательного разбора. Общим достоинством их является обилие материала, обстоятельность характеристики творческого пути, почти всех основных произведений писателя.

В. В. Ивашева. История зарубежных литератур XIX века, том 1, Издательство Московского университета, М., 1955, отв. редактор Е. П. Кучборская. Раздел итальянской литературы написан А. П. Гусевым.

Ряд конкретных оценок вызывает возражения,— но не будем останавливаться на частностях. Нас интересует здесь центральный вопрос, который неизбежно встанет перед читателем (прежде всего перед студентом, который будет по этой книге изучать историю литературы). Это — вопрос о природе самого романтизма, о своеобразии романтического метода в целом и каждого из рассматриваемых писателей в особенности.

Предлагая читателю большой историко-литературный материал (возможно, даже слишком обильный для учебника), В. Ивашева несомненно создает представление о развитии романтизма в западноевропейских литературах. Отдельные главы (Гельдерлин, Шелли) очень убедительно, хотя и несколько суховато раскрывают особенности романтического творчества. Однако теоретические позиции автора по вопросу о романтизме (сформулированные во вводных главах) представляются весьма спорными, и это в конечном счете не могло не отразиться на конкретном анализе явлений романтизма.

В. Ивашева совершенно справедливо отмежевывается от буржуазного литературоведения, обычно рассматривавшего романтическое движение начала XIX века в едином потоке, исходившего при анализе чаще всего из формальной противоположности между романтизмом и классицизмом и стиравшего грани между прогрессивным и реакционным направлениями в романтизме.

Но пользуясь термином «романтизм» в применении к обоим направлениям, противопоставляя одно другому, автор не объясняет: что же означает этот самый «романтизм»?

На стр. 26 мы узнаем, что во всем «сложном переплетении борющихся и сменяющих друг друга направлений можно установить вполне определенную закономерность». Какая же эта закономерность? По мнению автора, она состоит в том, что в литературном процессе имелись две тенденции: реалистическая (прогрессивная) и антиреалистическая (реакционная). И далее разъясняется, что прогрессивный романтизм относится к этой первой (реалистической) тенденции, ибо он «в различных художественных формах и различными художественными методами» отражал существенные стороны действительности.

Но, как справедливо говорил А. А. Фадеев на Втором Всесоюзном съезде советских писателей, «советская литература наследует решительно все передовое и прогрессивное»,— даже если оно выражено нереалистическими художественными средствами.

С другой стороны, ссылка на то, что прогрессивный романтизм отражал действительность, подчеркивает в романтизме лишь то, что является общим для в с я к о г о искусства. И студент вправе спросить: если это тоже реализм, то почему он все-таки называется романтизмом?

За последнее время многие исследователи утверждают подобный взгляд на прогрессивный романтизм как на вариант реализма. С этой точки зрения писатель-романтик и оценивается в первую очередь в той мере, в какой он проявляет себя реалистом. Характерно, что в юбилейных статьях 1952 года, посвященных творчеству В. Гюго, авторы нередко «забывали», что речь идет о писателе-романтике.

Нельзя не видеть, что подобная тенденция в литературоведении означает принижение романтизма как особого художественного метода, недооценку его роли и значения в развитии общественного сознания. Вместе с тем искажается историко-литературный процесс, утрачивается правильное представление о важнейших явлениях литературы начала XIX столетия.

Совершенно несомненно, например, что Байрон шел к реализму и эта победа реализма в позднем его творчестве — свидетельство его большей зрелости и более глубокого проникновения в социальные противоречия его века. Но кого Пушкин называл «властителем дум»? Нет сомнения, что именно р о м а н т и к Байрон так глубоко взволновал современников. Сила Байрона была далеко не только в том, что он правдиво изображал английскую действительность. Современников волновал его романтически яркий, нередко смутный, но неизменно страстный протест. Этот протест был красив и «много душ он поддержал и удержал от компромисса» — так писал о значении Байрона А. В. Луначарский.

Романтизм как художественный метод, открытый в начале XIX века, сыграл важную роль в развитии западных литератур.

С романтизмом связано утверждение народности в литературе, обращение к традиции национальной культуры, возникновение исторического жанра, обогащение книжной лирики народной песнью. В отдельных странах (США, Польша) именно романтикам (Ирвингу, Куперу, Мицкевичу) принадлежала историческая заслуга в становлении национальной литературы.

Особенно значительны заслуги романтизма в развитии и обогащении лирических жанров. Не случайно, что в стране с такой богатой литературной традицией, как Франция, где существовала замечательная национальная литература задолго до романтизма, именно романтику В. Гюго суждено было стать великим национальным поэтом, необычайно расширившим тематический диапазон лирики, обогатившим ее разнообразием ритмов, демократизировавшим ее язык. И дело, конечно, не в том, что поэт «с интересом выписывает внешние детали материального мира», как пишет автор учебника (стр. 176). В сознание современников и потомков Гюго входит как великий романтик. Так о нем писал А. Н. Толстой, рассказывая, как в мрачную эпоху Александра III в его жизнь ворвался Гюго: «он разогнал мещанские будни и увлек меня в неведомый мир страстей Большого Человека».

При оценке романа «Собор Парижской богоматери» В. Ивашева находит нужные слова: «Романтическая форма позволила Гюго наиболее полно воплотить свою прекрасную прогрессивную мечту, свои идеалы, реальные пути к достижению которых для Гюго были в то время закрыты» (стр. 193).

Но тут же (стр. 195) она, словно не желая быть заподозренной в переоценке романтизма, заключает анализ словами: «Появление реалистических элементов в романе свидетельствовало об идейном росте художника, о более глубоком понимании им действительности и прогрессивных сил истории». Между тем известно, что и в период большого идейного подъема (после 1851 г.) Гюго продолжал обращаться к романтическим образам.

При определении места романтизма в историко-литературном процессе исследователи, в их числе и В. В. Ивашева, не всегда учитывают специфику литературы как формы художественного, образного отражения действительности. Например, критика экономического романтизма Сисмонди В. И. Лениным имеет принципиальное значение для понимания романтизма как идеологии. Но было бы неправильно механически переносить все положения В. И. Ленина о Сисмонди на художественную литературу. Ленин указывает на ограниченность критики буржуазных отношений у Сисмонди. Но то, что является серьезным пороком в экономической науке, не означает отрицания художественного произведения, автор которого разделяет подобную же ограниченность. Ведь и великий реалист Диккенс не понимал экономической сущности противоречий капитализма!

Тем более несостоятельны попытки механически перенести критику идеализма в философии на романтизм в литературе. Приведя цитату из «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина: «Авенариус повторил довод Фихте и подменил мир действительный миром воображаемым»,— В. Ивашева делает вывод: «Эти слова Ленина бьют по самой основе эстетики реакционного романтизма» (стр. 58).

Ясно, что здесь понятия из области гносеологии догматически применяются к сфере художественного творчества. Нетрудно убедиться, что «мир воображаемый» в философии и «мир воображаемый» в литературе имеют совсем не одинаковый смысл. Во-первых, вымысел, воображение участвуют в создании всякого художественного образа, не только романтического, но и реалистического. Во-вторых, даже если «воображаемый мир» в творчестве романтика сознательно противопоставлен действительности, это противопоставление имеет в искусстве другое значение, чем в теории познания. Предпочтение «воображаемого мира» у Фихте означает принципиальный

отказ от признания материи как объективной реальности; «воображаемый мир» у поэта-романтика представляет собой систему образов, в конечном счете отражающих отношение поэта к реальному миру. Саути реакционен не потому, что в его стихах встает мир «воображаемый», а потому, что его воображение обращено к феодальному прошлому. Зато «воображаемый мир» Шелли свидетельствует о том, что поэт всеми своими помыслами устремлен в будущее. Если критика идеализма, как говорится в учебнике, бьет по эстетике реакционных романтиков, то встает законный вопрос о том, каковы же были философские позиции прогрессивных романтиков? Считает ли автор, например, В. Гюго материалистом? Очевидно, создатель «Манфреда» так же не давал материалистического истолкования изображаемых им явлений.

Таким образом, механическое перенесение основных философских категорий на явления литературы мало что дает для понимания романтизма как метода и направления. При внимательном рассмотрении оказывается, что теоретические позиции разных романтиков представляют собой весьма пеструю картину. Понятно, что борьба двух лагерей в философии отразилась и в развитии эстетической, художественной мысли. Однако противоположность между материализмом и идеализмом не может быть непосредственно положена в основу разделения романтизма на прогрессивный и реакционный.

Глубина образного отражения действительности и характер философского истолкования ее писателем часто не совпадают. Это одно из проявлений противоречий в мировоззрении художника.

Вот почему нельзя при характеристике писателя механически выводить художественное творчество из его теоретических позиций, как это делает в ряде случаев автор учебника. «Творчество Вордсворта и Кольриджа,— пишет В. Ивашева,— строилось в соответствии с теми принципами, которые были сформулированы ими в предисловии к «Лирическим балладам» (стр. 419). На деле творчество Вордсворта богаче и сложнее, чем программа «Предисловия».

Кроме того, самые категории объективного и субъективного приобретают в области художественного сознания иную функцию. В творчестве романтиков, например, преобладает субъективно-лирическая стихия. Но это не значит, что гносеологической базой здесь всегда выступает субъективный идеализм. В романтизме субъективна форма выражения, метод создания образа. Содержание же творчества связано с тем объективным миром, в котором живет и действует художник. Но этот объективный мир романтики изображают методом, отличным от реалистического.

Во всяком подлинном произведении искусства форма и содержание органически связаны, составляют то неподражаемое единство, которое становится источником эстетического наслаждения. Но это не значит, что в процессе анализа совершенно нельзя определить, что является формой и что содержанием, и какие формальные моменты являются индивидуальной особенностью мастерства художника, а какие могут рассматриваться как общие для всего направления.

Справедливо критикуя буржуазное литературоведение за безидейный формалистический подход к явлениям романтизма, В. Ивашева пишет: «Оно игнорирует классовую природу литературных направлений, рассматривает романтизм как единый стиль, давая определение его формальных особенностей, ищет общие для всех романтиков черты» (стр. 38—39).

Такая постановка вопроса приобретает метафизический оттенок: всякие поиски общих для всех романтиков черт объявляются формализмом. Но можно и нужно к проблеме подойти диалектически: признание резко выраженных идейных направлений в романтизме не исключает каких-то общих черт метода, получившего общее название — «романтизм».

В. Ивашева невольно противоречит себе, когда пишет: «Романтики различных направлений стремятся всей системой своих образов передать свое недовольство существующим и устремляются мечтой в мир желаемого». Значит, все-таки возможна какая-то общая постановка вопроса о романтизме начала XIX века?

Однако эта проблема не только остается неразрешенной, но автор постоянно подчеркивает, что самое стремление говорить о каких-то общих чертах романтического метода идейно порочно.

Между тем постановка вопроса о романтизме как методе отнюдь не исключает борьбы идейных направлений внутри этого метода. Более того, в силу преобладания субъективно-лирического начала в романтизме ярче и прямолинейнее выражаются взгляды и чувства художника. Романтик чаще, чем, например, классицист или даже критический реалист, вкладывает свое «я» в создаваемые им образы. Поэтому в романтизме резче и непосредственнее обнажается борьба идей. Романтический идеал, который писатели начала XIX века противопоставляют неприемлемой для них буржуазной действительности, недвусмысленно характеризует взгляды автора и определяет место его в социальной борьбе эпохи. Разумеется, разные идейные позиции определяют и своеобразие художественных средств, применяемых теми и другими романтиками.

Одно из достоинств учебника — широкое привлечение высказываний передовой русской критики (от Белинского до Горького). Однако эти высказывания русской революционно-демократической критики и Горького используются В. Ивашевой не столько для раскрытия сущности романтизма, сколько для того, чтобы подтвердить наличие двух

направлений в романтизме. Разве теоретическое значение суждений русской критики только в этом? И разве не следовало привлечь, например, высказывания Белинского об особенностях художественного метода романтиков?

Недостаточно использованы в книге богатства западноевропейской эстетической мысли по вопросу о романтизме. Очерк о Гейне обрывается на 1830 годе, и поэтому пока осталась вне поля зрения автора «Романтическая школа». Во введении же ссылка на Гейне сводится к тому, что ему «не удалось дать теоретическое обоснование отличия революционного романтизма от реакционного» (стр. 47). А может быть, все-таки что-нибудь «удалось» Гейне?

Совершенно игнорируется в учебнике эстетическое наследие Гегеля. Между тем в «Лекциях по эстетике» Гегеля мы встречаемся с интересной попыткой определить сущность романтизма. Большой интерес представляет также критика Гегелем конкретных явлений немецкого романтизма (Клейст, Гофман). Но в учебнике В. Ивашевой немецкая идеалистическая философия рассматривается только негативно, без учета какого-либо рационального зерна в ней. Безоговорочно отвергается и эстетическая мысль иенских романтиков, которая рассматривается как сплошное заблуждение, продиктованное реакционным политическим умыслом. При таком догматическом подходе к вопросу автор учебника ставит сам себя в затруднительное положение. Для читателя становится непонятным, каким образом в предисловии к «Кромвелю» В. Гюго, которое, по словам В. Ивашевой, отражало «гнев народных масс» (стр. 182), ряд положений заимствован из лекций о драматической литературе А. В. Шлегеля (стр. 179). Грамотный читатель знает также, что эстетические взгляды г-жи Сталь, которые В. Ивашева определяет как прогрессивно-романтические (стр. 107), формировались не без влияния того же А. В. Шлегеля. Все эти факты трудно объяснить, если не учитывать противоречивости и сложности эстетики иенских романтиков.

При характеристике романтизма начала XIX века встает законный вопрос о том, какую роль он сыграл в подготовке критического реализма середины века. В учебнике эта проблема упрощается: прогрессивный романтизм рассматривается как неполноценный вариант реализма, а деятельность остальных романтиков (не только собственно реакционных, но и тех, творчество которых представляет сложный противоречивый комплекс, как, например, у Гофмана) объявляется лишенной всякого объективного содержания и выключается из историко-литературного процесса. Между тем романтизм в целом — необходимое звено в историко-литературном развитии XVIII—XIX веков!

Разумеется, романтизм означал отказ от материалистической эстетики XVIII века. И заслуживает одобрения та высокая оценка литературы Просвещения, которая дается в учебнике (и которой недоставало в первом выпуске курса лекций В. Ивашевой 1950 г.). Особенно важно подчеркнуть те связи, которые В. Ивашева устанавливает между мировоззрением прогрессивных романтиков и взглядами просветителей.

Но ведь исторически закономерна была у романтиков и критика просветительской идеологии, оказавшейся несостоятельной в утверждении своего идеала «царства разума».

Правильно оценивая аристократический характер антипросветительских выступлений реакционных романтиков, В. Ивашева упрощает идейно-эстетические споры того времени, допуская досадные неточности в философской терминологии. О реакционных романтиках говорится, что «они стремились всеми средствами дискредитировать материалистическую философию Просвещения, опирающуюся на разум, и противопоставляли разуму иррациональные категории интуиции и предопределения» (стр. 81). Но понятие разума как основного критерия у просветителей свидетельствовало скорее об идеалистическом, чем материалистическом объяснении общественных явлений, и поэтому нельзя говорить о материализме, опиравшемся на разум, очевидно, материализму романтики противопоставляли идеализм. Кроме того, известно, например, что романтизм противостоял не только рационализму ранних просветителей, но и сентиментализму (в Германии «Буре и натиску»). Наконец, нельзя забывать, что романтики справедливо подвергали осуждению метафизический характер философии XVIII века.

Выдающейся исторической заслугой романтизма явилось то, что новое поколение писателей и мыслителей почувствовало сложность и противоречивость явлений действительности. Не умея объяснить противоречивость новых социальных отношений, порожденных революцией, романтики смутно, стихийно ощущали диалектику жизни. Художественный метод романтизма в известной мере отвечал этому назревшему желанию передать живое кипение страстей, которое не укладывалось в привычные схемы просветительской эстетики. Теория и практика романтизма именно поэтому и подготовили более высокий (в сравнении с XVIII веком) этап реализма, сделав невозможным простое возвращение к прямолинейной прозе Вольтера.

Недостаточное внимание к вопросам специфики художественного творчества приводит автора к существенным ошибкам. С одной стороны, упрощенно трактуется связь между исторической обстановкой и художественным творчеством и, с другой — отдельные литературные явления истолкованы без достаточного учета всей сложности образного отражения действительности.

В. Ивашева особо подчеркивает, что

принципы марксистского литературоведения обязывают исследователей к изучению историко-литературных явлений «в их глубокой общественной обусловленности и исторической конкретности» (стр. 23). Однако, увлекаясь пространными историческими «введениями», автор в ряде случаев подменяет конкретный анализ общими формулами, которые отнюдь не помогают уяснению сущности литературных явлений.

Это сказывается, например, в слишком прямолинейном понимании демократического движения как почвы движения литературного.

На стр. 11 говорится, что «общественной основой передовой мысли в XVIII веке были массовые народные движения». В общей форме это верно. Но в конкретном смысле это справедливо только в отношении Франции. В Германии, например, не было «массового народного движения».

Весьма спорна мысль, высказанная на стр. 36: «Твердо встать на путь реализма передовым писателям первой трети XIX века мешали общественно-исторические условия. Не надо забывать, что лучшие, наиболее передовые представители революционного романтизма (Байрон, Шелли) выступили в годы неразвитого еще рабочего движения (1810—1820). Они не видели и не могли еще увидеть в пролетариате ту силу, которая завоюет будущее». Но разве во Франции ко времени «Красного и черного» Стендаля рабочее движение было более развито, чем в Англии при Байроне? Зачем требовать, чтобы писатель начала XIX века понимал историческую миссию пролетариата?

В отношении ряда писателей сказывается своеобразное стремление автора «округлить», подвести под схему. Если писателя почему-либо нельзя безоговорочно назвать прогрессивным, то он объявляется целиком реакционным. Клейсту в этом случае не поможет то, что он написал замечательную комедию «Разбитый кувшин», а Альфреду де Виньи — его исполненный большой критической силы «Чаттертон». Клейсту в упрек ставится, что он не раскрыл «бесправное положение крестьян» (стр. 322), а про Виньи говорится, что он «стремится противопоставить ненавистному ему миру буржуазных отношений красоту энтузиазма, любви, чести, доброты, милосердия... Но эту «красоту энтузиазма» Виньи находит только в мире реакционных иллюзий и романтического вымысла, а не в реальной действительности» (стр. 135). Если вдуматься в эту последнюю фразу, то получается, что писателю ставятся в упрек не столько его реакционные взгляды, сколько именно его романтизм. И этот упрек не является случайностью. Он вытекает из общей концепции недооценки романтизма как особого художественного метода.

Учебник В. Ивашевой представляет собой поучительную попытку разобраться в сложной проблематике литературы начала XIX века.

Само собой разумеется, что эта книга много дает учащимся, облегчает работу преподавателей высшей школы. Автором собран большой и интересный материал и намечена правильная линия его осмысления. Но всюду, где автор стремится к обобщениям, дает о себе знать теоретическая неразработанность проблемы романтизма в нашем литературоведении. Эта проблема может быть решена лишь в результате серьезной творческой дискуссии.

А. Караганов

Книга о Белинском

Объективные наблюдатели, хорошо знающие и американский и советский народы, не раз отмечали, что в Советском Союзе лучше, полнее, глубже изучают и знают американскую культуру, нежели в Соединенных штатах — русскую. Даже в годы Отечественной войны, когда небывало активизировался интерес американцев к советскому народу, изучение и осмысление русской культуры в США зачастую подменялось журналистикой легкого толка, восполнявшей неосведомленность неумеренным фантазированием. Именно тогда рядом с правдивыми, написанными со знанием дела работами в американских журналах десятками печатались статьи, объявлявшие Платона Каратаева олицетворением русского национального характера, зимнюю битву под Москвой называвшие «необъяснимым чудом», а твердость и мужество воинов Сталинграда объяснявшие извечными «тайнами» «славянской души»... Надо ли говорить, как далеко от правды, от фактов истории и современности уходили «специалисты по России» из числа литературных оруженосцев «холодной войны», как много вреда принесли они в послевоенные годы взаимопониманию и культурным связям народов!

Борьба вокруг «русского вопроса», ведущаяся в США, захватывает и область изучения нашей литературы. И при выходе каждой новой книги о русской литературе неизбежно возникает вопрос: какое займет она место в этой борьбе?

Недавно вышедшая в издании Гарвард-

Herbert E. Bowman, Vissarion Belinski, A Study in the Origins of Social Criticism in Russia, Cambridge, Mass., 1954.

ского университета книга профессора Герберта Баумэна «Виссарион Белинский» очень противоречива. Объективность и академическая добросовестность в изложении фактического материала соседствуют в ней с тенденциозностью в анализе фактов и предвзятостью выводов, увлеченность могучей мыслью Белинского — с нападками на некоторые существенные особенности его литературно-критической деятельности...

В книге Баумэна содержится обширный и в большинстве случаев не известный американскому читателю фактический материал, характеризующий не только труды Белинского и его духовную эволюцию, но и историческую обстановку, литературную жизнь 30-х и 40-х годов XIX века, взаимоотношения великого критика с современниками и его взгляды на предшественников. В Белинском Баумэн видит наиболее полное воплощение «духа времени», когда небывало возросла историческая ответственность русской литературы: в тогдашних условиях великий русский критик не мог не стать социальным философом, внимательно и страстно исследующим природу и тенденции исторической реальности, настойчиво выдвигающим идею общественного служения литературы. Баумэн много пишет о силе и значении проповеднического начала в творчестве Белинского, о целеустремленности, страстности и энергии его критических выступлений, всегда движимых «лирическим воодушевлением», социальными интересами и страстями. Когда бы и какие бы, напоминает он, ни поднимались в России движения в защиту «независимости искусства», против его «гражданской эксплуатации» — будь то символизм или формализм, — они прежде всего проклинали Белинского. «Таким образом враги выражали свое к нему уважение».

Рассматривая духовное развитие Белинского, его увлечения Шеллингом, Фихте, Гегелем, его разрыв с гегельянством, Баумэн подробно рассказывает о философских кружках тех лет, о царившей в них атмосфере, о конкретно историческом содержании кипевших в них философских споров. Баумэн разбирает важнейшие литературно-критические статьи Белинского, связывая их появление и особенности с общей эволюцией философских, социальных и эстетических взглядов великого критика. В книге Баумэна подробно рассказывается об отношении Белинского к Надеждину, Станкевичу, Гоголю и другим современникам, причем каждый раз автор монографии стремится показать то новое, что вносил Белинский в сравнении с ними в духовную жизнь русского общества.

Собранные и изученные Баумэном факты, его наблюдения и исторические аналогии давали убедительный материал для очень важных выводов о силе метода и принципов литературной критики, разработанных и обоснованных Белинским, о плодотворном влиянии творчества Белинского на развитие литературы и эстетической мысли. Однако таких выводов в книге Баумэна нет. Более того, в оценке собранных им материалов американский исследователь то и дело покидает почву фактов ради предвзятой полемики с продолжателями традиций Белинского — советскими критиками. Свое решительное неприятие марксистской эстетики он зачастую переносит и на оценку Белинского, которого считает «ответственным» за основные принципы современной советской литературы и критики. «Виссарион Белинский (1811—1848), — говорится в напечатанной на суперобложке аннотации книги Баумэна, — которого иногда называют отцом русской интеллигенции, не только оказал влияние на последующую литературную критику в России, но и делит ответственность за создание философских основ русской революции 1917 года и советского режима». И дальше: «С советской точки зрения, литература должна служить социальным задачам. Эта современная традиция идет главным образом от Белинского».

Баумэн не отрицает, как это делают субъективисты крайнего толка, связей литературы и общества, но он различает литературу — «бессознательное выражение социальных институтов» и литературу, исходящую из убеждения, что «художник должен сознательно посвятить свое творчество разработке социальных тем». По его мнению, это исключающие друг друга позиции, хотя — исторически и психологически — первая дала жизнь второй: от идеи о том, что литература является выражением социальной жизни, теоретик идет к выводу, что лучшая литература — та, которая наиболее ясно и полно отражает социальные условия.

Предвзятость оценок и выводов, формулируемых Баумэном, особенно отчетлива во всем, что касается непосредственно марксистской литературной критики. В нападках на нее он пользуется самыми сомнительными аргументами, а в ряде случаев и прямыми измышлениями.

Последовательно утверждаемое нашей критикой служение литературы народу, его высоким коммунистическим идеалам Баумэн трактует как разрыв с традицией «защиты свободы» русской литературы. Марксистской критике, последовательно материалистически, научно объясняющей явления искусства, он приписывает склонность отметать все, что она не может истолковать в своих понятиях. Он пишет далее о внутренних «противоречиях» марксистской критики; утверждая, что искусство является воплощением психологии, определяемой воздействием социально-экономических отношений, нельзя, по мнению Баумэна, понять, как и почему искусство определенного времени и места сохраняет свое значение и для других эпох и народов. Известные высказывания Маркса о греческом искусстве, объясняющие непреходящее значение этого искусства и дающие ключ каждый раз к конкретно историческому пониманию рассматриваемого про-

тиворечия, Баумэн объясняет... теоретической непоследовательностью Маркса.

Связь искусства и общества Баумэн признает лишь в самой общей форме, только до тех пределов, когда эта связь сознается самим художником, когда понимание классовой природы искусства, его роли в обществе открывает художнику путь к свободному и сознательному служению средствами искусства передовым общественным силам, прогрессивным идеалам. Хотя Баумэн ни разу не называет принципа партийности литературы, по сути дела, именно против этого принципа и его исторических истоков ведет он борьбу, обращаясь к Белинскому и русской критике.

Баумэн особо подчеркивает, что русские демократы были самой жизнью поставлены в такие обстоятельства, что должны были заниматься не только «подрезанием мертвых листьев национальной культуры», но и внимательным исследованием корней, не просто специализироваться на отдельных патологических деталях общественной и культурной жизни, но и заняться изучением всего организма. Отсюда страстный интерес к глубинным проблемам социальной действительности, к определению роли литературы, ее исторической миссии. «Главные потоки в русской культурной жизни на протяжении девятнадцатого и двадцатого столетий последовательно направляли русскую критическую мысль по пути обостренного сознания социальной роли литературы».

В России, пишет Баумэн, традиционно соединяются социальный философ и литературный критик; это связано с той критической ролью по отношению к обществу, которую играла русская интеллигенция, с ее положением в обществе. Глупость самодержавного правительства, его жестокость в подавлении свободной мысли — все это неизбежно становилось предметом острой критики со стороны жертв гнета. Развитию радикализма русской интеллигенции, по мысли Баумэна, способствовало и то, что интеллигенция в современной Белинскому России оставалась маленькой группой в толпе инертной и враждебной массы — несколько ярких свечей в темной ночи народного невежества и безразличия. Всячески акцентируя все эти «специфически русские» особенности развития освободительной мысли, сгущая краски в изображении «социального одиночества» русской интеллигенции, Баумэн подводит читателя к мысли об исторической «уникальности» того движения, которое возглавил Белинский. Подтекст его концепции ясен: такой крайний радикализм, какой был характерен для Белинского и других его русских современников, не может возникнуть, когда правительство не так глупо и жестоко, а народ не так неграмотен и бескультурен, поэтому традиция Белинского — явление «чисто русское»; но эта традиция опасна не только в таких «чистых», как в России, проявлениях. Баумэн своей книгой открыто выступает против влияний Белинского и развивающей его идеи советской литературной критики.

С настойчивостью, не оставляющей сомнений в истинных тенденциях книги, Баумэн повторяет мысль о том, что подчинение критики социальным страстям таило в себе опасности для самой критики, наносило ей прямой ущерб. В своем отношении к Белинскому Баумэн не уподобляется тем русским либералам 50—60-х годов, которые хотели сделать Белинского «своим», вытравив идейную суть его критики и противопоставив его Чернышевскому и Добролюбову. Нет, «своим» Белинского он не считает. Отмечая действительно присущие Белинскому черты и особенности, связанные с общественной целеустремленностью его критики, Баумэн объявляет их вопреки опыту истории источником не силы, а слабости Белинского.

Мы знаем, что гражданская страстность поднимала Белинского; Баумэн полагает, что она вредила его критической деятельности. В этом все дело!

Указывая на противоречие между рационализмом социальных высказываний молодого Белинского и идеалистической отвлеченностью его философских воззрений, Баумэн ищет истоки этого противоречия лишь в обстоятельствах личной жизни Белинского. Остроту и страстность критического отношения молодого Белинского к тогдашней действительности он объясняет «биографической» близостью к «простой» жизни, горестями и страданиями, вызванными бедностью, семейными неурядицами; философский идеализм молодого Белинского Баумэн относит полностью за счет обращения к произведениям немецких философов.

Особое внимание и расположение Баумэна привлекает Белинский «гегельянского периода». Гегель, по концепции Баумэна, помог Белинскому как бы заново открыть реальность и освободиться от прекраснодушного идеализма юности, связанного с шеллингианскими и фихтеанскими увлечениями. Само по себе влияние Гегеля на Белинского Баумэн считает высокоплодотворным. Именно в пору своего гегельянства Белинский особенно полно и широко развивает идею независимости искусства; именно в те годы он создает такие образцы критики, как разбор «Ревизора» и «Горя от ума». Отказавшись от гегелевской концепции «разумной действительности», Белинский, в силу некоторых особенностей натуры, мог увидеть, пишет Баумэн, «только беспорядок вокруг него». Было бы лучше — такова логика Баумэна,— если бы Белинский сохранил «спокойствие», «умеренность» в преодолении крайностей гегельянства. А он повел себя с такой неумеренной радикальностью! В результате — одна крайность породила другую крайность...

Преодоление Белинским гегельянских увлечений было, как известно, огромным духовным завоеванием великого русского

мыслителя, победой всей русской философии и критики в развитии национальных традиций, в приближении к реальным потребностям общественной жизни, к народу. Для Баумэна — это не более как переход Белинского из одной философской школы в другую: «Отрицание и идеалистического ухода от реальности и философского ее оправдания несло с собой отрицание немецкой спекулятивной отвлеченности во имя французской socialité». И дальше: «Замена немецких образцов французскими, без сомнения, была более чем символическим актом в личной философской драме Белинского. Его обращение к французам совпало с самым началом 40-х годов, когда французская общественная мысль становилась господствующей модой в духовной жизни России».

Была ли эта перемена в действительности? Да, была. Из истории известно, что, например, в кружке Станкевича вначале преобладал интерес к немецкой философии, а в 40-е годы русские философы и критики все активнее обращаются к французской общественной мысли, в частности к трудам социалистов-утопистов. Но это была лишь одна струя движения русской общественной мысли, а Баумэн считает, что она составляла весь поток.

Передовые русские мыслители эпохи Белинского и сам Белинский не были людьми национально ограниченными. Они напористо и страстно изучали достижения западноевропейской общественной мысли, подхватывали каждое новое слово в поисках правильной революционной теории. Они использовали опыт других народов в развитии своей национальной культуры, как это делали и делают передовые, не зараженные национализмом деятели культуры других стран.

Последнему, наиболее зрелому в идейном развитии и литературной деятельности, периоду жизни Белинского Баумэн уделяет немногим более четверти своей монографии. Он очень бегло разбирает знаменитые ежегодные обзоры русской литературы, «Письмо Гоголю» и другие важнейшие статьи 1841—1848 годов. Фактов и цитат приведено и здесь немало, но сущность их либо ускользает от Баумэна, либо тенденциозно им извращается. Баумэн не понял, не мог понять всего значения таких выступлений великого революционного демократа, как его знаменитое «Письмо к Гоголю». Возникает ощущение, что сама торопливость Баумэна в анализе этих выступлений связана с его стремлением уйти от разговора по существу, подменив его внешне глубокомысленными, а по сути дела несостоятельными и поверхностными спекуляциями насчет «очищенного» гегельянства Белинского. Баумэн тщится доказать, что, переболев увлечениями молодости, Белинский стал теперь «настоящим гегельянцем». Защита индивида как единственно действенного носителя всеобщего в истории, создание динамической концепции конкретной индивидуальности, воплощающей всеобщее, — так трактует Баумэн философское существо поздних работ Белинского, утверждая, что эта «динамическая концепция» и является воплощением гегельянства, освобожденного от «крайностей».

Конечно, Белинский, даже после решительного осуждения своих гегельянских ошибок и увлечений, был далек от того, чтобы отбросить всего Гегеля. Замечательные достижения гегелевской диалектики использовались им в процессе выработки и развития диалектического метода мышления. Но это отнюдь не значит, что мысль Белинского сороковых годов можно, как это делает Баумэн, свести к «очищенному» от кривотолков гегельянству.

Баумэн не понял и не оценил вклада Белинского в развитие философского материализма и материалистической эстетики, в создание теории реализма, являющейся высшим достижением эстетики своего времени. За сходством отдельных философских формул и положений он не увидел коренных идейных различий между русским революционным демократом и немецким философом, который утверждал прусскую монархию и в самых «левых» своих суждениях не шел дальше умеренного либерализма.

Не принимая и не разделяя политических идей позднего Белинского, Баумэн не может их совсем обойти, он вынужден о них что-то сказать, хотя бы в силу принятого им стиля академической «объективности». Так в монографии Баумэна появляется миф о кричащей противоречивости поздних работ Белинского. Белинский настолько противоречив, утверждает Баумэн, что «последователи Белинского и позднейшие критики находили в нем почти все, что искали...»

В чем же заключаются противоречия Белинского, которые так расписывает Баумэн? А в том, оказывается, что Белинский, с одной стороны, требовал, чтобы писатель был «адвокатом» и «пропагандистом», а с другой — ставил вопрос об объективности художественного творчества, о том, что только при такой объективности писатель может выполнить свою общественную роль. Но ведь фактически тут нет никакого противоречия. Когда Белинский писал об объективности, он имел в виду правдивость художника, его независимость от идей и влияний, враждебных этой правдивости, о важнейших условиях социальной действительности художественного творчества.

В конце своей работы Баумэн снова возвращается к исходной ее мысли, ставшей лейтмотивом всей монографии: социальная тенденция вредит литературной критике; проповедью общественной тенденциозности Белинский лишал искусство его «независимости». Наиболее зрелые критические суждения позднего Белинского Баумэн объявляет — в духе своей концепции — менее ценными в эстетическом смысле, нежели критические выступления Белинского времен его идеалистических увлечений Так,

Баумэн заявляет, что моральные суждения о персонажах «Евгения Онегина» помешали Белинскому с достаточной полнотой показать художественную гармонию и цельность пушкинского романа в стихах; пристрастность Белинского в оценке Петра, по мнению Баумэна, толкает его на неверную трактовку «Медного всадника». Похвалив в первых главах монографии анализ юношеских рассказов и повестей Гоголя и «Ревизора», Баумэн далее заявляет, что поздние мысли Белинского о «натуральности» Гоголя представляют собой критическую несправедливость и внушают узкий взгляд на гоголевское видение мира...

В заключительных строках своей монографии Герберт Баумэн пишет: «Опасность заключалась в том, что Белинский становился слишком требовательным, слишком серьезным, строгим и определенным в своих требованиях, которые он предъявлял художнику. Самой важностью задач, которые он возлагал на искусство, он отрезвлял, лишал легкости свободную, ликующую радость творческой страсти». Вот к каким «выводам» в стиле проповедников эстетства и субъективизма приходит Герберт Баумэн в своей полемике против гражданских традиций критики Белинского!

Тенденциозность в полемике против лучших традиций литературы, связанных с ее общественной ролью и близостью к народу — а именно такова тенденциозность Герберта Баумэна подрывает силу аргументации, заставляет прибегать к софизмам, омертвляет живую критическую мысль. В результате — книга Баумэна, содержащая обширный фактический материал, оказалась несостоятельной и ложной в своих выводах и обобщениях.

У Ну

Слово о современной литературе Бирмы

В 1955 году исполнилось восемь лет существования Бирманского Общества переводов, и сегодня мы в шестой раз присуждаем ежегодные премии сапэй-бейкман.

Общество переводов в свое время опубликовало список романов и переводных книг, выдвигаемых на литературные премии за 1954 год. Рассмотрев сорок два оригинальных произведения, Комитет по присуждению премий остановил свой выбор на романе Сагаинга У По Тина «Нга Ме Чжун», сочтя его лучшей работой 1954 года. Комитет отметил, что удостоенный премии роман «Нга Ме Чжун» написан в стиле далекой исторической эпохи, о которой в нем повествуется, верно воспроизводит ее атмосферу и обладает большой познавательной ценностью. Язык его полон силы и выразительности, а сюжет разработан так, что не оставляет оборванных концов. Из двадцати названий переводных книг, представленных на рассмотрение Комитета, премии удостоен перевод басен Эзопа (переводчики Мин Ю Вей и Нвей Та И), главным образом за его хороший язык и близость к подлиннику.

Мне хотелось бы напомнить вам слова, сказанные мною на церемонии вручения премий сапэй-бейкман в прошлом году. Я выразил тогда надежду, что, следуя примеру Бирманского Общества переводов, содействующего созданию новой и лучшей жизни в Бирманском Союзе, наши творческие работники также приложат все свои силы, чтобы внести вклад в наше общее дело.

Речь Президента Бирманского Общества переводов Премьер-Министра г-на У Ну на шестом ежегодном собрании, посвященном присуждению литературных премий сапэй-бейкман 12 декабря 1955 года.

Я не могу сказать, что в истекшем году мы дождались полного осуществления выраженных мною надежд и упований. Об этом приходится говорить, ибо из четырех ежегодных литературных премий, учрежденных Обществом переводов, а именно, премии за лучший роман, за лучший перевод, за лучшую работу в области критики, за лучшую документальную книгу, мы сочли возможным присудить только первую и вторую премии. Правда, мне могут возразить, что все же положение за последний год несколько улучшилось, ибо в этом году мы присудили две премии, тогда как за 1953 год удостоилось награды только одно произведение документального жанра.

Однако я хочу, чтобы премии выдавались по всем четырем установленным категориям. Это можно было бы только приветствовать. И я твердо надеюсь, что через год у нас будут лауреаты всех четырех премий.

Другими словами, я, как и в прошлом году, уповаю на то, что наши писатели будут работать с удвоенной энергией, так, чтобы их влияние и их труд стали действенным, животворным вкладом в создание высокой, полноценной культуры в нашей стране. И я снова пользуюсь случаем обратиться к писателям с настоятельной просьбой вложить в это дело все свои силы.

Теперешнее состояние нашей литературы не может удовлетворить нас, и особенно плохо обстоят дела в повествовательном жанре. Так же как и те писатели, произведения которых мы обсуждали год назад, авторы романов, опубликованных в 1954 году, попрежнему пишут только о любви и о любовных перипетиях. Большинство беллетристических произведений 1954 года посвящено любви со всеми ее

превратностями — разлуками, изменами, счастьем, горем. Из таких мелких тем и ситуаций не может родиться большое искусство. До тех пор пока наши писатели не пойдут дальше подобных тем и ситуаций, литература в нашей стране будет прозябать и явления нашей культуры не обретут благородства и достоинства. Поскольку в нашей литературе отсутствует серьезность цели и созидательный порыв, мы вправе бросить нашим писателям обвинение в том, что они променяли свое первородное право истинного творчества на чечевичную похлебку мимолетного, скоропреходящего успеха их книг, который не принесет им ни длительной, подлинной славы, ни чувства внутреннего удовлетворения. Ведя бесцельную, легкую жизнь, не озаренную ни глубиной мысли, ни серьезностью интересов, писатель предает свое призвание и свои творческие силы.

В эту знаменательную эру, наступившую для нас вместе с созданием независимого Бирманского Союза, перед всеми нами открываются бескрайние возможности стать творцами истории, стать частью самой истории. Такие возможности существуют в любой области нашей жизни. Политические деятели, служащие учреждений, военные, рабочие, земледельцы, торговцы, техники, ремесленники, учителя и представители других профессий — все они своей честной, беззаветной работой могут сделать ценный вклад в наше национальное строительство. Такой же вклад могут сделать писатели и другие творческие работники, и, сделав его, они станут неотъемлемой частью теперешней исторической эпохи в жизни нашей страны.

Мы должны отдать себе ясный отчет в том, что эпоха, переживаемая сейчас нашей нацией, является исторической в полном смысле этого слова и что возможности, которые она открывает перед каждым бирманцем, недостижимы для многих, пусть даже высоко одаренных граждан некоторых других государств, бо́льших, чем Бирманский Союз, и обладающих установившимися традициями в области культуры. Каждый из нас может сделать для своего народа что-нибудь хорошее, что-нибудь такое, что будет иметь цену и оставит свой след в общем ходе национального развития. А сделать нам надо так много! В любой области нашей жизни есть немало задач прямо-таки взывающих к людям, чтобы они взялись за их разрешение. Мы живем в историческую эпоху, мы живем в такое время, которое дает пищу для деятельных умов. Что может быть увлекательнее, величественнее, благороднее, чем сплочение целой нации и устройство новой, лучшей жизни для целого народа? Эта цель достойна людей, сознающих свою высокую миссию в мире. И каждый, кому присущи сознание долга и целеустремленность, может принять участие в этом благородном начинании. Он не ограничивается узким кругом избранных. Перед писателями, и в первую очередь перед писателями, стоит эта благородная задача; пусть оглянутся вокруг — какие великолепные темы, какие захватывающие сюжеты, какой эпически огромный материал ждет воплощения на страницах их книг! Чего стоит одна лишь история возникновения Бирманского Союза! Сколько она может дать тем! Героизм, радость, энтузиазм, вера, ликование, скорбь — весь диапазон человеческого опыта и человеческих чувств укладывается в историю рождения Бирманского Союза, в историю наших дней, в историю Бирмы за последние 30—35 лет. Неужели же наши писатели не видят величия, грандиозности этих тем, неужели все это не увлекает их? Неужели они не видят захватывающего зрелища, которое разворачивается перед их глазами, не слышат громовых раскатов нашего века, мучительных стонов, радостных торжествующих возгласов? Неужели они не способны дышать живительным воздухом нашей эпохи, не могут задуматься над смыслом наших дерзновенных начинаний? Если б наши писатели приглядели́сь к жизни, услышали бы ее многозвучный голос, набрали бы полную грудь ее чистого воздуха и задумались над значением происходящего, они, безусловно, дали бы нам такую литературу, которая была бы достойна независимо́го Бирманского Союза и, верно отражая наш век, засверкала бы, как бриллиант.

Знаменательным периодам в истории нашего народа всегда сопутствовало появление выдающихся литературных памятников. Многие письмена, начертанные на камнях еще в языческую эпоху, во времена владычества Анората и Чжанситта, свидетельствуют о величии тех дней. В области науки труд на языке пали, именующийся «Садда-Нити», заслужил всемирное признание.

В эпоху Ава и Тоунгу, когда Бирмой правили Табиншве-Хти и Баиннаунг, группа поэтов и прозаиков, таких, как Шин Маха-Тила-Вунта, Шин Маха-Рата-Тара, Шин Оттамачжо, Навадей и Натшиннаунг, дала Бирме великую литературу. В последний добританский период, в годы царствования Алаунг Пра, в стране началось блистательное возрождение во всех жанрах художественной литературы.

Сейчас наступило время, когда независимый Бирманский Союз должен получить достойную его литературу, которая стала бы нашим верным летописцем и спутником нашей жизни. И поэтому я обращаюсь к нашим писателям и всем другим творческим работникам: не пренебрегайте благородным наследием и высокой миссией, выпавшей на вашу долю, не растрачивайте своих драгоценных талантов на пустяки, откажитесь от бездумной, легкой, бесцельной жизни! Мы хотим, чтобы вы были провозвестниками нашего века и не бесчестили своих дарований!

Все мы знаем, что одних призывов к писателям и творческим умам недоста-

точно. Все мы знаем, как много еще нам надо сделать, чтобы у нас появились читатели, способные воспринимать художественную литературу. Правительство уделяло и уделяет много внимания вопросам учебы в нашей стране, и мы добьемся расширения читательских кругов. Но, имея в виду массового читателя, наши издатели должны будут отказаться от чисто коммерческого подхода к делу. Им предстоит работать на благо народа и поднять его интеллектуальный и культурный уровень.

Бирманское Общество переводов ставит перед собой именно эту цель: повышение интеллектуального и культурного уровня народа. За последние восемь лет наше общество опубликовало, в расчете на самые различные читательские круги, двести тридцать названий книг, общим тиражом в семь миллионов экземпляров. Оно продолжает работу над четырнадцатитомной «Бирманской энциклопедией». Первые тома других серийных выпусков, таких, как «Историческая летопись за полвека» и «Общедоступная научная энциклопедия», уже сданы в печать. Мы надеемся, что эти издания будут способствовать расширению общего кругозора граждан Бирманского Союза. Люди, прочитавшие и усвоившие эти книги, смогут приобщиться к современной науке даже без знания иностранных языков.

В заключение разрешите мне обратиться с призывом ко всем нашим творческим работникам: найдите наилучшее применение своим талантам! Ко всем нашим издателям: руководствуясь высокой целью, выпускайте как можно больше книг! Если это будет сделано, наша современная литература станет достойной продолжательницей замечательного искусства прошлых веков и неотъемлемой частью нашего благородного культурного наследия.

Б. Полевой

Поездка к Лиону Фейхтвангеру

(Из американского дневника)

Едва мы, члены советской журналистской делегации, внесли чемоданы в отведенные нам номера самой фешенебельной гостиницы Лос-Анжелоса, как на пороге появился мальчуган в красной форменной одежде, усыпанной блестящими пуговицами. Он протянул телеграмму.

— Это от Лиона Фейхтвангера! — воскликнул самый спокойный и самый уравновешенный член нашей делегации.

Новость и в самом деле была выдающейся. Лион Фейхтвангер здесь! Он живет в пятидесяти милях от города! Он приглашает нас к себе!

Мы мысленно прокричали «ура», и я тотчас же отправился к нашим американским спутникам с просьбой включить визит к Фейхтвангеру в весьма перегруженную программу наших посещений. Но тут мы вдруг встретили неожиданное сопротивление. Оказывается, к Фейхтвангеру нам ехать нельзя, ибо он «красный», и даже «настолько красный», что визит к нему «может нас скомпрометировать» в глазах американской прессы, испортив наши отношения с ней на все время нашей поездки!

Я уверен, что мы были самой покладистой журналистской группой из всех, какие когда-либо путешествовали по Соединенным Штатам. Еще на пороге Америки мы заявили, что хотим видеть в этой стране все самое лучшее, и просили наших спутников, исходя из этого именно намерения, составить наш маршрут. Мы ни разу не выражали даже обиды на то, что нас не пускали в города и целые районы страны, куда въезд советским гражданам вообще запрещен.

Но не пускать нас к Фейхтвангеру — это уже слишком! Лион Фейхтвангер — «красный»! Можно ли сказать бо́льшую чепуху?!

Мы настоятельно посоветовали нашим спутникам раскрыть Британскую энциклопедию и прочитать в ней статью о Фейхтвангере. Когда же и это не подействовало, мы подняли бунт и заявили, что больше такой опеки терпеть не станем. Если нам не дадут возможность увидеться с Фейхтвангером, мы немедленно собираем чемоданы и утром вылетаем в Вашингтон.

— ...А в Вашингтоне, в Париже, в Праге и в Москве мы устроим такие пресс-конференции, что над вами будет хохотать весь мир, — пригрозил я нашим американским спутникам, срываясь с дипломатического тона.

На утро они пришли к нам заспанные, мрачные, небритые.

— Ладно, поезжайте к этому вашему парню,— пророкотал один из них, в общем-то симпатичный американец, правда, как явствует из этого инцидента, не очень, мягко выражаясь, информированный в вопросах культуры.

И добавил: — Но как после этого пресса будет относиться к вам — не знаю. Пеняйте на себя.

Это было уже настолько внутренне американским делом, что мы спорить не стали. Главное достигнуто. Мы едем в гости к Фейхтвангеру.

...И вот автомашины несут нас по гористой дороге, причудливо извивающейся над океаном. Медленно отодвигается назад Лос-Анжелос, странный город с бирюзовым небом, с зеленым по южному океаном, с огромными пальмами вдоль улиц, город, в котором тем не менее... нечем дышать! Вот уже второй десяток лет над Лос-Анжелосом прозрачной пеленой висит «смог». Само слово это новое. Вы не найдете его в словаре. Оно произведено американцами из двух слов: «смок» — дым и «фог» — туман. Таким образом, вновь образованное слово «смог» обозначает прозрачный туман; он образуется из отработанных газов сотен тысяч автомобильных моторов на ходу и ввиду особых природных условий Лос-Анжелоса не рассеивается, а стоит над

городом. Смог почти невидим, но настолько концентрирован, что от него с непривычки начинает першить в горле и слезы все время текут из глаз.

Так вот, дорога все дальше и дальше уводила нас от Лос-Анжелоса. Домики то терялись в зелени, то снова появлялись у самого асфальта рядами и врассыпную. Трудно было понять, что перед нами — все еще Лос-Анжелос, его предместья или начало какого-то нового города. Мы осторожно опустили стекла машины. Запахло иодистой влагой океана, хмельным ароматом осенней листвы, разогретой землей.

Город и смог остались позади.

...Вилла Фейхтвангера расположена в полутора часах езды от центра Лос-Анжелоса. Это скромный домик, отгородившийся от дороги густой зеленью кустарника. Он лепится к склону горы, и для того, чтобы к нему подобраться, пришлось спуститься с дороги вниз и пройти во дворик, почти совершенно закрытый шапкой молодых эвкалиптов. Все это вместе взятое напоминало уголок Испании, воспроизведенный на маленькой тесной сцене, уставленной написанными со вкусом декорациями.

У входа нас встретила жена писателя, высокая, в прошлом, видимо, красивая женщина, сохранившая от дней юности статную фигуру и легкую походку. Пожав нам руки, она повела нас в гостиную, и уже на ходу мы заметили одну характерную особенность этого жилища.

Стен не было. Вернее, они, конечно, были, но увидеть их почти невозможно, — снизу доверху, от пола до потолка, стены заставлены книгами. И в прихожей, и в узком коридоре, и в комнатах — всюду сплошь книжные полки. Впрочем, это отнюдь не сообщало жилищу унылой чопорности библиотечного хранилища. Обилие книг придавало комнатам какой-то своеобразный, особый колорит. Окна гостиной выходили на балкон, но и они, казалось, были как бы прорублены в штабелях книг, а за окнами сквозь кущи красивой, по-осеннему желтой листвы был виден беспокойный океан.

Хозяин дома вошел неслышной, какой то особенно мягкой походкой. Это был невысокий, худощавый человек в мешковатом коричневом пиджаке, серых свободных брюках и туфлях на такой толстой каучуковой подошве, что двигался он совершенно бесшумно. Загорелое, морщинистое, как у крестьянина, лицо вытянуто к подбородку. Тяжелая, слегка отвисшая нижняя губа придает ему насмешливо-скептическое выражение. Близорукие глаза смотрят из-за очков внимательно, словно изучающе. Он почти сед, но не производит впечатления старика. Несмотря на мягкую медлительность движений, это очень живой человек.

Нам всем хотелось на память сфотографироваться с обитателями виллы. Большое, по-вечернему багровое солнце уже спустилось к самой кромке океана, как бы раздумывая, стоит ли ему погружаться дальше в холодную воду, а вечерние сумерки наступали из глубины сада; мы попросили поэтому нашего хозяина выйти с нами на балкон. Тут, на каменной скамье, куда молодые платаны набросали узорчатые листья, а эвкалипты — осенние завитки сухой коры, началась беседа. Всю группу по очереди увековечили для потомства лучшие фотографы нашей маленькой делегации. Так как они на протяжении всей поездки не желали, да и до сих пор не хотят уступать друг другу первенства в этом искусстве, я оглашу фамилии их по алфавиту: Аджубей, Бережков, Грибачев, Софронов.

Лион Фейхтвангер! Кто из читавших его своеобразные романы не раздумывал над столь же своеобразной судьбой этого писателя.

Еще в юности мы прочитали и «Безобразную герцогиню» и «Еврея Зюсса». Но по-настоящему мы его узнали уже как автора страстных антифашистских романов «Успех» и «Семья Оппенгейм», потрясших правдивым рассказом о мерзостях гитлеризма. Эти книги свежи, сильны, действенны до сих пор, как это всегда бывает с произведениями, в которых писатель говорит о чем-то пережитом.

Потом Фейхтвангер уводил нас вглубь веков, но и там, среди развалин разграбленной, сожженной Иудеи и мраморных дворцов древнего Рима, у него звучали сегодняшние мысли, сегодняшнее волнение, сегодняшняя боль.

Затем «Москва, 1937» — попытка умного западноевропейского интеллигента понять нашу жизнь, великие наши дела. Я жил тогда в Калинине и помню, как мы, «периферийные» газетчики, читали эту тоненькую книгу и, конечно, много говорили и о ней и об авторе, которого тогда так тепло принимали руководители партии и правительства.

А потом роман «Симона» — этот страстный крик боли, как бы донесшийся из оккупированной фашистами Франции, яркая боевая книга, написанная с затаенной грустью, с иронической улыбкой и вместе с тем полная веры в победу антифашистских сил.

Да и в жизни у Лиона Фейхтвангера оказался тот же грустный, иронический взгляд и та же энергичная вера в победу дела мира, дела взаимопонимания народов, вера в возможность мирного сосуществования различных социальных систем на земном шаре, вера в Человека с большой буквы.

И вот он стоит среди нас, улыбается перед фотообъективом. Вот он ведет нас в маленькую, интимную гостиную. Снова книги по стенам. Камин. Смешная деревянная тележка на колесах, на которой стоят бутылки с напитками. Сами составляем себе «сода-виски», сами, по американскому обычаю, бросаем туда кусочки льда. Закусываем какими-то тоненькими сосисками, похожими на красные карандаши. Густо намазываем на хлеб паштет,

собственноручно изготовленный фрау Фейхтвангер согласно своему рецепту, чем она, по ее словам, очень гордится.

Смех, шутки, шумный и довольно-таки бестолковый разговор, какой всегда возникает в дружеской компании. Алексей Аджубей и Анатолий Софронов, наши присяжные вокалисты, поют шутливые и озорные песенки, сочиненные ими уже в поездке. Все себя чувствуют как-то особенно легко и хорошо. Ничто не стесняет. А хозяин дома стоит в стороне и, глядя на нас, улыбается очень тепло, очень приветливо и чуть-чуть насмешливо...

— Я пишу сейчас новый роман. Его герои — библейские персонажи. Действие происходит на 1400 лет раньше, чем в других моих исторических романах, во времена первого завоевания Иудеи. Я так и назову его — «Иафет и его дочь». Но это книга о войне и мире. В ней будет показано, как варвар-завоеватель превращается в мыслящее существо. Я хочу показать, как труден этот процесс, как нелегко добиться мира на земле и в то же время сколь нужно и важно этого добиться.

Последние слова писатель словно подчеркивает.

— Есть ли у вас новые вещи, которые нам еще не известны?

— Вероятно, две мои последние пьесы,— отвечает Фейхтвангер. — Одна называется «Охота на ведьм» в Бостоне», в другой рассказывается о суде над Марией-Антуанеттой. Я дам их вам с собой. Я очень уважаю советский народ и люблю вашу страну. Мне здесь всегда радостно узнавать о том, что какое-нибудь из моих произведений издано или поставлено в Советском Союзе. В таких случаях я будто говорю с вами, с вашими совершенно особенными читателями, умеющими относиться к книге, как никто другой в мире... Ну, как вам путешествуется, что вам понравилось в Америке?

— Сами американцы, — хором отвечаем мы, ибо на этот вопрос отвечали уже не в первый раз и по данному поводу в нашей делегации было достигнуто наиболее полное единодушие.

— Да, американцы — хороший народ, но вот хороших читателей среди них мало, а хороших зрителей и того меньше... Мне бы очень хотелось, чтобы у вас поставили одну из моих новых пьес.

Разговор как-то сам собой переходит на книги, окружающие нас. Тут писатель еще более оживляется. Ироническая улыбка как-то сама собой исчезает с его полных и таких характерных губ. За толстыми стеклами очков вспыхивает прямо-таки нежность.

— Очень, очень люблю книги... У меня ведь здесь много по-настоящему редких книг. Видите, это одно из ранних изданий Софокла на греческом языке. Оно было собственностью близкого родственника Микельанджело. Вот тут его собственноручная надпись.

Он передает нам книгу с такой бережностью, словно она может рассыпаться от одного лишь неосторожного прикосновения. И действительно, печать веков как бы лежит на ее кожаном переплете. Это покоряет даже нашу шумную компанию, которую, казалось бы, вообще мало чем можно удивить, а тем более поразить. С той же бережностью мы передаем книгу из рук в руки.

— А вот четвертое по счету издание Шекспира, послужившее образцом для всех дальнейших изданий. Вот первое издание Золя, здесь его автограф, взгляните... Очень, очень люблю хорошие книги. Это моя слабость, моя страсть... Или вот посмотрите — это первое английское издание Плутарха. Человек, у которого я его купил, уверял, что им пользовался Вильям Шекспир... В книгах запечатлена мудрость веков, все, чем гордится человек.

Наш хозяин в своем длинном пиджаке напоминает какую-то мудрую птицу. Он очень хорош в этой своей любви к книгам, в этом немножко чудаковатом своем одиночестве...

— Моя первая библиотека погибла в Германии. Ее сожгли гитлеровцы. Вторую мне удалось собрать в Париже. Я целыми днями рыскал по букинистам. Но и она погибла во Франции, когда я подвергся аресту и вторично бежал от нацистов. Эта библиотека третья по счету и, вероятно, последняя в моей жизни... А как живет Советский Союз? Вот уж, наверное, изменилась Москва? Рассказывайте.

Мы наливаем себе еще по стакану «содависки». Напиток этот слегка попахивает украинским самогоном и, может быть, поэтому нравится нам больше всех других в стране самых затейливых коктейлей.

— Да, книги, книги... Когда у меня что-нибудь остается от гонорара, я покупаю книги, а жена — деревья для нашего садика... Вы знаете, и то и другое здесь стоит довольно дорого.

Поднимаемся наверх, в кабинет. Те же книги вдоль стен. Огромный стол. В просторное окно виден сад, где меж деревьев на небосклоне торчит луна, уже проложившая дорожку вдоль потемневшего, весело и как-то совсем по-черноморски засеребрившегося океана.

— Здесь у меня бывал Томас Манн. Он всегда садился вон в то кресло.— Хозяин показывает рукой в сторону старого и какого-то очень не американского, обитого кожей кресла. — Сидя в этом кресле, он не раз читал свои новые вещи.

У нас нет осветительной аппаратуры. Однако мы набираемся смелости и снова пытаемся фотографировать писателя уже за его рабочим столом.

— Уанс мор! Еще раз! — говорит Софронов, употребляя классическую фразу американских фотографов, столь часто слышанную нами.

Лион Фейхтвангер сидит за столом, терпеливо пережидая совершенно варварскую паузу. Он тоже привык к этой довольно утомительной процедуре, хотя американ

ская пресса явно не балует его. Впрочем, сам писатель отвечает ей тем же. Несколько наших коллег, американских репортеров, выследили-таки нас и примчались по нашим следам на виллу. Но жена Фейхтвангера перехватила их внизу и не пустила в кабинет, где шла беседа.

Интересуемся, как и когда он работает.

— Когда? Всегда. Я ведь одержимый, могу работать день и ночь.

— Он даже в постели работает, — жалуется жена.— Просыпается среди ночи, зажигает свет и начинает писать. Напишет несколько фраз и заснет. И чаще всего забывает погасить свет, так что делать это приходится уже мне...

Выходим на балкон. Ночь сгустилась. Сейчас, когда различимы только контуры деревьев, вид, открывающийся с балкона, особенно привлекателен. Сквозь листья дробно сверкает при свете луны серебристая волна, и, если прислушаться, можно уловить рокот прибоя.

— Томас Манн очень любил здесь сидеть, — говорит хозяин. — Да, он уже не придет сюда... Многих, многих не стало.

Хозяин вздыхает и, точно переборов себя, продолжает говорить бодрым голосом:

— Что нового у вас в литературе? Я ведь живу на крохотном острове. Остров — вот этот садик...

Мы очень тепло прощаемся. На минуту он задерживает руку в своей маленькой, холодной руке.

— Пришлите, обязательно пришлите книги, — произносит он по-немецки.

По дороге мы только и говорим об этом удивительном человеке, столь любящем и умеющем ценить блага мирного творческого труда, человеке, превращенном судьбой в вечного скитальца.

У входа в наш роскошный отель, крыша которого серебрится среди гигантских пальм, покупаем газеты, помеченные завтрашним числом. Да, это не описка: утренние газеты здесь продаются накануне вечером. Развертываем. Вот она, заметка о нас! И сообщается в ней о том, что вчера группа советских журналистов посетила писателя Лиона Фейхтвангера (слово «красный» на сей раз уже не упоминалось). Фейхтвангер, как сообщалось в этой заметке, не желал этого визита и даже отказался фотографироваться с советскими парнями, все-таки прорвавшимися к нему.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Это звучит особенно пикантно, если учесть, что кассеты наших фотоаппаратов полны снимков Фейхтвангера, которыми мы гордимся! Впрочем, за эти недели мы уже привыкли к некоторому, мягко выражаясь, своеобразию американской информации; оставалось констатировать, что наши коллеги-газетчики все-таки, должно быть, успели заглянуть в Британскую энциклопедию и наш визит к «ужасному красному писателю» не слишком скомпрометировал нас в их глазах.

Лос-Анжелос, США.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Редакция нашего журнала обратилась к деятелям кино и кинокритикам стран народной демократии с просьбой рассказать о фильмах, выпущенных на экраны в 1955 году.

Публикуемые нами ответы, посвященные отдельным картинам (в том числе и знакомым советскому зрителю), дают, тем не менее, общее представление как о достижениях киноискусства в этих странах, так и о стоящих перед ним задачах в области повышения идейного и художественного уровня фильмов.

Пауль Тире

„ЭРНСТ ТЕЛЬМАН — ВОЖДЬ СВОЕГО КЛАССА“ *

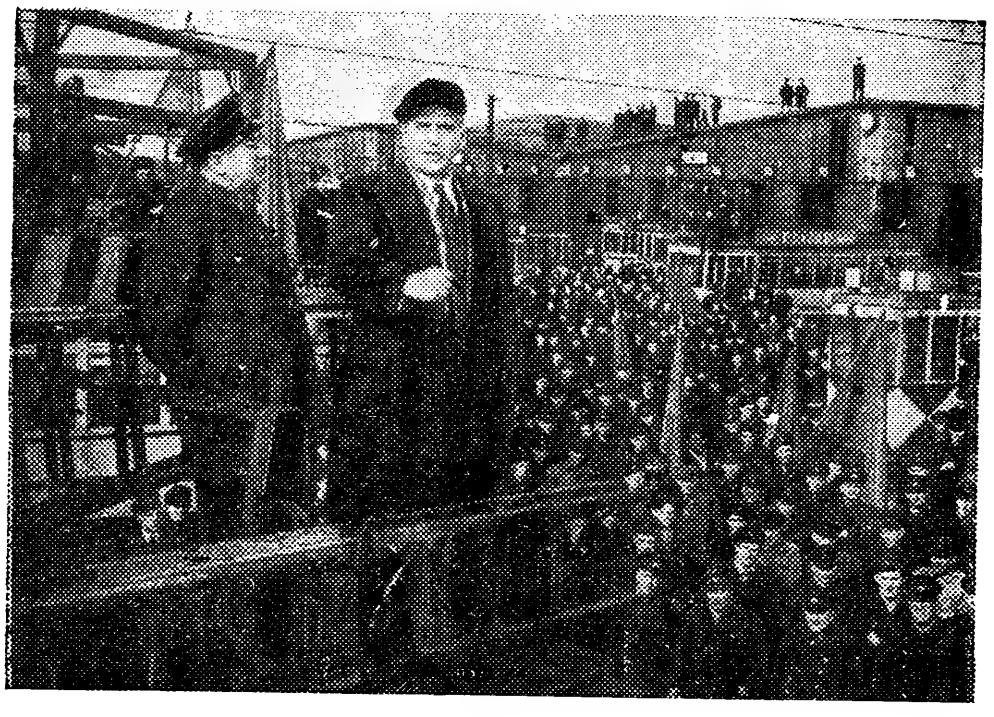
Каждый раз, подводя итоги прошедшего года, мы задаем себе вопрос: какой фильм в этом году был лучшим? И с каждым годом все труднее и труднее найти ответ. Из года в год все разнообразнее и богаче становится репертуар наших кинотеатров, все больше и больше на экранах Германской Демократической Республики появлялось как наших собственных фильмов, так и картин других стран лагеря мира и демократии.

Что касается фильмов 1955 года, то нам не приходится много раздумывать. Без сомнения, на первом месте стоит «Эрнст Тельман — вождь своего класса», фильм, выпущенный студией ДЕФА, в котором показывается героическая борьба немецкого рабочего класса под руководством Коммунистической партии Германии против фашизма и войны.

Содержание этого фильма как нельзя лучше может быть выражено словами Николая Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

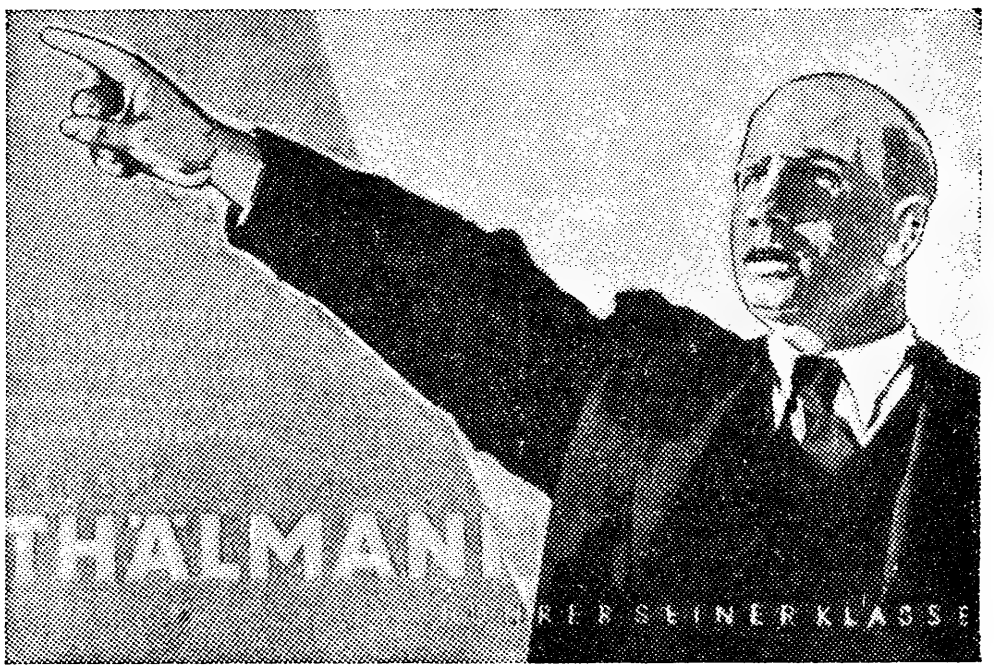
Но не только воплощение этой темы, этой великой идеи принесло успех фильму. Прекрасная постановка и высокое мастерство исполнителей сделали это произведение не только лучшим фильмом года, но и вообще межевым камнем в истории немецкого киноискусства.

Мы узнали об этом фильме задолго до его вы-



Кадр из фильма «Эрнст Тельман — вождь своего класса».

* «Эрнст Тельман — вождь своего класса» — вторая серия фильма; первая серия — «Эрнст Тельман — сын своего класса» — уже известна советскому зрителю.



Плакат, выпущенный в ГДР к выходу на экраны фильма «Эрнст Тельман — вождь своего класса».

хода на экраны. Было опубликовано много статей, рассказов, интервью и фотографий, посвященных фильму, были напечатаны отрывки из сценария.

И вот после премьеры, состоявшейся 7 октября, в годовщину образования Германской Демократической Республики, началось триумфальное шествие фильма по стране.

Роза Тельман, жена великого вождя немецкого рабочего класса, участвовавшая вместе с создателями фильма в поездке по стране, рассказала в печати о прекрасных доказательствах любви и уважения, с которыми их всюду встречали. Представители различных предприятий, школ, партий и массовых организаций после просмотра фильма давали клятву бороться, как боролся Эрнст Тельман, и сделать все возможное для того, чтобы над Германией не нависла снова ночь фашизма.

Трудящиеся города и деревни с большим удовлетворением встретили появление фильма на экранах; после просмотра картины они организовывали демонстрации и митинги. Это свидетельствует о том, что лучшие идеалы и традиции немецкого рабочего класса бессмертны.

О большом успехе фильма говорят хотя бы некоторые цифры. В столице Германии, в Берлине, уже в первую неделю демонстрации его просмотрели 210 000 человек; в Дрездене на сорока сеансах побывало около 41 000 зрителей. В целом в течение первых трех недель демонстрации фильм «Эрнст Тельман — вождь своего класса» посмотрели 3 460 000 человек.

Фильм известен также и за пределами Германской Демократической Республики. Правда, в Западной Германии его демонстрация была запрещена. Но тогда три тысячи жителей Гамбурга, города, в котором вырос Эрнст Тельман,— рабочие верфи и порта, молодежь и домашние хозяйки — пересекли демаркационную линию Германской Демократической Республики, чтобы посмотреть фильм в небольшом индустриальном городе Бойценбурге. После демонстрации фильма они вместе с жителями города устроили митинг.

Теперь уже совершенно очевидно, что фильм о вожде немецкого рабочего класса Эрнсте Тельмане — не только лучший фильм года, но и одна из лучших немецких кинокартин. Прием, оказанный фильму, и отклики, вызванные им среди населения, показывают, как правильно сказал Вилли Бредель, что «немецкий народ извлекает уроки из трагических ошибок прошлого и мужественно, по примеру великого патриота и революционера Эрнста Тельмана и его товарищей, ведет борьбу против возрождения немецкого милитаризма и фашизма, за национальное единство и подлинно народную демократию, чтобы, наконец, вступить на путь, ведущий в прочное и счастливое будущее...»

Берлин

Кадр из фильма «Эрнст Тельман — вождь своего класса».

Иржи Марек

ДВА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ФИЛЬМА

Чехословацкие фильмы пользуются во всем мире несомненным успехом. Если при буржуазной республике мировую известность завоевывали лишь отдельные фильмы, сегодня только немногие из наших фильмов остаются не известными в других странах. Наиболее ценным для нас является, конечно, успех наших кинокартин в Советском Союзе. Мы знаем, как велико искусство советского кино, и с большим уважением относимся к отзывам рядового советского зрителя. Многие из наших мастеров кино, режиссеры и артисты, получают немало писем из Советского Союза, в которых зрители выражают свое восхищение просмотренными ими чехословацкими фильмами.

Нужно также отметить, что в последнее время наши фильмы завоевывают успех и на Западе, в том числе в тех странах, которые не могут похвастаться своим дружеским к нам отношением.

Сейчас мне хочется рассказать о двух наших фильмах, получивших широкое признание не только в Чехословакии, но и за границей.

Чешский мультипликационный фильм имеет добрые традиции. Фильмы Иржи Трнки представляют собой совершенно новый способ использования в кино кукол и свидетельствуют о его большом мастерстве как художника и режиссера. Но Иржи Трнка не одинок в своей работе. Этому виду киноискусства отдает много сил и Карел Земан, живущий в Готвальдове. Он принадлежит к числу тех, кто беспрерывно ищет новые пути, в ком чутье художника соединяется с постоянной жаждой эксперимента. Подтверждением этому служит и его последняя картина «Необыкновенное путешествие», в которой рассказывается о путешествии четырех мальчиков, увлеченных изучением природы, в те далекие эпохи, через которые прошла в своем развитии наша планета.

При постановке фильма «Необыкновенное путешествие» Земан объединил элементы, характерные как для художественного, так и для рисованного и кукольного фильмов. Если актерами в фильме выступали дети — нужно сказать, что они прекрасно выдержали экзамен,— то в роли животных выступали куклы, а пейзажи доисторических времен были созданы посредством различных кинематографических трюков. Благодаря удачной комбинации этих трех приемов и возникло произведение, изумившее даже специалистов и восторженно встреченное рядовыми зрителями.

«Необыкновенное путешествие», разумеется, не первая попытка соединить на экране игру человека с игрой куклы, но в фильме Земана такая связь приобрела новый смысл благодаря высокому воспитательному значению картины. Ребята путешествуют в далекое прошлое Земли, стремясь побольше узнать нового, ведут наблюдения за животными, изображения и остатки которых они видели до сих пор только в научных книгах и в музеях, делают о них записи в дневнике, но никогда не пытаются их убить. Все это очень характерно для нашей молодежи и имеет огромное воспитательное значение. Как известно, фильмы, в которых при помощи кинотрюков изображались всевозможные чудовища, уже не раз выпускались на экраны и раньше. Но кинотрюки в этих фильмах использовались в основном с целью создания пустой занимательности. Земан и в использовании трюков пошел новым путем. Так возник этот фильм, необычный как с технической стороны, так и по своему воспитательному значению. Молодежи показана не внешняя сторона приключений — фильм воспитывает в зрителе любовь к науке. Этическая сторона фильма, его бесспорное воспитательное значение были оценены на Западе, где остро ощущается нехватка хороших фильмов для молодежи, где молодежь смотрит фильмы, вредные по своему истолкованию тех или иных фактов, фильмы, в которых открыто восхваляется убийство, а за достоинство мужчины выдается то, насколько быстро он сумеет вытащить револьвер и выстрелить. Эти фильмы, выпускаемые целыми сериями, наводняют на Западе киноэкраны, представляя большую опасность и доставляя серьезную заботу педагогам и всем честным людям. Именно поэтому фильм Земана был принят в западных странах с признательностью, и не только как технически совершенный, но прежде всего как ценный в воспитательном отношении. На фестивале в Венеции он получил первую в истории венецианских фестивалей Большую премию.

Однако теперь, когда прошло некоторое время со дня выхода картины, видны и допущенные в ней ошибки. Главная ошибка коренится в недостаточной разработке сценария. В нем недооценена роль динамичности действия, есть эпизоды, которым сценаристы не уделили достаточного внимания, понадеявшись на технику кино.

Местами в действии этого фильма наблюдается спад, потому что сценаристам не всегда удается найти счастливую середину между стремлением к занимательности и желанием создать научный фильм. Для того чтобы фильм, рассчитанный на юного зрителя, был в одно и то же время и поучительным и занимательным, необходимо избегать прямолинейно дидактических приемов подачи материала.

Впрочем, проблема разработки сценария является основной проблемой не только нашей кинематографии. Эта проблема, так же как и проблема воплощения основной идеи произведения, с особой остротой встала

Кадр из фильма «Необыкновенное путешествие».

перед выдающимся чешским режиссером Отокаром Вавроой, когда он взялся за большую трилогию из истории гуситского движения. Первая часть трилогии — фильм «Ян Гус» — уже была показана на экранах, вторая часть, посвященная Яну Жижке, уже закончена, в третьей — будет показан расцвет гуситской революции и победоносная битва с войсками крестоносцев под Прагой.

Гуситское движение — одна из самых ярких страниц нашей национальной истории, и не удивительно, что оно с давних пор привлекало к себе наших писателей, которые в разное время по-разному изображали это движение. Но несомненно одно: движение гуситов явилось великой национальной и социальной революцией, хотя оно и носило религиозную окраску, свойственную эпохе средневековья.

В первой части трилогии, в фильме «Ян Гус», нужно было показать подлинные истоки гуситства, его идеологию, выдвинуть на первый план ту мысль, что именно социальные моменты были основой гуситского движения. Автор сценария М. Кратохвил и О. Вавра серьезно изучили эпоху, что сыграло немаловажную положительную роль при создании этого глубоко национального фильма.

Деятельность Гуса, реформатора и великого проповедника, дала авторам возможность не только показать его тесную связь с подлинной движущей силой революции — народом, но и помогла дорисовать образ Гуса как героя событий, показать все те собирающиеся силы, которые в дальнейшем выступят в одной из величайших революций средневековья.

Не случайно, что наиболее драматическими сценами фильма — и это соответствует истории — являются сцены, где героями выступают простые люди из народа, в которых как в зеркале отражаются стремления центральной фигуры фильма — Яна Гуса. Кульминационным моментом фильма является сцена казни простых юношей на глазах у народа, еще колеблющегося, еще не уверенного в своей силе и не имеющего вождя, который возглавил бы его в борьбе.

Во второй части фильма, где изображается отъезд Гуса в Констанцу, ссора с кардиналами и его смерть, зритель видит замечательные по своей глубине сцены. Такова сцена разговора Гуса с кардиналом в тюрьме, принадлежащая к замечательным достижениям нашей кинематографии, и хотелось бы сказать — нашей сценаристики. Однако стремление строго придерживаться исторических фактов принудило, очевидно, авторов сценария перейти местами к описательности, что особенно чувствуется в конце фильма.

Если народная драма, как мы уже сказали, достигает апогея в середине фильма, в сцене казни невинных юношей, то борьба

Кадр из фильма «Необыкновенное путешествие».

Гуса достигает кульминации в сцене, показывающей собор в Констанце. Смерть Гуса на костре — сцена, необходимая лишь для логического завершения действия. Она не вносит ничего нового в композицию драмы. А финальная сцена в Вифлеемской капелле в Праге, где читается послание Гуса и где появляется выразительная фигура Яна Жижки, является больше переходом к последующей части трилогии, чем самостоятельным концом фильма. Но эти недостатки не нарушают стройности и величественности композиции фильма в целом.

Успеху фильма в немалой степени содействовали актеры и прежде всего исполнитель главной роли — Яна Гуса — Зденек Штепанек (во второй серии он играет Яна Жижку), молодая артистка М. Томашова, виртуозно сыгравшая небольшую роль простой девушки из народа, и Фр. Смолик, исполняющий роль кардинала.

Характерная история произошла с фильмом «Ян Гус» на фестивале в Венеции: под давлением реакционных кругов он не был допущен к демонстрации. В рецензиях на этот фильм, помещенных в газетах, близких к Ватикану, открыто писалось, что Гус, сожженный пять столетий назад как еретик, и ныне остается таковым и что желание реабилитировать его каким-либо образом является опасным. Оказывается, Ян Гус и в наше время пугает сановников церкви тем, чем пугал пять столетий назад: своей близостью к народу и своими социальными взглядами. Думаю, что это обстоятельство является лишним свидетельством как художественной, так и политической ценности фильма «Ян Гус».

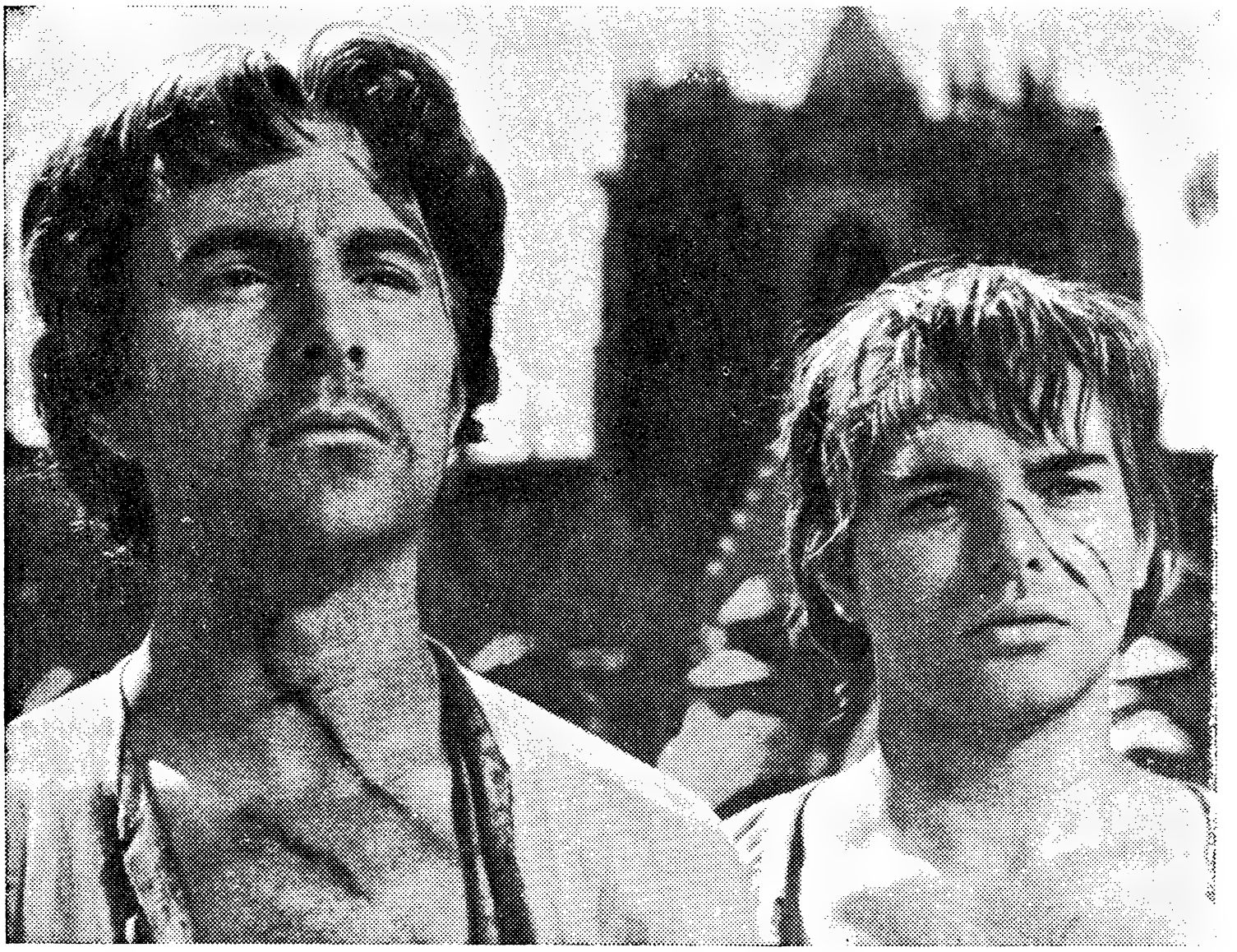
Прага.

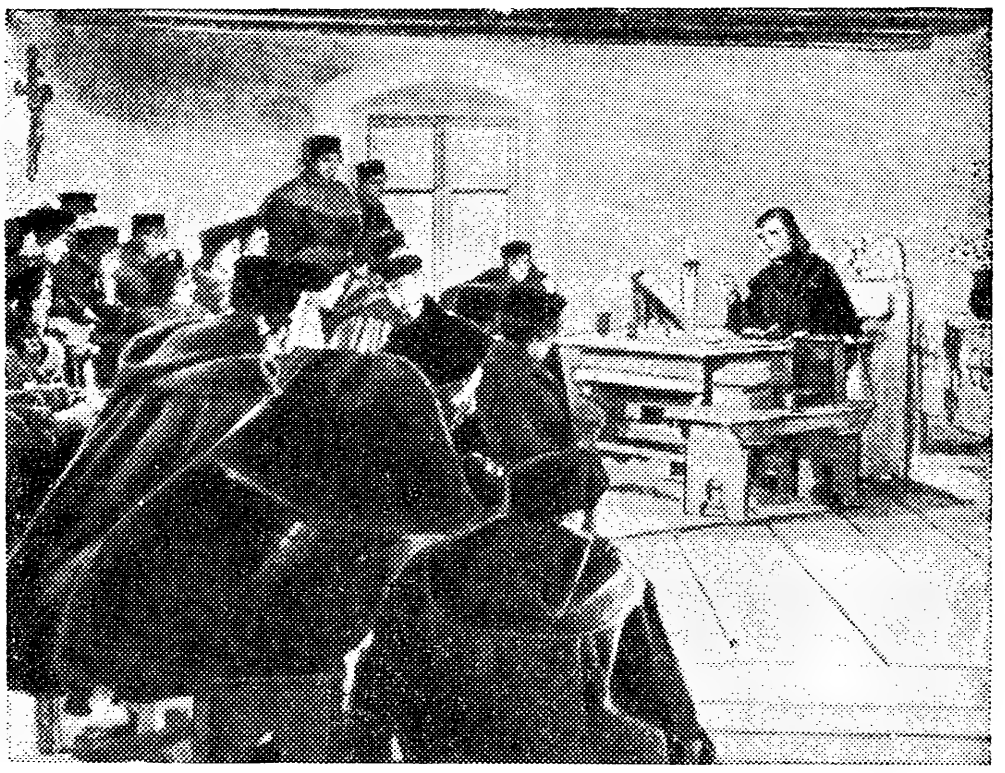
Ежи Плажевский

„ГОЛУБОЙ КРЕСТ" — ФИЛЬМ АНДЖЕЯ МУНКА

Положение в польской кинематографии характеризуется прежде всего тем, что 1955 год не принес столь же бесспорных

Кадр из фильма «Ян Гус».





Кадр из фильма «Ян Гус».

достижений, какими были фильмы 1954 года — «Пятеро с улицы Барской» и «Дороги жизни». Это, вероятно, вызвало бы тревогу, если бы не серьезные организационные изменения, которые наверняка скажутся на количестве, тематике и художественном уровне нашей будущей кинопродукции. Речь идет о создании творческих киноколлективов, каждый из которых объединяет молодых киноработников под руководством выдающегося режиссера и опытного писателя. Ими будет создаваться около девяноста процентов всех художественных фильмов, выпускаемых в Польше.

Этим коллективам будет предоставлена широкая инициатива в выборе тем и подготовке сценариев. Можно надеяться, что созданные ими фильмы будут более интересными, менее похожими друг на друга и по содержанию и по форме и что воздействовать на зрителя они будут более всесторонне.

Два лучших произведения прошлого года уже известны советскому зрителю. Одно из них — «Поколение» (сценарий Б. Чешко, режиссер А. Вайда), полный метких наблюдений эпический рассказ о борьбе рабочей молодежи Варшавы с гитлеровскими оккупантами. В центре фильма — проблема морального и политического созревания молодежи. Второй фильм — «Часы надежды» (сценарий Е. Помяновского, режиссер Я. Рыбковский) — рассказывает о последних часах войны в одном городе, освобожденном Советской Армией и Войском Польским, но окруженном еще сильными, готовыми к борьбе гитлеровскими дивизиями.

Третий фильм 1955 года — «Голубой крест» — вызвал бурную полемику в прессе. На прошлогоднем фестивале в Венеции этот фильм был отмечен бронзовой медалью, а на фестивале в Тренто он получил самую высокую из присужденных наград — премию «Серебряного рододендрона».

Что же вызвало дискуссию вокруг «Голубого креста»?

Пожалуй, следует начать с того, что за работой Анджея Мунка, постановщика фильма «Голубой крест», мы следим с симпатией и тревогой одновременно.

Мунк лишь недавно окончил киноинститут, но уже зарекомендовал себя художником, ищущим новые формы изображения действительности. В своем первом фильме «Слово железнодорожника» он рассказал, казалось бы, о самом обыденном: показана бригада одного из тысяч товарных составов, которая, не стремясь побить какой-либо рекорд, просто борется за то, чтобы поезд в срок пришел на станцию назначения.

Следующий его фильм назывался «Звезды должны гореть». В Верхней Силезии существует обычай, известный, впрочем, и в других местах: шахта, не выполняющая плана, не имеет права зажигать на копре звезду. Фильм открывался публицистическим прологом, показывающим, какое значение имеет один, казалось бы несущественный, процент в общепольском плане добычи угля. Затем рассказывались две истории, основанные на подлинных фактах. Старый шахтер с детства работал на шахте коногоном. Когда конная тяга была заменена электрической, старик ушел на пенсию. Но, откликнувшись на призыв партии повысить производительность труда, он вновь приступил к работе, овладевая новой для него техникой. Затем следует драматический рассказ о группе добровольцев, отправившихся в шахту на поиски новых залежей, доступ к которым был преграждён прежними владельцами-капиталистами, замуровавшими проходы.

Третье произведение Мунка — цветной короткометражный фильм «Воскресное утро», посвященный труду, быту и взаимоотношениям работников городского транспорта.

Все эти три фильма, несомненно, связаны какой-то общей нитью с «Голубым крестом», несмотря на то, что последний раскрывает новую сторону в творчестве Мунка. Создавая эти фильмы, режиссер не ограничивается документально точным

Кадр из фильма «Голубой крест».

изображением действительности — он старается поднять вопросы, которые до него никто не затрагивал. Мунк не изображал биографий своих героев в стиле, напоминающем дидактическую книгу для чтения. Подобно Чезаре Дзаваттини, он скорее следил за своими героями и, относясь с уважением к фактам, накапливал выводы. Что побудило железнодорожника доставить транспорт в указанную минуту? Что переживает коногон, который благодаря механизации шахты остается не у дел? Как создается коллективное мнение среди пассажиров, едущих в варшавском автобусе? Такие вопросы ставил перед собой Мунк.

Мы говорили о симпатии, но и о тревоге также. Откуда же проистекает эта тревога?

Фильмы Мунка, основанные на реальных фактах, не являются фильмами документальными. В них речь идет не столько о часе прихода поезда, не столько о величине открытых залежей угля, сколько о моральном облике людей, борющихся за победу на трудовом фронте. Речь идет о повседневном, будто бы и неэффектном героизме, о будничной поэзии человеческих взаимоотношений.

Обращение к современности означает для Мунка обращение к человеку, и притом к человеку во всей его диалектической сложности. Это не входит в задачу режиссера-документалиста. Жанр документального фильма ограничивает возможности таланта Мунка. Его фильмы выходили за рамки документального жанра, не становясь в то же время фильмами художественными. Это и заставляло тревожиться за творческую судьбу одаренного режиссера.

В основу фильма «Голубой крест» положено реальное событие. В Татрах, в городе Закопане, еще и поныне существует толстая книга, на обложке которой изображен голубой крест. Это хроника спасательной станции Татрских гор. 11 февраля 1945 года там была произведена следующая запись: «В 5 часов спасательная команда явилась на исходный пункт. Вместе с партизанским врачом Бернатом, словаком по национальности, мы отправились в Хохоловскую долину. Шли мы иногда на лыжах, иногда пешком. Путь пролегал через Рогацкую долину, пересекал ее устье и шел далее лесными опушками. Условия были очень тяжелые. Лишь ночью мы добрались до маленькой охотничьей избушки...»

В избушке был госпиталь советских и словацких партизан. Отрезанные от своих частей, окруженные гитлеровскими патрулями, истощенные и лишенные лекарств, больные ежедневно рисковали жизнью. И вот северная часть Татр уже освобождена. Доктор Бернат пробрался в освобожденное Закопане, чтобы просить о походе во вражеский тыл для переброски на север больных и раненых.

Этот поход был положен в основу фильма Мунка. Режиссер обратился не только к архивным записям, но также и к живым людям, участникам памятного похода. В ролях всех героев фильма, кроме роли советского партизана, снимались бывшие участники похода.

Но этим и ограничивается документальная сторона фильма. Мунк отказался от точности архивных деталей, дат, фамилий. Он создал свой, выразительный образ Татр, не зависимый от действительных географических названий.

Он интересовался не хроникерской регистрацией подвига, а изучал героизм людей — может быть, тех, что отправились в госпиталь, а может быть, и других. Что побудило их пойти? Как они держались в походе? Вот что было важно для Мунка. Поэтому он изменил некоторые факты, ввел в фильм эпизод стычки с немцами, которой в действительности удалось избежать, развил эпизод со старым горцем, не поспевавшим за молодыми.

Мунк сам подчеркивает, что, преднамеренно пожертвовав полной достоверностью,

Кадр из фильма «Голубой крест».

он стремился усилить показ главного: героизма людей. Именно в такой постановке вопроса суть фильма.

К сожалению, Мунк не мог осуществить своего замысла скромными средствами документального кино. Свободное «документальное» повествование оказалось недостаточным для построения драмы, и поэтому кульминационный эпизод вооруженного столкновения затерялся в длиннотах последних сцен. Диалог фильма слишком скуп, вероятно, потому, что в создании сценария не принимал участия опытный литератор. Наконец, не располагая профессиональными актерами, которые могли бы выявить более тонкие психологические акценты фильма, Мунк не мог как следует раскрыть образы некоторых из своих героев.

Из-за всего этого «Голубой крест» не стал ни документальным, ни художественным фильмом, что не удовлетворяет как любителей документального кино, так и любителей кино художественного.

Как же, однако, случилось, что этот фильм оказался как будто бы первоклассным? Своим успехом он обязан прежде всего темпераменту режиссера, человека, который ищет новые формы изображения действительности. Отсюда — великолепные сцены с лавиной, созданные при беспримерной самоотверженности всех участников съемки. Отсюда — горные пейзажи, прекраснейшие из всех виденных мной в нашей кинематографии. Отсюда, наконец, — строгий, собранный стиль произведения, который, впрочем, был стилем работы всех участников фильма.

Причины отдельных неудач фильма не в слабости таланта режиссера, а в отсутствии средств, которые были здесь необходимы, но которыми не располагает документальное кино. Впрочем, эта ошибка уже исправляется. Анджей Мунк работает сейчас над полнометражным художественным кинофильмом, который, можно с уверенностью сказать, уже не будет чем-то средним между художественным и документальным фильмом.

Варшава.

Б. Гарги

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ ИНДИЙСКОГО ТЕАТРА

Искусства напоминают реки, которые текут на протяжении столетий, извиваясь среди холмов, долин и лесов. Порой они словно исчезают в неизученных периодах истории, затем появляются так же внезапно, как и исчезли. Проходя через пустыню средневековья, они скрывались лишь для того, чтобы с новой силой вырваться на свободу.

Театральные традиции Индии уходят в глубокую древность. В IV веке нашей эры, когда искусство процветало во всех его формах, великие драматурги Шудрака, Калидаса и другие, писавшие на санскритском языке, обогатили театр такими пьесами, как «Глиняная тележка» и «Шакунтала». Искусство театра было тесно связано с народом и отражало социальную жизнь эпохи.

В средние века в результате влияния брахманства процветавший ранее театр прекратил свое развитие. Его традиции сохранились лишь в форме народных драм, уходивших глубокими корнями в условия жизни и быт народа. Через столетия до нас дошли такие образцы народного драматического искусства, как великие эпические произведения «Рамаяна» и «Махабхарата», а также многие другие мифологические и исторические легенды, которые пелись и исполнялись деревенскими поэтами на открытых сценах.

Шло время, и жизненная правда этого вида искусства во многом терялась, так как артисты, стараясь наполнить его новым содержанием, держались за основы старых форм.

В период правления династии Моголов, не поощрявших танцев и театра, сценическое искусство было заброшено на пыльную полку истории. В XVIII веке, после смерти императора Аурангзеба, мусульманские правители вновь стали поощрять театр. Во время правления Важид Али Шаха, который был не только покровителем искусств, но и сам выступал как музыкант и танцор, поэт Аманат написал на языке урду, бывшем тогда одним из придворных языков, оперу «Индрасабха», на которой сказалось влияние европейской оперы, особенно французской, так как при дворе Важид Али Шаха находилось много французов. Эта первая опера на урду оказалась настолько популярной, что последующие драматурги начали писать свои произведения на эту же тему. В результате было опубликовано и поставлено двадцать различных вариантов «Индрасабха».

Б. Гарги — индийский писатель, пишущий на языке пенджаби.

Артистка Трипти Митра в сцене из бенгальской пьесы «Порванная струна».

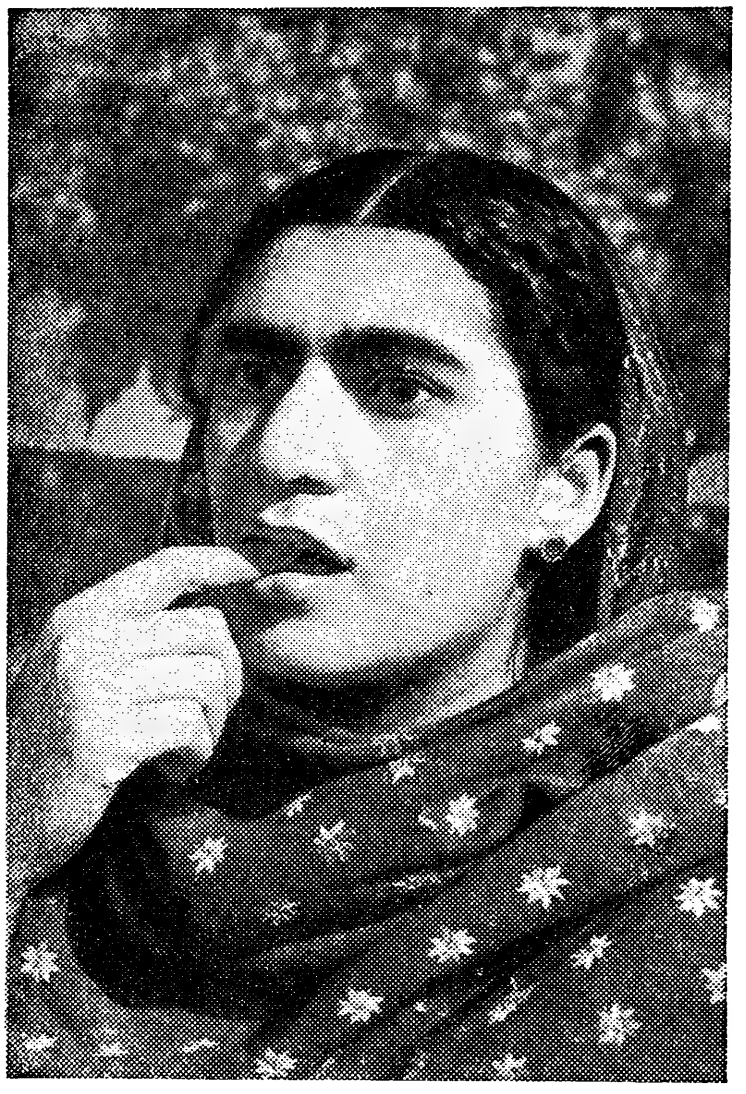
В такой стране, как наша, с ее огромным населением и массовой неграмотностью театр служит чуть ли не единственным средством распространения идей. Театр связывает различные культуры и объединяет различных людей. При многомиллионном населении, говорящем на семнадцати языках и пятистах диалектах, при наличии различных алфавитов, трудно проследить за развитием театрального искусства на том или ином языке или в том или ином районе. Развитие театра связано с ростом национального самосознания. За исключением народного театра, непрерывно существующего в сельских районах и сохранившего свои многовековые традиции, развитие профессиональной драмы шло разными путями.

Первой провинцией, которую захватили англичане, была Бенгалия. Здесь английская культура оставила свои первые следы и здесь же впервые начал назревать протест против колонизаторов. Именно в Бенгалии родился современный индийский театр.

Антианглийские настроения этого периода находили свое выражение главным образом в движении за социальную реформу, чему были посвящены пьесы Гириша Гхоша «Пропхулло» и «Билваманга́л». Пьесы такого же характера писались на языке маратхи, гуджерати и других индийских языках. В Пуне был основан театр на языке маратхи. Однако развитию драматургии на этом языке мешала приверженность к традиционному высокопарному диалогу и сентиментальным песням.

В этот же период предприимчивые дельцы организовали несколько коммерческих театральных компаний, которые рассчитывали на самый низменный вкус зрителей. Они наводнили страну псевдоисторическими приключенческими пьесами на языке хиндустани, также написанными напыщенной прозой, перемежавшейся стихами. По ходу пьесы исполнялись длинные песни. Такая пьеса шла пять-шесть часов. Поднимался занавес, и перед публикой открывалось фантастическое зрелище: крикливо пестрые драпировки, слепящее освещение, драконы, феи и русалки. Пока шла пьеса, публика ела, болтала или дремала. В каждом антракте в зрительном зале появлялись торговцы орехами, бетелем и сигаретами. Пьяницы затевали драки, отвлекая внимание публики. Полиция усмиряла драчунов и успокаивала зрителей. По ходу пьесы зрители выражали свое мнение криками и свистом. Тот или иной актер после аплодисментов мог повторить свое представление в середине какой-нибудь сцены. Оторванные от всех социально-политических движений и глухие к новым идеям, эти театры в двадцатые годы стали медленно отмирать.

В то же время театр в сельских местностях сохранял свою национальную чистоту. Здесь ставились традиционные пьесы, творчески обработанные и отражавшие те социальные условия, в которых жили его зрители. Театральные представления происходили на открытом воздухе, под звездным небом, а зрители сидели вокруг подмостков. Песни исполнялись под аккомпанемент барабана и струнного инструмента. Постоянным персонажем этих пьес являлся шут, высмеивавший даже высокопоставленных чиновников.



Артистка Зубейда Кичлу в сцене из пьесы «Кесро».

Огромную роль в развитии народного театра сыграл Рабиндранат Тагор. В то время как коммерческие труппы в своих пышных, перегруженных неуклюжими декорациями постановках пытались подражать худшим образцам западного театрального искусства, Тагор учил простоте формы и глубине темы. «Почтовая контора», «Читра» и «Красные олеандры» предвосхитили новаторство европейских драматургов Лорки и Брехта, сочетавших в своих произведениях лиризм, народную музыку и фантазию с подлинным реализмом. Зрители собирались за сотни миль в Шантиникетан *, чтобы посмотреть пьесы Тагора.

Имтияз Али Тадж, первый из современных драматургов, пишущих на урду, создал пьесу, в которой, в отличие от постановок коммерческих трупп, не было стихов, песен и фальшивой мелодрамы. Эта пьеса —

---

* Шантиникетан — народный университет, основанный Тагором.

«Анаркали». Написанная в двадцатых годах, она изображала трагедию молодой женщины во времена правления Акбара. Руководители коммерческих трупп хотели ввести в пьесу за счет сокращения диалогов сентиментальные песни; этим, конечно, они обеднили бы ее содержание. Однако автор не пошел на это, вследствие чего пьеса была опубликована и поставлена только спустя десять лет после ее написания. Она имела большой успех, став новой вехой на пути развития драмы на урду.

В тот же период наблюдался расцвет театров всех районов страны. В исторических пьесах воспевалась былая слава Индии. Особенной популярностью пользовались социальные и сатирические комедии, высмеивавшие англичан. Постоянным персонажем этих комедий был написанный сгущенными красками англофил, что отражало ненависть индийского народа к английскому владычеству. Популярностью пользовались только те пьесы, которые выражали патриотические чувства народа. Однако эти композиционно рыхлые пьесы не удовлетворяли требованиям современного сценического искусства. Театр еще не воспринял в должной мере реализма Ибсена и Шоу, Горького и Чехова и даже не впитал полностью народных традиций. Но возрождавшийся индийский театр стоял уже на верном пути.

В тридцатых годах бенгальский театр сделал крупный шаг по пути к реализму. Знаменитый бенгальский драматург Сачин Сен Гупта написал ряд удачных исторических и социальных пьес, которые пользуются популярностью и в настоящее время. Видный маратхский драматург Атре написал около двадцати блестящих комедий и сатир. По своей композиции эти пьесы по сравнению с предыдущими пьесами такого же типа явились несомненным шагом вперед.

В Пенджабе, где большинство писателей и интеллигентов писали на урду, развитие драмы очень задержалось. Шли уже двадцатые годы, когда профессор И. Ч. Нанда написал на языке пенджаби и поставил в колледже, где он преподавал, ряд пьес. Это было то время, когда пенджаби все еще рассматривался как язык, пригодный только для простонародья. С группой актеров — студентов колледжа — Нанда совершил поездку по деревням, давая спектакли на пенджаби перед большими аудиториями.

В то время, когда страну наводнили звуковые фильмы, театр все еще находился в состоянии младенчества. Театры не могли выдержать конкуренции с быстро расширявшейся кинопромышленностью. Театраль-

Сцена из пьесы «Стена» в постановке театра Притхви.

Сцена из комедии Гоголя «Ревизор» в инсценировке делийского театра.

ное искусство переживало период растерянности и отчаяния.

Индийская драма вновь ожила только в сороковых годах. В 1942 году в разгар войны против фашизма, мы у себя на родине боролись также с беспощадной империалистической эксплуатацией. Во время голода в Бенгалии умерло пять миллионов индийцев. Вся страна кипела от негодования. Писатели и артисты, возмущенные, как и весь индийский народ, политикой колонизаторов, создают произведения, отображающие страдания простых людей. Пьесы и поэмы о голоде писались на всех языках страны. Театр также был зажжен чувством негодования. Актеры давали свои представления везде — под открытым небом, на улицах и площадях городов, на пляжах и в деревнях. Актеры и зрители, которыми владели одни и те же мысли, слились в одно целое. Так родился индийский Народный театр *, завоевавший популярность благодаря постановке двух больших пьес о голоде в Бенгалии.

Во время войны приток европейских книг и фильмов в Индию увеличился. Это усилило интерес к искусству во всех его формах и в особенности к театральному искусству.

Первым реагировал на эти новые веяния Народный театр. Он оживил традиционные формы индийского театра, дал им новое содержание и тем самым сразу стал в ряд тех экспериментальных театров мира, которые боролись за новые формы выражения социальной действительности своего времени.

Раньше произведения русских мастеров — Гоголя, Островского и Чехова — ставились лишь время от времени любительскими труппами и университетскими клубами, но полного представления о них не было. В сороковых годах впервые в нашей стране стали свободно распространяться советская литература, фильмы, журналы и газеты. Произведения Горького, известные до этого лишь очень немногим, стали широко переводиться, ставиться и инсценироваться. Были переведены и обработаны советские пьесы о борьбе народа против нацистов. Мы услыхали имена Корнейчука, Погодина, Симонова, Маршака. Наши режиссеры ознакомились с постановочными методами МХАТ и театра им. Евг. Вахтангова. Журналы печатали отрывки из работ К. С. Станиславского. Теория Станиславского о необходимости для актера вжиться в исполняемую им роль стала руководством для наших артистов в их движении к под-

---

* Ассоциация народных театров, объединившая народные театры всей страны.

линному реализму. Эти новые влияния и это новое понимание сценического искусства также нашли свое выражение в работе Народного театра.

В 1945 году при Народном театре была создана Центральная балетная труппа. Эта труппа поставила балет «Индия бессмертна», либретто которого написано на историческом материале и показывает борьбу индийского народа с империалистическим владычеством. Балет был создан талантливым хореографом, знатоком народного танца и театра Шанти Вардханом. Все слои народа — от богатого предпринимателя до бедного рабочего, от Неру до рядового индийца — откликнулись на эту постановку. Этот балет сделал больше, чем тысячи речей, для того, чтобы простой человек осознал свою роль в борьбе за свержение иностранного владычества в Индии.

В 1947 году после раздела Индии, когда в стране свирепствовала индо-мусульманская резня, актеры Народного театра давали свои представления прямо на улицах. Их спектакли, разоблачавшие махинации империалистов и призывавшие народ к миру, шли, несмотря на угрожавшую актерам расправу.

К числу пьес, поставленных в то время Народным театром и посвященных разделу Индии, относятся «Кто я?» — Х. А. Аббаса и «Долил» — Тулси Лахри.

«Дада» — пьеса Сармалкара на языке маратхи — показывает жизнь рабочего класса в Бомбее. Она имела огромное влияние во время забастовок 1946 года и ставилась Народным театром во многих районах. Аннабхау Сатхе, выходец из рабочей семьи, написал десятки коротких пьес. Его повады *, написанные в традициях народного театра маратхи, отражают борьбу фабричных рабочих и условия их жизни. Хорошо известным деятелем театра маратхи является Амар Шейх. В течение двадцати лет поет этот народный бард. За свои революционные песни он не раз попадал в заключение, но и тюремная камера не могла заглушить его голос.

В Пенджабе Народный театр всегда умел художественно выразить в постановках то, чем жили его зрители. Моя пьеса «Могха», рассказывающая о борьбе крестьян с правительством в 1946 году, была поставлена на Всеиндийском крестьянском конгрессе перед тридцатитысячной аудиторией. Хотя я и писал пьесы в течение многих лет, но мой подлинный переход в Народный театр произошел именно в то время, когда я почувствовал себя заодно со зрителями. Я установил прочные связи с крестьянами. Мои пьесы «Бисведар» и «Кесро» явились непосредственным результатом этого.

* * *

После 1948 года были написаны десятки пьес о забастовках рабочих и учителей, о борьбе крестьян за землю. Однако этим пьесам, написанным на новые для индийского театра темы, были присущи схематизм и неглубокая обрисовка характеров, что в свою очередь вело к слабым постановкам.

Театральные труппы медленно создавали себе репутацию и быстро ее теряли. Вначале слава прежних успехов помогала Народному театру сохранить популярность среди зрителей. Однако это продолжалось недолго — престиж театра так пострадал, что некоторые труппы почти прекратили свое существование. Количество зрителей уменьшилось, а отзывы в прессе стали плохими. С некото-

Сцена из пьесы «Порванная струна». Роли исполняют Шамбху Митра и Трипти Митра.

* Повада — традиционный народный жанр индийской поэзии.

рым успехом еще продолжал существовать только Народный театр маратхи.

После 1952 года, когда в стране развернулось широкое движение за мир, Народный театр снова стал устанавливать прочные связи со зрителями и вновь обрел свое место. Состоявшийся в 1952 году в Калькутте Конгресс деятелей культуры подчеркнул необходимость создания высокохудожественных произведений, нужных народу. В следующем году этот же вопрос подробно обсуждался в Бомбее на седьмом Конгрессе Ассоциации народных театров.

Народный театр верит в единство содержания и формы. Он утверждает, что содержание само определяет свою форму, ибо они связаны между собою, как душа с телом. Работая над постановкой пьес, театр делает основное ударение на их содержание.

* * *

Широко известный в Индии театр Притхви, основанный в 1943 году, обязан своим существованием популярному актеру и режиссеру Притхви Раджу, который оставил работу в кино и отдал все свои силы созданию первого профессионального театра на языке хиндустани. Его первой работой на театральном поприще была постановка бессмертной «Шакунталы». Однако спектакль, несмотря на сценическую эффектность и пышную костюмировку, оказался все-таки неудачным. Второй постановкой театра была пьеса «Дивар» («Стена»). На долю пьесы, осудившей идею раздела страны задолго до того, как он состоялся, выпал невиданный дотоле успех.

Театр Притхви поставил более шести пьес, причем две из них идут непрерывно в течение шести лет. Пьеса «Патан», поставленная Притхви Раджем, является одним из лучших достижений современного индийского театра.

Своим успехом театр Притхви обязан в основном самому Притхви Раджу. Актер, режиссер, постановщик, он же является первым читателем и критиком новых пьес. Несмотря на то, что это имеет и свою теневую сторону — в большинстве поставленных театром Притхви пьес второстепенные персонажи принесены в жертву играющему главные роли Притхви Раджу, — театру Притхви, демонстрирующему свое мастерство в различных районах страны, принадлежит огромная заслуга в развитии и популяризации передового реалистического искусства.

Притхви Радж в сцене из пьесы «Патан».

* * *

Проблема разговорного языка является исключительно важной для драматурга. Там, где существует большой разрыв между разговорным и литературным языками, перед драматургом стоит трудная задача. Во-первых, долг драматурга — дать правдивую речевую характеристику персонажам своих пьес; во-вторых, драматург обязан донести свое искусство до возможно более широкой аудитории, говорящей на бесчисленных диалектах и наречиях одного национального, общенародного языка, будь то хиндустани, пенджаби или бенгали. Эта проблема была еще более усложнена тем, что английский язык, навязанный индийскому народу колонизаторами, долго препятствовал развитию национальных языков. Проблема литературных языков в Индии настоятельно требует своего разрешения.

Хинди и урду — эти две литературные формы общенародного, национального языка хиндустани — развивались преимущественно в городах. И если в городах пользуются хиндустани, то в сельских местностях того же самого района говорят на бходжпури, авадхи, брадже и других диалектах, поэтому в пьесах крестьяне, в целях правдоподобия, должны говорить на этих диалектах. Пишущие на хинди или урду драматурги обычно употребляют высокопарный хинди или цветистый урду. И то и другое звучит неестественно в устах крестьян. Эта трудность вынуждает индийских драматургов писать исторические пьесы и избегать современных социальных тем, касающихся повседневной жизни простых людей.

* * *

Движение за мир сыграло огромную роль в деле сближения театра со зрителями.

Обычно после заседания конференции или митинга борцов за мир начинается художественная часть, продолжающаяся иногда до рассвета. Зрителями становятся все жители окрестных деревень, и тогда театр собирает очень солидную аудиторию — до сорока тысяч человек.

Сторонниками движения в защиту мира были поставлены пьесы, балеты и оперы о великом китайском народе, о войне в Корее, о борьбе малайского народа, об атомной бомбе и борьбе за мир во всем мире. К этим пьесам, в частности, относятся: «Ананас и атомная бомба» Х. А. Аббаса, «Водородная бомба» Кришана Чандара, «Зов долины» Шила Бхатиа и «Голубь» Б. Гарги.

Театр всегда является барометром народной культуры. Индия развивается, и это должно быть отображено в искусстве. За тысячами различных драматических трупп, за множеством отличающихся друг от друга районов и языков мы уже видим рост могучего театра, объединяющего в себе западные традиции и наши собственные народные и классические формы. Все эти различные труппы сольются в одно целое, в подлинно национальный индийский театр.

Дели

Лев Кассиль

У Михаила Садовяну

Знаменитого румынского писателя я впервые увидел в прошлом году в Московском Колонном зале, выйдя на трибуну Второго Всесоюзного съезда писателей.

Я живо вспомнил этот момент, когда недавно, находясь в Румынии в составе делегации деятелей советской культуры, узнал от поэта-академика Михая Бенюка, что меня приглашает к себе домой Михаил Садовяну.

В тот же день мы с Бенюком отправились в гости к самому любимому и популярному писателю румынского народа. Нас встретила супруга Михаила Садовяну, очень моложавая и приветливая, умеющая с первой же минуты развеять дымку той неизбежной официальности, которая возникает перед гостем, впервые посетившим дом знаменитого человека. Супруга писателя хорошо говорит по-русски. Я услышал от нее, что Михаил Садовяну заинтересовался чем-то в моем выступлении на съезде и ему захотелось познакомиться со мной поближе.

В это время в комнату вошел Садовяну. Все в нем крупно, масштабно, все исполнено внутренней спокойной уверенной силы, все отвечает представлению читателя о том, каким должен быть автор более чем ста книг, человек неустанного и исполинского труда, ненасытной жажды творчества. Весело приветствовав меня, поздоровавшись с моим спутником, Садовяну не спеша и в то же время как-то очень легко прошел к стулу, придвинул его сбоку к дивану, где сидела его жена, и сразу вступил в разговор так, как будто он уже давно был с нами. Голос у него негромкий, говорит он медленно, изредка останавливаясь, чтобы дать возможность перевести его слова на русский язык.

— Мне запомнился ваш спор на съезде... Ну как, договорились потом? — спросил Садовяну, весело взглянув на меня. И на его крупном лице, напоминающем портреты екатерининских вельмож, вдруг с мужицкой лукавой хитрецой блеснули проницательные и зоркие глаза, которые я не раз видел потом у старых крестьян в румынских селах. С этой минуты Садовяну перестал быть для меня отвлеченным и порой несколько озадачивающим своей неисчерпаемой плодовитостью автором множества романов, повестей, легенд, в которых действовали люди героической судьбы и сильных романтических характеров, простые, обездоленные, задавленные нуждой, но не терявшие своего человеческого достоинства труженики. Передо мной был подлинный богатырь, одолевший своими крупными сильными руками гигантский труд, неутомимый мастер, уже полвека уверенно орудующий драгоценным материалом — человеческим словом.

Я рассказал Садовяну о массовых, выпускаемых стотысячными тиражами изданиях его книг для советских маленьких читателей. Разговор пошел о трудностях перевода, которому не всегда поддается чрезвычайно яркий, неповторимого внутреннего строя и прихотливого узора язык Садовяну. Говорили о своеобразии румынского языка, о полногласии и просторном звучании румынской фразы, где многие слова сохранили строгое звучание латыни. Я пошутил, что, приезжая в некоторые страны, приходится на таможне оставлять почти все гласные, и тогда незнакомый язык кажется для русского уха несколько тесноватым в своем звучании, чего нет при встрече с румынским языком... И тут Садовяну, как замечательный мастер, влюбленный в свой материал, как художник, всецело овладевший всеми оттенками родного слова, стал приводить забавные, остроумные примеры словесной звукозаписи на румынском, чешском, польском языках, рассыпав перед нами сокровищницу прибауток, пословиц, речений, скороговорок, народных шуток, присловий...

Заговорили о советской литературе. Садовяну спросил меня о весьма его интересующей работе советских писателей для детей. Зашла речь о моих книгах, построенных на

документальном материале, и об их героях — юном художнике Коле Дмитриеве и пионере партизане Володе Дубинине. И естественно, что я был по-настоящему взволнован, когда в доме крупнейшего писателя Румынии прозвучали имена «младших сынов» нашей родины, нашедших здесь таких внимательных друзей.

— Очень люблю я у вас Гайдара, — сказал вдруг Михаил Садовяну. — Чистый талант, глубокая душа. Прекрасно чувствовал он героическое, а говорить об этом умел просто, скромно. Это, конечно, не только хороший детский писатель, а художник особой прекрасной школы, несколько романтической, но в то же время сильный реалист. Всегда читаю его с удовольствием и волнением.

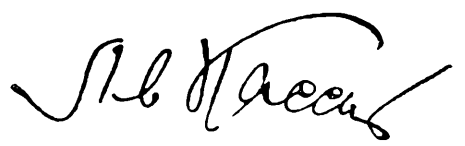
И он повторил негромко и задумчиво:

— Гайдар... — словно с уважением прислушиваясь к этому звучному, такому дорогому для меня имени.

Потом он заговорил о сильном героическом характере, который сегодняшний читатель ищет в книгах; негромко, без тени аффектации, очень сердечно рассказал о мужестве и героизме, которые проявляли румынские солдаты в неравной борьбе с турками, и чувствовалось за каждым его словом, как обширна и неистощима его память, как безгранично его восхищение народной доблестью, как живо и вдохновенно его могучее воображение.

Боясь утомить хозяина, не так давно перенесшего болезнь, я стал собираться. На прощанье мы обменялись книгами, и я получил в подарок великолепное издание «Митри Кокора» с превосходными темпераментными, подлинно драматическими иллюстрациями Баба и очень дружеским автографом.

Сейчас эта книга, подаренная Михаилом Садовяну, лежит у меня на рабочем столе. Среди ее плотных страниц я засушил на память лепестки чайных роз и белых гладиолусов из тех, что преподнесли нам на прощанье бухарестские пионеры, когда мы улетали на родину. Цветы юных пионеров между страницами книги старейшего писателя Михаила Садовяну — это символическое сочетание всегда будет напоминать мне о новой Румынии.



Леонид Луков

Франческо Маселли — самый молодой кинорежиссер Европы

Делегация советских кинематографистов на 16-м Международном кинофестивале в Венеции встречалась со многими прославленными деятелями мировой кинематографии. Тут были «звезды» почти всех стран мира, дельцы — прокатчики и продюсеры, режиссеры разных направлений и режиссеры без всяких направлений, которых ничего в жизни не интересует, кроме больших гонораров.

С особым интересом мы ждали встречи с мастерами итальянского неореализма. Нам, естественно, хотелось не только увидеть их новые кинопроизведения, но и познакомиться с ними лично. Поэтому нетрудно представить, как были мы опечалены, узнав, что они не принимают участия в фестивале. Итальянские фильмы, которые были на нем представлены, в большинстве своем не очень нас порадовали, ибо их авторы были весьма далеки от традиций тех глубоко реалистических фильмов, которыми так прославились на весь мир итальянские кинематографисты.

Только два фильма итальянского производства (оба, сделанные молодыми режиссерами) вызвали большой и горячий интерес.

Один из них — «Кровные друзья» Франко Росси — рассказывает трогательную историю детской дружбы двух школьников, сидящих в классе на одной парте.

О втором фильме — «Разгромленные» — и о его создателе, самом молодом режиссере Европы Франческо Маселли, мне хочется рассказать подробнее.

Имя Маселли никому из нас не было известно. «Разгромленные» — его первая самостоятельная картина. И хотя фильм был представлен в программе фестиваля, о нем и о его режиссере мало кто говорил и почти ничего не писали.

Вообще на фестивале задолго до показа того или иного фильма обычно устраивается большая шумиха: помимо крикливой рекламы, в бюллетене фестиваля в изобилии и во всевозможных видах помещаются портреты «кинозвезд», продюсеров и режиссеров, публикуются сенсационные, пикантные истории из их биографий. А вот о молодом,

блестяще дебютировавшем и безусловно одаренном режиссере, в силу сложившихся здесь правил и обычаев, основанных только на рекламных соображениях, мы ничего не слышали и не читали.

Случилось так, что наша делегация не смогла посмотреть фильм Маселли в тот день, когда он демонстрировался на фестивале, и, возможно, мы бы так и уехали, не познакомившись с этим замечательным произведением и с его автором, если бы дня через два к нам за обедом не подошел статный молодой итальянец и не пригласил на просмотр фильма «Разгромленные», который режиссер Франческо Маселли устраивал специально для советской делегации. Мы были поражены, узнав, что наш новый знакомый, которому нет и двадцати лет, является продюсером этого фильма. Увидя наше недоумение, он поспешил сообщить, что и режиссеру не более 24 лет и что вообще весь фильм «Разгромленные» делался молодым коллективом, где каждый впервые проверял свои творческие силы в кино.

В подвальном зале Дворца Кино мы познакомились перед просмотром и с самим Франческо Маселли. Этот сухопарый, жилистый, крепко сколоченный молодой человек с орлиным носом и жгучими глазами произвел впечатление незаурядной личности с волевым и целеустремленным характером.

Я еще ничего не знал о его фильме, но уже тогда подумал, что такого кроя человек не может делать пошленькие сентиментальные мелодрамы, увеселительные или душещипательные фильмы. Сразу как-то по внешности можно было определить, что его волнуют в искусстве вопросы серьезные, большие и глубоко жизненные. Молчаливый, но в то же время приветливый, он показался очень скромным, даже немного стеснительным и в то же время собранным и, можно сказать, уверенным в себе. Изъясняется он короткими фразами, в которых ощущается точность мысли, — такая же лапидарность и точность чувствуются в его фильме. Маселли, по-моему, принадлежит к тем людям, о которых один из наших ведущих деятелей кино на вопрос, кого надо готовить в кинорежиссеры, ответил так: прежде всего людей физически крепких, которые могут остаться здоровыми, даже если их после горячего душа выбросят на жесточайший мороз, а потом снова поставят под обжигающий душ.

Впечатление, произведенное Маселли, подтвердилось и его фильмом. Перед нами встают образы мужественных борцов, они так же немногословны, как и создатель фильма, но вместе с тем сколько в них естественного оптимизма, блестящего остроумия, народного юмора, как действенны одни герои и как скупы во внешнем проявлении своих чувств другие, которым по их характеру свойственно выражать свое состояние только взглядом.

Темп фильма отражает темпераментность самого Франческо Маселли, темпераментность, которая не сразу бросается в глаза и, думаю, именно потому, что это драгоценное качество серьезного художника не всегда проявляется открыто.

В «Разгромленных», пожалуй, впервые так смело поднимается волнующая тема борьбы итальянских партизан с немецкими оккупантами.

Здесь выведены люди разных социальных слоев и различного мировоззрения: и сын богатого помещика, и сын бедняка, и сын интеллигента, и бедная девушка, которую война, бомбежка и эвакуация выбросили из родного города, с насиженного места.

С какой исключительной тонкостью показаны в картине психологические переживания героев! Какое богатство человеческих чувств ощущается в лирических сценах! Щедрой рукой талантливого мастера рассыпаны по всей картине многочисленные детали, ярко характеризующие атмосферу войны, быт и нравы простых людей Италии.

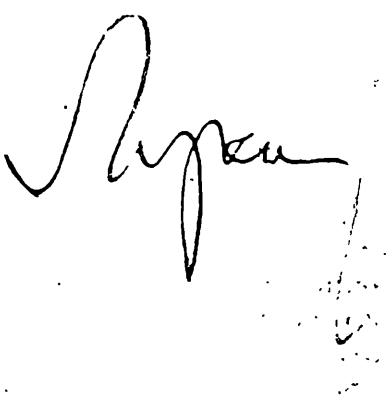
Нельзя забыть кадры освобождения партизан, попавших в плен к оккупантам; спасения итальянских рабочих и крестьян, отправляемых на каторгу в наглухо запечатанных и запломбированных вагонах; нельзя забыть сцену смерти молодого партизана.

В фильме глубоко и психологически убедительно показано, как сын богатого помещика осознает, что жизнь его пуста и бесцельна и, оставаясь пассивным во время ожесточенной борьбы народа, он в конце концов становится предателем.

Нам рассказали, что во время демонстрации фильма в венецианском кинотеатре Святого Марка схватились почти врукопашную две силы: рабочие и профашистские молодчики.

Можно безо всякой боязни причислить фильм Маселли «Разгромленные» к выдающимся произведениям мировой кинематографии. Жаль только, что попадаются в этой правдивой, жизненной ленте еще робкие, не до конца осмысленные концепции, жаль, что так пессимистически завершается фильм, который всем ходом событий требует более закономерного и естественного вывода.

Прошло время. Многое из того, что мы видели на фестивале, начинает стираться из памяти, а фильм режиссера Маселли «Разгромленные», благодаря глубокой разработке большой человеческой темы, забыть невозможно. Да и сам Маселли — молодой человек, у которого вся жизнь впереди, — надолго запомнился своим первым словом в искусстве, сказанным искренне, горячо и смело.



Дмитрий Сарабьянов

Мозаики Кахриэ Джами

Когда впервые попадаешь в страну, о которой знал лишь по книгам, статьям и рассказам, убеждаешься в том, насколько далеки от действительности те образы, которые рисовались твоему воображению. На каждом шагу тебя подстерегают неожиданности. Жизнь народа, его быт и нравы, природа, культура, наконец, искусство, которое меня особенно интересует как искусствоведа, — все это раскрывается с новых сторон.

В сентябре 1955 года я был в Турции, где состоялся X Международный конгресс по византиноведению. Прежде мне многое приходилось слышать и читать и о знаменитом храме Софии в Константинополе, и о византийских мозаиках, и о развалинах Пергама, Эфеса и других древних городов, расположенных ныне на территории Турции. Я видел фотографии и репродукции этих памятников. Но только после того, как мне пришлось самому ощутить захватывающую грандиозность внутреннего пространства храма Софии, после того, как удалось налюбоваться византийскими мозаиками и самому походить по мостовым улиц античных городов, я не только понял, но и почувствовал разницу между книжным знанием памятника искусства и его непосредственным созерцанием.

Многие из тех впечатлений, которые я получил в Турции, были для меня совершенно неожиданными. Об одном из них я хотел бы рассказать.

Уже давно исследователи византийской живописи обратили внимание на мозаики, украшающие внутреннее помещение церкви монастыря Хора, вошедшей в историю культуры под турецким названием Кахриэ Джами.

Этот цикл всегда считался одним из самых значительных и совершенных. В последние годы мозаики Кахриэ Джами были расчищены, после чего они предстали перед зрителем в том виде, в каком украшали храм более шестисот лет назад — в начале XIV века.

То, что нашел я на внутренних стенах и сводах этого маленького скромного византийского храма, во многом изменило мое представление о средневековом искусстве.

Порой нам трудно бывает представить себе, что религиозное искусство может ярко и непосредственно передавать людские характеры и человеческие чувства, быть радостным и оптимистичным.

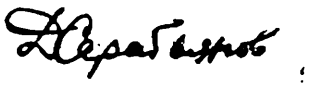
Между тем мозаики Кахриэ Джами рождают чувство радости. После того как они подверглись расчистке, ни один исследователь не станет уже писать о сдержанных красках мозаичного цикла Кахриэ Джами. Эти краски сияют. Золотой, зеленый, синий, розовый, коричневый и другие цвета сливаются в гармоничную цветовую симфонию. Эти красочные сочетания создают впечатление не только тонкости и изящества, но и яркости, торжественности. Здесь нет того аскетизма, той суровой сдержанности, которые всегда ассоциируются у нас с византийским искусством. Напротив, здесь чувствуется полнокровное восприятие жизни художником, стремившимся передать ее красочное великолепие, найти земное начало красоты. Это стремление сказывается и в цветовой гамме, и в ритмике композиций, и в трогательных живописных рассказах, которые передают библейские и евангельские легендарные события.

Вот, например, сцена, изображающая первые шаги девочки Марии. Вытянув вперед руки, стараясь не упасть, осторожно и робко ступает девочка по земле. В движениях Марии, в жестах сопровождающего ее ангела столько правды, характерности и выразительности! Рисунок в этой композиции смел и точен; фон, на котором развертывается действие, лаконичен и скуп. Из-за каменной стены с двумя башнями по бокам виднеется макушка дерева, наклонившегося под порывом ветра, который раздувает плащ ангела. В окружении сурового пейзажа, исполненного с необычным для средневекового мастера артистизмом, особенно трогательной выглядит фигура Марии. Вся эта сцена полна человечности и теплоты, в ней нет ни грана средневековой мистики.

Вспоминаются и многие другие композиции: в резком движении, не скрывая испуга, отшатывается Мария от ангела, возвещающего ей о будущем рождении Христа; Анна, выйдя в сад, молит бога о том, чтобы он ниспослал ей счастье материнства; Иосиф упрекает невинную и непорочную Марию. В этих библейских сценах, казалось бы, столь далеких от земной жизни, зритель всегда ощущает зоркий глаз художника, находит подмеченные им бытовые детали, увиденную им красоту природы — яркой, красочной, нередко как бы отвечающей переживаниям человека.

Композиционное мастерство безвестных авторов мозаик Кахриэ Джами, умение вписать сцену в круг купола, передать тонкую ритмику движения, благородная изысканность линий — вот еще одно свидетельство артистизма византийских мозаичистов.

Мозаики Кахриэ Джами напоминают нам не о глухой ночи средневековья, а о возрождении гуманистической культуры, о ярком расцвете итальянской живописи XV — XVI веков, о красках неповторимых шедевров, созданных венецианскими мастерами.



Михаил Царев

Спектакли и роли

В конце прошлого года в Вене состоялось торжественное открытие Бургтеатра после его капитальной реставрации. Австрийское Министерство просвещения пригласило деятелей советского искусства принять участие в этом большом событии театральной жизни страны.

За время нашего недельного пребывания в Вене мы просмотрели шесть спектаклей, из них четыре драматических: в Бургтеатре — пьесу Грильпарцера «Счастье и конец короля Оттокара», в филиале Бургтеатра — инсценировку повести Гамсуна «Виктория», в театре «Скала» — «Нору» Ибсена, в театре Иозефштадта — пьесу Дюма-Сартра «Кин».

Пьеса Грильпарцера, построенная на историческом материале, не принадлежит к лучшим произведениям этого австрийского классика и не дает достаточного материала для выявления мастерства талантливой труппы Бургтеатра. Несмотря на то, что в спектакле были заняты лучшие актеры, несмотря на тщательность и большую культуру постановки, осуществленной режиссером и директором театра Адольфом Роттом, спектакль показался мне слишком мрачным, и я был несколько удивлен, что театр для своего открытия остановил выбор именно на этой пьесе.

«Кин» Дюма в талантливой переделке Сартра представляет интерес как для актеров, так и для зрителей. Сартр обострил конфликт между Кином и английским светским обществом, которое унижало человеческое достоинство актера, третировало и оскорбляло его. Главную роль играл известный актер Пауль Гоффманн. У него есть очень интересные сцены, как, например, сцена в актерской уборной перед зеркалом, в которое он смотрит, гримируясь. Зеркала нет, есть только рама, и вся мимика актера видна зрителям. Превосходно проведена Гоффманном центральная сцена спектакля, когда Кин во время исполнения роли Отелло, возмущенный наглым поведением светской черни, останавливает спектакль и обрушивает на представителей знати всю силу своего гнева и страсти.

Однако, мне думается, что главная тема — тема борьбы Кина за признание актера человеком, не получила все же в спектакле своего полного раскрытия, и в этом отношении особенно неудовлетворительным показался мне последний акт, в котором острый конфликт в значительной мере смазан мотивами прощения и примирения.

Инсценировка повести К. Гамсуна «Виктория» представляет большую трудность. Этой трудности не преодолел и «Академитеатр». Большое количество коротких картин при отсутствии сюжетного развития несколько утомительно для зрителя. Но исполнение артисткой Кете Гольд сложной роли Виктории во многом искупает недостатки спектакля. Актриса с большим мастерством раскрывает внутренний мир героини, ее чистоту, непосредственность, самобытность, верно и четко рисуя перспективу развития образа от картины к картине, вплоть до трагического конца.

Большое впечатление произвело на меня исполнение Эрикой Пеликовской роли Норы в театре «Скала». Роль Норы — одна из труднейших в репертуаре актрис. Ее любила играть В. Ф. Комиссаржевская, и это было одно из лучших ее творений. Очень интересно и талантливо играла Нору С. В. Гиацинтова.

Эрика Пеликовская играет Нору традиционно, но с большой проникновенностью, хорошо распределяя свои выразительные средства, и на наших глазах из девочки-матери, забавляющейся с детьми-игрушками в своем кукольном доме, вырастает в протестующую женщину.

Спектакли, которые я видел в Вене, неравноценны, но все они свидетельствуют о большой театральной культуре Австрии.

Людмила Целиковская

На острове венецианского стекла

У каждого старого города есть своя слава, связанная с мастерством его рабочих-умельцев, из поколения в поколение передающих традиции своего искусства, в котором никогда не умирает народный гений. Венеция издавна славится своим стеклом. Быть в Венеции и не побывать на острове Мурано, где находится знаменитый завод венецианского стекла, казалось нам непростительным. Поэтому мы с радостью приняли приглашение посетить завод, познакомиться с его рабочими, посмотреть творения их рук.

Был дождливый день, какие часто бывают в сентябре в Венеции. За нами приехали представители завода, и мы, вооружившись зонтами и надев плащи, сели в катер, что-

бы добраться до острова. По дороге гостеприимные хозяева рассказали нам, что первые сведения о венецианском стекле относятся к X веку. С XIII века производство его расцветает и завоевывает мировую славу. Секрет изготовления стекла ревниво оберегался правителями Венеции, стекольные мастерские были сосредоточены на острове Мурано и тщательно охранялись от проникновения посторонних лиц, особенно иноземцев.

Наш катер подошел к берегу. Завод размещается в низких старого типа постройках. Сначала мы прошли по цехам, где изготовляются стеклодувные изделия для технических целей. Мы видели длинные ленты стеклянной массы, которая в опытных и проворных руках превращается в трубочки, колбы, стеклянные стержни. Часть работ механизирована, но большинство делается вручную, что ничуть не сказывается на качестве продукции: так точны и уверенны движения мастера. Потом нас повели в цех художественного литья, где мы долго стояли как зачарованные, наблюдая за работой знаменитых стеклодувов. При нас один из лучших мастеров в течение 5—8 минут из жидкой массы стекла выдул из своей длинной трубки разноцветную, причудливой формы рыбу. Это выглядело, как фокус. Мы видели только мелькание щипцов, которыми он что-то отщипывал, прихлопывал, вытягивал, непрерывно вращая жидкую быстро остывающую массу. И вот уже ученик берет готовую продукцию — чудесную рыбу с разноцветными плавниками и хвостом — и несет ее на отжиг. В это время другой мастер делает пресс для бумаг из стекла, подвергшегося кракелажу. Это способ закалки стекла, при котором вся его поверхность покрывается сетью мелких трещинок. Внутри сплошной массы стекла мелькают разноцветные рыбки и водоросли, которые, десятки раз преломляясь и сверкая в трещинах, создают полное впечатление сказочного подводного царства.

Мы видели весь процесс производства и восторгались искусством знаменитых мастеров-художников. Наконец мы попали в музей при заводе, где собраны лучшие образцы произведений, созданных за многие годы.

Невозможно себе представить, что все это сделано руками человека! Это симфония красок, форм, затейливого вкуса, фантазии мастера...

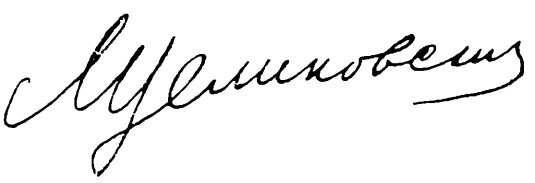
Люстры и канделябры из бесцветного прозрачного стекла, покрытого золотой или эмалевой росписью. Люстры из гирлянд причудливых цветов и фруктов из опалового, агатового, авантюринового стекла. Мозаичное стекло, украшенное многочисленными вставками — разноцветными розетками. Бокалы, графины, рюмки из филигранного стекла, получающегося от введения нитей цветного стекла в прозрачную массу. Мы видели шедевр этого музея — модель человеческой руки, выполненную в матовом стекле, с тончайшими синими жилками и розоватой ладонью. Рука кажется такой живой и теплой, что хочется ее потрогать.

Потом нас пригласили в зал, где все стены и окна украшены витражами, сделанными на заводе. В этом зале с великолепной акустикой пели все знаменитые певцы, когда-либо побывавшие на острове Мурано. Здесь пел недавно Джильи. Тут раздавались голоса Карузо и Шаляпина. И вот сейчас наш русский бас А. С. Пирогов спел «Из-за острова» и арию Бориса Годунова под восторженные аплодисменты присутствующих.

В зале знаменитых венецианских зеркал стоит туалет, сделанный в XVIII веке. Он весь украшен алмазами и выгравированными узорами. Это уникальное произведение искусства так сверкает и переливается всеми цветами радуги, что глазам даже больно смотреть.

И, наконец, зал венецианских мозаик. Это калейдоскоп красок. С тонким художественным вкусом сделаны мозаики на библейские сюжеты, ковры цветов, которые кажутся живыми. Среди последних работ попадаются мозаики, сделанные в сюрреалистическом вкусе в угоду современной моде.

...Как прекрасная акварель, стоит перед глазами Венеция с перламутровым Дворцом дожей на набережной. Когда подъезжаешь к городу, то с моря он кажется висящим в воздухе, синева неба сливается с изумрудной водой Адриатики, и одним из самых ярких и красочных впечатлений от Венеции останется, конечно, остров Мурано — остров знаменитого венецианского стекла.



Мастер шаржа и карикатуры

А. ГОФМЕЙСТЕР (автошарж)

Адольф Гофмейстер начал выступать в качестве карикатуриста, будучи уже довольно известным в Чехословакии писателем, автором ряда поэтических сборников, романов, путевых очерков. И, может быть, для наиболее полного и выразительного отображения своих взглядов и восприятий молодому литератору и публицисту, обладающему острым критическим умом, не хватало именно графической формы, которую он и нашел в жанре сатирического портрета и карикатуры.

С. К. НЕЙМАН

МАРИЯ ПУЙМАНОВА

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

БЕРНАРД ШОУ

Гофмейстер берется за карандаш карикатуриста и вскоре достигает значительных успехов, становится одним из ведущих и наиболее интересных мастеров чешской карикатуры.

Гофмейстер ярко проявляет себя в своеобразном „двойном“ жанре карикатуриста-журналиста, живо и стремительно откликающегося на злободневные события. Такой характер творчества диктует Гофмейстеру и соответствующую, целенаправленную художественную манеру — легкий, скупой и лаконичный изобразительный язык. Его карикатуры и шаржи сделаны как бы единым штрихом, единой динамичной, упругой и четкой линией. Похоже на то, что эти рисунки запечатлевают первое, зачастую самое сильное и убедительное впечатление об изображаемом человеке. Он всегда предпочитает рисовать с натуры и, встречаясь во время своих частых путешествий с видными деятелями культуры и искусства, тут же мгновенно делает свои шаржи.

Гофмейстер не принадлежит к числу шаржистов, которые видят свою задачу в том, чтобы их рисунки были „посмешнее“, и не останавливаются при этом перед карикатурными гиперболами, выходящими за пределы жизненной правды и здравого смысла. Шаржи Гофмейстера убедительно выявляют в изображаемом персонаже наиболее характерные и типичные черты. Гофмейстер умеет тонко уловить внешнее сходство, и хотя иногда сатирическое раскрытие образа подчиняется художником чисто литературной характеристике, оно возникает перед читателем в интересном и остроумном графическом выражении.

Таков, например, „колючий кактус“ — Бернард Шоу. С большой выразительностью, исключительно экономными графическими средствами изображен художник Лада. Буквально одной зигзагообразной линией Гофмейстер смог передать задумчивую позу мастера, углубившегося в решение какой-то трудной творческой задачи. Одной простой черточкой изображен сосредоточенный серьезный взгляд Лады, устремленный на чистый лист бумаги с лежащим на нем карандашом. Нельзя без улыбки смотреть на метко схваченную массивную фигуру Витезслава Незвала.

К числу удачных произведений Гофмейстера принадлежат также шаржи на Говарда Фаста и Поля Робсона. С большой непосредственностью и теплым юмором изображены дружески беседующие Жоржи Амаду и Пабло Неруда.

Особо следует сказать о политических карикатурах Гоф-

ЖОРЖИ АМАДУ и ПАБЛО НЕРУДА

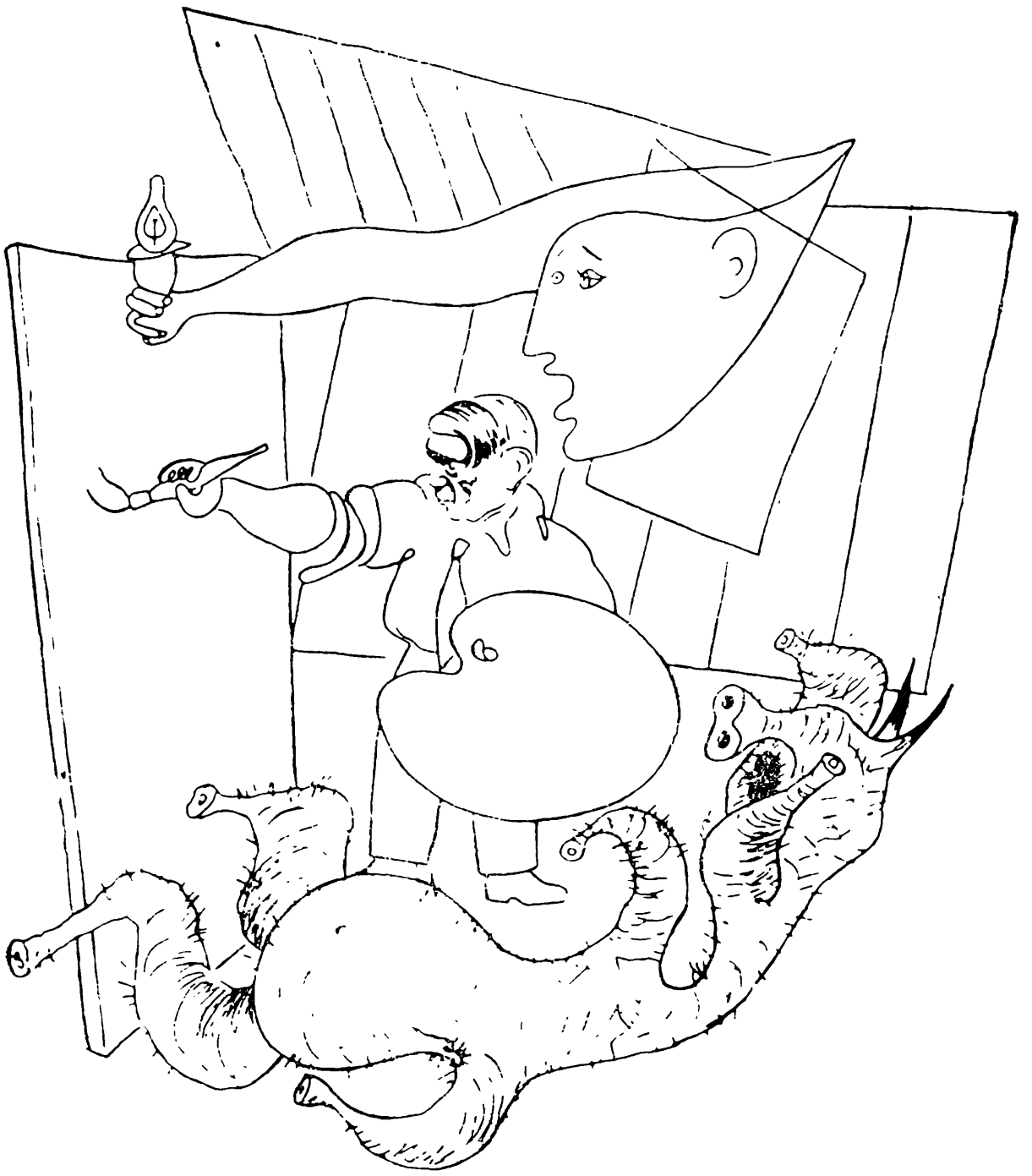
мейстера. Фашисты, агрессоры, поджигатели войны не раз подвергались метким ударам его сатиры. С уст художника исчезает дружеская улыбка взгляд его становится колючим и гневным.

Гофмейстер давно занимает достойное место в рядах художников — борцов, сражающихся против реакции и мракобесия. Вспомним 1933 год. Еще дымятся обгорелые стены рейхстага, подожженного гитлеровскими провокаторами. Волна кровавого фашистского террора захлестывает города Германии. Лучшие люди страны брошены в тюрьмы и концлагери. О какой бы то ни было антифашистской сатире не может быть и речи. Старейший сатирический журнал „Симплициссимус“ с неслыханной быстротой превращается в подголосок гитлеровской печати.

В это самое время в Праге знамя воинствующей антифашистской сатиры высоко поднимает группа молодых литераторов и художников; они создают боевой, зуба-

ЙОЗЕФ ЛАДА

ПАБЛО
ПИКАССО



ГОВАРД ФАСТ

стый сатирический журнал „Симпликус“, завоевавший вскоре любовь и признание всей прогрессивной антифашистской общественности и вызывавший дикую злобу и звериную ненависть гитлеровцев, которых он на глазах у всего мира не раз пригвождал к позорному столбу.

Одним из организаторов и руководителей журнала „Симпликус“ был тридцатилетний Адольф Гофмейстер.

Гофмейстеру предстояли трудные годы: позор Мюнхена, оккупация Чехословакии, долгие годы эмиграции, скитания по чужим странам.

Прогрессивный американский художник Уильям Гроппер так характеризовал творческую деятельность Гофмейстера в тот период:

„Гофмейстер — выдающийся карикатурист; его рисунки с первого взгляда приковывают внимание зрителя и столь же успешно выдержат испытание временем. Они свободны, очаровательны, забавны и всегда полны язвительной иронии. У Гофмейстера острый сатирический талант, и он своими чистыми тонкими штрихами неумолимо и откровенно

говорит правду о людях и событиях, против которых он выступает. И наоборот, его рисунки становятся ласковыми и нежными, когда модель этого заслуживает".

Возвратившись на родину после освобождения Чехословакии Ссветской Армией, Гофмейстер принимает активное участие в создании и развитии нового общественного строя, в укреплении сил социализма и демократии. Искусству сатиры, поставленному на службу этим благородным целям, Гофмейстер попрежнему отдает немало энергии и труда, совершенствуя и оттачивая свое мастерство.

Росту и развитию сатирической графики Гофмейстер серьезно содействует и своими научно-теоретическими работами.

Значительным и интересным вкладом в искусство карикатуры является капитальный труд Гофмейстера „Сто лет чешской карикатуры", вышедший в свет в 1955 году. В этой книге художник обобщает богатейший и интереснейший материал по искусству политической и бытовой карикатуры, начиная с середины прошлого века и кончая нашими днями. Гофмейстер излагает в ней свои взгляды на художественные принципы и задачи карикатуры вообще, изучает опыт карикатуристов других стран, рассказывает об истоках чешской карикатуры, о ее народности, характеризует ту роль, которую играла передовая чешская карикатура во второй половине

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

ПОЛЬ РОБСОН

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

XIX столетия и в последующий период — вплоть до ее активной борьбы против фашизма в период Мюнхена и во время второй мировой войны.

Эти славные боевые традиции чешского сатирического искусства являются прочной основой дальнейшего развития современной карикатуры Чехословакии, одним из замечательных мастеров которой является Адольф Гофмейстер.

Бор. Ефимов.

СБОРНИК СТАТЕЙ КЛАРЫ ЦЕТКИН

□

Clara Zetkin, Über Literatur und Kunst. Zusammengestellt und herausgegeben von Emilia Zetkin-Milowidowa, Berlin, Henschelverlag, 1955.

□

В Берлине вышел в свет сборник литературно-критических статей Клары Цеткин, печатавшихся с 1906 по 1911 год в немецкой социал-демократической женской газете «Gleichheit» («Равенство»).

Каждая страница этой небольшой книжки служит новым подтверждением старой истины: страстная, политически передовая мысль вносит большой вклад в понимание искусства и науку о нем. Есть глубокая закономерность в том, что классическими образцами литературного анализа являются работы выдающихся теоретиков и практиков революционной борьбы.

Статьи Клары Цеткин — «ударницы мировой революции», как назвала ее Н. К. Крупская, именно потому и являются образцом марксистского понимания искусства, что весь ее огромный, не только по времени жизненный путь — это непрекращающаяся борьба за победу дела социализма.

Знаток Маркса, соратница Энгельса, назвавшего одну из ее ранних статей «великолепной», Клара Цеткин — талантливый пропагандист взглядов своих великих учителей. Ее привлекают в первую очередь те писатели, творчество которых дает широкую картину жизни и поэтому позволяет ставить коренные вопросы революционной борьбы, воспитывать классовое сознание рабочего читателя.

Первая статья сборника посвящена Фридриху Шиллеру. Его жизнь и творчество рассматриваются на фоне эпохи, озаренной пламенем французской буржуазной революции.

Судьбу Шиллера, стремившегося к реальной политической свободе человечества, но сумевшего построить лишь карточный домик эстетического идеального государства для избранных, Клара Цеткин считает типичной для многих немецких художников. Шиллер, заканчивает она статью, не указывает пролетариату пути и направление борьбы, но он навсегда останется воспитателем возвышенных творческих идеалов, которые рабочий класс должен свести с неба на землю.

Статья о Генрике Ибсене написана под впечатлением только что полученной телеграммы о его смерти. Может быть, поэтому на этой статье больше, чем на других, лежит печать

времени. Говоря о герое Ибсена, К. Цеткин подчеркивает, что, несмотря на его индивидуалистическую природу, он в отличие от «белокурой бестии» Ницше стремится быть свободным не для того, чтобы господствовать. Непримиримая борьба за правду, неумолимость критики превратили Ибсена в разрушителя буржуазного порядка. «Воспитательная ценность искусства Ибсена для пролетариата будет расти вместе с задачами освободительной борьбы и расцветающей культурой масс».

Третий очерк — «Свыше наших сил» — посвящен одноименной драме Бьернстерньe Бьернсона. Если остальные статьи дают общую и сжатую оценку творчества писателей, то эта статья посвящена детальному рассмотрению одной дра-

мы, которую Клара Цеткин считает кульминационным пунктом развития Б. Бьернсона. Статья — блестящий пример литературного анализа, лучшее из всего, что написано о Бьернсоне. В ней неопровержимо доказана закономерность поражения драматурга, пытавшегося с мелкобуржуазных позиций раскрыть и разрешить современные классовые противоречия.

В разборе творчества Фрейлиграта, озаглавленном «Поэт революции», основная мысль заключается в том, что поэт, отдавший революции свой талант и силы, еще больше получил от нее. Однако юбилейный характер статьи, отмечающей 100-летие со дня рождения поэта, смягчил тон немногих строк, касающихся перехода Фрейлиграта в буржуазно-демократический лагерь. Мы знаем, что революция дала поэзии Фрейлиграта идеи, страстность, краски, а измена революции привела к упадку творчества.

Кроме этих статей и небольшого биографического очерка о Фрице Рейтере, в сборнике помещена статья «Искусство и пролетариат». В ней сконцентрированы и приведены в стройную систему взгляды Клары Цеткин на теорию, историю и будущее искусство.

Поставив вопрос о целях и значении искусства, Клара Цеткин полемизирует с теоретическими взглядами Руссо и Льва Толстого. Она отстаивает положительное влияние искусства на развитие человечества. Клара Цеткин говорит об огромном значении прогрессивного искусства, необходимого новым общественным силам, появляющимся на арене истории. Она видит в декадансе два полюса: первый — натуралистическое изображение жизни, лишенное идеи; второй — идеалистическое отображение мира, лишенное жизни.

Достичь цельности буржуазное искусство бессильно. Только пролетариат в новом, социалистическом искусстве добьется величественного синтеза жизни и идеи, нового ренессанса искусства.

Творческое отношение к классическому наследству, защита идейности, которая неразрывно связана с художественностью искусства,— вот основные положения статьи, прочно вошедшие в социалистическую эстетику.

Как сообщается в предисловии к сборнику, Институт Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина в Берлине готовит сейчас научное издание произведений Клары Цеткин.

Литературные статьи К. Цеткин — «бурнопламенной революционерки-марксистки», соратницы и друга В. И. Ленина — должны быть изданы на русском языке для широких масс советских читателей.

М. Кораллов.

„ЗА СВОБОДУ“

□

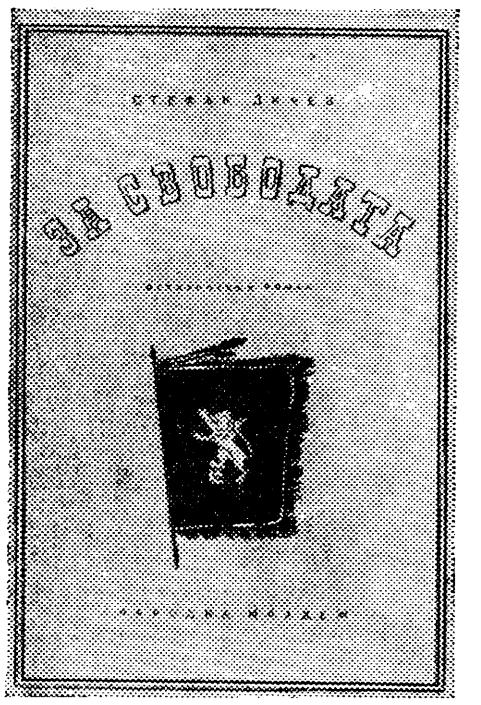
Стефан Дичев, За свободата. Исторически роман. ч. 1. София, Народна младеж, 1954.

□

Шестидесятые годы прошлого века — один из важнейших и интереснейших периодов в истории Болгарии. В это время борьба болгарского народа за свое освобождение от турецкого ига принимает конкретные революционные формы, выдвигает таких выдающихся вождей и руководителей борющихся масс, какими были Георгий Раковский, Васил Левский, Христо Ботев. Бурные события этой эпохи, яркие, колоритные фигуры ее деятелей не раз привлекали внимание болгарских писателей, начиная с Ивана Вазова. Однако многочисленные литературные произведения, написанные на эту тему, еще не дали широкой монументальной картины эпохи. За выполнение этой нелегкой задачи взялся молодой писатель Стефан Дичев, выпустивший в 1954 году свою первую книгу — исторический роман «За свободу».

Автор внимательно и добросовестно изучил многочисленные исторические материалы. Марксистско-ленинская историческая наука помогла ему разобраться в сложных экономических, социальных и политических проблемах эпохи, а чутье и талант писателя помогли создать волнующий исторический роман об освободительной борьбе героического болгарского народа.

В книге четко вырисовываются две основные сюжетные линии. В центре



одной из них стоит Георгий Раковский — выдающийся политический деятель, любимый народный герой, всю свою жизнь отдавший борьбе за освобождение родины; он предстает в романе во всей жизненной кон-

кретности, со всеми своими достоинствами и недостатками. Мы видим его то занятым в Белграде организацией сильного болгарского военного отряда — «болгарской легии», который должен был возглавить восстание болгарского народа против турецкого ига, то ведущим борьбу за создание военного и дипломатического союза балканских государств против турецкой империи. Ему кажется возможным освободить Болгарию с помощью засылаемых внутрь страны боевых болгарских отрядов — «чет».

Другая основная линия романа посвящена молодым годам легендарного Васила Левского. Психологически убедительно и исторически верно автор показывает, как из молодого отрешившегося от жизни монаха вырастает вождь народа. Вот он в Белграде, в рядах «болгарской легии» сражается против турок, засевших в крепости, и своей храбростью, ловкостью и сообразительностью вызывает восхищение Раковского, тут же давшего ему почетное имя «Левский» («Львиный»). Принимая активное участие в революционных событиях своего времени, Левский остро переживает неудачи Раковского. Его собственный революционный опыт подсказывает ему: «...не в четах, не в легиях, не в иностранной помощи, а в самом болгарском народе таится залог его освобождения». Так из ошибок и неудач Раковского извлекли политический опыт его ученики и последователи Левский и Христо Ботев, которому в романе также посвящено немало замечательных страниц. Впоследствии им удалось организовать болгарский народ и повести его за собой. Об этом должно быть рассказано в следующих книгах романа.

Художественная достоверность героев романа в сочетании с умелой его композицией, живым и образным языком делают новое произведение С. Дичева одним из значительных явлений современной болгарской литературы. Об этом свидетельствует и популярность, быстро завоеванная книгой у широкого читателя. Автор продолжает работать над следующей частью своего романа, которая, по его словам, должна выйти в свет в 1956 году.

Л. Лихачева.

В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА

□

K. F. Sedláček, Zavod ve stinu, Dil prvni, Karpelanské jaro, Československý spisovatel, Praha, 1954.

□

Буржуазное правительство Чехословакии, а затем фашистские оккупанты безуспешно пытались построить электростанцию на реке Петровке. Это строительство, которое должно изменить экономический облик всего района, оказалось по силам лишь демократической республике. На строительстве встречаются самые разные люди. Рождение в них нового мировоззрения — тема романа Седлачека «Завод в тени».

Многое интересно и свежо в книге Седлачека. Он сумел показать атмосферу, в которой складывалась жизнь страны после февральских событий 1948 года: брожение, которое происходило в умах многих людей, их стремления и поиски,— и показал, как было трудно на стройке подымать мужество рабочих, преодолевать косность и недоверие крестьян, скептицизм интеллигенции, вредительство и агитацию контрреволюционных элементов. Удача Седлачека в том, что направляющая роль коммунистической партии не декларирована, она показана в образах живых людей, в их действиях.

Заведующий кадрами Розмара, пожалуй — одна из самых удачных фигур коммуниста-руководителя в чешской литературе. Седлачек сумел наделить своего Розмару живой плотью, яркими индивидуальными чертами. Попав в незнакомую ему обстановку — на строительство плотины, — Розмара, совершенно не знающий техники этой отрасли, не может сразу разобраться в ошибках старого руководства и планах главного инженера Мариуса и потому порой приходит в отчаяние и мучительно ищет опоры. Чутье настоящего партийного работника подсказывает ему, что этой опорой являются люди, что только завоевав людей, можно спасти разваливающееся строительство. И Розмара ведет упорную борьбу за людей.

Большую помощь оказывает ему инструктор обкома Лацко — уроженец одной из деревень, которая должна быть затоплена в результате создания Корпеланского моря. Он хорошо знает местных крестьян, их нужды и психологию.

Жизненной получилась у Седлачека фигура инженера Мариуса —старого буржуазного интеллигента, высоко-

квалифицированного специалиста, сурового и замкнутого, относящегося к рабочим с презрением, но страстно, творчески любящего свою работу, умеющего находить смелые решения и мужественно их осуществлять. Преодоление недоверия рабочих к «чужаку»-Мариусу и борьба за самого Мариуса, который в конце концов начинает понимать, что только при новом строе у себя на родине он сможет применить свои знания, воплотить в жизнь свои творческие мечты, — один из основных конфликтов романа.

Отдавая дань большим и бесспорным достоинствам книги, нужно отметить недостатки ее композиции, затрудняющие читательское восприятие. Эпизоды, связанные между собой, подчас отделены друг от друга многими страницами; герои появляются на время и исчезают со страниц книги. Лишь постепенно уточняются их связи и взаимоотношения, которые сначала вызывают недоумение. Так, например, первые намеки на судьбу сестры Розмары Ирки — «мадонны», которая чудом спаслась от фашистских насильников и стала для всего края символом мести против издевательства и угнетения, против фашизма,— даны в самом начале книги. Но по-настоящему история ее жизни проясняется лишь через 500 страниц. И в силу этого образ Ирки приобретает какую-то несвойственную ей загадочность.

Есть в книге ненужные эпизоды, никак не связанные ни с характером действующих лиц, ни с развитием сюжета. Нужны ли они? Увеличивает ли такое построение динамичность книги? Вряд ли. Скорее умаляет ее.

Наконец, слабостью книги является то, как в ней разрешены некоторые конфликты. Для утверждения авторитета Мариуса вовсе не было необходимости прибегать к далеко не новому эффекту — к борьбе со стихийным бедствием, с наводнением. Если бы Мариус завоевывал доверие рабочих в процессе преодоления трудностей строительства — это прозвучало бы гораздо убедительнее. Автор пошел по облегченному пути и в разоблачении демагога и карьериста предзавкома Кнайпля, который натравливает рабочих на Мариуса: Кнайпль оказывается бывшим фашистом. А между тем проблема, поставленная автором, гораздо серьезнее и глубже; настоящее сотрудничество рабочих и руководящих технических кадров мешает карьеристу, даже если он и не скрытый политический враг социалистической Чехословакии.

Как видим, книга Седлачека не лишена недостатков, но в ней есть и свежесть восприятия, и умение давать индивидуализированные психологические характеристики, и понимание социальных предпосылок, определяющих поведение людей.

Р. Разумова.

„ЛИМ ГОК ЧЕН“

□

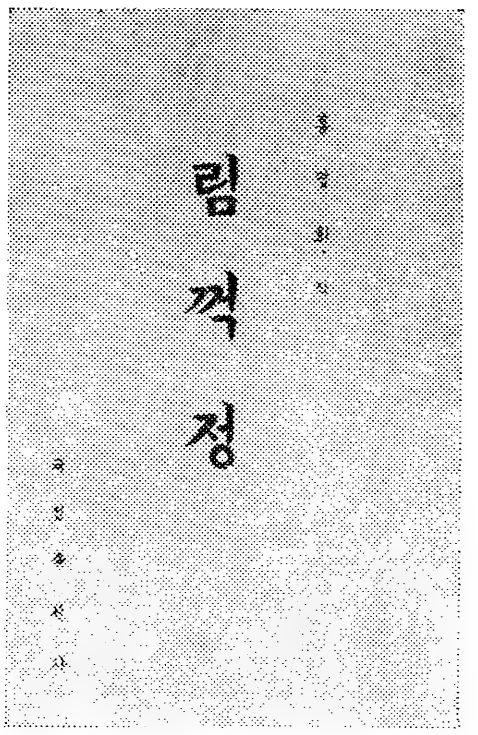
홍명희작 림꺽정
국립출판사,
1954—1955 년 °

□

Государственное издательство КНДР в 1955 году завершило выпуск второго издания исторического романа Хон Мен Хи «Лим Гок Чен» (в 6 томах), который считается одним из лучших произведений современной корейской литературы.

Хон Мен Хи известен советским людям как активный борец за свободу и независимость своей родины. Его монументальный роман «Лим Гок Чен» впервые печатался начиная с 1928 года на страницах корейской газеты «Чосон Ильбо». В основу его положены исторические события, имевшие место во второй половине XVI века.

Лим Гок Чен, по профессии мясник, принадлежал к самому низшему сословию корейского феодального общества и испытал на себе притеснения янбаней (дворян), помещиков и чиновников. Ненависть к господствующему классу заставила Лим Гок Чена стать главарем «разбойников» — так называли правители крестьянские повстанческие отряды. Его имя широко известно в Корее. До сих пор оно популярно среди трудящегося населения как имя отважного борца за интересы угнетенных. В романе Хон Мен Хи рассказывается о том, как Лим Гок Чен, став во главе «разбойничьей шайки», вел мужественную борьбу против феодалов-помещиков. Отряд Лим Гок Чена с оружием в руках нападает на жестоких эксплуататоров-богачей, отнимает у них



награбленные у народа ценности. Однако грабя богатых, Лим Гок Чен всегда сочувственно относился к беднякам, к обездоленным, помогая им всем, чем мог. Поэтому «разбойники» Лим Гок Чена и он сам

снискали народную любовь и славу.

Роман подробно рассказывает о том, как создавался отряд Лим Гок Чена, как вокруг него группировались люди из низших сословий, которых объединял протест против существующего строя, как они действовали. Положительные герои романа «Лим Гок Чен» быстро завоевали симпатии в народе, видевшем в них пример самоотверженной борьбы против угнетателей. С другой стороны, Хон Мен Хи острым оружием сатиры едко высмеивает бездарных представителей феодалов — янбаней, которые вели паразитический, праздный образ жизни.

Роман имеет и большую историко-познавательную ценность. Писатель широко показывает обычаи, нравы и традиции корейцев, со знанием дела описывает социальную среду средневековой Кореи. Он всесторонне освещает взаимоотношения, существовавшие между правящим классом — янбанями и крестьянами, колоритно воссоздает образы представителей всех слоев населения тогдашней Кореи. В романе использовано много фольклорных рассказов, которые передаются устами героев, что составляет одну из отличительных черт этой книги.

Роман Хон Мен Хи, созданный в годы японского господства, был опубликован в то время только потому, что японские оккупанты не смогли разглядеть его революционную направленность. Зато корейский народ отлично понял, что в скрытой форме хотел сказать ему автор книги. Смелая борьба героев против угнетателей звала корейцев к такой же самоотверженной борьбе с новыми притеснителями — японскими колонизаторами. Этим и объясняются широкая популярность и огромный успех романа, которые он приобрел сразу же после опубликования в газете и пользуется до сих пор.

Хан М.

СБОРНИК ТАЛАНТЛИВЫХ РАССКАЗОВ

□

يسف ادريس
ارخص ليالى
القاهرة ١٩٥٤

□

Молодой египетский писатель Юсуф Идрис выпустил в свет сборник рассказов «Самые дешевые ночи». Врач по профессии, он начал заниматься литературной деятельностью в 1950 году. Его первые рассказы были опубликованы в журналах «Аль-Катиб», «Аль-Кысса», «Аль-Маляйин» и др. В 1953 году Идрис начал сотрудничать в газете «Аль-Мысри», а затем перешел в журнал «Роза аль-Юсуф». В 1954 году за участие в работе съезда прогрессивных арабских писателей он был уволен из журнала.

Сборник рассказов «Самые дешевые ночи» состоит из двадцати одного рассказа, большинство из которых совсем короткие зарисовки («Взгляд», «Диплом», «Обиженный», «Мимоходом» «Происшествие», «Пари» и ряд других). Все они подкупают краткостью своего изложения, скупостью деталей и в то же время удивительно полной и глубокой характеристикой действующих лиц.

Так, например, рассказ «Взгляд» повествует о том, как маленькая девочка-служанка, идущая с тяжелой ношей из магазина, вдруг как вкопанная останавливается посередине улицы и широко раскрытыми глазами, совершенно зачарованная, смотрит на своих сверстников, играющих в мяч. И хотя весь рассказ занимает немного больше страницы, читатель, словно живую, видит эту оборванную маленькую, худую девочку, лишенную самых простых радостей детства.

Рассказ «Пари» — небольшая жанровая сценка. Уличные торговцы поспорили, сможет ли человек съесть сто плодов инжира. Находится смельчак, вокруг которого немедленно собирается толпа зевак, внимательно следящих за ходом спора. Но вот пари выиграно и победитель уходит — он доволен не столько самой победой, сколько тем, что хоть на время утолил свой голод.

С любовью автор пишет о бедняке Абдо (рассказ «Забота»), которому вечно «не хватает двух кыршей» (мелкая египетская монета). Абдо готов делать все что угодно, но ему никак не удается избавиться от постоянной нужды. Наконец-то ему повезло — и он становится донором. Он продает свою кровь до тех пор, пока не доводит себя до полного истощения, после чего врачи отказываются покупать его кровь. И снова Абдо нужны два кырша.

Все симпатии автора на стороне, трудового народа,

на стороне простых людей — тех, в ком, не угасая, искрится подлинное веселье и кто острым словцом или живой шуткой скрашивает для себя и своих друзей тяжелые минуты жизни, как это делает весельчак Оф из рассказа «Ночью». В сборнике немало юмористических рассказов. Вот, например, небольшая сценка «Заветное желание». Идрис рассказывает о маленьком служащем из провинциального городка, который мечтает хоть раз поговорить по телефону. Но когда наконец мечта его осуществляется и заветная трубка уже поднесена к уху, выясняется, что говорить ему не с кем и не о чем. И чудак не находит ничего лучшего, как выругать телефонистку. На том и заканчивается этот долгожданный разговор.

Однако Юсуф Идрис не всегда смеется добродушно. С едкой издевкой обрисовал он в рассказе «Четверть грядки» образ Исмаил бея — ожиревшего и ни на что не способного тунеядца. Без посторонней помощи он не может осуществить даже своей прихоти — вскопать четверть грядки. Интересно написан рассказ «Обиженный». Блюстители порядка задержали с поличным контрабандиста с опиумом. Но при этом они обнаруживают такое глубокое знание всех тонкостей торговли опиумом, что у читателя не остается никакого сомнения, что они сами причастны к контрабанде.

Рассказы Юсуфа Идриса написаны живым и сочным языком, лишенным тех надуманных и витиеватых образов, которыми некоторые арабские писатели так часто украшают свою прозу.

В. Атамали.

РОМАН О ВОССТАНИИ ЗУЛУССКИХ КРЕСТЬЯН

□

Jack Cope, The Fair House, London, MacGibbon and Kee, 1955.

□

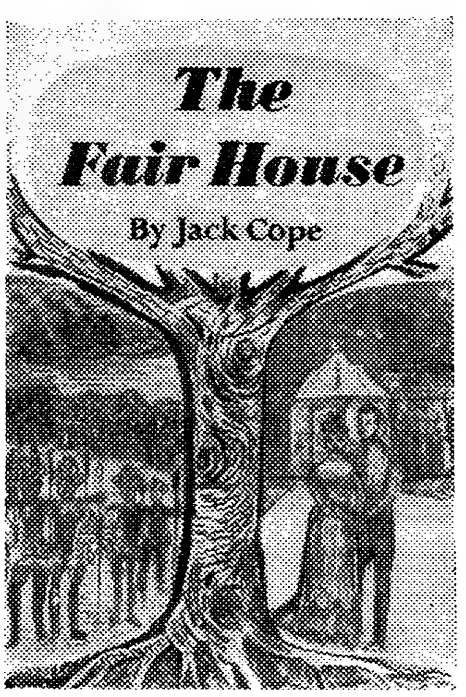
Герой знаменитой шекспировской комедии «Виндзорские проказницы» сэр Джон Фальстаф спрашивает горожанина Форда, какова его любовь. Форд отвечает: «Она была как прекрасный дом, построенный на чужой земле. Я потерял мое здание, выбрав ошибочно место для постройки». Эти слова южноафриканский писатель Джек Коуп взял эпиграфом к своему историческому роману «Прекрасный дом».

Литературную деятельность Джек Коуп, который родился в Натале в 1913 году в семье небогатого фермера, начал как очеркист, поэт, новеллист. Роман «Прекрасный дом» — его первое крупное произведение. События, описанные в романе, относятся к началу девятисотых годов и развертываются на территории Наталя в краалях и лесах, в городах и на фермах страны.

Зулусские крестьяне согнаны со своей земли, превращены в издольщиков и батраков. Чтобы уплатить налоги, крестьяне вынуждены идти в город на заработки. Люди живут впроголодь, без надежды на лучшее будущее. Введение всеобщего подушного налога оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. Вначале протест зулусского народа носит еще стихийный характер. Колониальные власти спешат расправиться с населением; вступает в ход военная машина. Наталь был объявлен на осадном положении; против туземцев, вооруженных лишь копьем ассагой, брошены хорошо оснащенные войска колониальной армии. Зулусские крестьяне вынуждены покинуть свои хижины; они бегут в леса, где их объединяет вождь Бамбата — старый, опытный и умный воин. Начинается революция.

Сопоставляя туземных крестьян и рабочих с белыми колонизаторами, писатель подчеркивает моральное и нравственное превосходство туземцев над их поработителями. В то время как солдаты колониальной армии беспощадно убивают беззащитное население, зулусские повстанцы щадят белых женщин и детей.

Образы простых, бесхитростных детей земли — Бамбаты, рабочего революционера Коломба Пелы, его жены Люси, старика Упта-



кати, крестьянина Но-Инжиля — овеяны романтикой, это люди, полные мужества, высокой нравственности, неистребимой любви к свободе.

Среди этих честных, трудолюбивых людей находит своих верных друзей герой романа Том Эрскин. Англичанин по рождению, сын колониального магната, Том Эрскин, однако, ни в чем не похож на своего отца или на своих сверстников — сынков богатых плантаторов. Том мечтает о скромной трудовой жизни вместе с любимой женой. Но его жена, Линда, оказалась в лагере его врагов — воинствующих расистов. Мечты Тома построить для себя

«прекрасный дом» рухнули. Вынужденный, как офицер ополчения, принять участие в военных действиях, Том с отвращением видит, что война с зулусами, которая велась под флагом «защиты цивилизации», превратилась в карательную экспедицию. Сожженные дотла хижины, груды трупов — вот путь победителей.

«Кто мы — солдаты или убийцы?!» — с негодованием восклицает Том, узнав, что армия снабжена разрывными пулями «дум-дум».

Восстание зулусов оказало громадное влияние на Тома Эрскина. Он понял, что смысл жизни не в том, чтобы строить для себя идиллический мирок на лоне природы, а в том, чтобы сделать счастливыми других людей.

Том покидает свою жену, навсегда порывает с миром богатых собственников и отдает себя борьбе за освобождение туземных народов Африки.

За последние годы в южноафриканской литературе появилось немало хороших книг, в которых правдиво рассказано о страданиях людей, ставших жертвами расовой дискриминации и сегрегации.

Роман Джека Коупа «Прекрасный дом» выделяется среди многих из них тем, что в нем показано становление личности, развитие ее революционного самосознания. Оставаясь верным историческим фактам, писатель сумел в своей книге ответить на те вопросы, которые в наши дни глубоко волнуют народы колониальных стран.

И. Волевич.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О РАБЛЕ

□

Henri Lefevre, Rabelais, Paris, Les éditeurs français, reunis, 1955.

□

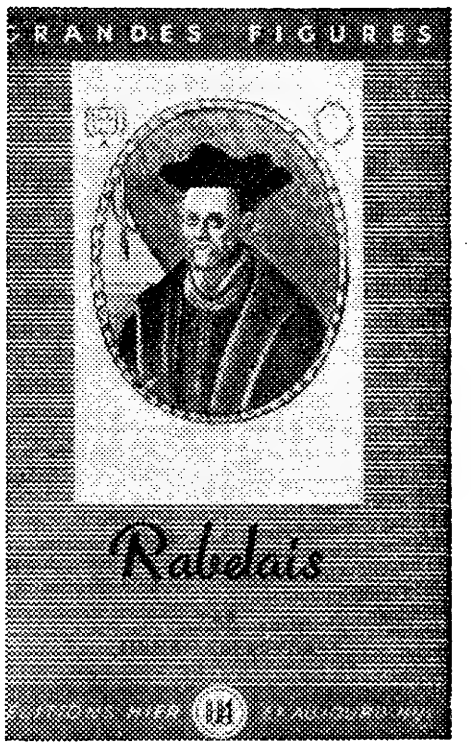
Анри Лефевр, известный французский прогрессивный философ и теоретик искусства, опубликовал свою новую работу, посвященную творчеству Франсуа Рабле. Это очередная книга серии «Великие образы», выпускаемой издательством «Объединенные французские издатели».

Перу Лефевра, помимо теоретических работ по вопросам эстетики (например, книги, вышедшей в русском переводе под названием «Введение в эстетику»), принадлежит несколько монографий о великих представителях французской культуры. Среди них книги о Паскале, Декарте, Дидро, Мюссе.

Показать многообразие, богатство и глубину философской мысли Рабле, раскрыть, говоря словами самого Рабле, «мозговую субстанцию» его причудливого романа об удивительных приключениях Гаргантюа и Пантагрюэля — вот задача, поставленная автором. Несмотря на то, что Рабле относится к числу писателей, которым посвящено немало исследований, Лефевру удалось сказать в своей книге много нового и интересного.

Определяя основной круг проблем, затронутых в книге, Лефевр совершенно правильно замечает, что задачей современного исследователя является, прежде всего, выяснение основных тенденций исторического развития эпохи, в которую создавалось данное произведение. Поэтому свою работу о Рабле он начинает с истории. В интересной и содержательной главе «Век Рабле» дан исторический очерк развития Франции XVI века, выявляются основные закономерности исторического процесса того времени, нашедшие отражение в «Гаргантюа и Пантагрюэле». Анализ романа Рабле, данный Лефевром, основан на одном из положений его книги «Введение в эстетику» — искусство, как одна из форм общественного сознания, стремится охватить все богатство содержания жизни.

Обширный фактический материал, характеризующий общественно-экономическое развитие Франции XVI века, быт, нравы, народные обычаи и взгляды, помогает Лефевру установить тесную связь произведения Рабле с народной жизнью, выявить многообразие народных источников его романа. Опираясь на глу-



бокое изучение истории, давая тщательный и вдумчивый анализ текста произведения, Лефевр сумел по-новому показать значение и величие творения Рабле. В монографии много места уделено раскрытию боевого звучания сатиры Рабле, его смелым атакам устоев и институтов средневекового общества.

Стремление автора связать анализ художественного произведения с основными процессами исторического развития весьма плодотворно. Следует, однако, сказать, что сближение отдельных моментов романа Рабле с теми или иными явлениями развития производительных сил и

производственных отношений во Франции того времени подчас сделано несколько прямолинейно, упрощенно.

Очень интересна глава «Жизнь Рабле». Автор, используя новейшие данные, рассказывает о трудном жизненном пути писателя-гуманиста, который никогда не складывал оружия в борьбе с феодальной реакцией. Особое внимание уделяет Лефевр характеристике лионского периода жизни писателя, совершенно справедливо указывая на большое значение Лиона — центра французского свободомыслия и просвещения шестнадцатого века — для мировоззрения Рабле.

В книге Лефевра много острой полемики с односторонними выводами ряда буржуазных исследователей (Февр, Буланже), которые в своих работах преуменьшают значение и философскую глубину мысли Рабле. Лефевр замечает, что по многогранности интересов, по глубине проникновения в жизнь своей эпохи Рабле можно сравнить с великим итальянским мыслителем Возрождения — Леонардо да Винчи.

Рабле — мыслитель, стихийный материалист, Рабле — смелый политический сатирик, Рабле — большой художник слова, зачинатель жанра романа во Франции встает перед читателем со страниц книги Лефевра, живо и образно написанной, насыщенной богатым фактическим материалом, интересной своей методологией и выводами.

И. Лилеева.

НОВЕЛЛЫ АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА

□

Arnold Zweig, Der Elfenbeinfächer, Aufbau-Verlag, Berlin, 1953.
Arnold Zweig, Der Regenbogen, Aufbau-Verlag, Berlin, 1955.

□

«На этот раз рассказы эти посвящаются вам, сограждане берлинцы, читатели Германии, Восточной или Западной — все равно. Объединимся же мы когда-нибудь, ведь труд — могущественней бомб и огня!»

Этими словами, обращенными к немецким патриотам по обе стороны Эльбы, открывает свой сборник новелл «Веер из слоновой кости» видный немецкий писатель и общественный деятель Арнольд Цвейг.

В книжках «Веер из слоновой кости» и «Радуга», вышедших за последние годы, собраны рассказы Арнольда Цвейга прошлых лет. Когда читаешь такие новеллы, как «Счастье Отто Темке», «Старик с палкой», «Кино», «Пятнышко на глазу», кажется, будто перелистываешь страницы сатирической хроники нравов старого немецкого буржуазного общества. В этом обществе страдают и борются за существование слабые, сломленные судьбой люди: старый господин Крейтель, машинист метро Темка, приказчик в книжной лавке Бенно Бремм, виноторговец Ингберт Маукнер. Рассказы эти звучат протестом против уродующего личность социального строя, проникнуты чувством любви к маленькому человеку.

Пафосом обличения германской военщины сильны антимилитаристские новеллы Цвейга. Многие из них представляют собой как бы эскизы, наброски к его военным романам от «Воспитания под Верденом» до «Огневого затишья». В этих рассказах встречаются персонажи, знакомые нам по романам Арнольда Цвейга. Таковы рассказы «Что человеку нужно», «Враг», «Только одни лошади», «Человек против человека», «Гельбрет-миротворец», «Прожорливый едок», «Вошь». Перед читателем проходят люди, физически и духовно искалеченные войной, но все же не сдающиеся, стремящиеся найти в непроглядном мраке «грозы над Европой» свет новой жизни.

Рассказы о первой мировой войне написаны в разные годы. Если в ранних новеллах Цвейг вместе со своими героями еще тщетно ищет выхода из тупика войны, то в более поздних уже звучит тема Октябрьской революции. В рассказе «Прожорливый едок» есть примечательное упоминание о Джоне Риде — первом американце, который имел мужество

рассказать своим соотечественникам и всему миру правду о революции в России и приветствовать рождение новой, социалистической эры. «С Востока — свет!» — этими знаменательными словами заканчивается одна из новелл Цвейга.

Представлены в сборниках и исторические новеллы Цвейга: «Смерть Сен-Марса», «Помощник» и другие. Диапазон их очень широк — от галантной миниатюры до восточной легенды. Обращаясь к разным странам и эпохам, Цвейг всюду ищет свой идеал свободного духом человека. Интересен рассказ «Помощник», где автор в образе Эккермана—известного биографа Гете — показывает подвиг самоотвержения,

отказ от личной славы и творчества во имя любви к великому учителю, воплотившему в своих творениях всю мудрость, весь гений века.

Словно страницы воспоминаний юности Цвейга, воспринимаются читателем рассказ «Бенароне» и повесть «Отзвучавшие дни», содержащие интересные автобиографические подробности. Черты молодого Цвейга явно проглядывают в образе искусствоведа Штейница, написанном на фоне Мюнхена, где начиналась литературная жизнь многих немецких демократических писателей старшего поколения.

Быть может, наиболее удачны те новеллы, в которых Цвейг обращается к образам людей из народа. С теплой симпатией рисует он судьбы простых людей труда. В девятнадцать лет гибнет молодой шахтер Михаэль Мрозик, чья жизнь являет пример служения долгу и моральной чистоты. Молодой сербский партизан Мита Младенов готов пожертвовать ради родины своей свободой и любовью, даже самой жизнью. Сапер Шаммес под пулями остается на поле сражения рядом с умирающим товарищем.

Героине новеллы «Цветок цикория» Женевьеве Халлерт, работнице с фермы под Лиллем, во время немецкого вторжения в первую мировую войну грозит мучительная и позорная казнь шпионки. Но она стойко выносит арест и плен, а потом вновь принимается за мирный труд на освобожденной земле родины. Войны проходят, утверждает автор, а народ остается и на пепелище строит новую жизнь, так как бессмертен народ в своей неиссякаемой созидательной силе.

В этих сборниках Цвейг обнаруживает свой незаурядный дар новеллиста. В них чувствуется зоркий глаз художника, большая наблюдательность, позволяющая ему иной раз через незначительный бытовой эпизод глубоко заглянуть в душу изображаемых им людей. Умело отобранными, скупыми штрихами Цвейг рисует физический и духовный облик человека. Богат и разнообразен язык его героев — от стилизованной, нарочито старомодной, вычурной речи маркиза в рассказе «Швея» до солдатского жаргона, которым разговаривают персонажи его военных новелл. Иногда, например в новелле «Кино», он прибегает к внутреннему монологу как к тончайшему инструменту психологического анализа. Всем этим рассказам придает большое обаяние мягкий юмор, глубоко человечный и теплый в «Бенароне», местами, однако, сменяющийся язвительной сатирой, как в «Гельбрете-миротворце», где автор пользуется приемами гротеска и гиперболы. Замечательна писательская память Арнольда Цвейга, которая помогает ему правдиво воссоздать в художественных миниатюрах картины жизни Германии разных эпох: и в начале века, и в войну 1914—1917 годов, и в первые послевоенные годы.

Читая сборники рассказов Арнольда Цвейга, мы видим мастерство большого художника, гуманиста и демократа, внесшего немалый вклад в развитие немецкой реалистической прозы двадцатого века.

Р. Миллер-Будницкая.

АВСТРАЛИЯ

ПРОТИВ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

По мнению прогрессивной печати Австралии, «проблема аборигенов» принадлежит к числу самых жгучих проблем современной действительности в этой стране. Большинство аборигенов, то есть коренных чернокожих обитателей Австралии, было истреблено белыми колонизаторами, а немногие уцелевшие вытеснены в бесплодные пустынные центральные районы. Часть уцелевших аборигенов попрежнему ведет первобытный образ жизни, занимаясь охотой и сбором дикорастущих растений. Другая часть работает батраками на овцеводческих фермах.

Коренные австралийцы подвергаются на каждом шагу унизительной дискриминации. Им запрещено жить за пределами специально выделенной для них территории, они получают мизерную заработную плату, им не позволяют входить в дом к белым, их ограничивают даже в выборе продуктов питания в тех случаях, когда они имеют возможность их приобрести. В австралийской прессе и литературе все чаще раздаются голоса протеста против этой несправедливости по отношению к коренному населению Австралии.

Недавно издательство «Австрало-Азиатское общество книги» выпустило роман под названием «Мираж». Автор книги Ф. В. Викерс проработал семнадцать лет на овцеводческой станции в Северо-Западной Австралии. Он хорошо изучил жизнь местных пастухов-аборигенов и метисов, проникся любовью и уважением к этим простым и добрым людям.

Герой книги — метис Фредди Адамс, сын черной аборигенки и белого надсмотрщика. Фредди еще в раннем детстве был увезен отцом с территории расположения своего племени и воспитывался «как белый». Фредди усвоил манеры и поведение белых людей, получил образование, но то и дело наталкиваясь на существующий в Австралии «цветной барьер», он постепенно убеждается в том, что в данных условиях для него достойная человека жизнь— это мираж.

Роман «Мираж» — яркое обличение господствующей в Австралии расовой дискриминации. Как пишет новозеландская газета «Пиплз войс», он отличается высокими художественными достоинствами.

АВСТРИЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ МОЦАРТА

Как сообщает газета «Эстеррейхише фольксштимме», празднование двухсотлетия со дня рождения Моцарта развертывается все более широко: в настоящее время «моцартовские комитеты» уже работают в 14 странах. Так, в Мексике и Японии впервые готовятся к постановке оперы Моцарта; из Англии в Австрию будет доставлена передвижная выставка с моцартовскими реликвиями; в ГДР выходят под редакцией Арнольда Цвейга новые материалы о жизни и творчестве композитора. Традиционная «Пражская весна» будет в этом году посвящена Моцарту. В США снимается большой фильм, посвященный истории создания «Волшебной флейты».

Драматический театр «Скала» в Вене поставил одноактную пьесу «Гете», написанную двумя австрийскими литераторами — Эйгеном Фриделлем и Альфредом Польгаром.

Роль Гете исполнил артист театра «Скала» Фридрих Лобе, играющий также старого князя Болконского в поставленной Эрвином Пискатором инсценировке «Войны и мира» Толстого.

На снимке: Фридрих Лобе в роли Гете.

(Газета „Эстеррейхише фольксштимме“).

АНГЛИЯ

ПИСАТЕЛИ В ЗАЩИТУ МИРА

В Лондоне состоялась четвертая ежегодная конференция организации «Писатели в защиту мира». Эта организация была создана четыре года назад, когда несколько английских литераторов подписали текст обращения, в котором говорилось: «Мы верим, что различные политические и экономические системы могут сосуществовать на основе соглашений, достигнутых мирным путем. Как писатели мы хотим мира и своим творчеством будем стремиться обеспечить мир...» Ныне число подписавших это обращение превышает восемьсот человек. Под обращением стоят подписи не только английских писателей, но и литераторов других стран. Здесь мы видим Джеймса Олдриджа, Андре Моруа, Мулка Раджа Ананда, Шона О'Кейси, Бертрана Рассела, Доррис Лессинг, Веркора и других.

Организация «Писатели в защиту мира» издает свой бюллетень, последний номер которого посвящен ежегодной конференции, проходившей на тему «Писатели и ослабление международной напряженности». Прения по вопросам международных отношений открыл известный историк Эрик Хобсбон. Он заявил, что нынешнее ослабление международной напряженности не должно внушать сторонникам мира обманчивого чувства, будто они могут ослабить бдительность. Писательница Наоми Митчисон посвятила свою речь роли литературы в расширении взаимопонимания между народами, а также вопросу о взаимоотношениях между писателями различных стран.

Конференция приняла решение выпускать ежеквартальный литературный журнал, который должен способствовать достижению целей этой организации и обеспечить трибуну писателям, борющимся за мир. Было также решено, что в будущем журнал следует превратить в международный и издавать его на нескольких языках.

ЛЕН ДОГЕРТИ — ПИСАТЕЛЬ-ШАХТЕР

Демократическая пресса Англии приветствовала появление книги Лена Догерти «Дети шахтера», в которой молодой писатель изобразил жизнь рабочей семьи в районе угольных шахт Йоркшира.

Немало повестей и рассказов написано об английских шахтерах, об их борьбе с шахтовладельцами, но, как отмечают обозреватели «Дейли уоркер» и «Уорлд ньюс», Догерти не только талантливо и реалистически описал жизнь простых тружеников. Он взял на себя «бесконечно более трудную задачу» — воссоздать сложную и противоречивую картину рабочего движения в сегодняшней Англии. Центральной фигурой романа является коммунист Роберт Меллерс, а главной темой — создание и укрепление местной коммунистической организации.

«Героем книги,— пишет «Дейли уоркер»,— и является в определенном смысле эта коммунистическая группа, которую Роберт Меллерс находит после своего трехлетнего отсутствия ослабевшей и почти распавшейся. Преодолевая собственные слабости и ошибки в обращении с людьми — некоторую самоуверенность и недооценку сознательности простых рабочих,— Меллерс с товарищами шаг за шагом укрепляет коммунистическую организацию и завоевывает авторитет на шахте».

В романе Догерти перед читателем проходят разные типы шахтеров. Отмечая это достоинство произведения, обозреватель «Дейли уоркер» подчеркивает, что любая из этих фигур не написана одной краской. Молодой писатель изображает героев в развитии. Он показывает, как проникновение в сущность коммунистических идей раскрывает глаза людям, по-новому осмысливает жизнь многих мужчин и женщин, работающих на шахте.

Газеты указывают, что роман Лена Догерти не лишен также и недостатков и что далеко не все в нем равноценно в художественном отношении. Несмотря на это прогрессивная печать характеризует его появление как важное событие в английской литературе, мимо которого не сможет пройти и «близкая к правительственным кругам «литературная аристократия» («Уорлд ньюс»).

Газеты публикуют также биографические данные о Лене Догерти, судьба которого мало чем отличается от судеб тысяч других английских шахтеров. Четырнадцати лет он оставил школу, а в семнадцать лет спустился в забой, где работает до сих пор. Но призвание писателя оказалось сильнее жизненных обстоятельств. Недосыпая и отказываясь от всяких развлечений, молодой шахтер старался каждую сэкономленную минуту потратить на то, чтобы писать или пополнять недостаток образования. Некоторое время он занимался на заочных литературных курсах. Но, как сообщает «Дейли уоркер», гораздо больше, чем все наставления преподавателей, дали ему книги Горького, учившие писать о народе и для народа.

Сейчас Лен Догерти работает над новым произведением, посвященным жизни и борьбе рабочего класса Англии.

АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА

Группа прогрессивных литераторов — Д. Бичинг, М. Слейтер, М. Хайнеманн и К. Рикворд — обратилась к читателям газеты «Дейли уоркер» с призывом рекомендовать и присылать материал для антологии поэзии социального протеста, которая подготав-

ливается к изданию в 1956 году.

Разъясняя причины, побудившие их взяться за подготовку такой антологии, составители ее подчеркивают, что, хотя в Англии сейчас выходит множество сборников стихов, все же «социальная поэзия, поэзия протеста, не часто встречается в этих изданиях; между тем она является важной частью поэтического наследия последних лет».

В антологию предположено включить образцы поэзии XX века, начиная с периода первой мировой войны 1914—1918 годов и до наших дней. В заключительном разделе будут помещены стихи современных английских поэтов.

КНИГА, РАЗОБЛАЧАЮЩАЯ КОЛОНИЗАТОРОВ

Английский писатель и журналист Дерек Картен, побывавший в Африке, выпустил небольшую публицистическую книгу, разоблачающую политику колонизаторов на африканском континенте.

По утверждению журнала «Лейбор мансли», книга эта, озаглавленная «Африка, Африка!», представляет собой волнующее произведение, основная идея которого следующим образом выражена самим автором: «Народы Африки пробудились... Богатейшую колонию империализма уже нельзя обворовывать с такой легкостью и безнаказанностью, как прежде... Миллионы людей восстали на борьбу за место под своим собственным африканским солнцем».

Книжка Дерека Картена насыщена фактическим материалом. Автор рассказывает о баснословных прибылях колонизаторов, о беспощадном угнетении коренного африканского населения, о голоде и бесправии населения, о преследовании прогрессивных деятелей и организаций, добивающихся самоуправления для колоний, о неописуемых жестокостях империалистов, которые именуются «чрезвычайными мерами». Самым значительным моментом в жизни сегодняшней Африки автор считает пробуждение народов и их борьбу против колониализма.

ЗАБЫТ ЛИ ШОУ?

В одном из тихих уголков Англии — Эйоте — стоит небольшой старинный домик из красного кирпича. 2 ноября 1950 года здесь скончался Бернард Шоу. Что же было сделано для того, чтобы увековечить память этого выдающегося художника?

Как сообщает газета «Пиплз уорлд», вначале его почитатели в частном порядке стали проводить сбор средств в фонд памяти Шоу. На собранные деньги предполагалось учредить премию имени Бернарда Шоу за выдающиеся драматические произведения, создать театр, который ставил бы пьесы Шоу, превратить его дом в национальный музей. Но ни один из этих планов не был осуществлен: в фонд памяти Шоу удалось собрать лишь очень небольшую сумму.

Домик Шоу сдан в аренду. Как отметил (видимо, не без злорадства!) в своем сообщении из Эйота корреспондент американского агентства Юнайтед пресс, редкие посетители этого отдаленного уголка предпочитают тратить время не на осмотр домика Шоу, а на выпивку в близлежащем трактире...

О ПОЛОЖЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ТЕАТРА

За последнее время в театральных кругах Англии все сильнее становится озабоченность положением английского театра. Отражение этой озабоченности можно найти и в опубликованном не так давно ежегодном докладе Совета по делам искусств. Этот Совет занимается распределением тех небольших средств, которые предоставляются на нужды театров, музеев и т. д.

«Общая сумма, выделяемая из общественных средств на нужды музыкальных, оперных и драматических театров,— говорится в докладе,— достигает в настоящее время 4 пенсов в год на каждого англичанина: 3 пенса ассигнуется парламентом (распределяется с помощью Совета по делам искусств), а 1 пенс — муниципальными властями. Эта скудная дотация из общественных фондов — без всякой гарантии, что она будет такой же в следующем году,— одна из самых низких, которые предоставляет любая другая цивилизованная нация для поддержания своего искусства...»

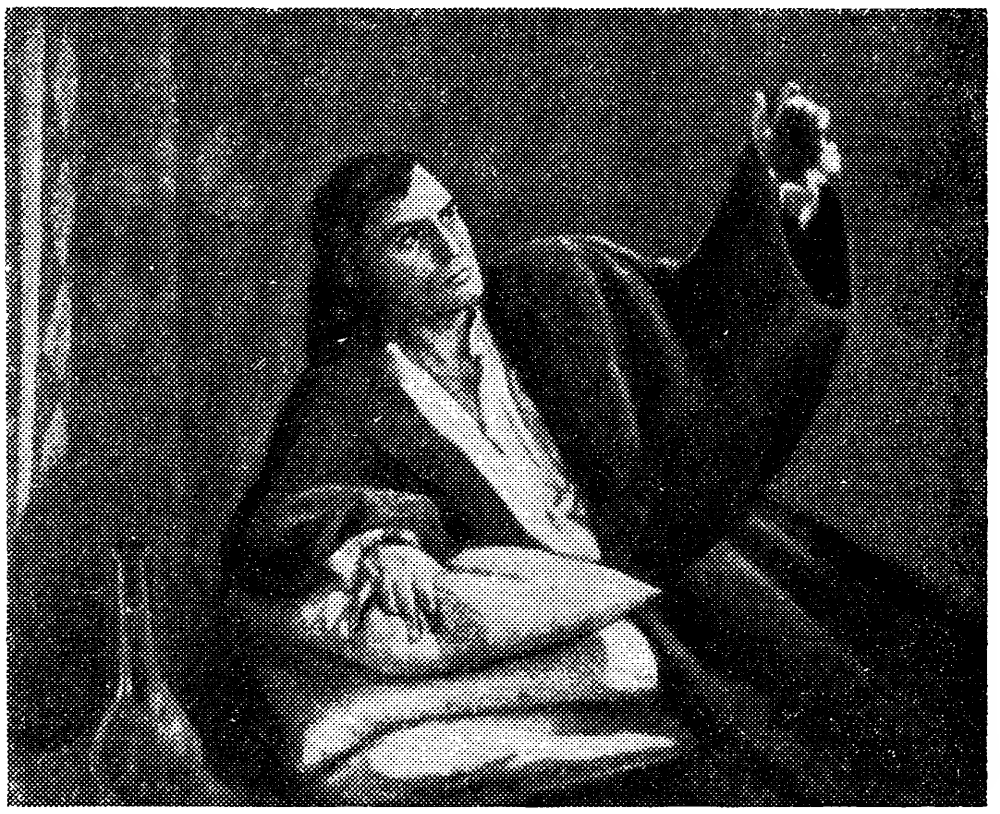
В докладе далее сообщается, что за двадцать пять лет было построено лишь два маленьких провинциальных театра. Но за это же время в стране закрылось 120 театров. Здание известного английского театра оперы и балета «Ковент гарден» «устарело и непригодно для использования». Лондонский драматический театр «Олд Вик» «находится в захудалом, старом и непригодном помещении». Многие концертные залы в провинции «старомодны, места в них расположены неудачно, техническое оснащение недостаточно, акустика плоха».

В то же время Совет по делам искусств считает, что исправить это положение можно, лишь передав управление театрами в руки государства. В качестве первого шага он предлагает сдать два-три театра компаниям, «заинтересованным в искусстве, а не в бизнесе».

КИНОКОЩУНСТВО НАД ШЕКСПИРОМ

Мы уже писали о подготовке фильма «Джо Макбет» по трагедии Шекспира «Макбет» *. Недавно этот

* См. «Иностранную литературу» № 4 за 1955 г., раздел «Из месяца в месяц».



Кадр из фильма «Ричард III» — Лоуренс Оливье в роли Ричарда III.

(Журнал „Иллюстрейтид Лондон ньюс")

фильм, который является, по выражению деятелей Голливуда, «современной парафразой Шекспира», вышел на экраны. Классическая трагедия была превращена в обыкновенную гангстерскую историю. Действие происходит не в средневековой Шотландии, а в наши дни в городе Чикаго. Содержание фильма «Джо Макбет» вкратце таково. Гадалка в ночном клубе (соответствующая шекспировским трем ведьмам) предсказывает одному из гангстеров — Джо Макбету — большое будущее. Но на его пути к господству над преступным миром Чикаго стоит главарь шайки Дук (то есть король Дункан), называемый гангстерами «парень номер один». Честолюбивая Лили (!) Макбет уговаривает своего мужа Джо прикончить Дука, что тот и выполняет, зарезав «парня номер один» в бассейне для плавания. Ленни (то есть Макдуф), которого для удобства сделали сыном Бэнки (то есть Банко), организует погоню за четой Макбет. В конце фильма Джо Макбет, загнанный своими противниками в тупик, поливает всех свинцовым дождем из автомата. Гора трупов. По ошибке он приканчивает и свою жену.

Герои фильма разговаривают в основном на воровском жаргоне. Еще до выхода на экран этот фильм, снятый в Англии с участием американских актеров, был широко разрекламирован, вплоть до рассылки пакетов с окровавленными кинжалами из папье-маше.

Как только фильм был закончен, он был отправлен на родину Шекспира. Но, как и следовало ожидать, в Англии фильм был встречен более чем холодно.

«Санди таймс» называет фильм «вульгарным и мерзким», «Иллюстрейтид Лондон ньюс» — «разнузданным и глупым». Обозреватель газеты «Трибюн» задает вопрос: «Такт, здравый смысл, интеллект — где они? Не здесь». По утверждению обозревателя «Дейли уоркер», фильм представляет собой «нечто ошеломляющее» по своей чудовищной нелепости, если учесть, что он поставлен «совершенно всерьез».

Обозреватель «Санди таймс» с горечью высказывает сомнение в том, «следует ли привозить в Англию американских киноактеров, чтобы заставить их сниматься в фильме, созданном американцем об американцах, живущих в Америке».

На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно сообщение, появившееся в американской газете «Дейли филм рентер». Обозреватель этой газеты писал недавно: «Я слышал, что Майк Франкович, который выпустил фильм «Джо Макбет», собирается поставить аналогичную картину по трагедии «Король Лир» под названием «Тони Лир», а также современный вариант «Юлия Цезаря» в виде гангстерской драмы под названием «Большой Цезарь».

ПОЧЕМУ НЕ „РИЧАРД ТРЕТИЙ"?

Английский журнал «Пикчер пост» опубликовал статью, в которой критикует выбор фильма для показа на ежегодном королевском кинофестивале, происходящем в Лондоне. Для этого вечера полагается отобрать лучший английский фильм текущего года. Таким фильмом в 1955 году, по мнению английской печати, был фильм «Ричард Третий», поставленный известным арти-

Кадр из фильма «Ричард III» — леди Энн Невилль в исполнении Клер Блум, известной по картине «Огни рампы», где она снималась в качестве партнерши Чаплина.

(Журнал „Иллюстрейтэд Лондон ньюс")

стом и режиссером Лоуренсом Оливье по трагедии Шекспира.

«Ричард Третий»,— пишет «Пикчер пост» в статье, озаглавленной «Недостаточно хорошо для королевы?» — это лучший британский фильм 1955 года. Совершенно явно выбор должен был пасть на него. Однако ему предпочли американский боевик. Почему?

Журнал сам отвечает на поставленный вопрос, причем делает это в довольно иронической форме. Точка зрения, высказанная «Пикчер пост», сводится к тому, что жюри руководствовалось не столько художественными, сколько политическими и дипломатическими соображениями. Только этим, по мнению «Пикчер пост», можно объяснить поведение специальной отборочной комиссии, которая прошла мимо «Ричарда Третьего» и «выбрала американскую стряпню Альфреда Хитчкока, озаглавленную «Ловите вора».

ПАМЯТНИК РОБИНЗОНУ КРУЗО В ГУЛЛЕ

«И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом как придется,— не испросив ни родительского, ни божьего благословения, не приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый — видит бог! — час, 1 сентября 1651 года, я сел на корабль...» — так рассказывал завороженным слушателям Робинзон Крузо, герой знаменитого романа Даниэля Дефо, об отплытии из портового города Гулля в свое необыкновенное путешествие.

Ныне, по сообщению журнала «Вельт унд ворт», в Гулле решено воздвигнуть статую, увековечивающую образ всемирно известного литературного героя Робинзона Крузо.

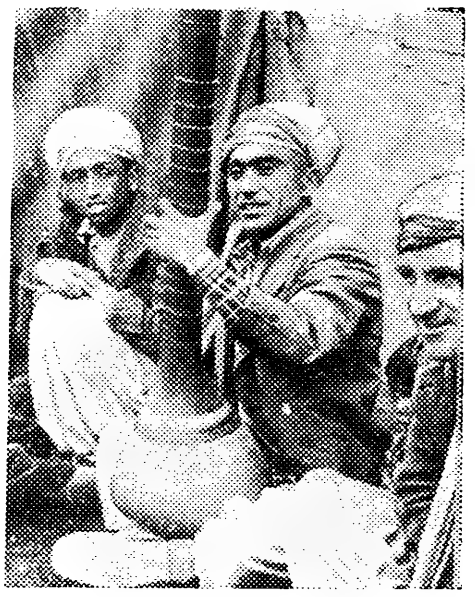
АФГАНИСТАН

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Современная афганская литература существует на двух языках — пушту и персидском; в ней представлены различные жанры: эпос, лирика, драма, художественная публицистика. Наибольшей популярностью в Афганистане пользуются произведения современных писателей Бенавы, Ульфата, Решгина, Решгия и др.

Весьма известен сборник стихов талантливого поэта Бенавы. Ему принадлежит также ряд трудов по литературоведению и истории, как, например, «Филология», «Мир-Вайс», «Пуштунистан». В книге «Пуштунистан» Бенава описывает героическое прошлое афганского народа, нравы и обычаи родственных афганцам патанских племен. Бенава популярен также как собиратель народных песен. В октябре 1955 года за достижения в области литературы и истории Афганистана Бенава наряду с другими видными литераторами и историками был избран почетным членом афганской академии наук «Пашто Толына».

Видным писателем и журналистом является Сеид Касым-хан Решгия, написавший на языке пушту поэму

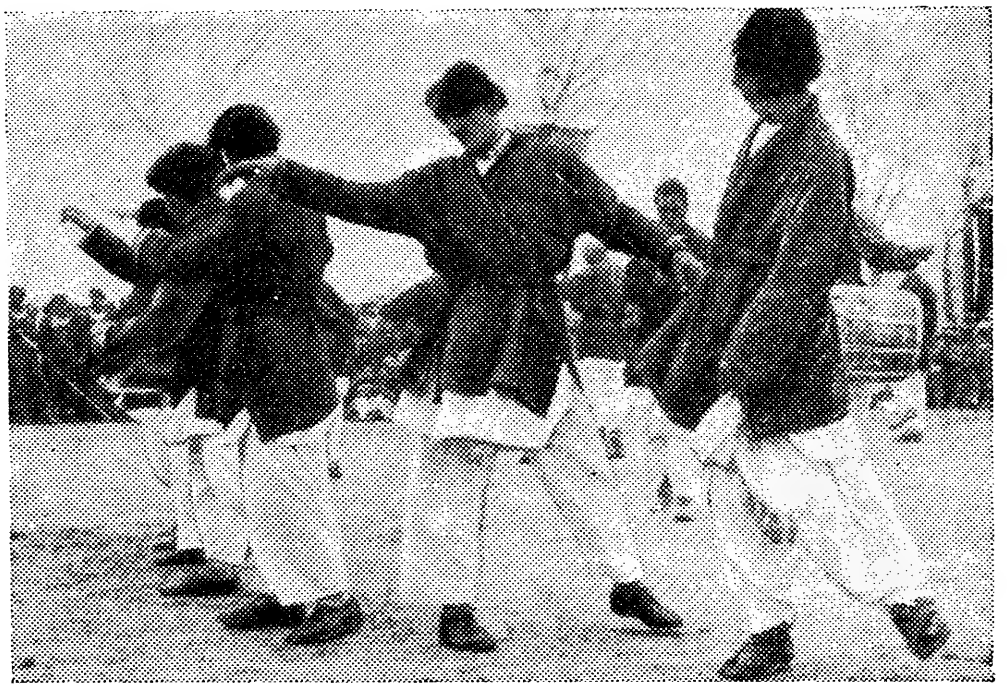


Афганские музыканты, играющие на народных инструментах.

«Весенняя сказка». Ему принадлежит также книга «История Афганистана в XIX веке».

Важное место в современной афганской литературе занимает творчество таких поэтов, как Бетаб, Бесмаль, Гулям Хазрат-хан Халил, Халилулла-хан Халим Джерар и др. Тематика их стихов весьма разнообразна. В них прославляется мужество, проявляемое афганцами в борьбе с врагами родины, бичуются невежество и всякого рода пороки. В лирике воспевается красота родной природы, чувство любви и т. д. Многие современные афганские поэты пишут газеллы (корот-

Танец пуштунов в Афганистане.



кие лирические стихотворения, чаще всего любовного характера, исполняемые под аккомпанемент национальных инструментов).

За последнее время в афганской литературе успешно развивается драматический жанр. Наиболее известными драматургами являются Юсуф-хан Кохзад, а также поэт-драматург Пайнда Мухаммед.

Неизменно возрастает удельный вес переводной литературы. Так, например, прозаик Азиз-уль-Рахман Фатхи перевел произведения Льва Толстого, Достоевского, Чехова и Горького.

Лучшие литературные силы страны группируются вокруг общества «Анджумане-Адаби», существующего при академии «Пашто Толына».

Большую роль в популяризации афганской классической и современной литературы играет издаваемый академией двухнедельный литературно-исторический журнал «Кабул». Кроме того, выходит ряд других литературных журналов — «Герат», «Армагане-Меймене», «Эрфан», «Пуштун Жаг».

Многие современные писатели и поэты Афганистана принимают активное участие в общественной жизни страны.

В 1944 году при Кабульском университете был создан литературный факультет, на котором в настоящее время обучается около 90 человек. Факультет готовит национальные кадры литературоведов и журналистов.

ТЕАТР И КИНО СЕГОДНЯ

За последнее время в Кабуле, Герате, Мазари-Шерифе и других городах по инициативе национальной интеллигенции были организованы первые театры, в которых играют актеры-любители. Деятельность этих любительских групп и положила начало профессиональному городскому театру в Кабуле «Похыни-Нандара», в котором идут главным образом пьесы афганских драматургов. По существующей издавна традиции женские роли в пьесах исполняются мужчинами.

Сюжеты пьес, идущих в театре, заимствуются из народного эпоса. Значительное место в репертуаре занимают пьесы о героическом прошлом афганского народа, долгое время боровшегося против иноземных захватчиков. В них подчеркиваются такие черты национального характера афганцев, как преданность родине, бесстрашие и гостеприимство по отношению к друзьям.

* * *

Афганские власти уделяют значительное внимание строительству кинотеатров в стране. Сейчас в Кабуле имеется 4 кинотеатра, в том числе один на 600 мест — специально для женщин, организованный женским благотворительным обществом «Анджумане-Несван».

Кроме того, кинотеатры имеются в Герате, Кандагаре, Мазари-Шерифе, Джелалабаде и других городах. Там, где нет кинотеатров, местные органы просвещения демонстрируют кинофильмы в клубах.

Департамент печати Афганистана рассчитывает создать в ближайшие годы свою киностудию и начать производство фильмов. В настоящее время на экранах афганских кинотеатров демонстрируются иностранные фильмы — индийские, французские, итальянские, американские. Всего в течение года ввозится около 400 картин.

За последние годы на экранах появились советские кинофильмы, быстро завоевавшие симпатии зрителей. В основном советские кинофильмы демонстрируются в столичных кинотеатрах «Кабул» и «Бехзад». Особую популярность завоевали такие кинофильмы, как «Цирк», «Мастера советского искусства», «Василиса Прекрасная», «Садко» и др. Местная печать тепло отзывается о советских кинофильмах, помогающих афганцам знакомиться с жизнью советского народа.

БОЛГАРИЯ

ПАМЯТИ ЙОРДАНА ЙОВКОВА

Болгарская общественность отметила 75 лет со дня рождения выдающегося болгарского писателя-гуманиста Йордана Йовкова.

Союз болгарских писателей и Институт болгарской литературы Академии наук посвятили этой дате торжественный вечер.

Открывая вечер, ответственный секретарь Союза писателей Христо Радевский сказал: «Йордан Йовков является одним из родоначальников нашей художественной прозы. Он умер в расцвете творческих сил, и с его смертью болгарская литература понесла невозместимую утрату. Литературное наследство Йовкова разнообразно, оно ставит перед болгарским литературоведением и критикой сложные вопросы. Будем надеяться, что наряду с изданием сочинений писателя у нас появятся и серьезные исследования его творчества...»

Академик Николай Лилиев прочел свои воспоминания о Йовкове. В заключение артисты Народного театра имени Крыстю Сарафова исполнили отрывки из произведений писателя.

ПОЭМА МАЯКОВСКОГО НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Издательство «Народная культура» в серии «Библиотека советских поэтов» выпустило поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин» в переводе Людмила Стоянова. В предисловии к книге Л. Стоянов подчеркивает, что поэма эта «по глубине, по силе воздействия, идейному масштабу и художественному замыслу является одним из редчайших эпических произведений мировой литературы».

ДИМИТРОВГРАД — ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Димитровград — самый молодой город Болгарии — является не только крупным промышленным, но и культурным центром.

Еще 5—6 лет назад в здании старого вокзала работала единственная библиотека-читальня, где было лишь 2—3 тысячи книг и насчитывалось не более 200—300 читателей. Сейчас библиотеки Димитровграда располагают 70 тысячами томов, из них 8 тысяч томов технической литературы. В фондах Государственной городской библиотеки, расположенной в специально выстроенном просторном здании в центре города, большое количество научно-технической литературы на болгарском и русском языках. Филиалы этой библиотеки, передвижные и стационарные, открыты также в наиболее отдаленных кварталах города, как, например, в шахтерском квартале «Молодая Гвардия».

Как сообщает газета «Отечествен фронт», работники библиотек и читален настойчиво и умело пропагандируют книгу: они устраивают литературные вечера, встречи с писателями, читательские конференции, выставки, организуют радиопередачи. Как отмечает газета, книга стала необходимостью для жителей Димитровграда.

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮГОСЛАВИЕЙ

Расширяются культурные связи между Болгарией и Югославией. Югославская общественность тепло встретила известных болгарских деятелей культуры: композитора Панчо Владигерова, скрипачку Неделку Симеонову, певицу Нелли Карову и солиста Софийской оперы Михаила Попова. В Болгарии успешно прошли концерты югославских артистов.

Устанавливаются связи между болгарскими и югославскими журналистами. Группа югославских журналистов посетила Болгарию. Представители болгарской печати побывали с ответным визитом в Югославии.

Успехом пользовалась выставка болгарской графики в Любляне.

Как сообщает болгарская печать, культурные связи между Болгарией и Югославией будут расширяться и крепнуть. В Югославию выедет Болгарский государственный ансамбль песни и танца.

Намечено перевести на болгарский язык и издать произведения югославских писателей Милована Глишича, Петра Кочича, Анте Ковачича.

В Югославии переводятся и издаются произведения болгарских писателей А. Константинова, Елина-Пелина, Л. Стоянова.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Нынешний учебный год в болгарском Институте театрального искусства начался в новом, специально построенном здании. Прежде институт занимал тесное, малоприспособленное помещение. «Кончились занятия в «кельях»,— шутят теперь студенты.

В новом здании, как сообщает журнал «Театр»,— просторные аудитории, две малые сцены для учебно-репетиционных работ, хорошо оснащенные в техническом отношении, большая сцена с вращающимся кругом, напоминающая своими размерами сцену профессионального театра со зрительным залом на 500 мест.

Институтская библиотека располагает книжным фондом в 11 тысяч томов на болгарском, русском, французском, английском и немецком языках.

ВЕНГРИЯ

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ О ПИСЬМЕ М. ШОЛОХОВА

Среди венгерских деятелей культуры письмо Михаила Шолохова, опубликованное в нашем журнале, вызвало горячий отклик. «Предложение Шолохова выражает давно назревшую потребность...— пишет лауреат премии им. Кошута ректор Будапештского университета, историк литературы Иштван Шётер. — Мы давно стремимся ознакомить зарубежные страны с венгерской литературой, искусством, наукой, так как в Европе большая часть нашей литературы совершенно неизвестна... Да и мы сами недостаточно знакомы с новыми, иногда столь волнующими явлениями культуры других народов. В этой области и нам предстоит сделать еще очень многое».

«За истекшие десять лет,— замечает венгерский скульптор лауреат премии им. Кошута Андраш Бек, — перед нашим искусством раскрылись небывалые возможности. Но чтобы действительно использовать эти возможности, надо ознакомиться со всем опытом, накопленным другими народами, как об этом говорит Шолохов в своем письме... К сожалению, даже искусство стран народной демократии мы знаем далеко не исчерпывающе».

Заслуженный деятель искусств ВНР скрипач Дьёрдь Гараи напоминает о том, насколько важно укрепить и расширить культурные связи между различными странами. О задаче международного общения и сотрудничества архитекторов пишет в связи со статьей Шолохова председатель Союза венгерских архитекторов лауреат премии им. Кошута профессор Матэ Майор.

КОНГРЕСС ВЕНГЕРСКИХ ИСТОРИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

В Будапеште состоялся конгресс венгерских историков литературы. Были заслушаны три доклада. Габор Толнаи выступил с докладом на тему «Вопросы реализма и древняя венгерская литература». Развитию критического реализма в венгерской литературе был

посвящен доклад Яноша Барты. Критик Петер Надь сделал доклад о проблемах социалистического реализма в литературе Венгрии. В прениях выступили многочисленные венгерские литературоведы, а также ученые, прибывшие из других стран: Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Чехословакии и Советского Союза.

ПАМЯТИ МИХАЯ ВЕРЕШМАРТИ

В Венгрии было торжественно отмечено столетие со дня смерти выдающегося прогрессивного поэта-романтика Михая Верешмарти. В статьях, посвящаемых поэту в связи с этой датой (столетие исполнилось 19 ноября), венгерские литературоведы отмечают, что творчество Верешмарти является неотъемлемой частью передовой венгерской культуры. Идейно-художественные традиции Верешмарти живут и в современной литературе.

Как сообщила «Сабад неп», в день столетней годовщины в Будапеште состоялось торжественное возложение венков на памятник Верешмарти. Венки были возложены от Центрального комитета Венгерской партии трудящихся и крупнейших венгерских общественных и культурных организаций. Большие торжества состоялись в Капольнашнеке — селе, где родился Михай Верешмарти.

ВЕНГЕРСКИЕ РАБОЧИЕ ПЕСНИ

В издании Института рабочего движения Венгрии недавно вышел сборник «Венгерские рабочие песни». Книга эта представляет собой собрание песен венгерских рабочих, которые создавались и исполнялись начиная с конца прошлого века и вплоть до момента свержения режима Хорти. Подобное собрание произведений рабочего фольклора появляется в Венгрии впервые. До этого была издана лишь одна книга подобного рода — «Пролетарский песенник» (1926), но издана она была в Париже на средства венгерской революционной эмиграции.

В сборник вошло 180 песен. Многие из них безымянны. Некоторые были написаны (в разное время) поэтами и, подхваченные народом, приобрели популярность подлинно народных песен.

Каждой песне в тексте книги предпосылается нотная запись мелодии. Сборник снабжен подробными примечаниями, в которых излагается история возникновения песен, приводятся варианты.

СОВЕТСКИЕ ПЬЕСЫ НА ВЕНГЕРСКОЙ СЦЕНЕ

Венгерская печать помещает подробные рецензии о постановке на сцене будапештского театра им. Мадача «Кремлевских курантов» Н. Погодина и на сцене театра им. Петефи «Гимназистов» Тренева. В рецензиях, опубликованных на страницах «Иродалми уйшаг» и «Мювелт неп», особо упоминается о превосходном сценическом воплощении образа Ленина в «Кремлевских курантах» артистом Шандором Печи.

ПЯТИЛЕТИЕ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ

Пять лет назад был создан Венгерский государственный народный ансамбль танца. За это время он более 500 раз выступил в Венгрии и за ее пределами. Отмечая пятилетие ансамбля и тот успех, которым сопровождаются его выступления, венгерская печать с признательностью напоминает о творческой дружбе, которая установилась между венграми и советским ансамблем Игоря Моисеева, и помогает венгерским артистам совершенствовать свое мастерство.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОМАН О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Среди немецких читателей пользуется успехом роман молодого писателя Рудольфа Фишера «Мартин Хоп 4». «Мартин Хоп» — название шахты, разрушенной в 1952 году в результате вредительства. Действие романа начинается с описания катастрофы и кончается картиной восстановления шахты. Однако, как единодушно отмечает критика, это «не роман об угольной промышленности», а произведение о «роли труда в очеловечивании человека», о судьбах живых людей, об их духовном росте, о становлении характеров.

«Мартин Хоп» — первый роман Фишера. «Мы встретились здесь с талантом,— пишет журнал «Нейе дейче литератур», — талантом, не вполне еще развившимся, не свободным от опасных влияний, но ярко индивидуальным... Как редко встречаешь такую влюбленность в действительность, в богатство и многообразие жизни, в поэзию будней... Но ведь без этого увлечения жизнью, без этого неустанного наблюдения над ней, без деталей книга никогда не сможет стать живой. Фишер понимает значение цвета, запаха, вкуса, звука в литературе, он умеет создавать жизненную атмосферу».

ПЕРЕПИСКА ТОМАСА МАННА

Интересную переписку Томаса Манна с писателем Вальтером фон Моло опубликовал журнал «Нейе дейче литератур». В августе 1945 года Вальтер фон Моло обратился к Томасу Манну с письмом, в котором просил его вернуться в Германию, чтобы помочь «советом и действием». От-

вет Томаса Манна адресован, по его собственным словам, «по существу Германии». Это свидетельство глубоких патриотических чувств писателя, его заинтересованности в судьбах страны, в сохранении мира. Возражая тем, кто пытался объявить его «невозвращенцем», оторвать от немецкой культуры, Томас Манн пишет: «Доктор Фаустус» должен убедить всех, кто действительно умеет читать, что сердце мое осталось с Германией, что я страдал ее горем... Я верю в судьбу Германии, как ни бесконечно печально ее теперешнее положение. Надо перестать говорить о конце немецкой истории. Нельзя поставить знак равенства между Германией и тем коротким и мрачным историческим периодом, который отмечен именем Гитлера».

«Я знаю, что придет время,— подчеркнул Томас Манн,— когда мои произведения вернутся к вам, если даже я сам не смогу этого сделать».

Журнал предпосылает этому письму статью одного из знатоков творчества Манна — Альфреда Канторовица. Канторовиц приводит много цитат и из других выступлений Томаса Манна, в частности из его известного открытого письма декану философского факультета Боннского университета и из его первой «Радиоречи к немецким слушателям».

НОВАЯ ПЬЕСА ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

В издательстве «Грейфен Ферлаг» опубликована новая пьеса Лиона Фейхтвангера «Вдова Капет». Действие происходит в эпоху французской революции 1789 года. Вдова Капет — Мария-Антуанетта.

По сообщению газеты «Нейес Дейчланд», премьера пьесы состоялась в Германской Демократической Республике в виде радиопостановки. Автор лично участвовал в переработке своего нового произведения для радиопередачи. Музыку написал известный немецкий композитор Пауль Дессау.

«Необходимо и полезно периодически и в новой форме раскрывать народу правду об исторических революционных событиях»,— писала газета «Нейес Дейчланд» в связи с этой постановкой пьесы Фейхтвангера в ГДР.

«Вдова Капет» была поставлена также в Гамбурге.

МОНОГРАФИЯ О РЕПИНЕ

Как сообщает газета «Нейес Дейчланд», издательство «Кунст» в Дрездене выпустило первую на немецком языке монографию о Репине. Книга вышла в свет в дни «месячника советско-немецкой дружбы».

„КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ГДР С ЮГОСЛАВИЕЙ"

Под таким заглавием газета «Нейес Дейчланд» помещает сообщение об успешной гастрольной поездке по ГДР камерного оркестра Загребского радио. Этот оркестр совершил турне по Франции, Германии, Австрии, Голландии и Англии. В ГДР оркестр исполнял произведения Вивальди, Генделя, Моцарта, Россини и современного немецкого композитора Пауля Хиндемита.

Дирижер оркестра Антонио Янигро отметил, что трудящиеся ГДР очень интересуются музыкой. По его словам, большое впечатление произвела на него и на других участников ансамбля Немецкая Государственная опера.

Руководитель группы югославских артистов директор музыкального отдела Загребского радио Иво Вульевич характеризует эту поездку как «многообещающее начало установления дружеских культурных связей между немецким и югославским народами...» «Для развития и углубления наших культурных связей есть все возможности»,— подчеркнул Вульевич. Газета «Нейес Дейчланд» пишет: «Как шаг на этом пути и следует расценивать приглашение главного дирижера Немецкой Государственной оперы Франца Конвичного в Югославию. В будущем году ГДР посетит еще один посланец дружбы — ансамбль «Ладо» из Загреба».

ГЕРМАНСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

ТРУДНЫЙ, НО ПЛОДОТВОРНЫЙ ПУТЬ

«Я знал, что война никогда не окончится, никогда до тех пор, пока где-нибудь еще кровоточит рана, нанесенная ею». Эти слова принадлежат Генриху Бёлю — молодому писателю, чьи книги в последние годы приобрели широкую известность. Первая книга Бёля, изданная в 1949 году, называлась «Поезд пришел во-время». Ее герой — солдат, возвращающийся после отпуска на Восточный фронт, — мучительно ощущает бессмысленность жизни и неотвратимость смерти. Сборник рассказов «Путник, ты приходишь в Спа...» (1950), романы «Где был ты, Адам?» (1951), «И не сказал ни одного слова» (1954), «Дом без сторожа» (1954) — все это произведения, написанные на тему о войне. В статье, опубликованной в западногерманском журнале «Франкфуртер хефте», говорится: «Бёль не только пишет о войне, он сражается с войной». В той же статье отмечается, что, хотя религиозное мировоззрение Бёля вполне соответствует «государственно-официозной тенденции», сам писатель твердо убежден в том, что он «находится в оппозиции к реставрационному развитию Западной Германии».

Творчество талантливого художника высоко оценено и в Германской Демократической Республике. Журнал «Нейе дейче литератур» опубликовал отрывок из романа «Где был ты, Адам?». В том же журнале напечатана статья, в которой воспроизводится сложный путь писателя-гуманиста, пройденный им в поисках правды. Автор статьи пишет: «Бёль борется за правду неутомимо и безбоязненно. Он старается правдиво отобразить гитлеровскую агрессию. Он стремится узнать, насколько каждый виновен или не повинен в катастрофе, которая постигла немецкий народ. Его тревожат судьбы подрастающей молодежи, смысл и цель нашей жизни. И он не только разоблачает, но в ходе творческого процесса все смелее и мужественнее становится на сторону жизни». В конце статьи, посвященной Генриху Бёлю, говорится: «Вероятно, ему еще предстоит трудный и долгий путь. Хотелось бы, чтобы ему было известно, что он может рассчитывать на нашу симпатию и на нашу поддержку».

„TAUCHNITZ VERLAG"

Книгоиздательство Таухница, основанное еще в первой половине XIX века, пользовалось большой популярностью не только в Германии, но и за ее пределами. Множество произведений выдающихся писателей как немецких, так и иностранных было им выпущено в свет.

После прихода гитлеровцев к власти фирма Таухница прекратила свою деятельность. В настоящее время известное книгоиздательство снова существует. Оно попрежнему публикует выдающиеся произведения мировой литературы. Как сообщает журнал «Вельт унд Ворт», издательство Таухница «служит великой цели», помогая «сооружать и охранять духовные мосты, соединяющие Германию с миром».

БАЛЛАДА „АЛЬМАНЗОР" НА СЦЕНЕ

В Нейсе, небольшом городке, расположенном в Рурском промышленном районе, Рейнский театр осуществил постановку драматической баллады Генриха Гейне «Альманзор». Как отмечает газета «Фрейес фольк», это первая постановка баллады спустя 130 лет после премьеры, состоявшейся в Геттингене. Публика встретила постановку с большим интересом.

Театр решил включить это произведение в свой репертуар в связи с исполнившимся в феврале 1956 года столетием со дня смерти Генриха Гейне.

ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУ КИША

Выходящий в Гамбурге еженедельник «Другая газета» («Die andere Zeitung») поместил статью, в которой автор очень высоко оценивает значение творчества выдающегося публициста Эгона Эрвина Киша. В статье говорится: «Кто из нас, молодых журналистов, молодых людей вообще, знает сейчас о нем? Я читал его книги, они уже давно стали моими друзьями. Сделать его книги снова доступными сегодня для всех нас — таков долг инициативных издателей».

ПРОПАГАНДА МИЛИТАРИЗМА НА ЭКРАНЕ

Западногерманский кинорежиссер Г. В. Пабст за последнее время поставил два фильма, посвященных событиям периода второй мировой войны.

Французские демократические газеты, оценивая фильм Пабста «Конец Гитлера», подчеркивают, что это произведение отражает не столько историческую правду о последних днях нацистского господства в Германии, сколько нынешнюю идеологию некоторых кругов Бонна.

Газета «Юманите» пишет, что при всех своих высоких технических достоинствах фильм «Конец Гитлера» поражает настроением безысходности; он лишен «малейшего луча надежды» и отнюдь не призывает западногерманских зрителей к борьбе против новых агрессивных авантюр. Еженедельник «Леттр франсез» критикует этот фильм за то, что его авторы стремились углубиться в «психологию» нацистских главарей, избегая при этом политических проблем.

Еще более резкую критику вызвала во Франции другая работа Г. В. Пабста — его картина «Это произошло 20 июля». В фильме рассказывается об антигитлеровском заговоре группы немецких генералов, о неудавшемся покушении на Гитлера, совершенном ими 20 июля 1944 года. По мнению «Леттр франсез», главная цель фильма — доказать, что в то время в Германии против гитлеровского режима осмеливались выступать одни лишь генералы. «Генералы Аденауэра,— пишет «Леттр франсез»,— широко используют миф о 20 июля для маскировки своих нынешних планов восстановления германской армии». Еженедельник указывает в той же рецензии, что фильм «Это произошло 20 июля» открыто пропагандирует возрождение агрессивного западногерманского вермахта.

ГРЕЦИЯ

„ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ" И ПРОГРЕССИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Газета «Авги» опубликовала статью, озаглавленную «Заговор молчания» (по поводу издания «Подлинной

апологии Сократа» Варналиса на английском языке).

В статье говорится:

«Эти строки пишутся не с целью защиты Костаса Варналиса, поскольку творчество крупнейшего из живущих новогреческих поэтов так значительно, что вообще не нуждается в защите. Они пишутся лишь для того, чтобы приветствовать перевод и издание «Подлинной апологии Сократа» на английском языке, а также отметить еще один печальный факт, характеризующий мелочность и низость так называемых «интеллигентов»: заговор молчания, которым окружено имя и творчество этого известного прогрессивного художника».

Произведения Варналиса переводятся на иностранные языки не впервые. Еще раньше «Апология» была издана на французском, немецком и русском языках.

Та же газета «Авги» сообщает, что за последнее время число произведений современных греческих писателей, переведенных на иностранные языки, увеличивается. Большим успехом во Франции и других странах пользуются новые романы Казандзакиса. Книга Тасоса Ливадитиса «Ветер на перекрестках мира» переведена на три европейских языка. В венском журнале «Тагебух» опубликована поэма Янниса Рицоса «Мир».

Вместе с тем автор статьи, помещенной в газете «Авги», напоминает, что люди, организующие «заговор молчания» вокруг крупнейших представителей современной греческой литературы, не прекращают своих усилий. Так, например, в двух иностранных изданиях, посвятивших статьи и обзоры современной греческой литературе (американском журнале «Атлантик мансли» и литературном приложении к лондонскому «Таймс»), имя Варналиса даже не упоминается. В то же время номер «Атлантик мансли» пестрит именами совершенно безвестных и третьесортных греческих поэтов.

В заключение газета подчеркивает, что Костас Варналис вопреки всем этим прямым и косвенным выпадам убежден в нужности и близости своего творчества народу; он подготавливает сейчас новую книгу «Диктаторы».

„ГРЕЦИЯ ДЛЯ ГРЕЦИИ"

По сообщению газеты «Авги», большим успехом пользуется поставленное в Афинах новое обозрение писателей Яламаса, Физвиоса и Претедериса «Греция для Греции».

Как утверждает та же газета, обозрение продолжает демократические традиции этого жанра, существующие уже на протяжении шестидесяти лет. В сатирическом спектакле «Греция для Греции» предстает в истинном свете политика тех крупных капиталистических держав, которые, прикидываясь друзьями Греции, в действительности ведут линию, враждебную интересам греческого народа. Афинская печать указывала, что этот спектакль «вдохновляет зрителей, пробуждает в них национальные чувства и вполне оправдывает свое название».

ГОДОВЩИНА ЖУРНАЛА „ЭПИТЕОРИСИ ТЕХНИС"

Общественность Греции отметила годовщину существования ежемесячного литературно-художественного журнала «Эпитеориси технис» («Обозрение искусства»), выходящего в Афинах.

Этот журнал, как было указано в одной из его редакционных статей, ставит своей целью «живо и правдиво отражать состояние литературы и искусства... бороться за разрешение всех насущных проблем культуры в стране... излагать свои взгляды в отношении идеала нового гуманизма, который формируется в наши дни».

В течение года на страницах журнала были опубликованы стихи Костаса Варналиса, Рицоса, Паппаса, Вреттакоса, Лили Патрикиу-Яковиду и многих молодых поэтов, рассказы Демосфена Вутираса — одного из самых известных греческих прозаиков и других авторов, а также пьеса Василиса Ротаса о национальном герое Греции Колокотронисе. Напечатаны также критические исследования, посвященные творчеству Поля Элюара, новогреческой поэзии и другие материалы.

В последних номерах журнала за 1955 год была опубликована работа Маяковского «Как делать стихи».

ДАНИЯ

„ДАР И ПРИВЕТ ОТ КИТАЙСКОГО НАРОДА

В Копенгагене с большим успехом прошли гастроли пекинской оперы. «Зрители не только получают яркое впечатление, но и испытывают своего рода облегчение, видя подобный театр в наших широтах, где искусство театра страдает от вычурности, пессимизма, бесполезного мудрствования, натурализма и истеричного комикования. Как отрадно, что искусство может быть таким чарующим, жизнерадостным, простым, глубоко человечным, полным юмора и в то же время таким изящным! — пишет известный критик профессор Свен Меллер Кристенсен.— Величайшее преимущество нашего времени состоит в том, что мир стал настолько мал, а Китай так велик и богат, что этот прекрасный театр смог приехать к нам как дар и привет от китайского народа. Пусть же наши гости увезут с собой бурю восторгов и восхищения в знак нашей благодарности».

Побывавший в Китае известный художник Бид-

струп опубликовал в газете «Ланд ог фольк» свои зарисовки, посвященные китайскому театру.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

МИЦКЕВИЧ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ

Историю появления отрывков из «Оды к молодости» Мицкевича на вьетнамском языке рассказала на страницах газеты «Трибуна люду» Ришарда Гржибовская, работавшая на территории Вьетнама в качестве переводчицы.

«В Кинхоне (район Южного Вьетнама, занятый в то время частями Народной армии) я познакомилась с вьетнамским поэтом, который просил меня написать для него хотя бы одну страничку стихов Мицкевича.

Я написала ему три отрывка из «Оды к молодости» на польском языке и перевела их на английский язык. Перевести все произведение я просто не успела из-за недостатка времени.

По прошествии месяца, находясь уже в совершенно другом районе Вьетнама, я получила пакет из Кинхона и в нем — небольшую книжечку. На первой страничке я увидела отрывки из «Оды к молодости» на вьетнамском языке.

...И сейчас, когда мы отмечаем столетие со дня смерти Адама Мицкевича и с удовлетворением рассматриваем прекрасные издания его произведений на различных языках, стоит вспомнить также и о существовании этой небольшой книжечки, напечатанной во фронтовых условиях на серой и грубой бумаге...»

ЕГИПЕТ

ДИСКУССИЯ О РЕАЛИЗМЕ

На страницах египетского еженедельника «Роза аль-Юсуф» развернулась дискуссия о реализме в искусстве.

Писатель Мустафа Махмуд высказал мнение о том, что реализму якобы присуще изображение «темных сторон человеческой души, печали и скорби». При этом он ссылается на творчество великих русских реалистов Гоголя, Достоевского и Чехова, в чьих произведениях, по его мнению, отразились эти черты.

С критикой взглядов М. Махмуда выступил прогрессивный публицист Махмуд Амин аль-Алим. В своей статье «Тайна трех великанов» он разбирает основное содержание творчества Гоголя, Достоевского и Чехова и подчеркивает, что пессимистические мотивы, в разной степени присутствующие в произведениях каждого из них, обусловлены их временем. «Реализм — понятие историческое,— подчеркнул Махмуд Амин аль-Алим,— и то, что было характерно для реализма еще вчера, не будет таковым сегодня, ибо мы сегодня живем в пламени великих битв, ведущихся повсеместно против деспотизма, рабства и эксплуатации».

„О ЕГИПЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ“

Вышла в свет книга «О египетской культуре». Она посвящена вопросам современной египетской литературы, а также литературы прошлых веков. В книге идет речь о произведениях таких крупных писателей, как Тевфик аль-Хаким, Абд ар-Рахман аш-Шаркави и другие. Автор предисловия к книге — известный ливанский публицист Хусейн Мурувва.

ИНДИЯ

АЛЬБОМ О ПОЕЗДКЕ НЕРУ В СССР

По сообщению газеты «Нью эйдж», в Индии издается альбом под названием «Джавахарлал Неру в Советском Союзе». В альбоме собраны многочисленные фотографии, сделанные во время посещения премьер-министром Индии Советского Союза.

КНИГА О КОНСТИТУЦИИ СССР

Издательством «Нилканд пракашан» выпущена в свет работа профессора Премчанда «Конституция Советского Союза». В связи с выходом этого исследования журнал «Ная патх» напоминает о том, что студенты высших учебных заведений Индии с большим интересом изучают Конституцию СССР. Однако до настоящего времени им приходилось пользоваться работами западных исследователей. «Отрадно,— отмечает журнал,— что индийские ученые приступили к самостоятельному изучению советской конституции».

ЗАПРЕЩЕНИЕ КОМИКСОВ В ИНДИИ

Журнал «Ная патх» сообщает о новом успехе, достигнутом прогрессивными силами Индии: решением правительства запрещена продажа комиксов в стране. Ввоз комиксов в Индию начался довольно давно; однако в последнее время, как иронически отмечает журнал, «с целью распространения американской «культуры» во всем мире» страна была буквально наводнена комиксами.

В статье содержится ряд данных, убедительно показывающих непосредственное влияние такого рода макулатуры на рост детской преступности.

Журнал приводит высказывание премьер-министра Индии Джавахарлала Неру о том, что дети не должны читать комиксы.

КНИГА О ПОРТУГАЛЬСКИХ КОЛОНИЗАТОРАХ

В Бангалоре (Южная Индия) издана книга О. К. Намбиара «Португальские пираты и индийские моряки». По сообщению газеты «Хинду уикли ревю», в этой поучительной и с интересом читающейся книге автор показывает, что португальцы вели себя в индийских водах, как настоящие пираты. На основе исторически достоверных фактов Намбиар разоблачает тенденциозные утверждения португальских историков о якобы агрессивном поведении индийцев. Автор пишет, что «начиная с 1498 года по 1630 год... наши моряки сражались с неизменной мужественностью, иной раз терпели поражения, но вновь собирались с силами и вели неустанную борьбу за то, чтобы изгнать захватчиков и освободить свою землю... Вспомним же о героизме, отваге и патриотизме наших моряков. Если бы не их самопожертвование, Гоа простиралось бы вдоль западного побережья Индии вплоть до мыса Коморин (южная оконечность Индии)».

К книге приложены карта Индии 1570 года, рисунки и краткое описание различных военных судов того времени.

ПРОТИВ БЕЗЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ КОЛОНИЗАТОРОВ

Ценнейшие коллекции произведений индийской литературы и искусства хранились в библиотеке «Индиан оффис лайбрери». Там же находились уникальные документы по истории Индии.

В свое время эта библиотека была вывезена в Англию. Сейчас соответствующие английские круги отказываются возвратить ее Индии.

Персонажи спектаклей «ваянг» в традиционном изображении индонезийских художников.

Сообщая об этом, газета «Хиндустан таймс» подчеркивает, что «Индиан оффис лайбрери» является законной собственностью Индии.

ФИЛЬМ О РАБИНДРАНАТЕ ТАГОРЕ

По сообщению газеты «Эстеррейхише фолькcштимме», деятели индийского кино подготавливают постановку фильма, посвященного великому индийскому писателю Рабиндранату Тагору.

ИНДОНЕЗИЯ

„СЕНИ ПЕДАЛАНГАН“

«Ваянг» — народные кукольные представления, по сообщению журнала «Сиасат», пользуются огромной популярностью среди индонезийцев. Лучшие образцы фольклора и эпоса Индонезии находят свое отражение в увлекательных сюжетах этих представлений.

«Сени педаланган» — «искусство кукловождения» — с незапамятных времен передавалось из поколения в поколение. Особенно высоко оно было развито на острове Яве.

В конце 1955 года в городе Маланге были открыты государственные двухгодичные курсы по подготовке кукловодов.

Учащимся на этих курсах преподаются такие предметы, как, например, «сабетан» — теория и практика кукловождения, «сулукан» — особые напевы под аккомпанемент гамеланового оркестра *, «джантуран» — сопроводительные тексты, заучиваемые наизусть, «почапан», «сарасилах» — история древних ваянгов и так далее.

Индонезийский журнал «Сиасат», рассказывающий об этом, сообщает, что на курсы принимаются лица, уже получившие общее образование.

ИТАЛИЯ

„МОИ СЕМЬ СЫНОВЕЙ“

В Италии четвертым изданием вышла книга Альчиде Черви «Мои семь сыновей». Предыдущие три издания этой книги разошлись за два месяца. На обложке книги наклейка:

---

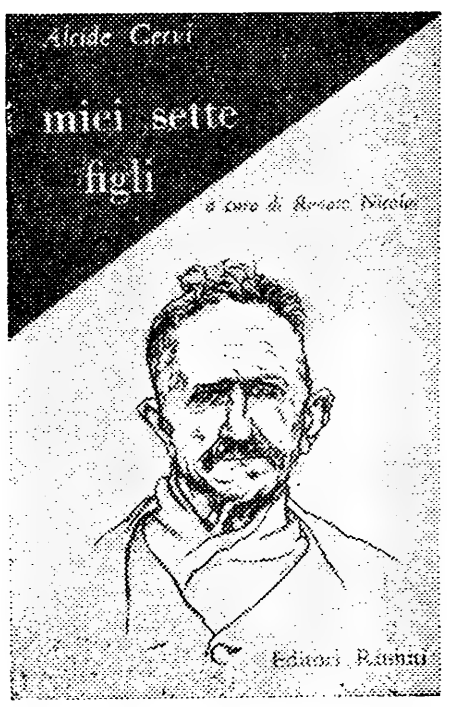
* Гамелановый оркестр состоит из 18 инструментов, преимущественно ударных (различные виды гонгов, барабан и др.).

«30-я тысяча» — редкое явление для страны, где обычно тиражи книг не превышают 3—4 тысяч экземпляров. Автор книги — восьмидесятилетний крестьянин, отец семи сыновей-партизан, героически сражавшихся и погибших в боях против фашизма в Италии. «Папаша Черви» или «дедушка Чиде», как любовно называют его крестьяне и рабочие его родной области Эмилии,— один из самых популярных людей в стране, активный участник движения сторонников мира.

Книга Альчиде Черви — это бесхитростный рассказ о том, как он вырастил семерых сыновей, воспитал их в любви к своей родине и к своему народу, был всегда рядом с ними в труде и в борьбе. Эта книга встретила самый горячий прием у итальянских читателей. Ее читают представители прогрессивной интеллигенции, рабочие промышленных городов Севера, крестьяне Эмилии и Романьи, молодежь. Газеты сообщают о коллективных читках книги Черви в деревнях и на заводах.

Высокие патриотические и моральные качества книги Черви вынуждена была ши-

Обложка книги Альчиде Черви «Семь моих сыновей» с портретом автора. *(Еженедельник „Контемпоранео")*



роко отметить даже католическая печать. Однако католические газеты и журналы при этом всячески подчеркивают тот факт, что сыновья Черви не были коммунистами (действительно, членом компартии был только один из них — Альдо).

Отвечая авторам подобных статей, «дедушка Чиде» сказал: «Говорят, что мои сыновья жили ради своей семьи и поэтому они не были коммунистами. Мои сыновья не только жили ради своей семьи, но и умерли ради нее. Они отдали жизнь за всю человеческую семью, а не только за своих детей. Они сознавали опасность — и все же всегда шли вперед по своему пути, они пожертвовали счастьем своих семи семей, но помогли спастись всей человеческой семье. Кто так поступает, тот — коммунист».

В конце ноября 1955 года Коммунистическая федерация молодежи Италии начала широкую кампанию за усиление воспитания молодого поколения в коммунистическом духе.

Генеральный секретарь итальянской коммунистической партии Пальмиро Тольятти в связи с этой кампанией опубликовал в молодежном журнале «Авангуардия» письмо, посвященное книге Черви.

«Товарищ Черви, потерявший семерых сыновей,— пишет Тольятти,— идет в первых рядах рабочего движения. Он принес во имя дела свободы огромную, неоценимую жертву, отдав самое дорогое, что было у него в жизни.

Теперь он приносит нам новый дар. Он рассказывает нам, как ему удалось вырастить своих сыновей смелыми борцами и героями. Он сумел воспитать в них ум и характер; вместе с матерью помог им, учась, и не только учась, но и работая, познать окружающий их мир, вдохновил и решительно толкнул их на борьбу во имя труда, во имя того, чтобы преобразовать весь мир, сделать его лучше.

Поэтому новый дар, принесенный нам Черви, предназначен в первую очередь для тебя, молодежь, ибо и ты ищешь и находишь пути преобразования сегодняшнего мира. Быть сознательными, настойчивыми, смелыми и ни за что не отступать, когда речь идет о защите наших идеалов! Этому учил Черви своих сыновей. Этому он учит теперь всех вас.

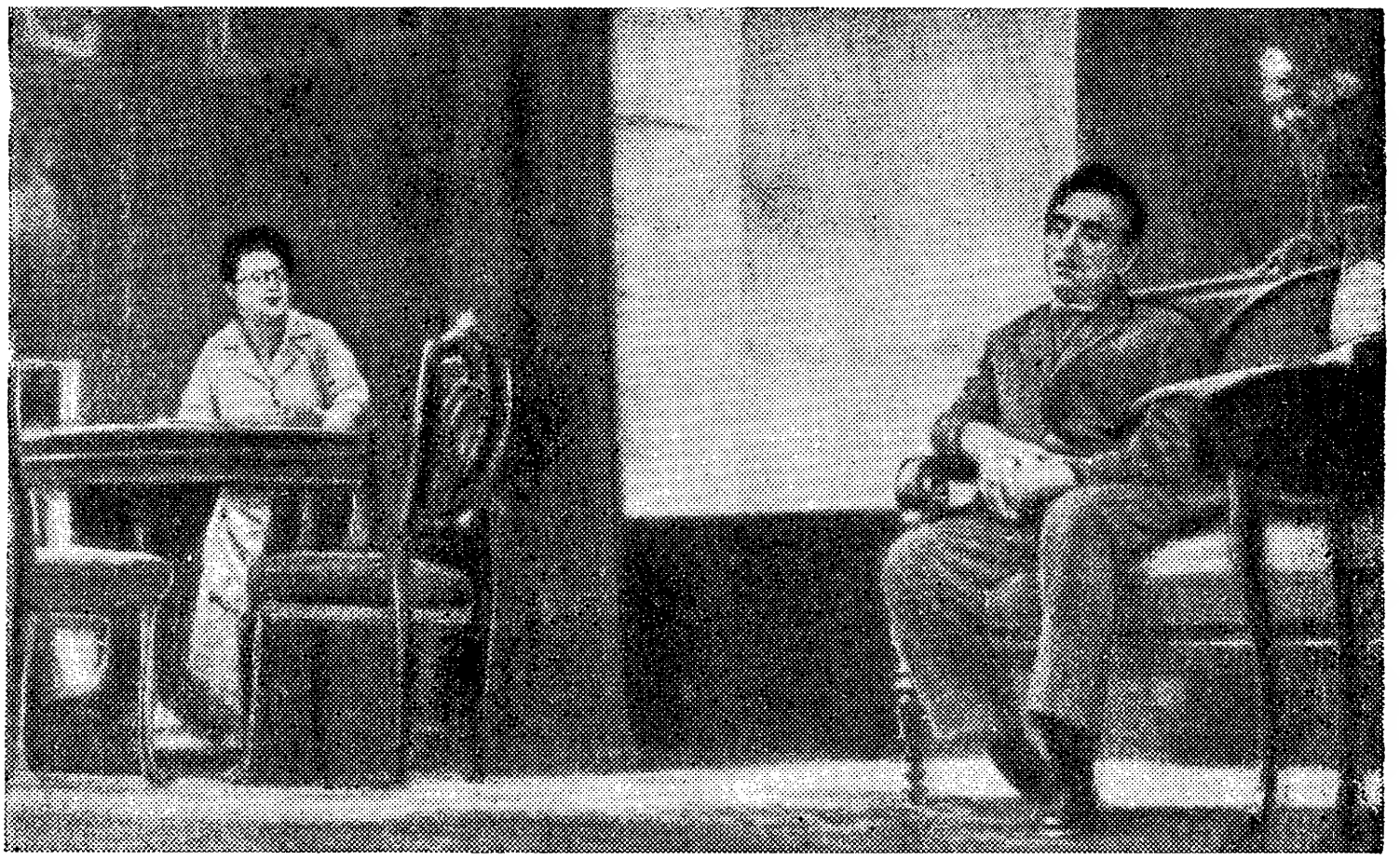
Поблагодарим его за этот новый дар».

Летом 1955 года Черви приезжал в Москву. Как сообщает газета «Унита», его итальянские читатели просят теперь «дедушку Чиде» издать новую книгу и описать в ней свою поездку в Советский Союз.

ЗА КУЛЬТУРНОЕ СБЛИЖЕНИЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Как сообщают итальянские газеты, председатель Совета министров Италии Сеньи принял делегацию итальянских деятелей культуры во главе с сенатором, профессором философии Миланского университета Антонио Банфи. Делегация вручила Сеньи памятную записку, в которой от имени различных научных учреждений Италии и отдельных ученых и деятелей культуры подробно обосновывается необходимость укрепления культурных связей между Италией и Советским Союзом и намечаются конкретные пути их развития. Ознакомившись с документом, Сеньи заверил делегацию в том, что он лично займется рассмотрением важнейших вопросов, упоминаемых в памятной записке.

Памятную записку подписали более тридцати выдающихся представителей итальянской интеллигенции: писатели и композиторы, академики и профессора, редакторы научных и литературных журналов, литературные критики. Среди подписавших мы встречаем имена писателей Альберто Моравиа, Итало Кальвино, Карло Кассола, известных



Сцена из комедии Эдуардо де Филиппо «Мое добро и мое сердце», поставленной в римском театре «Элизео». Справа — де Филиппо в главной роли.
(Еженедельник „Контемпоранео")

ученых Франческо Флора, Рануччо Бьянки-Бандинелли, Марио Оливьеро Оливо, Мауро Пиконе, Лючио Ломбардо Радиче, композиторов Валентино Букки и Гвидо Турки.

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО

Известный драматург, режиссер и актер Эдуардо Де Филиппо показал в неаполитанском театре Сан-Фернандо премьеру комедии «А'Нанасса». Эта комедия — одно из произведений драматурга Эдуардо Скарпетта, писавшего, как и Де Филиппо, на неаполитанском диалекте и пользовавшегося в конце прошлого века широкой популярностью. Его творчество, народное по своему характеру, восходит к итальянскому театру масок. Созданный им комический персонаж Феличе Шошамокка, фигурирующий во многих его комедиях, пользовался в Неаполе огромным успехом.

Решив открыть итальянскому зрителю этого незаслуженно забытого драматурга, Де Филиппо создал в Неаполе театральную труппу «Скарпеттиана», ставящую только произведения Скарпетта. Выступая в роли режиссера, Де Филиппо своей трактовкой комедий Скарпетта доказывает, что они не утратили актуальности.

Комедия «А'Нанасса», как и предшествовавшая ей постановка другой комедии Скарпетта — «Бедность и знатность», по сообщению газеты «Унита», идет в Неаполе с большим успехом. Главную роль исполняет известная киноактриса Карла Дель Поджо, недавно вступившая в труппу «Скарпеттиана».

В римском театре «Элизео» Де Филиппо показал премьеру своей новой пьесы «Мое добро и мое сердце». Так же как и в написанной и поставленной им около года назад комедии «Моя семья» и в таких своих прошлых произведениях, как «Неаполь-миллионер» и «Филумено Мартурано», Де Филиппо вновь возвращается к излюбленной им теме семейных отношений. Чередуя моменты высокого драматизма с чисто комедийными, иногда фарсовыми положениями, он раскрывает повседневную жизнь неаполитанской мелкобуржуазной среды со всей ее ограниченностью, стяжательством, предрассудками и суевериями. В главных ролях актриса Долорес Палумбо и автор комедии Эдуардо Де Филиппо.

НОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ФИЛЬМЫ

«Подруги» и «Женщина с реки» — таковы названия двух очередных новинок итальянской кинематографии.

Первая из них, поставленная режиссером Микельанджело Антониони, создана по мотивам одного из рассказов известного писателя Чезаре Павезе. В фильме показана жизнь крупной буржуазии Турина — цитадели итальянских монополий. Героини его — пять подруг, представляющих туринский «высший свет». Разложение, одиночество, обреченность — вот что характерно для этой среды, изображенной в фильме.

Второй фильм поставлен режиссером Марио Солдати

по сценарию, написанному Альберто Моравиа и Эннио Флайано. Действие происходит в районе Комаккьо (дельта реки По). На экране — тяжелая жизнь рабочих, рыбаков, крестьян этого отсталого, страдающего от наводнений района. Как отмечает прогрессивная печать («Унита», «Контемпоранео»), новый фильм все же не может претендовать на широкий и критический показ действительности. Попытка Солдати и авторов сценария создать «кинематографический народный роман», как считает прогрессивная критика, в целом не увенчалась успехом.

Режиссер Джанни Франчолини закончил работу над широкоэкранным цветным фильмом «Римские рассказы» (по одноименной книге Альберто Моравиа). В ней участвуют наряду с Витторио Де Сика и комиком Тото также и молодые киноактеры.

Тот же Де Сика, но уже в качестве режиссера, ставит давно задуманный им и сценаристом Дзаваттини фильм «Крыша». Одну из главных женских ролей в этом фильме будет исполнять семнадцатилетняя Габриэлла Палотта, выбранная режиссером из нескольких сот римских девушек, приходивших по газетному объявлению на кинофабрику. В одной из главных мужских ролей будет сниматься молодой триестинский безработный Джорджо Листуцци. В центре сюжета борьба бедняков — молодоженов Луизы и Натале с полицией. Они строят из различных отходов маленький домик, работая ночами, чтобы успеть покрыть его крышей: согласно итальянским законам, полиция не может заставить снести строение, воздвигнутое на чужой земле, если на нем уже есть крыша — сделать это разрешается лишь по решению суда. После многих неудачных попыток Луизе и Натале удается это сделать — и они обретают хоть на время крышу над головой.

Постановка этого фильма вновь оживила идущие среди итальянских кинематографистов споры об использовании актеров-непрофессионалов.

В своем выступлении на пресс-конференции Витторио Де Сика в связи с этим сказал: «Мы глубоко убеждены, что для того жанра, к которому принадлежит фильм, исполнителей главных ролей совершенно необходимо искать, и притом тщательно, на улицах, на заводах, на полях. Наша уверенность в этом и наш опыт показали нам, что

Постановщик фильма «Крыша» Витторио Де Сика (в центре) и исполнители главных ролей Габриэлла Палотта и Джорджо Листуцци во время съемок.

(Еженедельник „Контемпоранео“

Известный комик Тото в фильме «Римские рассказы», сделанном по рассказам Моравиа.

(Еженедельник „Контемпоранео")

в такого рода фильмах простые люди, выбранные нами без торопливости, сумели хорошо, с неподдельной страстностью выразить те чувства, какие мы намеревались передать».

По сообщению швейцарской газеты «Ди тат», Витторио Де Сика заявил, что он снимает в своих фильмах актеров-непрофессионалов вовсе не потому, что это обходится дешевле. По его мнению, некоторые из крупнейших и наиболее знаменитых актеров-профессионалов живут в такой роскоши, что они даже разучились естественно двигаться и вести себя, как обычные люди.

КИТАЙ

ПИСАТЕЛИ НАПРАВЛЯЮТСЯ В ДЕРЕВНЮ

Союз китайских писателей и его отделения на местах организуют поездки писателей в деревню для участия в движении за кооперирование сельского хозяйства.

По сообщению газеты «Жэньминьжибао», в Союзе китайских писателей и его отделениях в Шанхае, Шэньяне (Мукдене), Ухани, Гуанчжоу (Кантоне), Чунцине и Сиани уже установлено, кто из писателей в первую очередь направляется в деревню; число таких писателей превышает 60 человек. Среди выехавших или постоянно живущих в деревне Чжоу Ли-бо, Чжао Шу-ли, Ша Дин, Лю Цин, Ма Цзянь-лин, Чэнь Сюэ-чжао, Си Хун, Лу Чжу-го; в ближайшее время выезжает еще одна группа писателей.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ

Газета «Жэньминьжибао» опубликовала статью Жана-Поля Сартра, в которой он излагает свои впечатления от недавней поездки по Китаю.

«Эта огромная страна все время меняется. То, что друзья, вернувшись во Францию, рассказывали мне о Китае, к моменту моего приезда туда оказалось уже не совсем верным. И то, что буду рассказывать о Китае я, окажется не совсем верным для тех, кто посетит его после меня. Я провел в Шэньяне меньше недели, и когда я вернулся в Пекин, некоторые улицы, некоторые кварталы изменили свой облик. Одни стройки были закончены, другие начаты».

«Молодая мать в поезде Шанхай—Кантон» — зарисовка итальянского художника Эрнесто Треккани.

(Газета „Унита")

Жан-Поль Сартр пишет далее о своих встречах с рабочими, крестьянами и представителями интеллигенции. Писатель особо подчеркивает уверенность, с какой китайский народ смотрит в будущее. «В Китае будущее — это самая непосредственная действительность; вашими глазами мы смотрели на мир, который мы только что оставили. Вы поделились с нами своим терпением и своей скромностью. Благодаря вам, вашей работе и вашей самоотверженности будущее содержится уже в настоящем. Я всегда с ужасом думал о смерти. Но теперь эта мысль меня почти не занимает — меня переживет человечество, и я знаю, по какому пути оно идет. Я восхищен тем, что люди в вашей стране непрерывно воздействуют друг на друга; в этом процессе взаимного воздействия они обретают свободу и вместе с тем все больше объединяются. У вас еще не хватает школ; но это не является непреодолимым препятствием. Каждый китаец, который умеет читать, учит тому, что знает, другого китайца. Выходит, что социализм — в одно и то же время и настоятельная необходимость и выражение наиболее человечных отношений между людьми».

Жан-Поль Сартр подчеркнул глубокую любовь китайского народа к миру. «Только мир может обеспечить будущее; это будущее китайский народ строит, в нем он уже отчасти живет, оно является предметом его единственной заботы».

ЛИВАН

„ВЕНГЕРСКИЕ ДНЕВНИКИ"

Недавно в Ливане вышла в свет книга ливанского публициста и общественного деятеля, члена Всемирного Совета мира Жоржа Ханны «Венгерские дневники». В ней Жорж Ханна рассказывает о своих впе-

грию в июне 1955 года и о своих встречах с венгерскими писателями.

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Не так давно в культурной жизни Ливана произошло примечательное событие: на экраны вышел первый национальный кинофильм «Муки совести».

В рецензии на этот фильм ливанский писатель Мухаммед Ибрагим Дакруб писал: «У нас есть отличные возможности для создания поистине замечательных фильмов. У нас есть киностудия, талантливые актеры, прекрасная природа Ливана — море, горы и долины... замечательные народные ливанские песни, а главное — народные массы, жаждущие расцвета своего собственного киноискусства».

Являясь первым опытом национальной кинематографии, фильм, естественно, не свободен от недостатков. Отмечая их, арабская печать подчеркивает, что самое большое значение имеет тот интерес, какой вызвал в массах самый факт появления ливанского кинофильма.

МЕКСИКА

НОВЫЙ РОМАН ХУАНА РУЛЬФО

Крупнейшее издательство «Фондо де культура экономика» выпустило в серии «Мексиканская литература» новый роман Хуана Рульфо «Педро Парамо». Имя молодого писателя получило известность еще два года назад, после выхода в свет книги его рассказов «Равнина в огне». Эти рассказы, правдиво и лаконично повествующие о тяжкой доле мексиканских крестьян, об их страданиях и надеждах, отмечены большим художественным своеобразием и национальным колоритом.

«Его рассказы,— указывает писатель Хосе Мансисидор,— реалистические по своему содержанию, касаются самых волнующих тем. Они написаны народным языком, очень скупо и лаконично и отличаются большой простотой. Поистине это было «открытие». Однако в своем новом романе Х. Рульфо, как отмечается в рецензии, помещенной на страницах журнала «Интеркамбио культураль», погружает читателя в мир трагической безысходности, тоски и отчаяния. Автор рецензии подчеркивает, что Рульфо в своем новом произведении, проникнутом пессимистическими настроениями, рисует народные массы в состоянии бездействия и пассивности.

Почему народ изображен таким образом? Почему мексиканская революция не получила реального отображения?

«Все эти вопросы, — заключает автор рецензии,— неизбежно должны встать перед настоящим писателем, каковым является Рульфо, в его ближайших произведениях, если он захочет достичь зрелости как романист».

„ВОСХОД НАД ПРОПАСТЬЮ“

«Восход над пропастью»— так называется недавно вышедший роман Хосе Мансисидора, старейшего прогрессивного писателя Мексики.

Новый роман Мансисидора посвящен борьбе мексиканского народа за свое национальное богатство — нефть; действие происходит в конце 30-х годов, в тот период, когда президентом был прогрессивный государственный деятель Ласаро Карденас. События, описанные в романе, по отзывам печати, предельно приближены к реальной действительности тех лет.

О КНИГЕ ГАЛИНЫ УЛАНОВОЙ

Видный музыкальный и театральный критик Бакейро Фостер опубликовал в журнале «Интеркамбио культураль» рецензию на книгу Галины Улановой «Советский балет», изданную в Париже в 1954 году на французском языке.

Высоко оценивая значение книги, Бакейро Фостер пишет:

«Это книга, которую должны прочесть и изучить не только коллеги Улановой во всем мире, но и артисты всех других областей искусства».

ПЕРУ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ

В чилийском журнале «Вистасо» опубликовано заявление директора перуанского государственного института сценического искусства Гиермо Угарте Чамморо.

«Наше драматическое искусство перестало быть до-

Има Сумак известна во многих странах мира как обладательница необычайного по силе и диапазону голоса и как оригинальная исполнительница национальных напевов древних инков. Она родилась в Перу, в небольшом селении, расположенном в Андах. Ей 27 лет. На снимке — Има Сумак на эстраде.

(Еженедельник „Вие нуове“)

стоянием только ограниченной группы зрителей, — сказал Чамморо. — Драматургия Перу становится художественным средством выражения, доступным широким массам... Начиная с 1953 года, выходит журнал «Сена», регулярно освещающий театральную жизнь нашей страны...

Последние конкурсы свидетельствуют о нарастающем стремлении отображать в драматургии национальную жизнь. Я полагаю,— продолжал Чамморо,— что мы начинаем освобождаться от влияния Европы. Перуанская драматургия обращается к нашей истории, перуанские драматурги ищут сюжетов в нашей жизни, ставят наши проблемы в центре своих произведений».

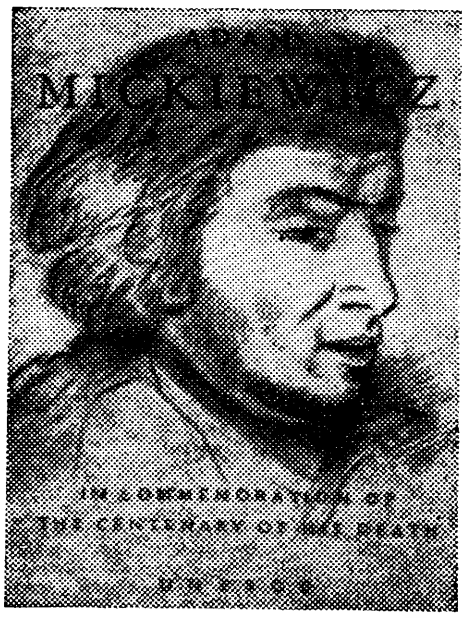
ПОЛЬША

СБОРНИК ЮНЕСКО, ПОСВЯЩЕННЫЙ МИЦКЕВИЧУ

На сессии ЮНЕСКО, проходившей в декабре 1954 года, было решено издать сборник в честь Адама Мицкевича в связи со столетием со дня его смерти.

Ныне сборник этот вышел на английском и французском языках со многими иллюстрациями. На обложке — известный портрет Мицкевича работы Делакруа.

В сборнике напечатаны следующие статьи: «Жизнь и творчество Адама Мицкевича» — Яна Парандовского; «Мицкевич и европейский романтизм» — Жана Фабра, профессора парижского университета; «Мицкевич в России» — Сергея Советова, профессора ленинградского университета; «Мицкевич во Франции» — Максима Леруа, члена французской Академии политических наук; «Мицкевич в Италии» — Джованни Мауро, профессора римского университета; «Мицкевич, западная и южнославянская литература» — Кароля



Обложка сборника в честь Мицкевича, выпущенного ЮНЕСКО.

(Газета „Жице Варшавы")

Крейчи, профессора пражского университета; «Польша в «Пане Тадеуше» — профессора Юлиуша Клейнера.

В сборнике помещены переводы стихов Мицкевича, фрагменты из «Конрада Валленрода», «Пана Тадеуша» и «Книги польского паломничества», а также воспоминания современников о поэте, его краткая биография, библиография наиболее известных переводов его произведений на иностранные языки.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ВАЛЬСЫ ШОПЕНА

Польские газеты «Трибуна люду» и «Штандар млодых» поместили сообщения из Парижа и Лондона о судьбе трех вновь открытых вальсов Шопена.

Один из этих вальсов впервые был издан в Париже в 1955 году. Его обнаружил еще перед самой войной английский исследователь Шопена Браун в фондах библиотеки Парижской консерватории. Второй вальс был подарен композитором его ученику Эмилю Гайару; надпись на рукописи гласит: «Париж, 20 июля 1840 г.» Почти сто лет она хранилась в семейном архиве семьи Гайар и лишь в 1938 году была передана в консерваторию. Этот вальс также выпущен в свет в прошлом году лондонским издательством Френсис, Дэй и Хантер.

Третий вальс пока остается необнародованным. Честь его обнаружения принадлежит современному английскому музыковеду Артуру Хедли.

НОВАЯ КНИГА О ШОПЕНЕ

Вышла книга Ярослава Ивашкевича о Шопене. Автор оговаривает, что не претендовал на создание научного труда. Тем не менее, как отмечает «Пшеглонд культуральны», автор творчески использовал большую литературу, в том числе письма не только самого Шопена, но и таких его современников, как Мицкевич, Словацкий, Красинский, Бальзак, а также дневники и письма Эжена Делакруа, Жорж Санд, Гейне, Шумана и другие источники.

Польский музыковед Зыгмунт Мыцельский в рецензии о книге Ивашкевича подчеркивает, что она «может считаться образцом для такого рода жанра».

ЛЕРМОНТОВ НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

В переводах Ежи Загурского вышел однотомник М. Ю. Лермонтова. Как сообщила «Нова культура», в однотомник вошли юношеские стихи 1828—1832 годов, стихи 1836—1841 годов, отрывки из поэм «Мцыри» и «Демон», эпиграммы, а также впервые переведенный на польский язык «Маскарад».

„ОБ ИСКУССТВЕ ПЕРЕВОДА"

Во Вроцлаве издан сборник под названием «Об искусстве перевода» (560 страниц большого формата). Книга составлена из ряда

работ польских языковедов и историков литературы. О различных проблемах перевода пишут такие известные писатели и переводчики, как Мария Домбровская, А. Стерн, А. Важик, К. Илакович, Ян Парандовский, П. Герц, Г. Карский.

Всем материалам предпослана вступительная статья Яна Парандовского.

РУМЫНИЯ

ПЬЕСА ПЕТРУ ДУМИТРИУ

Недавно на сцене Театра армии была поставлена пьеса «В шесть часов», написанная лауреатом Государственной премии Петру Думитриу в сотрудничестве с Соней Филип. Это первый драматургический опыт Думитриу. В пьесе рассказывается о тех усилиях, какие прилагает румынский народ для создания национальной крупной промышленности. Действие развертывается на строительстве тракторного завода. Драматургов интересовала в первую очередь проблема воспитания технической интеллигенции, одна из важнейших в современной Румынии. Другой важной проблемой, которая затронута в пьесе, являются взаимоотношения партийных руководителей с рабочими. Хотя эта проблема, как подчеркивается в статье, помещенной в журнале «Контемпоранул», и не занимает в пьесе центрального места, но и она решена жизненно и нестандартно. «Теплый прием, оказанный публикой этой постановке, — говорится в статье,— показывает, сколь необходимы оригинальные пьесы на актуальные темы и как их ждет зритель».

КНИГИ О НОВОМ КИТАЕ

Книгу очерков «Я побывал в новом Китае» издал академик Джорже Кэлинеску, пользующийся в Румынии известностью как писатель и еще больше как литературовед. В данном случае он выступил в необычном для себя жанре. В статье, помещенной на страницах журнала «Контемпоранул», указывается, что обращение Кэлинеску к очерку свидетельствует о живой связи писателя с современностью. Как отмечается в том же журнале, особенностью книги Кэлинеску о Китае является широкий показ сегодняшней действительности на фоне недавнего прошлого, что еще больше оттеняет все величие достижений китайского народа. Можно отметить, что тому же Кэлинеску принадлежит повесть «Шун», также написанная на китайском материале.

После своей поездки в Китай Валериу Эмиль Галан написал книгу рассказов «Соседи». Героями эти рассказов, указывается в журнале «Флакэра», являются китайские крестьяне-труженики. Основная тема рассказов Галана — глубокие преобразования, происходящие в современной китайской деревне. Книга иллюстрирована художником Эудженом Тару, который тоже побывал в народном Китае.

„КРАСНЫЙ МИНОНОСЕЦ"

Пьеса Владимира Колина «Красный миноносец» воспроизводит краткий героический эпизод из истории боевых действий румынского миноносца «Отважный», экипаж которого не согласился выступить против молодой Советской России. Моряки «Отважного» отказываются выполнять приказ и героически гибнут от руки жандармов. Давая в краткой заметке общую положительную оценку пьесе, «Газета литерарэ» вместе с тем отмечает, что образы положительных героев, за исключением Ожога — руководителя восстания, получились у драматурга менее яркими, чем отрицательные.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Саудовскую Аравию называют «колыбелью арабской культуры». Именно эта страна является древней родиной арабов, откуда они распространили свой язык, религию и культуру на соседние страны. Однако Саудовская Аравия долгое время была изолирована от окружающего мира и отстала в своем развитии от таких стран, как Сирия или Египет.

В настоящее время власти Саудовской Аравии предпринимают энергичные усилия для развития культуры и просвещения в стране. Строятся школы, больницы и типографии. Как сообщила газета «Аль-Биляд ас-Саудия», в городе Джидда ряд бывших королевских дворцов передан образованному недавно в Саудовской Аравии министерству просвещения. В этих дворцах будут размещены образцово-показательные школы. В Джидде выстроен также крупнейший в Аравии печатный комбинат. Культурное строительство ведется и в других городах страны.

В Саудовской Аравии развивается своя литература. Литературные силы страны сосредоточены вокруг журнала «Аль-Манхаль» («Источник»), в котором печатаются стихи и рассказы, а также литературная критика и публицистика.

Газета «Аль-Биляд ас-Саудия», выходящая в Мекке, также уделяет большое место вопросам литературы, помещает рассказы и критические статьи. На страницах газеты читатели высказывают свои пожелания литераторам. В одной из статей, озаглавленной «Литераторы, мы хотим нового!!»,

читатель требует, чтобы произведения больше соответствовали духу времени.

СИРИЯ

„ОКНО НА ВОСТОК"

В Дамаске объявлено о предстоящем выходе в свет книги прогрессивного сирийского писателя Мавахиба аль-Каяли «Окно на Восток». Автор книги рассказывает о своих впечатлениях от поездки в СССР, где он принимал участие во Втором съезде советских писателей и совершил путешествие по стране.

СУДАН

СЪЕЗД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Как сообщает суданская газета «Аль-Умма», в столице Судана, городе Хартуме, состоялся съезд интеллигенции. На съезде, созванном впервые в истории страны, обсуждались вопросы культурного развития Судана, а также план преобразования английского университетского колледжа в Хартуме в первый национальный суданский университет.

СБОРНИК СТИХОВ М. ФИТУРИ

В борьбе суданского народа за развитие национальной культуры принимает активное участие пока еще малочисленная интеллигенция «Страны Черных», ее писатели и поэты. («Биляд ас-Судан» или просто «Судан» означает по-арабски «Страна Черных»). Поэты Судана воспевают природу Африки и стремление ее народов добиться своего освобождения. Как сообщает египетский еженедельник «Роза аль-Юсуф», одним из крупных поэтов современного Судана является Мухаммед Фитури. Сборник его стихов выходит из печати в Каире. Стихи Фитури посвящены национально-освободительной борьбе народов Африки.

США

„СССР ОБГОНЯЕТ США В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ УЧЕНЫХ"

Советский Союз посетил доктор Гомер Додж, президент норвичского университета в Нортфилде, и его сын Нортон Додж; по возвращении их в США журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» опубликовал беседу с ними о постановке высшего и среднего образования в СССР.

Одной из важнейших проблем, затронутых в ходе беседы, является проблема мирного соревнования между СССР и США в области подготовки научных и технических кадров. Об этом свидетельствует хотя бы заголовок, которым журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» снабдил весь материал. Этот заголовок гласит: «СССР обгоняет США в области подготовки ученых». Мы печатаем здесь в несколько сокращенном виде ту часть интервью, где речь идет именно об этой важной и злободневной проблеме.

«Вопрос. Какой прием был вам оказан педагогами? Охотно ли они разговаривали с вами?

Ответ. В учреждениях, которые мы посетили, все были чрезвычайно любезны. Они не жалели для нас своего времени, терпеливо отвечали на все наши вопросы, охотно водили нас всюду и все показывали.

Вопрос. В нашей стране, судя по имеющимся данным, подготовка ученых некоторых специальностей, например физиков и математиков, видимо, хромает, так как число их уменьшается. Все меньше становится и учащихся в учебных заведениях, готовящих специалистов для этих отраслей науки. Дело как будто обстоит не так в России?

Ответ. Совсем не так. Правда, Советский Союз в указанных двух областях еще дает меньшее количество ученых, чем мы, но у них оно все время увеличивается. Что же касается инженерной специальности, то в этом отношении они нас значительно превзошли. В 1954 году там окончило высшие технические учебные заведения более пятидесяти тысяч человек, а у нас только двадцать две тысячи.

Вопрос. Получает ли русский юноша, оканчивающий школу-десятилетку, такое же основательное образование, как американский юноша после двенадцати лет пребывания в средней школе?

Ответ. Во многих отношениях советский юноша получает лучшее образование. Ведь русский школьник посещает школу шесть дней в неделю и вообще работает гораздо больше, чем американский. Учение — серьезное дело для русских детей.

Вопрос. Разве русские дети не освобождены от посещения школы по субботам, как в Америке?

Ответ. Нет, у них свободный от занятий день только воскресенье. Они изучают в течение шести лет биологию, пяти лет — физику, четырех лет — химию. Что же касается математических дисциплин, то они входят в программу на протяжении всего времени обучения, не исключая алгебры и тригонометрии.

В смысле научной подготовки русский юноша, окончивший десятилетку, значительно превосходит своего американского сверстника, окончившего среднюю школу.

Вопрос. Создалось ли у вас впечатление, что все русские девушки и юноши стремятся идти в высшую школу?

Ответ. Стремление к высшему образованию в России проявляется гораздо более сильно, чем в Америке. Вся социальная структура их общества вдохновляет на то, чтобы они подымались все выше и выше по ступенькам знания, руководствуясь при этом только своими наклонностями. В результате такого положения лишь в очень немногих случаях талант не получает развития. В нашей стране, напротив, только половине из общего числа молодых людей, обладающих способностями выше среднего уровня, удается получить высшее образование.

Вопрос. Произвел ли на вас большое впечатление Московский университет?

Ответ. Да, он произвел на нас огромное впечатление не только великолепием новых зданий, в которых размещены факультеты, но и уровнем ведущейся там работы, насколько мы смогли ее наблюдать.

Вопрос. Находите ли вы, что русские придают достаточно большое значение научно-исследовательской работе?

Ответ. Да, несомненно. Возможно, что они даже разбираются в этом лучше нас!»

ПАМЯТИ ДЖОРДЖА МАРИОНА

В возрасте 50 лет скончался в Вашингтоне прогрессивный публицист и писатель Джордж Марион. Он хорошо известен советскому читателю как автор произведений, вышедших в переводе на русский язык: «Базы и империя. Карта американской экспансии», «Судилище на Фоли-сквер. Процесс руководителей компартии США» и «Остановите печать!».

Газета «Дейли уоркер» посвятила памяти Мариона статью, характеризующую его литературно-политическую деятельность.

«Нет сомнения,— пишет «Дейли уоркер»,— что страшное напряжение, в котором жил Марион, условия, при которых он вынужден был сам издавать и распространять свои книги, подорвали его здоровье».

„ВИД С МОСТА" АРТУРА МИЛЛЕРА

По утверждению американской печати, в том числе и таких журналов, как «Лайф» и «Сатердей ревью», к числу наиболее значительных и интересных постановок театрального сезона в Нью-Йорке следует в первую очередь отнести постановку дилогии Артура Миллера «Вид с моста». Под этим названием объединены две одноактные драмы, в которых действие происходит по обе стороны Бруклинского моста в Нью-Йорке — в районах Манхеттен и Бруклин. Но не только название объединяет обе драмы: единство придает им и то, что их главным героем является простой трудовой человек.

Высокую оценку новому произведению Миллера дает Говард Фаст. «Эта вещь,— пишет Фаст,— монументальное и прекрасное творение театрального искусства, которому, несомненно, нет равных в американском послевоенном театре». «Обе пьесы,— указывает он далее,— это пьесы о рабочих, и в обеих жизнь рабочего класса изображена с глубокой достоверностью, любовью и большой проникновенностью. Совсем не легко вообще хорошо и правдиво писать о рабочих; следует, однако, учесть, насколько трудно это сделать именно сегодня, когда американская драматургия достигла самой низкой точки декадентского падения».

Первая пьеса — «Воспоминание о двух понедельниках» — носит автобиографический характер. В ней дано ощущение тягостной монотонности труда на хозяина, когда один день как две капли воды похож на другой, один понедельник ничем не отличается от другого. Отсюда и название пьесы.

На сцене группа людей — четверо мужчин и две женщины, — работающих на складе запасных частей для автомашин в период экономической депрессии. (В молодости сам Артур Миллер работал на таком же складе.) Это простые люди с разными характерами и разными темпераментами; если они и мирятся с тяжелой действительностью, то все же стремятся, хотя бы морально, почувствовать себя независимыми.

Они ощупью ищут ответа на вопрос о том, почему их эксплуатируют, и его не находят. Тем не менее пьеса проникнута духом борьбы и социального протеста против всего строя угнетения и эксплуатации.

Вторая пьеса — «Вид с моста». Драматург касается в этой пьесе проблемы предательства, столь острой и животрепещущей в условиях сегодняшней Америки.

Главное действующее лицо этой пьесы — Эдди Карбон — становится презренным доносчиком. Охваченный страстью к своей 17-летней племяннице Кэтрин, воспитанной им, он в припадке ревности выдает иммиграционным властям молодого итальянца Родольфо, а заодно и трех его товарищей, нелегально приехавших в Америку в поисках работы. Всех их подвергают аресту. В финальной сцене соседи — простые люди, рабочие — с ужасом и отвращением смотрят на Эдди, шпиона и доносчика. Брат Родольфо плюет ему в лицо, и Эдди, покинутый всеми, потеряв честь и уважение друзей и близких, находит смерть от руки одного из выданных им людей. Как отмечает театральный критик «Дейли уоркер», пьеса Артура Миллера «обладает качеством эпической трагедии». «В пьесе «Вид с моста»,— пишет Говард Фаст,— Артур Миллер прямо и смело ставит проблему предательства. Это пьеса о доносчике, и все другое имеет в ней второстепенное значение. В «Салемских колдуньях» Миллер искал и нашел классическое амери-

канское оформление для своей притчи о Розенбергах; на этот раз он с огромной силой обновляет старинную итальянскую и общечеловеческую версию — вспомните Маттео Фальконе! — полное ужаса и страха положение человека, который, став доносчиком, предан неотвратимому проклятию».

«Разве тот, кто видел эту пьесу,— пишет далее Фаст,— сможет забыть момент, когда брат преданного человека поворачивается и плюет прямо в лицо предателю? Разве можно забыть душевную муку Эдди, который, став предателем, понял, что теперь ему уж не найти покоя и искупления вплоть до самой могилы? Факты эти стоят в центре всего замысла, и потому эта пьеса более, чем какая-либо другая в нынешнем сезоне, созвучна нашему времени».

В роли Эдди Карбона выступает известный актер Ван-Хефлин.

ПРОТЕСТ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА

Известный американский художник Рокуэлл Кент с 1951 года безуспешно пытается получить у американских властей право на поездку за границу. Государственный департамент неизменно отказывает ему в выдаче паспорта «для путешествия в каких бы то ни было целях». Кент не смог, таким образом, посетить и Лондон, где не так давно состоялась выставка его работ. Такое отношение к одному из виднейших деятелей культуры США вызвало резкий протест со стороны Чарли Чаплина.

«Естественное право каждого свободного человека путешествовать все чаще и чаще нарушается беззастенчивыми отказами в выдаче паспортов,— говорится в письме, направленном Чаплином организаторам выставки и опубликованном на страницах лондонской «Дейли уоркер».— Создавшееся положение вызывает большую тревогу. Сегодня каждый американец, сознает он это или нет, фактически является заключенным с кандалами на ногах. В любую минуту его могут одернуть, как только он в чем-либо осмелится не согласиться с теми политиканами, какие сейчас находятся у власти.

И кто знает, быть может, мы завтра будем не согласны с тем, с чем сегодня мы еще соглашаемся?

Такие всемирно известные художники, как Поль Робсон и Рокуэлл Кент, чье искусство составляет славу Америки и содействует укреплению взаимопонимания между Америкой и Европой, скованы по рукам и ногам цепями этой злонамеренной и опасной политики.

Отказывать в праве выезда этим выдающимся американцам, пользующимся повсюду огромным уважением, бесчеловечно и глупо. Это наносит ущерб американскому престижу и возбуждает сомнения и подозрения в тех странах, дружба с которыми Америке особенно нужна.

Я выступаю не только в защиту американских художников и артистов, закованных в цепи, но и в защиту каждого американца, элементарные политические права которого подвергаются непосредственной угрозе».

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ГЭКЛЬБЕРРИ ФИННА

В США был отмечен необычный литературный юбилей: семидесятилетие «существования» одного из наиболее популярных героев Марка Твена — Гэкльберри Финна.

Американский читатель впервые познакомился с ним в 1885 году. И сразу же реакция начала его преследовать.

Библиотечный комитет города Конкорд (штат Массачузетс) задал тон в этой кампании, объявив, что Гэкльберри Финн якобы оказывает «опасное влияние на молодежь», и изъяв «крамольное произведение» с полок местной библиотеки. После этого сигнала все бостонские газеты напали на Гэкльберри Финна. Газета «Бостон транскрипт» писала: «Гэкльберри Финн» написан так плоско и грубо, что никто не хочет его читать». А некоторые газеты пошли еще дальше и стали утверждать, будто Марк Твен вообще «конченный писатель».

Касаясь причин, вызвавших ярость реакции, газета «Дейли уоркер» напоминает: «Марк Твен писал о мальчике Гэкльберри Финне, который должен был выбрать между честностью и предательством, как должны были выбирать многие и в 1955 году». «Гэкльберри Финн выбрал честный путь борьбы: он не предал своего товарища негра Джима, не предал американскую демократию. Он не донес на него, как того требовал «закон» и «приличия». Гэкльберри Финн решил расовый вопрос так, как его должна решать демократическая Америка», — отмечает «Дейли уоркер».

Характерно, что даже сейчас, спустя 70 лет после своего появления на свет, Гэкльберри Финн вынужден попрежнему бороться за неприкосновенность своего литературного существования. Не так давно из очередной телевизионной передачи этого произведения Марка Твена был вообще начисто изъят негр Джим!

ФИЛЬМ ПО НОВОМУ РОМАНУ РЕМАРКА

По сообщению газеты «Нью-Йорк таймс», киностудия «Юниверсал» будет снимать фильм по новому роману Ремарка «Время жить и время умирать». 25 лет назад та же студия выпустила фильм по роману «На западном фронте без перемен».

ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ О РАСПРАВЕ С ЭММЕТОМ ТИЛЛОМ

Американская прогрессивная общественность глубоко возмущена и встре-

вожена безнаказанным убийством негритянского подростка Эммета Тилла, совершенным расистами из города Самнер (штат Миссисипи). Среди голосов протеста и негодования, прозвучавших по всей стране, американцы услышали и голос талантливого негритянского поэта и писателя Лэнгстона Хьюза; на страницах газеты «Дейли уоркер» было опубликовано его стихотворение — непосредственный отклик на событие в Самнере:

МИССИСИПИ — 1955 ГОД

Горе, горе,
Боль какая,
Что слезы и кровь
Хлынули ливнем вновь,
Что в Миссисипи
Снова пришел террор!
Снова пришел террор?
Где же он был до сих пор?
В отпуске?
В северных штатах?
В глухом уголке страны
Таился от закона?
В маске, лишь злые глаза
видны
В прорези балахона?
Горе, горе,
Боль какая,
Что в Миссисипи вновь
Слезы и кровь
Душным дождем текут!
Грязный, зловонный,
Липко холодный террор
Все еще тут!

ОДНОТОМНИК ДЖОНА РИДА

Издательство «Интернэшнл паблишерз» сообщило о выходе однотомника избранных произведений талантливого революционного журналиста, писателя и поэта Джона Рида, умершего в 1920 году. В книге представлен его репортаж, военные корреспонденции, рассказы, стихи.

В предисловии к «Избранному» говорится, что Джон Рид навсегда сохранится в памяти и сознании прогрессивной Америки как «провозвестник нового общественного строя, как образец писателя, который всегда был человеком действия, как наблюдатель и творец истории».

ФРАНЦИЯ

КНИГА АРАГОНА О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Парижское издательство Деноэль выпустило в свет новую книгу Арагона «Советские литературы». «Почему в названии вашей книги слово «литература» употреблено во множественном числе?» — с таким вопросом обратился к писателю сотрудник газеты «Юманите». «Обычно, когда у нас говорят о советской литературе,— ответил Арагон,— имеют в виду только русскую литературу советского периода... Следует, однако, учесть, что при всем величии русской литературы прошлого и настоящего особое значение советской литературы связано с ее многонациональным характером».

Далее Арагон сообщил о том, что в своей книге он стремился показать, как богаты и многогранны литературы всех советских народов, какими славными национальными традициями располагает украинский, грузинский, азербайджанский, узбекский и другие народы СССР. В своих очерках Арагон анализирует творчество Тараса Шевченко, Шота Руставели, Низами, а также ряда советских писателей и поэтов союзных и автономных республик.

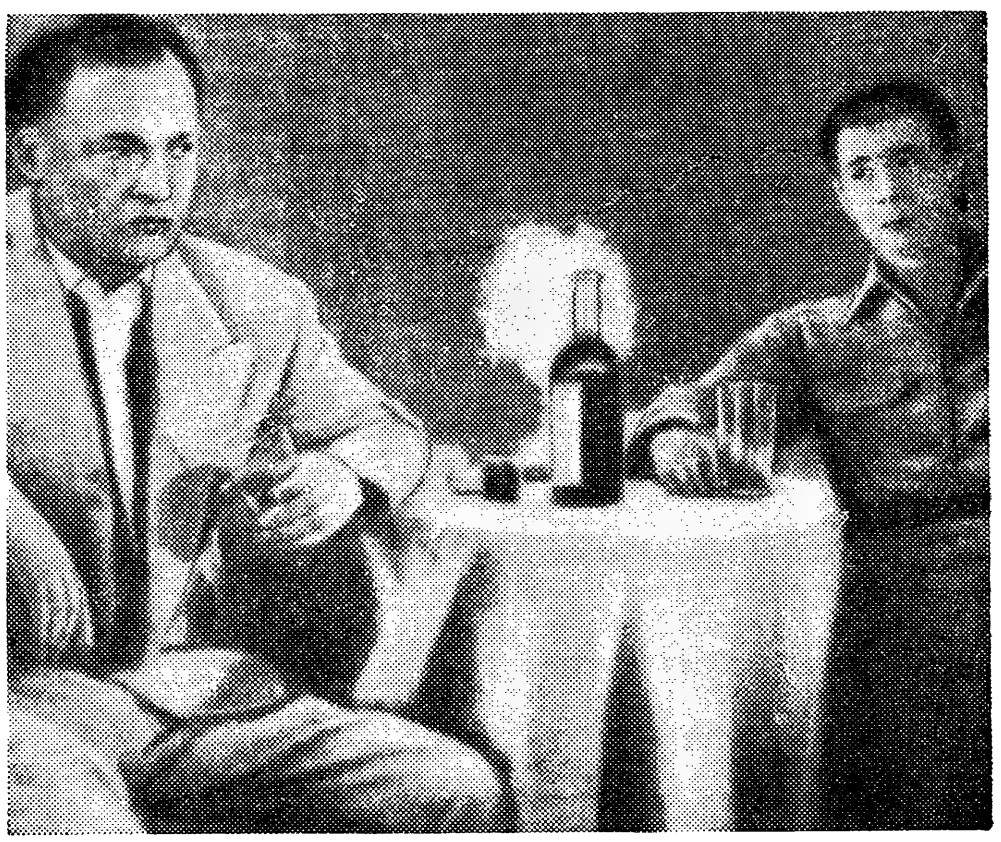
«Моя книга,— говорит Арагон,— это не история советских литератур; это скорее попытка распахнуть окно в историю этих литератур...»

АВТОБИОГРАФИЯ ИВА МОНТАНА

Ив Монтан обычно каждый год присутствует в качестве гостя на традицион-

Кадры из фильма «Герои устали»: (вверху) Ив Монтан и молодая актриса Элизабет Манэ; (внизу) французский летчик Ривьер (Ив Монтан) и немецкий летчик Герке (Курт Юргенс) за беседой.

(Журнал „Регар")



ном книжном базаре в Париже, помогая распространению произведений французской прогрессивной литературы. Однако на очередном празднике книги известный артист выступил уже как автор недавно вышедшей в Париже собственной книги под названием «Солнцем полна голова».

Монтан сообщил корреспонденту «Леттр франсез», что его воспоминания были продиктованы им на пленку магнитофона, а затем изданы в литературной обработке писателя Жана Дени. В книге рассказывается о детстве артиста, проходившем в Италии, а затем в рабочем предместье Марселя. Прежде чем стать артистом, Ив Монтан переменил несколько профессий: он был и «мальчиком» в парикмахерской, и докером, и рабочим металлургического завода. «Именно здесь, на заводе, я впервые почувствовал человеческую теплоту, которая рождается из солидарности рабочих, из их братства»,— говорит Монтан.

Заканчивая свою беседу, Монтан сообщил представителю «Леттр франсез», что в сентябре 1956 года он надеется «приехать со своими песнями в Москву».

„ГЕРОИ УСТАЛИ“

Французская демократическая печать высоко оценивает новый фильм, созданный режиссером Ивом Чьямпи,— «Герои устали». «Значительный фильм нашего времени» — так озаглавлена рецензия, напечатанная еженедельником «Леттр франсез».

...Вечер в тропиках. Два человека, чужие друг другу, сидят в баре. Они смотрят на вентилятор, и этот маленький вращающийся пропеллер одновременно напоминает им винт самолета. Эти люди — бывшие военные летчики, бывшие враги: Герке (артист Курт Юргенс) — пилот германской авиации и Ривьер (Ив Монтан) — участник воздушных боев за освобождение Франции от гитлеровских орд. И эти два человека, которых судьба случайно забросила в южноамериканский городок, становятся друзьями. Их сближает общая ненависть к тем, кто мечтает о новой войне. Острый, стремительно развивающийся сюжет фильма показывает, как крепнут антивоенные убеждения Герке и Ривьера и как эти люди начинают бороться против своих общих врагов...

«Леттр франсез» указывает, что этот фильм, казалось бы, напоминающий обычную на Западе авантюрную картину, на деле всем своим содержанием направлен против многочисленной стандартной продукции буржуазных кинофирм.

Газета «Юманите» подчеркивает, что фильм «Герои устали» «осуждает войну, осуждает все войны, включая войну в Индо-Китае и войну в Корее». «Юманите» отмечает также превосходную игру Ива Монтана, Марии Феликс, Жана Серве и австрийского артиста Курта Юргенса.

ФИЛЬМЫ О ГИТЛЕРОВСКИХ ЗВЕРСТВАХ ПОД ЗАПРЕТОМ

По сообщению газеты «Юманите», между Францией и Западной Германией было в 1955 году заключено соглашение, по которому во Франции подлежат уничтожению все кинофильмы о зверствах, совершенных нацистами в годы второй мировой войны. «Юманите» подчеркивает, что в результате этой «очистительной» деятельности должны быть подвергнуты уничтожению даже такие известные художественные кинокартины, как «Битва на рельсах», а также многие иностранные фильмы, дублированные на французский язык.

ПОЛЕМИКА МЕЖДУ ГАЗЕТАМИ „АР“ И „ЭКСПРЕСС“

Еженедельник «Экспресс» ополчился против фильма Рене Клера «Большие маневры» и против того, чтобы этот фильм демонстрировался за границей. «Экспресс» считает, что «Большие маневры», показанные во время «недели французского фильма» в Москве, «могут внушить советским зрителям большое уважение к г-ну Рене Клеру, но не к Франции». «Экспресс», по словам «Ар», вступается за честь французской армии. «Ведь армия, нарисованная Рене Клером,— это не армия, которая выиграла войну 1914 года»,— заявляет «Экспресс».

«Ар» осуждает такую точку зрения. «Если «Экспресс» выступает против такого хорошего и такого невинного фильма, то ясно, до каких цензурных крайностей могут довести подобного рода установки»,— пишет «Ар».

«Ар» называет выступление газеты «Экспресс» «сквернными маневрами».

ПАМЯТИ МОРИСА УТРИЛЛО

В возрасте 72 лет умер известный французский художник Морис Утрилло. Парижская печать посвятила многочисленные статьи этому художнику. «Леттр франсез» публикует статью Франсиса Журдена, характеризующую творчество Утрилло. «Утрилло главным образом художник города, — пишет Журден. — Щебень, штукатурка, замазка, кирпич, шифер, черепица, цинк, асфальт, цемент — вот из чего сделан его рай. Его сфера — это мир людей, которые работают, созидают...»

Статьи об Утрилло напечатали также газеты «Юманите», «Либерасьон», «Монд», «Ар» и др.

КЛАССИКИ НА СЦЕНЕ ПАРИЖСКИХ ТЕАТРОВ

В Национальном Народном театре поставлена драма Виктора Гюго «Мария Тюдор». Режиссер спектакля — руководитель театра Жан Вилар, в главной роли — артистка Мария Казарес, которую советские зри-

К. Гёгер в роли Бедржиха Сметаны.

(Журнал „Кино")

тели знают по фильмам «Пармская обитель» и «Тень и свет».

Почти одновременно в театре «Комеди франсез» состоялась премьера пьесы Дени Дидро «Добр ли он, зол ли он?» Это произведение было написано в 1781 году, но впервые поставлено на сцене лишь в 1910 году; с тех пор пьеса ни разу не ставилась ни в одном театре Франции. Французская критика положительно оценивает новую постановку театра.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

По сообщению «Юманите», скончалась жена Анри Барбюса, Элионна Барбюс, дочь поэта Катюль Мендеса.

Французская печать сообщила о смерти известного французского композитора Артура Онеггера.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ФИЛЬМ О БЕДРЖИХЕ СМЕТАНЕ

Музыкально-биографический фильм — жанр совершенно новый для чехословацкой кинематографии. Вот почему перед сценаристом Иржи Маржанеком и режиссером Вацлавом Кржкой — авторами фильма о чешском национальном композиторе Бедржихе Сметане,— как подчеркнул журнал «Кино», стояла серьезная и трудная задача. В их картине, названной «Из моей жизни», показано, как складывалась творческая жизнь Сметаны и в какой общественной среде проходила его деятельность.

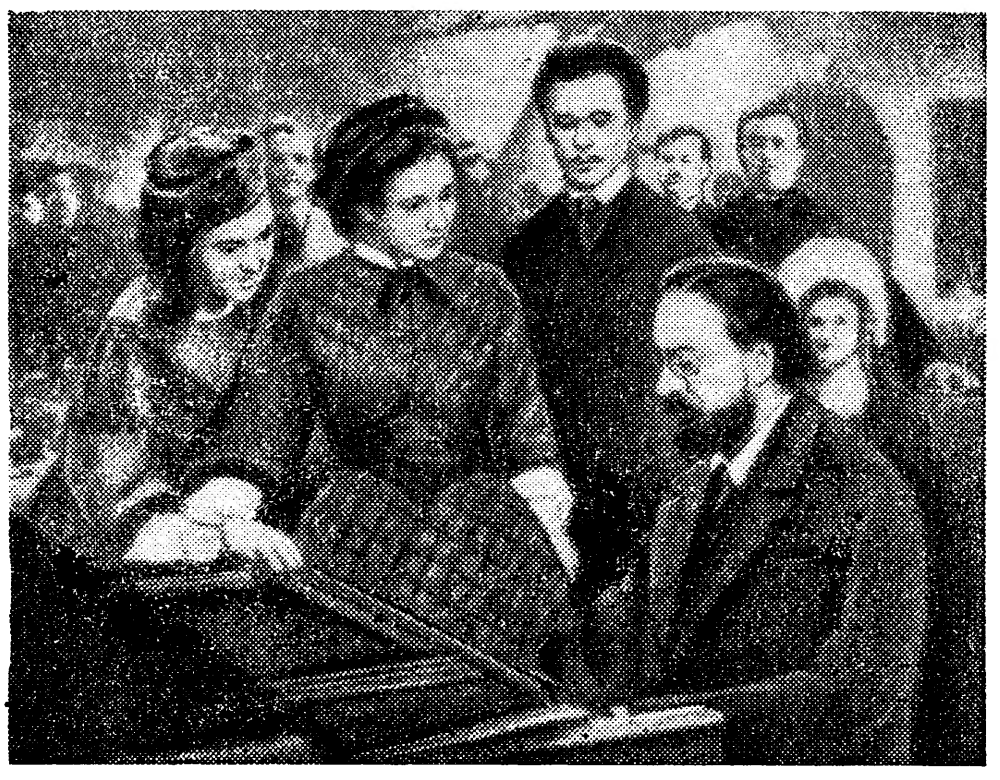
На экране — борцы за дело чешского национального возрождения, с которыми был тесно связан Сметана, в том числе писатели К. Сабина, Ян Неруда, Э. Красногорская — автор либретто опер Сметаны. Авторам фильма, как утверждает тот же журнал, удалось показать борьбу за создание истинно национальной, народной музыки.

В 1861 году, выступая в Гетеборге, Сметана заявил: «Я хочу доказать, что на языке музыки можно говорить». Эта мысль подкрепляется в фильме музыкой самого Сметаны, причем режиссеры воспроизводят также и ту обстановку, в какой она возникла или впервые была исполнена. Так, в фильме показана премьера оперы «Бранденбуржцы в Чехии», состоявшаяся в 1864 году. В фильм включены эпизоды из «Проданной невесты», «Далибора», «Поцелуя» и героического эпоса о бессмертии народа—«Либуши». В фильме исполняется также концерт до минор Бетховена; как известно, Сметана его очень любил и всегда включал в программу своих выступлений.

Роль Сметаны в фильме исполняет лауреат Государственной премии К. Гёгер, роль жены композитора и верной спутницы его жизни — Зд. Прохазкова.

ОТКРЫТИЕ БЮСТА ГЛИНКИ В ПРАГЕ

В Пражском Национальном театре состоялось торжественное открытие бюста М. И. Глинки работы советского скульптора З. М. Виленского. Этот бюст был преподнесен Министерством культуры СССР коллективу Пражской оперы во время ее гастролей в Москве. Профессор М. Очадлик сделал доклад о влиянии Глинки на чехословацкую музыку; академик Зд. Неедлы в своем выступлении говорил о плодотворных связях и взаимо-



Кадр из фильма, посвященного Бедржиху Сметане: композитор играет на рояле отрывки из своей новой оперы. Справа — артист, исполняющий в фильме роль Антонина Дворжака.

(Журнал „Кино")

влиянии русской и чехословацкой музыкальной и театральной культур. Затем состоялся концерт, в котором исполнялась камерная музыка Глинки и его романсы.

ЧИЛИ

„ПУТЕШЕСТВИЯ" ПАБЛО НЕРУДЫ

По сообщению газеты «Вистасо», вышла в свет новая книга Пабло Неруды «Путешествия». Книга носит автобиографический характер — в ней подробно рассказывается о преследованиях, которым подвергался поэт за свои политические убеждения у себя на родине, о его вынужденном уходе из родной страны, о странах, которые он посетил, находясь в изгнании. По его собственным словам, «надев семимильные сапоги», Неруда побывал во многих, самых различных странах мира и свои впечатления, мысли, чувства изложил в новой книге. Рассказал он в ней и о встречах с Ганди, Неру, с поэтами Мигелем Эрнандесом, Назымом Хикметом.

«Новая книга «Путешествия» была написана в Мексике; отрывки из нее автор читал на Кубе, в Колумбии, Перу, Аргентине.

Открывается книга главой «Путешествие к сердцу Кеведо». По словам Неруды, об этом великом испанском поэте XVI века у него было долгое время неверное представление, составленное на основании плохих антологий и школьных учебников. Лишь в самой Испании, которую Неруда посетил в годы народной войны против фашизма, он узнал подлинного Кеведо.

Таким образом, не случайно глава о Кеведо посвящена поэтам, «сознающим свой боевой долг».

В отдельных главах Неруда описывает свое пребывание в Индии в 1929 году и в Мексике.

Большое место в своей новой книге Неруда отводит описанию поездок в страны народной демократии, СССР и Китай.

В то же время вся книга пронизана поэтическими воспоминаниями о родине Пабло Неруды — Чили.

ШВЕЦИЯ

ПАМЯТИ ДЖО ХИЛЛА

В связи с исполнившимся 40-летием со дня казни Джо Хилла, расстрелянного 19 ноября 1915 года в Солт-Лейк-Сити по ложному обвинению в убийстве, в ряде городов США и Европы состоялись траурные митинги, посвященные памяти этого выдающегося поэта-песенника, тесно связавшего всю свою деятельность с американским рабочим движением. Память Джо Хилла почтили и на его родине — в Швеции, откуда он в 1902 году эмигрировал в США.

Газета «Ню даг» опубликовала на двух полосах рассказ сестры поэта, 68-летней Эстер Даль, о семье, детских и юношеских годах Иоэля Хегглунда (настоящее имя Джо Хилла).

Стокгольмское издательство «Кларте» выпустило многокрасочный портрет Джо Хилла работы художницы Аделины Крос-Эриксон. Поль Робсон, которому в числе других известных деятелей культуры был послан этот портрет, ответил письмом, в котором говорится: «С каким глубоким волнением я пел в стране, где он родился, не только песни самого Джо Хилла, но и песни о нем, одном из величайших борцов за дело американского рабочего класса! Как хорошо иметь сейчас перед глазами прекрасный и трогательный портрет Джо Хилла, молодого и сильного, активно участвующего не только в борьбе своего времени, но и в создании будущего, и самому помогать созданию этого будущего!»

БЕСЕДА С ХАЛЛДОРОМ ЛАКСНЕССОМ

В шведской печати опубликована беседа с Халлдором Лакснессом, гостившим после получения им Нобелевской премии у своего биографа и переводчика Пера Халлберга в Гетеборге.

Лакснесс сообщил корреспондентам:

«Премия явилась для меня полной неожиданностью. Я не думал, что действительно получу ее. Мое удивление не наигранное. Оно так же искренне, как и моя радость».

Говоря о своей новой книге, Лакснесс отказался сообщить сейчас какие-либо подробности. «Я буду работать над ней,— сказал он,— еще на протяжении года и надеюсь закончить будущей осенью. Но до тех пор все это касается только меня одного».

Лакснесс поделился с корреспондентами некоторыми подробностями своей биографии и своего творческого пути. Его отец был десятником на дорожном строительстве; он купил усадьбу «Лакснесс» — отсюда и фамилия писателя.

На вопрос о том, кого из современных писателей он предпочитает в первую очередь, Лакснесс ответил:

«Собственно говоря, я читаю не особенно много. Лишь великих нашей эпохи. Эпигоны меня не интересуют. Но мы являемся современниками многих великих писателей. Томаса Манна, например. Мне нравится и театр Брехта с его очень своеобразным, собственным стилем».

Говоря о советской литературе, Лакснесс сообщил, что он недавно написал предисловие к исландскому изданию книги «его хорошего друга Бориса Полевого...» — «Повести о настоящем человеке». «В Советском Союзе,— сказал он,—

много хороших писателей, но я не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть».

РУССКАЯ КЛАССИКА НА ШВЕДСКОЙ СЦЕНЕ

Во время гастролей МХАТ в Стокгольме, состоявшихся в 1922 году, большим успехом у зрителей пользовался спектакль «Дядя Ваня». В 1941 году стокгольмцы вновь увидели эту пьесу Чехова в постановке шведского Бланкетеатерн. С тех пор пьеса Чехова не шла на стокгольмской сцене.

Ныне режиссер Пер-Аксель Браннер поставил «Дядю Ваню» на сцене стокгольмского театра Ден лилла Драматен. Газета «Ню даг» отмечает талантливое исполнение главной роли артистом Андерсом Эком.

На сцене шведских театров идут и другие произведения русской классической драматургии. Так, в Стадстеатерн в Мальмё с успехом идет «Ревизор» Гоголя в постановке директора театра Ларса-Леви Лестадиуса.

ЮГОСЛАВИЯ

РОСТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

По данным, приводившимся в югославской печати в связи с празднованием десятилетия существования Союза журналистов, в Югославии в настоящее время издается 18 ежедневных газет общим тиражом более 750 тыс. экземпляров и 130 еженедельных газет, тираж которых достигает около 1,5 млн. экземпляров.

В 1945 году в Югославии насчитывалось около 300 журналистов. Сейчас Союз журналистов объединяет около 2 тысяч работников печати.

ВЫСТАВКА В ЧЕРНОГОРИИ

В конце 1945 года в Черногории было создано Объединение работников изобразительных искусств. В 1956 году художники Черногории организуют юбилейную выставку в связи с десятилетием существования объединения.

Выставка откроется в Титограде, а затем будет переведена в Белград. Наряду с лучшими работами членов объединения на выставке будут представлены произведения черногорских художников, находящихся в настоящее время за пределами республики.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература». Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. М. Королев.*

А02611 Сдано в производство 14/I 1956 г. Подписано к печати 17/II 1956 г. Учетно-изд. листов 28,4. Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9,1 бум. л., в том ч. 1 вкл. 24,[illegible] п. л. Зак. 637. Изд. № 19/312[illegible]. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 10 руб.